

ISSN 0130-7673

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й
М И Р

1982

11

1982



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 11

Ноябрь, 1982 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ИЗ УКРАИНСКОЙ ПОЭЗИИ — Микола Бажан, Андрей Малышко, Борис Олейник, Платон Воронько, Василь Гей. Перевели Юрий Саенко, Лев Смирнов	3
АЛЕКСАНДР РЕКЕМЧУК — Тридцать шесть и шесть, роман	9
ИЗ УКРАИНСКОЙ ПОЭЗИИ — Микола Нагнибеда, Виталий Коротич, Дмитро Павлычко, Александр Пидсуха, Савва Головановский. Перевел Юрий Саенко	107
АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ — О	111
ВАЛЕНТИН КАТАЕВ — Юношеский роман моего старого друга Саши Пчелкина, рассказанный им самим. Окончание	162
ПУБЛИЦИСТИКА	
АЛЕКСАНДР ВОЛЬФ — Арагоновы туман	228
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
М. СИНЕЛЬНИКОВ — Роман и политика. Над страницами «Победы» Александра Чаковского	250

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
А. Рубашкин. Не только о войне.	262
<i>Политика и наука</i>	
А. Грунт. Изучая опыт русских революций.	264
КОРОТКО О КНИГАХ	
Б. Багаряцкий.— Борис Костюковский, Семен Табачников. И нет счастливее судьбы. Повесть о Я. М. Свердлове. ✦	
Ксения Бродер.— Людмила Уварова. Соседи. ✦	
Михаил Степанов.— Цянь Чжуншу. Осажденная крепость. ✦	
Ю. Здоровов, Б. Хлебников. — Александр Кушнер. Канва. Из шести книг. ✦	
Ю. Попков.— С. В. Белов. Братья Гранат	268
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

Иду как будто по развалинам,
Ползет дорога из-под ног.
Так нелегко на тверди каменной
Класть колеи стальных дорог.

Так нелегко на тверди каменной
Огранивать дорогам грудь.
И впрямь, быть может, мне тяжка она,
Дорога встреч, прощаний тихий путь.

Дорога встреч, прощаний тихий путь,
Путь всех людей — прямой линейся,
Неси огни ночей на рельсах,
Рассветам дай к себе прильнуть!

Ведь каждому идти тобою
В пределах собственной мечты!
И тянутся над головою
Созвездий раненых следы.

Мне знать дано, куда идти,
Придется проходить сквозь тернии.
Порывы у людей безмерные.
Мала ли цель, что впереди?

Не все сердца дадутся червяку,
В круг замкнуты не все маршруты;
Еще стелиться всходам руты
По желтому песку.

1927

АНДРЕЙ МАЛЫШКО

Ленину

Славьтесь, жизнь, и весна, и деревья, и травы, и лето,
И несущие свет Ильича дорогого заветы,
День наш в утренней рани,
Он в легендах восстаний,
Славят пусть его внуки и дети.

Славься, славься, земля, что покрылась густыми садами,
Славьтесь все города, что Ильич возрождал вместе с нами,
Славься, поле родное,
Богатей, молодое,
Колосись под дождями, громами.

Славься, Ленина путь, все повстанцы, что в битвы ходили,
Под знаменами красными жизни своей не щадили,
Славьтесь, алые стяги
В полной силе, в отваге,
С вами мы всех врагов победили.

Славься именем Ленина, гордая наша держава,
Для людей трудовых отстоявшая волю и право,
Наш Ильич над веками
Ее поднял, как знамя,
Пусть гремит о ней вечная слава!

Будем жить мы по Ленину, мы — его правнуки, внуки,
 Пусть в труде и в походах нам помнятся радость и муки,
 По великим заветам,
 С ясным ленинским светом
 Мир удержат рабочие руки!

Переводы ЮРИЯ САЕНКО.

БОРИС ОЛЕЙНИК

Венок Павлу Тычине

Где он нежно прошел,
 там земля голубей...
 Ты не плачь, в тулумбасы печали не бей!
 Только песни одни —
 Вместо жизненных вех.
 Не считай его дни —
 Слишком краток наш век.
 А звездою сгори, хоть на миг — посвети!
 Только так сможешь ты до него дорости.
 И увидишь во мгле,
 Под гуденье ракет,
 Как идет по земле
 В бирюзовом поэт.
 Он, как лебедь, как ветер весенний, плывет.
 Все живое к крылу его легкому льнет.
 Миг и вечность лежат
 На вершине чела,
 И трубит с ними в лад
 Золотая пчела.
 Хоть дорога его — сквозь века — далека,
 Он на пальце, как перстень, несет мотылька.
 Не идет, а плывет,
 Как сандаловый дым.
 Что в пути не умрет —
 Снова станет живым.
 Вот он замер на миг, как олень у сосны, —
 Слышит музыку сфер, видит звездные сны.
 Вечность ловит в свой невод
 Минут перезвон.
 Что он слышит на небе —
 То знает лишь он.
 Только вдруг шевельнулись уста у него.
 Жажда Слова пронзила его существо.
 Он сторел в слове этом
 Подобно звезде.
 Не ищи его где-то,
 Теперь он — везде.
 Вот он мягко над пыльной дорогой плывет,
 И к крылу его юность притихшая льнет.
 Где же тень его? Нету.
 Хоть солнечный день.
 Но дано разве небу
 Отбрасывать тень?
 Ты прислушайся к сердцу, к дороге, к судьбе.
 Ты ищи его в слове,
 а слово — в тебе!

Перевел ЛЕВ СМИРНОВ.

ПЛАТОН ВОРОНЬКО

Слово о завершенности

1

А как же в стог укладывают сено?
 Сперва под низ плотней мостят валки.
 Луг в солнце весь и в песне неизменной,
 Здесь девушки и парни-остряки,
 Принарядившись, как на именины,
 Все вместе общим заняты трудом.
 У берега — с рыбешкою корзины,
 На привязи пудовый дремлет сом.
 Коновка с медом и кадушка с квасом,
 Да жбан с вином, оплетенный лозой.
 А день меж тем уходит с каждым часом
 Со всей своей июльской красой.
 Поднялся стог дредноутом зеленым
 На пестрых волнах скошенных лугов,
 Меж явором — водолюбивым кленом —
 И камышовой стенкой берегов.
 Вдруг гомон смолкнет,
 Всюду станет тише,
 Замрет и трудовая круговерть,
 Снует таинственное слово «крыша»...
 И вот мужчины ладят к стогу жердь.
 Вверх лезет мастер,
 Зубья вил тройчатых
 Над головой торжественно плывут.
 Подъем закончен. Парни и девчата
 Вершителю осоку подают.
 И чей-то голос слышится басистый:
 — Коль Гринь вершит, то стог не затечет!..—
 А Гринь вверху,
 Высокий
 И плечистый,
 Оглаживает вороха,
 Толчет,
 Укладывает.
 Лишь взмахнет рукою —
 И рогозы подкинут чуть не воз..
 Вот вилы брошены. Вершитель вниз пополз.
 И песня вновь всплывает над землею.

Зимой, когда замерзнут переправы,
 Пойдет о Грине всюду говорок:
 — Вот мастер! Сено — сущий чай, ей-право!
 Вершил, что кровлю ставил из досок.—
 Но худо, коль при стоге лодырь встанет,
 Начнет вершить,
 Стог прогнiet насквозь.
 Волы режут, телегу конь не тянет,
 Так и живи до лета, как пришлось;

2

Пусть ты стареешь, давят хворь и годы,
 Но завершай, что начал, все равно.
 В дожди, в метель, в любую непогоду
 Зови свой май, чтоб он смотрел в окно.

Пусть суета все красит черной краской,
 Пусть кажется, что в пыль падет мечта,
 И время пусть скрипит, как воз без смазки,
 Ты лишь пойми, что это — суета.
 Повыше вскинь призвание и волю,
 Как факел, полыхающий во мгле;
 Встань за станок, садись за трактор в поле,
 Дубки и липы приживляй к земле.
 Лелей деревья, чтоб вольней жилось им,
 Чтоб крепи, кроны поднимали ввысь,
 Учись терпенью у тугих колосьев,
 У ржи родимой стойкости учись.
 Чтоб дело завершить, поставить точку,
 Еще нужны в десятки лет труды,
 Ведь из пучка пеньки не шить сорочки,
 В ведре без дна не удержать воды.
 Кто въедет в дом, где лишь до окон стены,
 Хоть сруб в нем сух и вязь в углах крепка?
 Кому нужны без комнат только сени,
 Светлицы без дверей, без потолка?
 О сколько их — фундаментов бетонных,
 Похожих на руины древних лет!..
 В них лишь бурьян нашел родное лоно
 Да как укор — боярышника ветвь.
 Еще б рывок — и были бы у цели,
 Над кровлями б дымок очажный встал,
 Звенели бы здесь свадьбы, новоселья,
 И флаг бы пионерский трепетал...
 Здесь камешек и в огород поэта,
 Берись за завершенье вновь и вновь.
 Пусть вымысел — о сонных водах Леты,
 А ты дивись, чтоб вспыхивала кровь.
 Тогда и в слове будет смысл желанный,
 Живым огнем и поиск возгорит,
 Послышатся и в шелесте каштана,
 Что весь в одежде пламенно-багряной,
 Шевченковский бессмертный «Заповіт».

3

О незаконченность — о стих мой предпоследний..
 Ты — клич с упреком тяжким, как угар,
 Ведь не восход, а луч вечерне-бледный
 Светлит тебя.
 Из пепла хочет жар
 Взять головню, пригодную к растопке,
 Чтоб дремлющую ночь опламенить,
 Запечатлеть высокой кистью тропку,
 Где к двум сердцам любви тянулась нить,
 Иль ту — к Карпатам, в дали Украины,
 Где с Ковпаком ты шел из боя в бой,
 Иль детскую, которую в руины
 Поверг палач — солдат страны чужой.
 И, может быть, потомок с сыновьями
 Подумает над этою тропой,
 Что завершеньем встала над веками
 Как продолженье жизни молодой.

АЛЕКСАНДР РЕКЕМЧУК

★

ТРИДЦАТЬ ШЕСТЬ И ШЕСТЬ

Роман

1

Ведерный чайник красной меди дышал паром. Его принесла официантка Валя, поставила на общий стол — пейте на здоровье — и удалилась, вечер, все.

А вечер пылал на этой надраенной меди сильным лучом незашедшего солнца, бившим косо в остекленный передний салон парохода «Тютчев».

— И не зайдет, — то ли пообещал, то ли объяснил Улитин, отхлебывая горячего из кружки. — Только спрячется до половины — и опять вверх. Белые ночи, друг мой, да, белые ночи...

— Я знаю, — ответил ему Алексей, задетый покровительственным тоном. — Я знаю, что такое белые ночи. Ведь я ленинградец.

— А говорил — из Москвы.

— Еду из Москвы, — подтвердил Алексей Рыжов. — Но сам я питерский, точнее — Кронштадт.

— Да? — удивился сосед.

Однако солнце тотчас скрылось, потому что пароход описал крутую дугу по излучине реки, оно ушло за корму, и теперь в ясных стеклах был лишь вычегодский плес, гладкий, как зеркало, без единой рябинки, к ночи унялся ветер. И небо было совсем чистым, оно при закате не розовело, а наливалось жемчужным светом.

Алексей зачарованно, не моргая смотрел на этот свет.

Ему и впрямь были не в диковину белые ночи на исходе июня, он их насмотрелся вдоволь. И не само дальнейшее путешествие, не эти неожиданные повороты речного русла, не открытия за ними волновали его.

Может быть, и странно и нелепо, но более всего остального изумлял его сам пароход «Тютчев», на котором он плыл сейчас. Свежо окрашенный белыми к началу навигации (краска еще не пожухла, не облупилась, не истерлась о причалы), с широкими цельными стеклами в рамах, со всею ухоженной чистотой палуб и кают — он явился как бы из прошлого, давно минувшего, из довоенных беспечных времен. Его колесный ход и «яти» на служебных табличках подсказывали даже, что «Тютчев» был спущен на воду еще до революции, где-нибудь на сормовских или балтийских верфях, проплавал, прошлепал три десятка лет, а будто новый: ведь они, пароходы, долговечны потому, что работают свою работу от паводка до ледостава, от и до, а тяжкие и суровые зимы коротают в укромных затонах. И вот так же, сомнений нет, он скоротал в покое четыре военных зимы, а четыре военных лета ходил по расписанию как ни в чем не бывало по здешним плавным рекам, по этим тихим местам, где не видали войны воо-

чию — не знали ни бомбежек, ни воздушных тревог, ни затемнений. Четыре военных лета — и еще два лета, уже мирных, после войны.

— Месяц назад, когда я в отпуск ехал, — заговорил снова Улитин, — тут черемуха цвела, оба берега — будто в пене. Там, в Крыму, в Ореанде, конечно, цветенье пороскошной, поярче, но и здесь красота.

— А у нас в Карлсхорсте весной сирени какие — боже мой! — отозвалась вздохом женщина с громоздким валиком волос над низким лбом. — Махровые, не задичали еще...

Муж ее, армейский капитан с планкой в пять орденских ленточек, сидевший рядом, оторвал от кружки рот и кольнул взглядом сбоку — она умолкла тотчас.

Но Улитин успел зацепиться за оброненное слово:

— Из Германии, значит? В родные места, домой?

— Никак нет, — ответил капитан. — Я курский, она пензенская. Едем по предписанию. Назначен в горвоенкомат. Капитан Илюхин... Пойди, мать, взгляни, как там Ванька.

Мать послушно встала и направилась к двери, шагая по-козьи, враскоряк, на очень высоких и толстых пробковых каблуках.

— Но едем оттуда, — подтвердил он. — Ваньке нашему полтора годика, там и родился, в Берлине, в самом логове. — Покачал головой сокрушенно. — Ну будет человеку паспорт!

— Ничего, — утешил Улитин. — Ведь дата, дата — сорок пятый?

— Так точно, сорок пятый. Уже на сносях брали.

Дверь опять отворилась, и в салон вошел высокий, поджарых статей мужчина в залитых сединах, которые отнюдь не старили его — потому и трудно было сразу примериться к возрасту, — подбородок его надменно вскинут, глаза безошибочно зорки: сел на свободный, никем еще не занятый стул, а не на тот, что согрела отлучившаяся капитанская жена.

— Добрый вечер, — кивнул всем.

Налил чаю, вытащил из кармана пиджака пеструю торбочку, растянул шнурок и вытряхнул на столешницу горстку медово-прозрачных скрученных жгутиков. Подумал, двинул от себя к середине:

— Угощайтесь, товарищи.

Товарищи медлили, созерцали.

— Что, невидаль? — Он усмехнулся лукаво и располагающе. — Это кавун-кок, сушеная дыня. Очень вкусно, очень сладко. В Средней Азии, можно сказать, тем всю войну и спасались — сушеной дыней... Да берите же, берите!

Улитин протянул руку, сильно волосатевшую от пальцев к запястью, взял, положил в рот.

— Да, вкусно, — согласился сразу.

Алексей пожевал сладкий вязкий жгутик и тоже нашел его вкусным, хотя припомнился ему в этой сладости уже подзабытый эвакуационный душок серой свекольной паренки, которой тоже спасались люди в других, не южных краях.

— Извините за прямоту вопроса, — сказал Улитин, — но чистый и здоровый интерес: к нам держите путь, надолго ль?

— Секрета нет. Я приглашен главным режиссером драматического театра. Да. А надолго ль...

Он усмехнулся вновь: мол, кто может знать в этом мире — надолго ль.

Улитин поднялся, протянул руку.

— Позвольте представиться: Улитин Семен Ильич, редактор газеты «Северная звезда»... Контакт нам не избежать: будем рецензировать, будем хвалить, покритикуем, если надо, ведь так?

— Вот за этим, уверен, дело не станет — покритиковать, — мягко отшутился владелец сушеной дыни, но тоже встал, пожал протянутую руку, назвал: — Станиславский.

Алексей с интересом вскинул взгляд.

Улитин поерзал на стуле, преодолевая жгучее любопытство, однако не превозмог:

— Извините еще... вы не родственник?

По лицу того скользнула гримаса усталого раздражения, дернулся кадык на шее, и от него взбежало к бровям, как извив молнии, но снизу вверх, и грома не последовало: можно было догадаться, что человек извелся за всю свою жизнь этим неизбежным и проклятым вопросом, задаваемым всеми, кто ни попадись ему на пути, извелся и поневоле притерпелся.

— Даже не однофамилец, — ответил холодно. — Все же он Алексеев, Алексеев, а не Станиславский! Станиславский — его театраль- ный псевдоним, всего лишь, в а м не мешало бы знать. А я — от рож- дения, настоящий, понимаете?

Притерпелся, да не совсем. Морщины на лбу продолжали ходить ходуном, брови нервно играли, и губы обиженно поджались куриной гузкой.

Он задернул шнурок своей торбочки, сунул в карман, встал, обро- нил на ходу:

— Спокойной ночи.

— Да, пора на боковую, — сказал Улитин в некоторой сконфу- женности, оглянулся на белую ночь. — Свет не свет, а спать надо. Доб- рой ночи, капитан. Пойдемте, Алеша.

Они занимали на «Тютчеве» каюту первого класса, два места.

Под окном, забранном деревянной решеткой, мерно шлепали по воде плиты пароходного колеса.

Семен Ильич скинул дырчатые курортные сандалии, потянул с ног носки — ноги его тоже были густо волосаты, будто валенки.

— Сколько вам лет, Алексей?

— Девятнадцать. В декабре будет двадцать.

— Значит, ленинградец. Блокадник?

Алексей поудобней устроил голову на подушке, подушка была тощей, пустой, затылок уперся в стенку, он взбил, подоткнул с углов.

— Нет, меня вывезли. Вернулся в сорок четвертом.

— Комсомолец?

— Да. — Усмехнулся про себя и добавил: — Не участвовал, не со- стоял, не привлекался.

Но сосед, не почуяв дерзости или намеренно оставив ее без вни- мания, сказал вполне серьезно:

— Это хорошо.

Грузно опрокинулся на постель, вздохнул. Но тотчас приподнял- ся на локте. Даже в сумраке были отчетливы его внимательные, тем- ные, как ягоды, близкие к переносице глаза.

— Значит, сказки?

— Не сказки, а сказы, — поправил Алексей, все больше тяготясь спросом.

— Думаете, есть?

Он промолчал: он не знал, есть ли, затем ведь и ехал, чтобы вы- яснить, чтобы знать.

— А вот и есть, — вдруг обрадовался сам Улитин, шлепнув себя ладошкой по лбу. — Мы в газете печатали: стишки такие — нараспев, народные. Про войну, «злые вороги...». Да-да, вот это я точно помню, что там не «враги», а «вороги».

Иначе и быть не могло.

— На Печоре записано, я и это помню, а вот как звать старуш- ку, какая фамилия, сейчас не могу вспомнить, надо заглянуть в под- шивки... Нет, вспомнил! Матрена Сидорова, Троицкий Посад. А запись сделал Матвей Кузьмич Малафеев, директор Дома народного твор- чества, тебе не мешало бы с ним встретиться...

«Матрена Сидорова, — зарубил себе Алексей. — Малафеев Матвей Кузьмич». С ним не только не мешало, а было необходимо встретиться,

об этом предупредили в институте: всю летнюю практику следовало отбыть под присмотром местных домов народного творчества, там же надо было отметить дату прибытия и дату убытия. И еще в институте намекнули, что в этих местных домах народного творчества водятся изрядные и нетраченные денежки — не на что тратить, лежат лежмя, потом идут на списание,— и вот из этих нетраченных денег, намекнули в институте, можно ухватить толику, кому сколько удастся, на дорожные расходы, на круженье по весям, на хлеб с молоком, за постоя и ночлеги, наконец, за сами фольклорные записи, ведь они очень сгодятся местным заботникам народного творчества в оправдание их забот,— короче говоря, из тех жирных касс надо было вымолить добавку к предельно тощим суммам, которыми сам институт снабдил практикантов.

Тем более что уже на первых порах своего путешествия Алексей понес непредвиденные и необдуманые издержки.

Взять хотя бы дорогую каюту первого класса, а перед тем мягкий вагон поезда — как вышло?

Он не запасся заранее билетом на поезд, а просто приехал на Ярославский вокзал за час до отправления, сунулся в кассу — билетов нет. «Берите на завтрашний поезд, тоже кончатся», — сказала тетка в окошке. Потерять целые сутки! Он до того закручинился, стоя около кассы, что сердобольная тетка в окошке пожалела его, посоветовала: «Езжайте до Александрова без места, всего сто километров, а там должна быть свободная броня». Он так и сделал, купил пригородный картонный билетик. В Александрове поезд стоял пятнадцать минут, он ринулся на станцию. Да, свободная броня была, билеты были — но только в мягкий вагон, исключительно в мягкий, цена страшная. Что ж, пришлось платить — не загорать же в Александрове, на сотом километре от Москвы!

В комфортабельном мягком вагоне пассажиров было раз-два — и обчелся, скука. В коридорчике у открытого окошка, куда залетал сладкий паровозный дым, Алексея разговорил одышливый и тучный человек в полосатой пижаме, едущий домой из отпуска: о себе поначалу не шибко распространялся, напуская тем самым значительность, а вот Алексея выпрашивал дотошно и не скупился на советы. «Печора? Туда есть три пути. От Котласа по Северной Двине пароходом до Архангельска, а там... Можно, разумеется, и поездом: в Котласе пересесть, доехать до Кожвы... Но лучше всего от Котласа вверх по Вычегде пароходом... Поверьте, мой друг, начинать всегда следует со столицы. Я еду именно туда».

«Хороша столица, — подумал Алексей, — к которой даже нет железной дороги».

А Котлас, где пересекались все реки и пути, где, как понял Алексей Рыжов, ему в любом случае надобилась пересадка, а уж там — во все стороны света, Котлас оказался серым и пыльным, но суматошным и бранчливым городишком, цыганским табором: на станции цыгане, на улицах цыгане, на базаре цыгане, гадают, воруют, поют и пляшут.

Однако с пристани открывался глазам торжественно-тихий и невозмутимый простор: синие реки утекали в зеленые леса, а по рекам плыли пароходы.

Выяснилось, что через два часа «Тютчев» уходит вверх по Вычегде, и Алексей, свободный в своем выборе, как витязь на распутье, решил: туда ему и дорога, быть посему.

У билетной кассы он вновь столкнулся нос к носу со своим недавним знакомцем, попутчиком, пассажиром мягкого вагона. «Будьте любезны, первый класс», — сказал тот кассирше, протягивая ворох денег. Алексея задел за живое этот барственный тон, в душе его закипело боренье самолюбия и вынужденной скаредности, пыла и рассудка, но самолюбие одолело, он выгреб из кармана половину

оставшихся денег и приказал громко, чтоб тот услышал: «Первый класс».

Улитин захрапел внезапно и яростно, без подхода.

Сказы, а не сказки.

В конце первого курса определилось, что летняя практика будет именно такова: сказы.

Ехать собирались группами и поодиночке, в вольный поиск. Он предпочел одиночество. Можно было самому выбирать направление, и он почти наобум избрал для себя удел исканий — Печора. С этим охотно согласились, утвердили.

Тогда же он решил испросить напутствия у профессора Шамшина.

Павел Петрович Шамшин преподавал на первом курсе Библиотечного института древнерусскую литературу. Он был известным фольклористом, учеником знаменитого Миллера и противником знаменитого Мюллера. Давным-давно, еще до революции, приват-доцентом, он прочел в императорском Московском университете нашумевший цикл лекций по народной словесности. За ним и теперь оставались часы в университете, но именно в Библиотечном институте Павел Петрович обрел тихую и, вероятно, последнюю пристань: он был очень стар, очень дряхл.

Во вступительной лекции он привел в веселое ликование даже робких первокурсников, объявив, что сейчас надиктует все необходимое — запишите в тетрадки, — что высказано по данному вопросу Марксом, Энгельсом и Луначарским, а уж потом, сказал профессор Шамшин, я буду излагать материал о б ы ч н о.

Как нередко случается с матерыми специалистами в своей научной области, Павел Петрович задержался надолго в кругу устного народного творчества и медлил с обращением к письменным памятникам — при этом он то и дело срывался на полемику, на грозный спор с давно поверженными или просто отошедшими в мир иной оппонентами, сердясь, он чуть повышал свой немощный и надтреснутый голос, с губ летела нечаянная слюна, кисти рук в узлах и пятнышках вскидывались протестующе, — но вот он понемногу унимался, затухал, голос делался монотонным от слабости, от истощанности, бубнящим невнятно и глухо.

Поначалу студенты еще задирали его. Старик говорил: «...по сути, до сороковых годов научного познания народной словесности в России не было...» — его прерывали вопросом: «Извините, профессор, сороковых какого века?» Он моргал озадаченно, пояснял: «Не этого, конечно, а прошлого, сударь, девятнадцатого, да!» Он продолжал: «Чистым, без примеси русским славянофилами считали быт допетровский и к петербургскому периоду относились враждебно...» — его спрашивали: «Павел Петрович, а почему допетровский, почему петербургский? Ведь вся эта пакость — и немцы и театры — началась с Алексея Михайловича, с Москвы...»

Потом и это надоело. Студенты откровенно скучали, рисовали чертиков, кидали записочки сомлевшим от тоски студентам, которых в Библиотечном институте было подавляющее, устрашающее большинство, — Павел Петрович замечал, видел это, но не пытался или же не умел взорвать скуку никакими иными средствами, кроме смысла, кроме того, что он говорил.

Равным образом он замечал, наверное, внимательный и слушающий взгляд студента в третьем ряду — юноши отнюдь не смурного, не книжного бескровного червя, в глазах которого его слова явно находили отклик.

Однако Алексей Рыжов не из чрезмерного прилежания, не из по добострастия был так внимателен: им владело любопытство и его по-прежнему, как в детстве, тянуло к с к а з к е.

После успешного экзамена, расхрабравшись, он сказал профессо-

ру Шамшину, что хотел бы проконсультироваться по поводу предстоящей летней практики. Павел Петрович кивнул одобритительно и вроде бы даже польщенно.

В назначенный день и час Алексей отыскал незнакомый ему до-селе переулок — близ самого центра, а вот поищи его,— вошел в подъезд старинного шестизэтажного дома. Взбегая по мраморным ступенькам, он увидел: парадная лестница была отделена стеклянной, со множеством выбитых шибок стенкой от другой лестницы, черной, впрямь закоптелой до черноты, а за этой черной лестницей были окна в темный и мусорный двор; дневной свет проникал сюда, к мрамору и добротным перилам, сквозь черный ход, и все, обычно спрятанное от чужих глаз, здесь было наружу — так вздумалось, так захотелось безвестному зодчему, так его осенило.

Алексею открыла встрепанная женщина, оглядела быстро, определила, что студент — не ошиблась,— указала на ближнюю дверь.

Он постучал.

— Войдите! — послышался голос Павла Петровича.

Большая квадратная комната была сплошь в книгах. Книги плотными рядами стояли в шкафах, лежали поверх шкафов, громоздились на подоконниках, на стульях, стопы книг, перевязанных бечевками, заполнили углы и подступали от углов к середине. Но от этих книг, ощутил Алексей, веяло не покоем умудренности, не степенностью, а, наоборот, непокоем, всполошенной вокзальной сутолокой. Было заметно, что они, эти книги, потревожены, стронуты с места не столь давно, они еще не устоялись на новом месте, не притерлись друг к дружке, но и, заметил Алексей, что не вчера, не позавчера: слой непуганой пыли лежал на них.

Узкая тропочка меж этих книг вела к письменному столу и небурной тахте, к креслу, в котором сидел профессор Шамшин, и к креслу, которое он предложил гостю:

— Садитесь, милости прошу... — Он протянул испятнанную свою, легкую, как перышко, руку, обвел стены и книги сокрушенным взглядом, сказал извиняющимся тоном: — Вот.

Алексей не знал, как реагировать ему на хозяйское извинение и в чем, в чем оно, смущенно откашлялся.

— Вот,— повторил Павел Петрович.— А там жильцы. До войны вся квартира была моей. Моя и Софьи Ивановны, покойницы, все три комнаты. А в войну нас уплотнили, подселили жильцов, в них бомба попала — Песочный переулок. Сначала четверых, но одного взяли на фронт, не вернулся, а потом еще двое приселились, прописались, родственники из Тулы, я возражал, но мне сказали — крупный завод. Родили двойню, теперь их уже семеро, жильцов. А я остался один, Софья Ивановна, жена, царствие ей небесное... — Он перекрестился украдкой.— Ну, война, с нею не поспоришь, на то и война, чтоб не роптать. Но ведь война кончилась? — С надеждой заглянул в глаза Алексею, переспросил тихо: — Кончилась?

— Да, кончилась,— подтвердил он.— Два года как кончилась.

— Два года,— поспешил согласиться Павел Петрович.— А они все живут, все живут. Жильцы. Что с ними делать?

Смешавшись вовсе и не зная, что ответить, как утешить, чем помочь, Алексей снова кашлянул в кулак.

Будто бы он опять увидел с чинной парадной лестницы черную лестницу, которой положено быть сокрытой от глаз, а она тут, наружу.

— Стало быть, вы...

— Летняя практика, профессор,— на всякий случай подсказал Алексей.

— Так-так. И куда же вы собрались, коллега? В какие дальние края?

— На Печору.

— На Печору, на Печору...— призадумался профессор, оглаживая седые космочки, росшие над самыми ушами и на затылке обтянутой вялой кожей головы.— А это хорошо — на Печору! Там еще мало кто бывал. Подвинье, Обонежье, Кемь, Вологда — все это изъезжено, искожено, выслушано, записано, переписано, переврано, да-да...

Он заметно оживился.

— А на Печору вы Колумбом явитесь! Даже завидую: мечтал и я когда-то добраться до тех глухоманей, но в молодости так и не собрался, потом, после революций, там шально было, а потом... Что потом? — с некоторым удивлением переспросил сам себя Павел Петрович. Сам же и ответил: — Суета сует — вот что потом. Да-с, молодой человек, суета сует. А за нею — уж тут как тут — и старость. Вам не понять, как это близко... Теперь — никуда.

Алексею было очень трудно представить себе профессора Шамшина, кружащегося в суете сует,— он представлялся лишь таким, сидящим в ветхом кресле, загордившимся рядами и стопами пропыленных книг, он никак не представлялся молодым, а только старым, как сейчас.

Но глаза Павла Петровича все яснили, освежались нахлынувшей памятью:

— «...в поганьские человеки, еже зовут югра и печера, иде же живут чудь и самоедь...»,— процитировал наизусть с удовольствием, как стих.— Это из жития Дмитрия Прилуцкого, позднее, четырнадцатый век, а ведь было и раньше. Поганьские-то поганьские, а новгородцы оттуда, с Печоры, вместе с данью невест вывозили. Да и возвращались половинными ватагами: оседали на Печоре, женились, а как Иван Третий покорил Новгород — бежали туда, к воле...

Павел Петрович, зачем-то оглянувшись на дверь комнаты, склонился к Алексею, зашептал:

— А два века спустя побежали туда несметно со всей Руси: и раскольники, и стрельцы, и мужики крепостные, и казаки... Но вот заметьте: никониане преследовали раскол, старообрядцев, а наиболее гонимы были — кто? — певцы, скоморохи, поэты, батенька! Они уходили в леса, к морю, в скиты... Вы представляете, что там должно сохраниться, на Печоре? Старинные книги, притом рукописные, ранние списки, а может быть — и неизвестные вовсе. Грамоты, письма. Иконы бесценные, утварь, одежды... А песни?

Старик дышал надсадно, взволнованно.

— Ведь тех краев, слава богу, никто не достигал: ни татары, ни ляхи, ни немцы — никто! И ученый люд не больно-то совался, не нашкодил еще... Вы представляете?

— Да,— обрадовался Алексей, почуяв запах удачи.— Там должны быть и сказители, непременно.

— Что? Как вы сказали? — напрягся вдруг в мгновенном отчуждении Павел Петрович.— Вы сказали — исказителю?

— Я сказал — сказители... сказительницы, ну, в общем... — растерянно пробормотал Алексей.

— Вот-вот! — Профессор Шамшин поднял остерегающий палец.— А ведь я предупреждал, я говорил вам на лекциях: это неверная и даже вредная форма — сказители, сказители-исказителю, хотя она и общеупотребительна. Нужно говорить: ска-за-тели, ска-за-тельницы. Этим подчеркивается неоднократность исполнения, даже — профессионализм. Сравните: спасатель и спаситель. Спасатель — на лодочной станции, матрос, он спасает тонущих людей, это его профессия. А спаситель — в этом слове совершенно отчетлива однократность. Христос-спаситель... Храм Христа Спасителя. Помните, на Волхонке? Его взорвали. Там что-то другое ладилось строить.

— Я не видел,— сказал Алексей.— Я не москвич, я из Ленинграда, точнее — Кронштадт.

— Не имеет значения. Я говорю о слове. Спаситель... смертью смерть поправ... Вы ощущаете разницу?

Алексей отвел взгляд.

В узком проеме окна чуть наискосок был виден дом причудливого облика, похожий на боярский, а то и царский терем: витые столбы, надбровья арок, крыльцо с шатром, зазорный шпиль, на котором разве что недоставало петуха — все это в камне, — а по фасаду надпись: «Российская ссудная казна».

Им овладело странное чувство, схожее с голодным обмороком: будто, изъятый из настоящего времени, он перенесся в прошлое, прошедшее, давно прошедшее время, в котором никогда не был. Где цари и бояре раздавали подавания из российской ссудной казны, где приват-доценты толковали о Христе-спасителе — будто бы его переместили во времени невероятно далеко, по крайней мере лет за тридцать назад, из которых на его собственную жизнь приходилось неполных двадцать. Кошмарное, пугающее чувство.

Он мотнул головой, избавляясь от этого морока.

— Вы ощущаете разницу? — продолжал издали Павел Петрович, вероятно не заметивший мига отсутствия своего собеседника. — Спаситель и спасатель, сказитель и сказатель...

В коридоре оглушительно рухнула на пол жесть, ведро или лохань, послышались бранчливые голоса.

Морок исчез.

— Жильцы. — Губы профессора Шамшина искривились страдальчески. — Жильцы...

Капризная настойчивость, с которой он повторял это слово, и мудреная словесная игра, которой они только что занимались, подсказали Алексею сходные пары: жильцы — не жильцы, жилец — не жилец... Он понял, что в уме старого хозяина большой квартиры такая связка еще не возникала или же он гнал ее и она маячила в отдаленье, но для всех остальных, для новых и шумных обитателей, она давно уже сделалась непреложной истиной, о которой просто помалкивают, дожидаясь.

— Ну ладно, давайте вашу зачетку, — вздохнув, сказал Павел Петрович.

— Нет, спасибо... спасибо, профессор. Ведь я уже сдал вам экзамен, на прошлой неделе. Мне достались Четьи-Минеи.

Он так и не успел объяснить, что задание летней практики было несколько иное: записывать надлежало не старины, а новины.

Тут были и свои трудности, о которых студентов предупредили заранее, был свой риск. В минувшем сезоне один практикант нашел на Мезени старушку-вопленицу, слагавшую сказы на старый лад, но на сегодняшние темы, очень актуально, — он хотел уж было записывать, как вдруг оказалось, что эта старушка в свое время окончила вологодскую гимназию и была сама настолько грамотна, что настрочила на него вдогон в институт пространную кляузу, будто он пытался лишить ее куска хлеба на склоне лет... И еще надо было строго и с разбором подходить к тематике новин: например, вопли двадцатых и тридцатых годов надлежало рассматривать не как новины, а как старины. В институте сказали прямо, что новое — это уже послевоенный период, хотя он только-только начался. Однако о самой войне пока еще тоже годилось — с Германией и с Японией, — и в том была надежда Алексея...

Простясь, он выпел тем же переулком на улицу Горького, к льям и пушкам Музея революции.

... Был июнь, самое начало июня. А именно было 5 июня 1947 года — Алексей запомнил это число, как запомнили, наверное, многие люди, бывшие в тот день в Москве, и вот почему.

Весна выдалась хорошей, дружной, яркой. К началу июня деревья

выгнали полный лист, и эта листва лишь юной свежестью и юной нежностью своей напоминала о ранней поре лета. Молодая травка махрилась под стенами зданий, била изо всех щелей асфальта, тщиалась приподнять чугунные решетки у подножий деревьев.

И вдруг полдненное горячее солнце кануло в хмарь. Метнулись белые мухи, которые Алексей сначала принял за тополиный пух, но этот пух, эти мухи завились густым роем, холодом коснулись щек, все вокруг запуржило-запуржило, занавесилось кутерьмой метели. Снег остудил раскаленные крыши и гладко лег на них. Листья сникли под тяжелыми хлопьями. И черный Пушкин в зеленых потеках окисленной бронзы, стоявший в приподнятом устье Тверского бульвара, весь побелел, каждая складка его одеяния опушилась снегом, и снежная шапка укрыла понурю голову.

Дохнуло зимой.

Он опять испытал то странное и пугающее обморочное чувство, что и полчаса назад, — чувство возврата в прошлое, давно прошедшее, а сейчас в минувшую зиму, как в сон, где ты летаешь перепончатокрылым.

Но все это было недолго.

Солнце опять появилось в небе, омытое, еще более жгучее.

По крышам стремительно расползались проталины. Под ногами зачавкала серая каша и дальше побежала водой. Повеселел мокрый с головы до ног, блестящий Пушкин. Белая пена срывалась на землю с листьев, оставляя на них мокрый глянец, они распрямлялись, искрились, роняли капли — большие и прозрачные, как слезы счастья.

Алексей пригладил сырые волосы, отер платком лицо, хохотнул.

Теперь ему показалось, что снег был не из прошлого, не из минувшей зимы, а из будущего, из грядущей и скорой его встречи с Севером, — он счел это добрым знаком.

Вывело из сна ощущение неподвижности — стоим.

Еще не разомкнув век, успел подивиться: а с каких пор, давно ли человек приспособился безмятежно и сладко спать в движении, в пути, когда ход не свой, а казенный, не отзываясь пробуждением ни на рытвины дороги, ни на качку моря, ни на стукотенье вагонных колес и крутые заносы, а как только движение кончилось — тут и сон долой.

Открыл глаза.

Пароход стоял, едва колеблемый волной, и солнечные зайчики, отраженные зыбью, проникали сквозь планки ставня, скользили по потолку и углам.

Улитин тоже проснулся, вероятно минутой раньше, вглядывался в щелку: что там?

На палубах и крыше громыхали сапоги, с капитанского мостика доносился гневливый мат.

— Сели, — сокрушенно покачал головой Семен Ильич. — Сидим на мели... Хотя, — в заспанных его глазах мелькнуло рассуждение, — хотя какие же мели в июне? Вода в реке полая, фарватер широкий... Нет, вряд ли. Надо разузнать.

Он подобрал живот, влез в брюки, застегнул ремешки сандалий.

Алексей тоже оделся и вышел следом.

«Тютчев» приткнулся к правому низкому берегу, отороченному шелковистой молодой осокой, уже зачаленный к пню — тут и намек не было на пристань.

Поодаль от береговой кромки возвышались штабеля сосновых, осиновых и березовых стволов мерной длины, без сучьев, а за ними росли живые березы, прихотливо изогнутые, раскудрявые, веселые. Только березы, чистый березняк, из чего можно было заключить, что

лес тут изводили не у самой реки, а в некотором отдаленье, где были и сосна, и осина, и та же береза, и оттуда, из глубинки, подвозили к берегу.

У самого борта в узком, отливающим смолю челне сидел, суша весла, усатый старик с облупившимся носом, курил сигарку, безразлично внимая капитанской речи.

— Так вашу растак, злодеи, дезертиры труда! — орал капитан. — Ну-ка беги, зови кого ни есть, пускай мне на глаза покажутся!

— И не побегу, — отвечал старик. — И не дозовешься, сколь ни кричи. У них в селе престольный — Прокопия Устюжского. Разве ж докличешься людей в престольный праздник?

— Про-ко-пия? — багровел от ярости капитан. — И матери его Хныхны?

— Зачем ругаешься? Прокопий Устюжский, юродивый, хороший был святой. При чем тут мать?

— Так праздник, поди, на воскресенье попал? А нынче у нас что с утра — пятница, а? Пятница...

— И-и, — лишь отмахнулся старик в лодке, — кто же престольный праздник одним днем гуляет? К другому бы хоть воскресенью проморгались — и то добро. Будто сам не знаешь, будто сам не свой.

— Я-то свой. А пароходы чьи? Ведь пароходы идут вверх и вниз — навигация! А ты-то чей, разве не на службе? Гриб поганый, пьянь соловая, враг народа! — крайней мерой разразился капитан.

Но уж этого старик не вытерпел: кинул в воду сигарку, туда же плюнул, ухватился за весла и стал загребать одним, огибая борт парохода.

— Не смеешь попрекать, — сказал на прощанье. — Я сам и не прокопьевский даже, а никольский, из другого села. И службу свою как бакенщик соблюдаю — бакены у меня в порядке. Так что иди ты...

Лодка скрылась из виду.

Улитин и Алексей поднялись на верхнюю палубу, к капитанской рубке. Там уже был знакомый им сосед по первому классу, армейский капитан Илюхин, слушавший объяснения капитана парохода:

— ...должны были нарезать дрова, распилить на чурбаки, загрузить на судно. По договору, у пароходства договор с сельсоветом. И вот гляди — ни души, ни рожки. И лес не распилен. А у меня всего девять матросов, из них три бабы. Если сейчас начнут пилить и таскать — до вечера, до поздней ночи проваландаемся тут, никак не менее. Из расписания почти на сутки выбьемся... Понимаешь, капитан?

— Погоди, капитан. Это, конечно, не дело — сутки долой. — Илюхин нахмурился, сбил фуражку козырьком на нос, почесал в затылке. — Это, конечно, не дело... А пилы у тебя есть, капитан?

— Пилы-то есть, пилить некому.

— Хватит пил у тебя?

— Чего доброго, а пил хватит.

— Ну что ж, — коротко вздохнул Илюхин и посадил фуражку прямо, — пойду скомандную боевую тревогу: наверх вы, товарищи, все по местам... Иду.

— Не скомандуешь, — покачал головой капитан. — Времечко теперь другое, не война. То в войну бывало — наверх вы, товарищи... Так в войну и прокопьевские никаких престольных праздников не помнили! — Опять забагровел от гнева.

— Ладно, посмотрим, — сказал капитан Илюхин. — Кидай все сходни. Вели, чтоб тащили пилы... Иду.

— Интересно. — Семен Ильич подмигнул Алексею. — Интересно очень. Нет, ты погоди пока... Слушай, я вчера забыл тебя спросить: а как же ты будешь эти сказки записывать? Аппарата у тебя, вижу, нет...

— Я немного стенографирую.

— Ах вот оно что. **Курсы?**

— Нет, тетка в Москве, у которой живу, моя родная тетка — она стенографистка, очень хорошая — научила.

— Ах вот оно что, — повторил Улитин.

Между тем со всех палуб, из пассажирских трюмов, из всех трех классов парохода «Тютчев» потянулся к трапам народ. В большинстве солдаты, кто в погонах, а кто без погон, по чистой демобилизации: эти быстрее других скумекали, о чем их вежливо попросил, к чему призвал их капитан Илюхин, едущий, как и они, из Германии и других вызволенных стран.

Вышли и мужчины постарше, не сильно изувеченные с виду, ранее вернувшиеся с фронтов. Вышли женщины во вдовьих глухих платках и пасмурные, огрубевшие лицом, никого не дождавшиеся невесты. Вышли подростки тщедушного телосложения, молчаливые недокормыши военной поры, привыкшие не спрашивать, нужны ли, потому что знали, что нужны.

— Теперь пойдём. — Улитин тронул плечо Алексея. — Пойдём и мы.

Силком и криком никто никого, конечно, не гнал. Многие сошли на берег просто для радости: поразмять ноги, притоптать зеленую траву, надышаться досыта запахами листвы и хвои, насладиться глаза синевой небес.

Но радость радостью, а с парохода уже несли поперечные, крупного зуба, двуручные пилы — и стало ясно, что досужего прохладного гулянья не предвидится, запрягайся в работу, лень не лень, охота ль неохота, здоровье или нездоровье, смех или плач, а суй безропотно шею в хомут, запрягайся в работу всем миром, как научила война.

Еще минуту назад совсем незнакомые, безразлично и отчужденно глядевшие друг на друга люди вдруг делались знакомыми — тебе рукоять и мне рукоять, — и теперь уже в их глазах возникала обоюдность, согретая не только самой работой — врзали, пошли, давай ходче, — но и общностью воспоминаний.

Алексею и Семену Ильичу скатили со штабеля осиноый гладкий кряж. Они пристроили его на две опоры, на два комля, как на козлы, чтоб не зажимало в середине. Пила вошла в дерево как в масло, фонтанчиком брызнули розоватые сырые опилки. Чурбак отвалился вроде бы сам собой. Его тотчас же подхватили, передали с рук на руки, и дальше он пошел по рукам, по цепочке, к пароходу. А они уже допиливали другой, взялись за третий, близясь к концу.

Но следом им подбросили березовую лесину, жесткую, суковатую. Зубья пилы с трудом перегрызали кольца, спотыкались, будто напоровшись внутри на гвоздь, скрежетали вхолостую, опять выходили на плоть — вот это уже была взаправдашняя работенка, а не баловство с осиноой.

Семен Ильич, задохнувшись, придержал пилу и повел в сторону колючим неприязненным взглядом, пробормотал:

— Станиславский, видишь ли.

Алексей оглянулся.

Невдали от них берегом степенно шагал, заложив руки за спину, Настоящий Станиславский. Голова его была гордо вскинута. Но нельзя было даже упрекнуть, что он открыто и преднамеренно демонстрировал свое барство или что он вовсе не замечал работающих вокруг людей, их сноровистых хлопот и дружного их копошенья. Наоборот, отмерив несколько длинных шагов, он вдруг останавливался, круто поворачивался, подпирал кулаком задумчивый подбородок и вглядывался пристально, исподлобья в эту живую картину бескорыстного труда, как будто запечатлевал ее, эту сцену, во всем общем размахе и во всех частных деталях. Затем шел дальше.

— Станиславский, понимаешь ли, Немирович-Данченко... — продолжал ворчать Семен Ильич. — А там, в Средней Азии, где он раньше работал, скорей всего поперли в загривок. Уж поверь мне, да-да.

К нам сюда за так не приезжают.— Он быстрым языком обежал пересохшие губы, и в глазах его на мгновение мелькнула досада, что сболтнул лишнее. Однако повторил убежденно: — Поперли — факт.

— Постановление? — наемкнул Алексей, имея в виду недавнее постановление о репертуаре драматических театров, даже у них в институте его обсуждали на открытом партийном собрании, он был, слушал.

— Постановление? — воздел брови Улитин.— На такую фитюльку — постановление? Нет, брат, постановления — это по тузам, по личностям. Хотя, конечно, могло и откликнуться — в местном масштабе, по мелюзге. А скорей всего, я тебе скажу... — Он подумал, но передумал. — Нет, не скажу. Сейчас не скажу — через год скажу, запомни.

Но тут он опять и уже злее подосадовал на себя за неуместную болтливость, нахмурился, низко согнулся над безработной пилой. — Давай.

Они потащили ее опять взад-вперед.

Алексей усмехнулся в душе этому посулу: через год. Где и каким образом смогут они встретиться через год с Семеном Ильичом Улитиным, редактором провинциальной газеты, случайным соседом по каюте? Неужто он с той же провинциальной простотой в конце долгого пути вынет записную книжечку и попросит московский-ленинградский адресок, номер телефона?

За березовой лесинкой им досталась сосна, толстая, мясистая, коры на три пальца, и они ее разделявали уже спокойней, без дерганья, постепенно и ровно углубляясь.

Вокруг кипел спорый труд. Звенели, пели, шли в азартный обгон пилы. Штабеля бревен оседали: взглянешь — ниже, а еще через пяток минут вскинешь взгляд — еще ниже, тает на глазах. Но еще достаточно, порядочно.

За спиной Алексея с легким уханьем перебрасывали поспевающие отовсюду чурбаки — с рук на руки, по цепочке. И в рабочей запарке казалось, что все слышней долетает сюда гуденье паровой топки, все внятней ее нестерпимый жар, — дым столбом уходил в небо из трубы «Гютчева».

— Пстой, не могу...

Семен Ильич устало выпрямился, расстегнул пуговицу на рубашке, морщась, начал растирать волосатую черную грудь слева, под вислой титькой.

— Порок сердца, не лечится ни черта... — объяснил грустно. — Из-за этого и не воевал, признали негодным. Всю войну тут в газете... Ну а твои — отец, мать? Где?

— Отец погиб в сорок первом. Был комиссаром на Балтфлоте.

— Так-так.

— Мать работает в Смольном.

— Так-так... в Смольном?

— Да. Инструктором в партучете.

— Вот, значит, как.

Семен Ильич смотрел на него с нескрываемым и жадным интересом.

Пила, врезанная до половины в бревно, была сейчас неподвижна, по ней сползали тоненькие сопельки живицы и, мутнея, застывали.

Алексей предположил, что напарник просто тянет время за этими ненужными расспросами, чтоб отдохнуть, побережь сердце, однако тот сказал:

— Знаешь, я ведь тоже ленинградский, но давно, очень давно.

Темные печальные глаза Улитина внезапно просияли, залучились. Он замахал рукой, глядя мимо него.

— Клара! Клара, девочка!.. — закричал. — Иди сюда, к нам! Да иди же, чего стесняешься?..

Алексей обернулся.

К ним приближалась, не слишком торопясь, ступая легко, но достойно, вынося носок перед другим носком, девушка лет девятнадцати — он прежде всего догадался, что они одногодки, — в ситцевом платье, цветом и пестротой досконально повторяющем, как маскхалат, цвета и пестроту прибрежного июньского травостоя. Она была изящна, тонка в талии, но плечи ситцевого платья, согласно моде щедро подложенные ватой, были широки и лихо вздернуты на манер чапаевской бурки, они ломали, скрадывали прелестную соразмерность ее тела — он и об этом сразу догадался, — но какая же дурочка восстанет против моды. Зато гибкая шея вырывалась стрелою из этих подложных плеч. Темно-русые ее волосы — как струны и будто на колки — были стянуты к затылку, сплетены там в тугую косу, а коса скручена плотным калачом. Эти волосы не затрагивали, оставляли на воле маленькие уши, и одно из них — это сразу заметил Алексей — было оттопырено чуть больше другого, как у взбалмошного щенка, услышавшего звук.

Они уже стояли близко друг против друга в неловком молчании, Алексей глянул на Семена Ильича — ну что же? — и увидел, что губы того расплылись в розовый кисель, а глаза заволоклись, замаслились: стало ясно, что бабник.

— Знакомьтесь, — сказал Улитин. — Это Клара Истомина, солистка народного хора, из нашей филармонии — о, какой у нее голос!

— Семен Ильич! — взмолилась девушка.

— Да... А это — Алексей, студент из Москвы. Вот едем-едем, говорим, а фамилию и позабыл спросить. Как ваша фамилия, Алеша?

— Рыжов, — сказал он ей.

Она протянула руку.

— Вот и ладно, — одобрил Улитин. — Кларочка, детка, знаешь что? Допили-ка ты за меня, прихватило сердце, — он снова почесался под рубашкой, — с ним вместе, молодые оба, ну?

— Конечно же, — согласилась тотчас Клара.

И по тому, как хватко взялась она за рукоять, оперлась другою рукой и расставила ноги в упор, как склонилась привычно и готовно, он догадался и об этом тоже: что ей не в диковину такое дело, знает эту работу, эту каторгу, намытарилась за войну, за детство, ведь они сверстники.

Улитин, отойдя уже на несколько шагов, обернулся — как бы оценивая издали, что за пара, как бы соединяя их, — сказал:

— Да, Кларочка... Обедать будешь с нами. Отчалим — ты и приходи, хорошо?

— Я не знаю, — пожала она громоздкими плечами. — Ведь я во втором классе еду, у нас там свое.

— Пусть. А ты приходи к нам. Обязательно. Слышишь?

— Спасибо вам за приглашение. Только я не знаю. — Улыбнулась. — Я подумаю еще.

— Вот и правильно. Подумай, поломайся — и приходи, — заключил Улитин.

Они принялись допиливать сосновый кряж. Девушка была в свежей силе, зная, заспалась, припоздала к всеобщей страде и теперь желала наверстать, а у Алексея прибыло новых сил. Но вначале даже показалось, что и сил не нужно: так легко, сама собой ходила ходунном пила меж ними, весело, играючи, то вытягивая руку на себя, то толчком сгибая ее в локте. Шло движение от нее к нему, от него к ней, попеременное слаженное качанье, их макушки сблизились почти вплотную, и ловилось встречное дыхание, увлеченное посапыванье.

Ах, они были молодцы. Едва кончалось одно — срывалось жало в пустоту, дрогнув, отваливался набок телесный срез, — как они начинали опять, не переждав ни мига, войдя в раж и страсть, торопясь неумно, подзадоривая, испытывая, не щадя друг друга.

Только раз у них возникла заминка — это когда Алексей заглянул сверху в вырез ее платья, чтобы проверить, не от той же ли моды, не от ваты, там вздымается столь пышно, а она, почуяв этот взгляд, вскинула ресницы, смутилась, потупилась, щеки полохнули румянцем, но там было вовсе не из ваты, а свое, прирожденное — чего бы не гордиться? — и она опять подняла глаза, полные отчаянной смелости.

К обеденному часу все изголодались до такой степени, что и позабыли радоваться бодрому ходу поршней, доносящемуся из машинного зала сюда, в салон, не обращали внимания на виды, вновь поплывшие мимо окон, а следили с нетерпением, как официантка Валя выкраивает ножницами талоны из хлебных карточек.

— Вам триста? Триста хлеба, вам тоже триста... Блюда пойдут без карточек. Есть коммерческий спирт — будете заказывать?

— Пожалуй, закажу — сто грамм, боевые, наркомовские, министерские теперь, — в предвкушении шевельнул ноздрями капитан Илюхин. — Нет, ей не надо.

Семен Ильич, все еще мусоля украдкой свою натруженную титку, долго обдумывал предложение, колебался, но в конце концов изрек:

— Была не была, сто... Вам заказать, Алеша?

Алексей, одарив его косвенным уничижительным движением бровей — а мы сами не нищие, — заказал:

— Мне сто пятьдесят.

— Ого! — подивился Улитин. — Это не водка, спирт.

— Сто пятьдесят, — ледяным светским тоном повторил он.

— Нет, благодарю. Не занимаюсь, — брезгливо вытянул губу Станиславский. — А хлеб у вас какой — белый, черный? Мне бы только белого, хорошо пропеченного.

— Попролам будет. Пропечем, — посулила официантка Валя, пересчитала талоны, взяла из буфета графин и мензурку, ушла.

— До чего же все это надоело — карточки, талоны, литер А, литер Б... — пожаловался неизвестно кому Станиславский. — Два года уж как нет войны, а все то же — карточки, талоны! Бред.

Алексей испытал острое желание схамить ему, так, без причины, ведь и он не питал особой любви к этим карточкам-талонам, но схамить захотелось очень, едва сдержался, еле превозмог.

— Видите ли... — рассудительно заговорил Семен Ильич. — Прошлым летом я тоже отдыхал в Крыму, в Ореанде, возвращался домой в эту же пору, в конце июня. Ехал по Таврии, пересек Украину, дальше Белгород, Курщина, вплоть до самой Москвы — и все было выжжено словно пожаром, будто еще одна война прокатилась: такая страшная засуха, такая беда. Божье наказание, талдычили старухи, — а за что, мало горя?.. Стихии слепы.

Впервые за время, что провел он подле своего случайного попутчика, Алексею легла на слух и на душу речь Улитина, он, признаться, даже не предполагал, что этот человек умеет найти такой склад и такую весомость слов, проникновенность интонации, — но ведь он работает в газете, сам пишет и других учит писать, редактирует, на то и редактор, как же иначе?

— А сейчас я проехал тем же путем, — продолжил Семен Ильич, и в тоне его появилось торжество. — Солнышко, дождь в окошке, опять солнышко, опять дождь. Крым, Приднепровье, дальше Россия — Черноземье, Нечерноземье. Повсюду хлеба в рост, густые, сильные. Картошка в цвету, подсолнухи стеной, бахчи богатые, в лугах трава, гуляет сытый скот... Вы понимаете, куда я клоню? — Улитин помахал хлебной карточкой. — Не бывает ничего из ничего, всему свой срок!

Он хорошо говорил и, похоже, был сам этим доволен.

— Что ж, поглядим, — умиротворился режиссер.

— А у нас в Карлсхорсте...

Это попыталась войти в застольную беседу жена капитана Илюхина, но смолкла, остановленная строгим взглядом мужа.

— Что-что? — заинтересовался Семен Ильич.

— Она хочет сказать, что в Германии, — перевел капитан Илюхин, — в Берлине, то есть в нашем секторе, и во всей зоне, я имею в виду советскую зону, с хлебом было нормально. И с хлебом и с приварком. Я имею в виду не войска, в войсках всегда порядок, я имею в виду немцев, население — получали в норме. Видите ли что. Это в нашей зоне кормились нормально, а в трех других — голод. У американцев, англичан, французов голод, безработица и это... как бы сказать...

— Проститутки там, — сказала жена.

— Помолчи. Так вот, значит, а передвижение свободное, почти свободное. В Берлине из сектора в сектор на трамвае можно. На эсбанае, на метро, хоть пешком. И вот что на деле получается: вместо одного рта — четыре сразу, еще из других зон.

Официантка Валя, толкнув коленом дверь, внесла на подносе тарелки с хлебом, каждому отдельно, и графин. Поставила, отмерила мензуркой в граненые стаканы. Разложила вилки-ложки, удалилась.

Станиславский отломил нетерпеливо корочку от своего ломтя, пожевал, вслушался, опять пожаловался:

— Черт, привык я в Средней Азии к лепешкам, к пресному хлебу — они тесто на воде замешивают, без дрожжей, чудо — и вот никак не могу войти в прежний вкус...

— Это ничего, — успокоил Семен Ильич, — войдете, пока доедем.

Дверь салона снова приоткрылась, и в нее просунулась голова в венце темно-русой косы — Клара Истомина, она всего-то и успела, что переплести да уложить по-новому косу, платью на ней было то же.

— Кларочка, дитя! — с завидной легкостью грузного человека взвился Улитин. — К нам, к нам, вот и славно, что пришла... Прошу любить и жаловать: Клара Истомина, певица, солистка, талант, соловей наш!

Он выдвинул стул и усадил ее рядом с собою.

Алексей этим вполне удовлетворился, потому что теперь она сидела за столом прямо напротив него и было удобно ее разглядывать.

Улитин вполне по-хозяйски достал из буфета еще один стакан и отлил ей чуток из своего, непригубленного.

— Спасибо, — не стала жеманиться Клара.

— Ну расскажи, расскажи. Экзамены сдала, поступила? — Семен Ильич объяснил всем присутствующим: — Она ездила в Москву поступать в консерваторию... Как успехи?

— Успехи мои хорошие, Семен Ильич, — ответила ему Клара. — Москву повидала, в Мавзолее была, в Большой театр попала, в парке трофейная выставка — тоже была. Впервые в жизни все. Я ведь и паровоз впервые в жизни увидела. Вот... А в консерваторию меня не приняли.

— Почему? — округлил глаза Улитин. — Плохо спела? Ты?..

— Спела я хорошо. А на диктанте срезалась — пара.

— Пара... Как же умудрилась?

— Ошибки. Каверзный очень диктант. В одном слове — две ошибки. Написала «венигрет».

— Ах вот оно что... Погоди, а надо как?

— А как надо? — задорно переспросила Клара, обедавая взглядом сидящих за столом. — Вот вы, Семен Ильич, редактор, газету выпускаете — а как надо?

— Положим, у меня для этого есть корректоры, зарплату полу-

чают,— прихмурился, скрывая смущение, Улитин.— Ну а что скажет на сей счет филолог?

«Два «е»? — лихорадочно соображал Алексей.— Два «и»? Экая глупость, ерунда...»

— Да что вы, в самом деле! — раздраженно вмешался в спор Станиславский.— Ведь это от французского *le vinaigre* — уксус... значит, «винегрет» — «ви», «ви», это так просто, уксус...

«Ну да,— вспомнил Алексей,— конечно...» Ведь он учил французский и в школе и в институте.

Снова отлетела к стене торкнутая коленом дверь. Официантка Валя внесла большую эмалированную миску и водрузила ее на средину стола.

И все, кто был за этим столом, покатались с хохоту.

В миске кроваво и мятежно рдела свекла, сияла солнышком морковь, сверкала слюдяными блестящими бликами квашеная капуста, рыхлилась омытая постным маслом картошка, издали вышибал слезу крупно нарезанный репчатый лук, а вот запаха уксуса почему-то вовсе не чувствовалось — но то был знакомый и знатный, незатейливый и роскошный, вселенский и всепогодный винегрет, пища богов и студентов.

Валя, озадаченная и даже оскорбленная непонятным ей беспричинным хохотом пассажиров первого класса, сказала сердито:

— Еще уха будет, из трески. На второе тоже треска, жареная. А мяса на этом пути не будет, так что как хотите.

— Хотим! — воскликнул Семен Ильич, подняв стакан.— Хотим... За здоровье милых дам: за ваше, Валечка, за твое, Кларочка, за ваше, фрау Илюхина... Пьем!

Алексея потряс, как удар в дыхало, глоток чистого спирта. Но и другие пили, не разводя, не мешая с водой,— храбро отпила и Клара — значит, так и положено пить в здешних высоких широтах.

Все заметно оживились, даже Станиславский, который не пил, но тем не менее определенно захмелел — видно, огненная влага проняла его на расстоянии, по индукции, что ли.

Он наклонился через стол к Кларе Истоминой и, ткнув пальцем в батальное крошево винегрета, спросил вьедливо:

— Значит, вы считаете, что срезались на этом?

— На диктанте,— подтвердила Клара.

— А что вы пели на экзамене? Ведь вы, надо полагать... народница?

— Да, я в народном хоре. А в Москве я пела Рахманинова, романс.

— Кого?..

Станиславский смотрел на нее с брезгливой жалостью, как на убогонькую.

— Рахманинова,— повторила Клара и, не пряча дерзости, пошла открыто: — А вы думаете, что по мне один Будашкин?

— Нет, почему же, почему же...

Станиславский тотчас спасовал, откинувшись назад к спинке стула и подпер кулаком задумчивый подбородок — этот его жест Алексей запомнил еще по утренней сцене на берегу, когда все пилили бревна, а он запечатлевал,— но в глазах режиссера по-прежнему сквозила насмешка.

— Уж поверьте мне, что не из-за этого,— сказал он значительно.— Не из-за винегрета. Н-не верю!

— А из-за чего? — громыхнув по тарелке вилкой, потребовал ясности Алексей Рыжов.

Голова у него кружилась. Она так быстро кружилась вокруг собственной оси, как заводная юла, что сама скорость вращения скрадывалась, обретающая новую неподвижность, и все сидящие за этим обеденным столом напротив и сбоку не замечали вращения, им казалось, что все на своем месте — глаза, нос, рот,— что они у него не на затылке, а где надо, и только он один чувствовал, как вращается.

Он считал, что настало время заступиться за бедную девушку, которую тут, за столом, обижали безнаказанно.

Ему вдруг очень захотелось вмазать этому надменному типу, который разъезжал по периферии, обманывая людей, дурача простаков, выдавая себя за Настоящего Станиславского.

Еще он ощутил желание вмазать заодно своему соседу по каюте Семену Ильичу Улитину, чтобы тот не трогал своими масленистыми липучими глазами молоденьких девиц, старый хрен, однако Улитин сидел сейчас смиренно и даже не смотрел на Клару, а смотрел как раз на него, Алексея, с пытливым, хотя и вежливым любопытством, и уже за это ему следовало вмазать.

Капитана Илюхина он решил пока не трогать.

— Из-за чего? — продолжал требовать ясности Алексей. — Извольте объяснить — вот вы, вы...

Но тут официантка Валя принесла тарелки с жареной треской, гарнир — картошка.

И перетрусивший Станиславский поспешил воспользоваться этим, замаять назревающий застольный инцидент, уйти таким образом от ответа на вопрос и заслуженного избиения.

Он нагнулся к своей тарелке, понюхал, упоенно шевеля ноздрями, воскликнул театральным голосом:

— Лабардан!.. Л-лабардан! — Обратился к Алексею мягко и миролюбиво: — А вы знаете, что этот знаменитый лабардан в «Ревизоре» — обыкновенная треска всего-навсего?

— Ну да? — усомнился Алексей, он помнил «Ревизора» еще по школьным недалеким годам.

— Ей право.

— Треска у нас на Севере продукт наиважнейший, как хлеб, — сказал Семен Ильич. — Ловят-то ее далеко, в морях-океанах, а считается едой здешней, исконной.

— Тресцёцкий не поесь, друзоцек, — не поработаешь! — поцокала смешным печорским говорком Клара Истомина. И, строго нахмуриив брови, приказала Алексею: — Ну-ка ешь.

После обеда он проспал в каюте часа три и вышел на палубу продуть мозги, когда уже за вечерело.

Плотный холодный ветер летел навстречу, срезая гребни волн и добрасывая пригоршни брызг даже сюда, наверх, мелкой моросью, как веснушками, осыпая лицо.

Клару обнаружил на корме одну-одинешеньку, зябко обхватившую ладонями голые локти: она смотрела, как разбегаются от торопливых колес парохода косые пенные борозды врозь, каждая к своему берегу.

Алексей стянул с себя кожаную куртку, заношенную, отцовскую еще, и заботливо укрыл ею спину девушки, она кивнула благодарно, не оглядываясь.

Тогда он поцеловал ее в затылок и обнял, она не воспротивилась.

— Истомина, почему ты Истомина?

— А у нас вся деревня Истомины. Лентяи, значит, лежебоки.

— Клара, а почему ты Клара?

— Отец с матерью решили. В честь Клары Цветкин, была такая революционерка, старуха, бу-бу.

Засмеялись, глядя друг на друга близко, поцеловались — долго и всласть, губы у нее были крупные и спелые, а плечи, он ощутил, были прекрасно покаты и гладки под ватными эполетами, а грудь ее была полна и упруга.

— Пусти, увидят — светло кругом.

— Никого нет.

— Да пусти же... — Она вырвалась, задыхаясь. — Ну зачем?

Он не нашелся, что ответить.

Но она уже спрашивала о другом, вполне деловито:

— Послушай, чего он ко мне за столом вязался — этот седой, жила эта, — что ему до моего экзамена, до Рахманинова? Чем ему Рахманинов поперек?

— Контрик.

— Кто?

— Рахманинов. А про этого я еще не знаю, просто гад.

Клара испуганно вскинула брови:

— Как же так... ведь Рахманинов.

— Он был против революции, — объяснил Алексей. — За границу деру дал.

— Как же так... — закручинилась она.

Ему стало жалко ее, и он поспешил хоть немного успокоить:

— Но потом он вел себя прилично. Особенно во время войны: выступал с концертами по всей Америке, а деньги — в фонд обороны, на госпитала. Так что...

— Какой войны? — спросила Клара.

— Как это какой? Ну этой, которая сейчас была. Он ведь и умер не так давно — сразу после Сталинграда, когда домолотили окружение.

— Господи... а я-то думала — сто лет назад.

Алексей усмехнулся, оценив все свои преимущества перед нею, опять стиснул ее плечи, оба плеча одной рукой, а другою рукой пошел по гибкой талии вниз и вниз, а губами впивался в ее рот, будто упырь.

Она обмякала в его объятиях, под его поцелуями, но вдруг вскинулась резко и враждебно:

— Ого... Да ты что? Набаловали вас, мальчишек, солдатки. Вразумили... Отстань.

Он отстал, отодвинулся, нахохлился обиженно.

— Хочешь, я спою тебе, Алеша?

Теперь она перед ним виноватилась и старалась утешить, задобрить его.

Алексей не ответил, хочет ли, а она пусть поет, если так уж самой захотелось..

Клара вытянулась всею статью, ладонями позади оперлась о поручень как о крышку рояля, запела.

Услышав первые звуки, он прежде всего с высокомерным презрением подумал об Улитине, как тот распинался нынче: соловей, мол, наш соловей, соловушка... Предел тугоухости, дремучего и стыдного невежества. Разве это соловьиный голос? Нет и нет. Это был совершенно другой голос: бархатистый и низкий, меццо-сопрано, ах, с каких низин и к каким высотам взлетает звук, она поет в полный голос, не стесняясь и не хоронясь, все равно никого вокруг нет, да и невозможно тут петь вполголоса, потому что ветер срывает прямо с уст едва возникший звук и уносит его прочь, — она стала спиной к ветру, но тот успеваешь обежать шею, коснуться щек и опять сорвать звук, как поцелуй, беда с этим ветром.

Поутру, на заре, по росистой траве я пойду свежим утром дышать; и в душистую сень, где теснится сирень, я пойду свое счастье искать...

А ведь он должен был предположить, что у нее именно такой голос: под стать ее богатой груди — теперь он с уважением смотрел на эту поющую и вздыхающую грудь, — под стать ее гладким и округлым плечам, прямым и сильным волосам, сходящимся струнами в тугой узел косы, глазам цвета гречишного меда, или сосновой смолы, или янтара — глаза ее были глубоки и прозрачны, как голос: высоты и бездны.

В жизни счастье одно мне найти суждено, и то счастье в сире-

ни живет; на зеленых ветвях, на душистых кистях мое бедное счастье цветет...

Ее бедное счастье. Невеликое счастье этой деревенской девочки, провинциалки, хористки, народницы, размечтавшейся о столице, о консерватории, о славе — и вот пожалуйста, срезавшейся на обычном диктанте, возвращающейся домой ни с чем, пой на корме старого колесного парохода, даже послушать некому, кроме ветра и вот этого паренька-мальчишки, соображающего — как бы.

Алексею было понятно и близко ее бедное счастье, ее несчастье, неудача ее — он и сам испытал не столь давно некоторое разочарование в жизни, познал горький вкус неудачи и тоже всячески старался упрятать это подальше и понадежней от чужих догадливых глаз, — и тут они были с нею, пожалуй, ровня.

Но когда они пилили дрова поперечной пилой — тебе, мне — и когда он мял ее в объятиях здесь, у палубных перил, — тогда это равенство чувствовалось определенной и уверенней: ты да я, тебе да мне, нам обоим.

А когда она пела — вот как поет она сейчас, гордо вскинув подбородок и вся приподымаясь на вздохе, как на крыльях, — тогда в ней появлялось что-то недоступное и величавое, не для него, не по нем, тем более что он уже ясно понял, что она хорошо поет и что голос у нее редкий.

Движимый чувством равенства — лишь этим естественным и праведным чувством, — он опять цепко обхватил ее, заткнул ее поющий рот губами.

Она замотала головой, будто тонула, и уже нахлебалась воды, и опять напоследок, теряя силы, высунулась наружу испить последний глоток воздуха — простонала:

— Да не мучь ты меня! Дурак...

Сошвырнула с плеч его кожанку и ушла быстрым шагом.

К исходу третьих суток пароход «Тютчев» дошлепывал рейс.

Семен Ильич, откинув матрац, спустил свой чемодан, перебрал в нем до мелочи, утрамбовал курортное барахло, защелкнул замки, натянул поверх чемодана белый саван, обшитый синей тесьмой, и тщательно, как ширинку, застегнул его на все пуговицы.

Сел, отдуваясь. На нем был серый коверкотовый костюм, дырчатые сандалии на ногах, а голову украшала мягкая белая войлочная шляпа с бахромой — кавказская, хотя он ехал из Крыма, — и Алексей определил, что в этой лохматой шляпе и пижонском коверкотовом костюме, с отросшей щетиной на подбородке, вислым носом и черными маслянистыми глазами он похож на знатного чаевода, точь-в-точь.

Сам он, Алексей, давно был собран.

— Послушайте... — сказал Семен Ильич.

Алексей за время пути уже свыкся с тем, что его сосед то и дело независимо от темы и предмета разговора, от погоды и времени дня, независимо от внешних обстоятельств, есть кто рядом или нет, независимо даже от настроения, а просто как захочется, как будет угодно повернуться языку, обращался к нему то на «ты», то на «вы», но сейчас официальность обращения была подчеркнута несомненно.

— Послушайте, Рыжов... Вы вольны как угодно распорядиться своей практикой, дело хозяйское. Несколько дружеских советов я вам уже дал, пользуйтесь за спасибо.

— Спасибо, — кивнул Алексей.

— Но теперь я хочу вам дать еще один совет. Верней, это даже не совет, а предложение... Я пригляделся к вам, не скрою, вы меня заинтересовали. По-моему, вы человек способный, достаточно мыслящий для своего возраста, речь у вас развита — значит, писать сможете...

— Спасибо, но это уже не совет, а целая характеристика. А у вас ее никто не запрашивал.

— Ну, положим,— без особой обиды стерпел его хамоватый тон Семен Ильич.— Однако вы пропустили мимо ушей другое: не характеристика, не совет, а предложение — я делаю вам предложение, Рыжов.

— Какое? — Алексей отвалился к стенке, ногу закинул на ногу, а руки засунул в карманы. Его все более потешал этот неожиданный разговор, затеянный случайным попутчиком на последних верстах пути. Но он решил делать вид, что слушает всерьез.— Какое предложение?

— А вот... Мне нужны люди в редакции. Понимаете, мы выходим пять раз в неделю, четыре полосы формата «Правды» — я имею в виду газету,— а работать некому, во всех отделах недобор, да и писать-то, признаться, не каждый мастак, раз-два — и обчелся... Очень трудно делать номера, заполняем их тассовским материалом, но за это, можете догадаться, нас крепко шерстят против шерсти.

— О-о,— посочувствовал Алексей.

— Трудности эти, конечно, временные. Многих журналистов еще держит армия. Но ведь идет демобилизация, армейские редакции расформируются, людей будут направлять в местную печать. Москва обещала. Может быть, уже едут.— Улитин оживился.— Может быть, на этом же пароходе, где мы с вами, кто-то едет в город, в редакцию, но мы не знаем друг друга: он еще не знает, что я его начальник, а я и не подозреваю, что это мой подчиненный, а? — Рассмеялся, довольный.

Алексей вежливо прихихикнул и сказал:

— Все это очень интересно. Но, извините, при чем здесь я? Вы обмолвились о каком-то предложении...

— Совершенно верно. Притом я ничуть не обмолвился. Я предлагаю вам отработать практику у меня в редакции. Весь срок, сколько там положено — месяц, полтора? Ну вот, полтора месяца... Значит, на полтора месяца я зачислю вас на зарплату: ставка восемьсот тридцать, это немного, но вы будете получать гонорар, а гонорар у нас очень и очень приличный, даже не расходует полностью, остается на каждом номере, опять-таки из-за нехватки материалов...

Семен Ильич вздохнул горестно, вспомнив об этих неизрасходованных, уплывающих безвозвратно живых деньгах.

— Кроме того — командировки. Все расходы берет на себя редакция: проезд, суточные, квартирные и так далее...

— И вы пошлете меня на Печору?

— На Печору? — переспросил Улитин, словно он впервые услышал о том, что Алексею нужно именно на Печору.— Ах да... Что ж, поезжайте на Печору. Я пошлю вас куда угодно. Расстояния нас не пугают, были бы охотники. Чем дальше, чем глуше — тем лучше для газеты.

— И вы будете печатать сказы? — доверчиво и преданно заглянул Алексей в ясные глаза Семена Ильича.— Из номера в номер?

— Сказы? Можно и сказы. Если вы найдете что-нибудь подходящее — на тему, на злобу дня... Но почему одни лишь сказы? Ведь вы так много увидите нового, что вам, я уверен, захочется писать и свое — заметку, очерк... Я уверен!

Да, он был слишком уверен, чересчур. В себе, в своей редакторской власти, в солидности и влиятельности своей зачуханной газеты, выходящей пять раз в неделю на четырех пустых полосах, в редакционном сейфе, где громяхают денежки, как в базарном глиняном поросенке со щелкой на хребте.

Во всяком случае, он был совершенно уверен, что любой и каждый нормальный человек сразу же клюнет на приманку, тотчас польстится на обещанный харч, на золотые горы, на громкую славу борзо-

писца, чье имя известно повсюду: чем дальше, чем глуше — тем лучше. И за эту славу, за этот харч любой нормальный человек пожертвует всем на свете, даже свободой — хотя бы и свободой бедного студента.

Нет, пора было кончать, ставить точку. То есть как раз подошло время осадить и поставить на место этого зарвавшегося наглеца, одышливого караса, похотливца, знатного чаевода. Самая пора... Но зачем, зачем грубить? Ведь можно это сделать мягко и вместе с тем высокомерно, с тем холодным дендизмом, который отличает коренного питерца, — а он-то, он ведь тоже намекал, что питерский, хотя, мол, и давно.

— Знаете, — сказал Алексей, — мне было очень приятно с вами познакомиться.

— Приятно слышать, — без тени иронии или обиды ответил Семен Ильич.

— Мне было очень приятно ехать вместе с вами в одной каюте, — настаивал Алексей. — Поверьте, это было очень приятно...

Улитин поднялся, высунул голову в окно — белая бахрама его шляпы заметалась на встречном ветру.

— А, уже бензохранилище, баки! Сейчас мы войдем в реку, в устье, — сообщил он, ликуя. — Хотите взглянуть?

— Нет, спасибо. Я уже видел однажды бензобаки. Где-то в другом месте.

— Скоро покажется город, — не скрывал радости Улитин. — Войдем в устье реки — тут и город.

— Будьте добры, скажите. Я давно хотел вас спросить...

— Что?

Семен Ильич втянулся обратно, сел.

— Я заметил, что здесь все говорят «река», не называя ее, говорят «город», тоже не называя. Мне это показалось странным. Скажите, здесь что — один город, одна река?

— Здесь очень много рек, — сказал Улитин. — Река на реке, рекой погоняет. Много рек и озер.

— Вот как? — почтительно удивился Алексей. — И много городов?

— Нет, городов... раз, два, три. Всего три города. Пока.

— Почему же все говорят «город», не называя его?

— Да, действительно, вы правы... — улынулся Улитин. — Здесь так принято, просто — «город». А почему? Вероятно, потому, что до революции здесь был всего-навсего один город, уездный, этот... Зато теперь целых три.

— Ах вот оно что. Целых три?

— Да. Берите свой чемодан, пойдемте к выходу, — терпеливо посоветовал Улитин. — Первый класс будут выпускать первым.

Там, у перекрытых выходов, уже была адская толчея, давка, духота. Всем хотелось как можно быстрее покинуть борт парохода «Тютчев», осточертевшего за долгое и томительное плавание, все стремились перебраться с хляби на твердь, ступить на землю города.

«Город... город...» — на все лады повторяли в толпе.

За грудой чемоданов и кофров не нашенского вида, добротной кожи, в ремнях и пряжках, послышался озабоченный голос фрау Илюхиной:

— Как утащим, как утащим?.. Тут носильщики хоть есть?

— Дотащим, — успокаивал ее капитан Илюхин. — Как досюда тащили, так и дальше потащим. Не загнемся.

— У вас большой багаж, — посочувствовал невидимый за чемоданами Настоящий Станиславский. — А я все потерял в войну, решительно все... Гостиную орехового дерева, павловский кабинет, книги, картины — все. У меня осталась лишь спальня карельской березы, отлич-

ной работы, дорогая спальня. Я отправил ее сюда малой скоростью, следом. — Он испустил стонущий вздох. — Ведь покалечат, мерзавцы!..

— А у вас семья? — не забыла все же поинтересоваться Илюхина: женщина никогда, при любых обстоятельствах, не упустит этого вопроса.

— Я одинок, — печально и гордо ответил Станиславский. — Жена ушла от меня к полковнику... Я все потерял в войну, все.

«Город... город...» — молитвенно долдонили вокруг.

Всеобщая суетливая всполошенность настигла наконец и Алексея, передалась ему.

— Какая здесь гостиница поближе?

— Гостиница? — переспросил Улитин. — Гостиница близко.

— Как называется?

— Никак. Просто — гостиница, у нас в городе одна гостиница.

Пока. А вы решили в гостиницу?

— Конечно. Куда же еще?

— М-м... — неопределенно помычал Улитин. — Знаете, на пристани есть нечто вроде гостиницы — койки для транзитных. Попробуйте устроиться там.

— Отчего же? — снова изговорился вспылить Рыжов. — Я останюсь в гостинице.

— Валяйте, — безразлично согласился Семен Ильич. — Гостиница близко, только она без названия.

— До свиданья, — сказал Алексей.

Ему захотелось поскорей отделаться, отбояриться от своего непрошеного опекуна, случайного соседа по каюте.

— Мне было очень приятно. Весьма.

— До свиданья. Желаю удачи. — Улитин выпростал зажатую в тесноте руку, подал влажную ладонь. — Но если вам понадобится моя помощь — милости прошу, всегда буду рад.

— Непременно, — сказал Алексей.

Теперь, когда прощанье состоялось, надо было и впрямь увильнуть, отдалиться, а это оказалось вовсе нелегко. Он попытался втесаться плечом в плотняк напивавших тел — вправо, влево, — ему удавалось продвинуться на полшага в сторону, а его прибивало, притискивало обратно к Улитину, и он опять видел рядом темнотодные, слегка насмешливые глаза.

Он заработал локтями сильнее, ожесточенней, даже не разобрав сгоряча, что движется в противоположном и ненужном направлении, не к выходу, а наоборот — в глубь толчеи, в глубь пароходного чрева, но сейчас единственным его стремлением было: отделиться, отдалиться.

— Ох..

Локоть Алексея ударился, уткнулся, то есть нет — он ушел в мягкое и податливое, упругое и нежное, от чего так знакомо закружилась голова. Он понял, что это грудь, девичья грудь, и тотчас, не успев еще обернуться, понял — чья.

— Ты?

— Я, — тихо отозвалась Клара Истомина. — Здравствуй. Ты на меня не в обиде?

— Нет, зачем же... я просто боялся, что тебя не увижу, не встречу.

— Разве ты хотел бы меня встретить?

— Да. Я уже прикинул: найду вашу филармонию, спрошу, где репетирует хор, войду, сяду в уголке — и высмотрю.

— Вот как хорошо, как складно ты все сообразил, — покачав головой, сказала Клара. — А филармония наша на ремонте, а хор уехал в район обслуживать сенокос, а мне еще неделю в отпуске гулять — и никому бы на глаза не попадаться с досады, что завалилась... Вот ты меня и не нашел, вот ты меня и потерял, Алеша.

— Нашел ведь.

— Это я тебя нашла сейчас. Глазами позвала — ты услышал.

Он усмехнулся, зная, что не к ней проталкивался, не к ней греб, а, следуя настойчивому желанию, уходил от другого человека.

— Ты про меня еще ничего не знаешь, какая я,— с непреклонной убежденностью и важностью сказала Клара Истомина.

Рифленый железный пол, под которым стукотела машина, содрогнулся, поплыл из-под ног — это пароход «Тютчев» с ходу таранил дебаркадер пристани.

«Город... город...»

Клару толчком кинуло в его объятия. Близкие губы зашептали второпях:

— Запоминай. Слобода, Пятая Десята, три.

— Что? — удивился Алексей. — Что ты мелешь — пятое, десятое...

— Вот и запомнил. — Она отпрянула от него и, растворяясь в толпе, кинула задорно: — Ищи... залетка!

Ухабистый мощный взезд вел от пристани круто в гору.

По левую руку лепились, восходя ступенями, дощатые крыши бревенчатых домов — то ли жилых, то ли казенных, но одинаково унылых с виду. А справа ниспадали к реке купы деревьев, рисуясь дробным сквозным узорочьем на фоне плоского неба, залитого невнятным и неправдоподобным светом белой ночи, — но еще эти деревья были подсвечены снизу электрическим светом, фонарями, и оттуда доносились протяжные стенанья и хрипы труб духового оркестра, который играл вальс. Алексей сразу догадался, что там, где эти деревья, фонари и музыка, — городской парк, танцевальная веранда, и столь же уверенно он угадал, что этот звучащий вальс — последний, так слезлив он был, хотя все российские вальсы, которые играют духовые оркестры, грустны и надрывны, будто к расстаням и войне, под них не танцевать, а рыдать безутешно, однако танцуют. И война, слава богу, недавно кончилась. И наш герой Алексей Рыжов отнюдь не расставался с этим городом на реке, а, наоборот, он только что прибыл в этот незнакомый город на безвестной реке, в Город-на-Реке.

Чутьем выбирая дорогу к центру, он шел по улицам, светлым и совершенно пустынным, лишь изредка дорогу перебежали сосредоточенные псы да волоклись, кланя и проповедуя, горькие пьяницы.

2

В регистратуре гостиницы за барьером сидела тощая дама в искусно повязанной чалме, с бесстрастным и мертвым от пудры лицом.

— Нет, мест нет. — Она возвратила Рыжову паспорт и направление с институтской печатью. — Нет, мест не будет. Все забронировано. Нет.

Она говорила с сильным прибалтийским акцентом, при котором тягучая монотонность лишь подчеркивает, что нет — это нет.

— Как же мне быть? — сокрушенно спросил Алексей. — Куда деться?

Она повела глазами в затененную глубину вестибюля, где в потертых кожаных креслах спали, уронив головы, сжимая коленями чемоданы, такие же невезучие, лишенные брони люди, как он.

Плюхнувшись в свободное кресло, Алексей не сразу впал в дрему — ему не хотелось спать, — а еще долго осматривался, разглядывал соседей, эти застывшие в самых нелепых позах тела, будто их перестреляли, не дав подняться; долго изучал освещенный настольной лампой горбоносый профиль дежурной дамы, она сидела неподвижно за своим барьером, уставясь в одну точку.

Его вдруг заинтересовало: почему у нее прибалтийский акцент? Да и эта чалма, густая пудра подтверждали, что она оттуда, из Кауна

са или Риги, с этой модой европейские женщины вошли в войну и вышли из нее, кто уцелел, даже в Освенцим и Майданек они приезжали в таком виде. Он хотел подойти и увериться, что она оттуда, из Каунаса или, может быть, Таллина, спросить, почему застряла тут, не возвращается домой, но ему было лень вставать.

К тому же он припомнил, что знал очень многих людей, застрявших в эвакуации надолго после войны, и среди них тоже было немало прибалтийцев — они эвакуировались первыми, потому что ударило по ним сразу, их занесло в самые дальние и неожиданные места, но, странное дело, они там застревали долее всех других, однако известная неторопливость была вообще в их характере.

Догадавшись об этом сам, все поняв — и впрямь оказалось незачем вставать, — Алексей тихо-мирно заснул.

Его первая эвакуация была краткой: чуть больше месяца — и обратно домой.

А перед этим в самом начале июня кронштадтских школяров вывезли в пионерский лагерь под Ижору. Здесь было приволье. Все же, как ни любили они свой островной город, он то и дело напоминал им о тесных своих пределах: побежишь вперегонки по Пролетарской — глядь, улица кончилась, оборвалась: берег, море; только разгонишься на самокате по Октябрьской — тормози, стоп: ворота, гавань. Уж какой несказанной и таинственной далью казались леса и песчаные дюны на западной оконечности Котлина, где прибой играл черепами и костями, вымытыми из кромки военного кладбища, где камни фортов были слеплены не известкой, не цементом, а свинцом (они стковыривали плюшки на грузила), где на Толбухиной косе шелестел ивняк, — даже там не нашлось тогда места, чтобы разместить пионерский лагерь, их повезли на матери.

Зато в Ижоре было где разгуляться: поляны, по которым не идешь, а плывешь, саженками разгребая пахучие рослые травы, в пене цветущей кашки, где на тебя набегают, холодя сердце, штормовые гребни холмов, а над тобою в синеве и солнце, задевая облака, покачиваются, поскрипывают корабельные мачты сосен... Ах, как хорошо.

С первых же дней стали готовиться к военной игре. Их разделили на «красных» и «синих». Алеше повезло, он попал в «красные». Не то чтобы «синие» были плохи — ведь это тоже были свои, наши, те же кронштадтские ребятишки, просто условный противник, без противника не бывает военной игры, ни детской, ни взрослой, — и все-таки он радовался, что попал в «красные». Помимо всего прочего, он понимал, предвкушал, что «красные» обязательно победят «синих». Однако вспомнилось, как отец рассказывал матери, похохатывая: как совсем недавно на одном большом и серьезном военном учении «синие», ко всеобщему изумлению и оторопи, в дым расколотили «красных» — чего только не бывает на учениях...

Алеша попал в «красные».

Он все ждал, что им раздадут винтовки: тоже, конечно, условные, какие-нибудь палки, но чтоб не воевать голыми руками. Тем более что часовые на посту у ворот лагеря стояли с ружьями — топорной плотничкой работы, но даже со штыками — и, сменяясь, передавали друг другу это оружие. Хоть бы такое.

Воздух был напоен добротой лета. Воздух был полон тревоги.

Они, кронштадтцы, были ближе к войне, чем остальные. Ведь они жили в военной крепости, выдвинутой на самый край. Полтора года назад затемнение обволокло город беспросветно и глухо, автомобили ездили с синими, как больничный кварц, осторожными фарами. Вечером, залезая тайком на крышу пятиэтажного дома по Коммунистической улице, где они жили, напротив школы, Алеша видел стойкое зарево над северной стороной Финского залива — горел Выборг.

Потом все успокоилось как будто. В городе и гавани стало тише. Флот перебазировался в Таллин. Отец наезжал домой урывками — внезапно и ненадолго. Усаживал сына на колени, расспрашивал об успехах в учебе (Алеша учился в пятом классе), вдруг скашивал выпученные глаза на черный зев репродуктора: «Опять?» «Опять,— смеялся Алеша,— и вчера и позавчера...» Москва упоенно играла Вагнера: то молодцеватый непреклонный марш из «Тангейзера», то налетающий стремительными вихрями «Полет валькирий»... «Товарищи, внимание!»— начинал отец важным тоном стародавнюю уличную побрекушку. «На нас идет Германия»,— подхватывал Алексей. «А мы здесь ни при чем...»— напоминал отец. «По пузу кирпичом!»— смеясь, орал Алешка.

Отец вдруг мрачнел, сгонял его с колен, становился неразговорчивым, уезжал.

Так дадут ли им винтовки?

Ничего не дали. В субботу между полдником и ужином состоялась игра, к которой так долго готовились. Сначала в неизвестном направлении ушли отряды «синих». Потом Григорий Львович, военрук, командир «красных», поделил их надвое: одни двинулись той же дорогой, что и «синие», преследуя их, а другим, в числе которых оказался Алеша Рыжов, выпал окольный и дальний марш-бросок, километров за пять, то шагом, то бегом — они совершенно выдохлись, когда наконец последовал приказ залечь на косогоре и понадежней замаскироваться: ребята наломали веток ольхи и березы, еловых лап, заслонились ими. Из-за леса в вечеряющее небо взмыла ракета, зависла, пошла к земле, чертя дымный след. Оттуда же донеслось нарастающее дружное «ура-а!». Григорий Львович вскочил, дунул в судейский волейбольный свисток-гармошку, скомандовал:

— В атаку, вперед!

Они углубились в чащу, почти неразличимые в зарослях густого подростка, шелестя листьями по листьям, ворвались с тыла в оборону «синих» в тот самый момент, когда первый отряд ударил в лоб. Победа была несомненной, полной.

На вечерней линейке Григорий Львович выкликнул Алешу, спросил строго:

— Почему ты пренебрег маскировкой, бежал открытым?

— Моряки идут в бой открыто,— насупясь, ответил он.

— Значит, тебя убили,— сообщил военрук.— Хуже того: ты демаскировал остальных.

— Моряки идут открыто,— повторил Алеша.

— Ну и зря. Надо маскироваться... Становись на место.

Но он, упрямый, дал себе зарок на всю жизнь: всегда идти открыто, не маскироваться — да ведь и не умел он все равно. Пусть лучше убитый.

На ужин были жирные оладьи и парное молоко.

Назавтра в полдень, в неурочное время, горнист протрубил тревогу. Запыханный и растерянный вожатый сказал: война. Сперва они не поверили, заулыбались, решив, что военная игра продолжается. Но их заторопили окриками: собирайте вещи.

У парама в Ораниенбауме бурлила людская толчея, военные были в походной амуниции, ремни через оба плеча, женщины убивались, лили слезы.

А еще через день их эвакуировали из Кронштадта под Тихвин, за Тихвин, в деревню. Разместили в тамошней школе на дощатых нарах, сколоченных наспех, притрушенных сенцом. Старшие, взрослые, успокаивали, объясняли, что все идет по плану: что Кронштадт — военная крепость и согласно плану все кронштадтские дети, школьники и дошколята, с началом войны подлежали эвакуации именно сюда, в тихий Ефимовский район, в глухие деревни и села, где войны даже не слышно.

И впрямь: войны тут не было слышно.

Краем уха да с чужих слов узнавали они о том, что дела на фронте не ахти, что немцы наступают, а наши отходят, сдавая города, что фашисты уже бомбили Москву, а балтийские летчики нанесли в ответ бомбовый удар по Берлину, но Ленинград не бомбили и Кронштадт не бомбили, значит, мамы были живы, и они тоже были живы-здоровы, а отцы их бились с врагом.

Это был странный месяц: застывший знойный воздух, неподвижные слоистые облака, неправдоподобная тишина вокруг и сами они, истомившиеся, не знавшие, чем заняться (хоть бы колхоз позвал на какую-нибудь прополку, но колхоз не звал и не полол), с беспокойством ждавшие — что же будет дальше?

На тощей неоседланной кобыле прискакал мальчонка из сельсовета, отдал старшим телеграмму, принятую по телефону и записанную от руки, ускакал, вздымая пыль.

Им тотчас же велели собираться, строиться. Они потянулись на станцию. Дорогой витал пугливый, невесть откуда взявшийся шепоток: немецкие танки идут на Тихвин, в окрестностях высажен парадетский десант, дорога на Ленинград отрезана, а куда же теперь, куда-куда, известно куда, в Вологду...

На станции пыхтел паровозик, тормоза взад-вперед вереницу открытых платформ, на каких возят гравий и песок, балласт. Им велели забраться на платформы, они расселись там плотно, тесно, кучно, будто опять. Семафор открылся, паровозик гуднул не по чину басовито, состав тронулся — и нет, вовсе нет, они сразу это поняли, ни в какую не в Вологду их повезли, а, наоборот, напрямик в Ленинград, да-да, в Ленинград, все обрадовались, зашумели, значит, враки это про десант и про танки, зряшная паника, все обрадовались, особенно ленинградские дети, которые были вместе с ними: домой, домой.

Через три часа пути, когда они уже икали от тряски, сидели чумазы от паровозного дыма, с почерневшими веками и ноздрями, их состав скрестился на разъезде с другим эшелонном.

В длинных пульмановских товарных вагонах хлопотали женщины, волосы которых были забраны, повиты чалмами, ведь это очень удобно в дальнем пути, где нельзя ни раздеться на ночь, ни причесться толком, ни вымыть голову, — они с удивлением смотрели на остановившуюся рядом череду открытых платформ, одни головки торчат из-за бортов, торчат и озираются вокруг — ведь интересно. А у этих женщин в чалмах были свои дети, полные вагоны детей, и этим детям тоже было интересно — детям всегда интересно видеть других детей, — и они указывали пальцами, гомонили, требовали объяснений, почему вот этих детей везут в одну сторону, а их в другую, какая же это эвакуация, если одних туда, а других обратно.

Женщины в чалмах подбегали к платформам, причитали:

— Иссанд, иссанд...

Причитая, они вскидывали глаза к небу, то ли обращаясь к богам, то ли желая убедиться, что небо чисто, что в нем не видно бомбовозов, — эта привычка была непонятна русским детям, ведь они не признавали богов и еще не видели чужих бомбовозов.

— Иссанд, кухню над вийаксе? — испуганно причитали женщины. — Куху тейд вийаксе?..

Язык их был непонятен, но звуки его были знакомы слуху, близки той чухонской речи, которую без особой натуги распознают ленинградские жители. Алеша догадался, что это эстонцы, что это эстонские женщины и эстонские дети. Они спрашивали: господи, куда вас везут, кухню тейд вийаксе?

— В Ленинград, — объяснил он, — в Ленинград.

— Ленинград... — повторяли они, горестно поднося к щекам ладони. — Ленинград...

Но некоторые из них успели отбежать к своим вагонам и вер-

нуться, неся круглые зарумяненные буханки ржаного хлеба. Они разламывали его, протягивали куски к бортам платформы:

— Лейб, лейб... вытке лейба...

А это уж было совсем понятно: хлеб, хлеб, возьмите хлеба. Алеша Рыжов даже удивился тому, как, оказывается, близок по звучанию и по вкусу эстонский хлеб русскому хлебу.

Они ведь не обедали и вот уже сколько времени ехали на тряских платформах, на ветру, в дыму. Все они очень проголодались и были рады хлебу, куску простого хлеба, обыкновенного хлеба без всего, такого вкусного и сытного хлеба с чужою слезой на корке, капнувшей невзначай.

Паровозик гуднул, чокнулись буфера платформ, они поехали дальше, махая руками оставшимся на разъезде: эстонским женщинам и их эстонским детям, так еще и не выучившимся разговаривать по-русски, не обвыкшимся еще за короткий срок в новой для них жизни, так и не понявшим, что они едут домой, к своим мамам, в Ленинград.

Утром он спросил прибалтийскую даму, которая сдавала дежурство, не знает ли она, где тут Дом народного творчества.

Та не знала. Зато другая, принимавшая дежурство, белобрысая, сразу видно и поговору слышно, что здешних северных исконных кровей, охотно и подробно объяснила, как найти: отсюда выйдешь, иди до угла, потом направо и вверх, вверх по улице, в гору, а там будет перекресток, сразу за перекрестком по правую руку, увидишь, синий дом, туда тебе — к Малафееву?

Да, к Малафееву, точно, обрадовался Алексей, ведь именно эту фамилию назвал ему сосед по каюте.

Обнадеженный участием, он попросил у новой дежурной разрешения оставить за барьером чемодан, чтобы не таскаться с поклажей. Она разрешила: ставь, чего там, пускай стоит, никто не уведет.

Алексей Рыжов вышел в город.

Против гостиницы было пожарное депо старой кирпичной кладки, беленное прямо по кирпичу, с четырьмя воротами и высокой каланчей, на ней — колокол, но колокол молчал, ворота заперты, пожара нигде не было, и никто не бил в набат по поводу его приезда в Горона-Реке, тихо было.

Однако Алексей сразу понял, что пожарная каланча служила не только украшением этой — судя по всему, главной — улицы. На ней, хоть и главная, каменные дома стояли наособицу, их можно было перечесть по пальцам: гостиница, из которой он вышел, пожарка напротив, двухэтажный дом в некотором отдалении, на углу, где ему предстояло сворачивать, похоже, что школа (так и есть, школа, убедился он, поравнявшись), и на другом углу хорошо оштукатуренный трехэтажный дом, жилой, добротный, судя по всему, для начальства, — вот и все, что он сразу охватил взглядом. Нет, еще, когда он свернул направо, где было ему указано: строенье багрового кирпича с дореволюционными затеями, узорчатой выкладкой, белые занавески в окнах — больница или роддом; и наискосок через улицу, где фанерный щит с чудовищно искаженным лицом Любови Орловой, фильм «Весна», ну и кисть, ну и живопись, однако сам кинотеатр каменный, предвоенной постройки; а вон там, где улица круто разгоняется в гору (вверх, вверх, как объясняли ему, значит, идет он правильно), — там маячило здание нахальных конструктивистских очертаний, торчком и дыбом, задрное начало тридцатых годов, кудрявая, что ж ты не рада.

Вот и все.

Эти здания тем резче бросались в глаза и тем паче казались наперечет, что они были вкраплены, высажены, врезаны в сплошное деревянное царство, плотницкое раздолье, хитроумное теремное и столбовое зодчество.

Некоторые дома были облицованы вагонкой, рейкой — впрямую, вкосою, в ромбик, — аккуратно покрашены зеленью, лазурью, киноварью, охрой, а наличники окон, карнизы, углы забелены густыми белилами, очень красиво и чисто. Другие же дома оголяли свои мощные срубы, толстенные венцы, будто мышцы напоказ, потемневшие от дождей кряжи, проложенные ворсистой рыжей паклей. Кровли даже самых богатых и почтенных с виду зданий были дощатые, кое-где обжитые бархатистым мхом, а кое-где заштопаные свежим тесом.

Тянулись глухие заборы и сквозные ограды, за которыми пышно разрослась зелень. Тротуары были сбиты из продольных плах по три в ряд, а проезжая часть улиц вымощена торцом, круглой шашкой, укатанной и слегка размочаленной колесами.

Дерево, дерево, кругом дерево. Город был из дерева и весь пропах сладким древесным духом.

Да, не для одной лишь важности держали здесь пожарную каланчу, не для красоты.

Вскоре, бодро шагая по скрипучим мосткам, Алексей понял, что отнюдь не все эти бревенчатые дома заселены обывателем, что столичная административная надобность потеснила обывателя и отдала многие из этих городских изб под государственные приказы: у крылец и калиток были вывешены таблички, где золотом и серебром сообщалось, что тут тебе горсобес, а тут коммунхоз, а здесь эпидемстанция, а вона даже, не шути, госстрах.

Небесной синью порадовали глаз стены угловой избы, про которую шла речь в гостинице, на которой тоже была вывеска, что это Дом народного творчества. Он толкнул обвисшие воротца, потом дверь, оказался на лестнице с точеными балясинами, снизу убийственно прынуло в ноздри переполненной выгребной ямой, а сверху донося деловитый цокот пишущей машинки.

— Что ты, что ты, понимаете-понимаете... — сказал Матвей Кузьмич Малафеев, испуганно моргая белыми ресницами, перечитывая в десятый раз направление. — Мы ничего не знаем, ничего не знаем. Никто не предупредил, понимаете-понимаете, никто никогда не приезжал к нам по таким делам... Тут написано «оказать помощь», а что мы можем оказать, ну что?

— Помощь, — навел его на мысль Алексей.

— Какую такую помощь?

— Мне нужно ехать дальше, на Печору. И там — разъезды по селам, по деревням. Полтора месяца... Деньги нужны.

— Деньги? — Матвей Кузьмич всплеснул пухлыми ладонями. — А где же я их возьму, деньги? Квартал кончился, понимаете-понимаете, смета ушла вся до копейки, тем более командировочные расходы, ничего нету... Какие деньги? Что ты, что ты!

Алексей не сомневался, что Малафеев врет, что деньги у него в заглажке имеются, ну, допустим, кончился квартал — можно одолжиться из следующего, тем более он завтра начинался. Он уже догадывался, что Малафеев не просто жмет с деньгами, а вообще напуган его появлением. Будто он пожаловал сюда не студентом-практикантом, а лицом с особыми полномочиями. Не с того ли поминутно и опасливо взглядывал директор Дома народного творчества на бумажку с грифом и печатью, где ничего страшного не значилось, кроме одного слова — Москва.

Вот этого он и боялся вполне определенно — Москвы, человека из Москвы, пусть даже ничтожного студента, едва перевалившего на второй курс, но был он из Москвы, и это само по себе бросало в озноб, повергало в панику.

Алексей вдруг сообразил, что это священное чувство можно обратить и в полезную сторону, если повести разговор в льстивом плане, сулящем собеседнику кое-какие выгоды и милости свыше.

Он небрежно отвалился к спинке стула, постучал по столешнице ногтями, цап-царап, улыбнулся кривенько:

— Жаль, Матвей Кузьмич, очень жаль... А мы, надо сказать, весьма заинтересовались в столице вашими последними записями, вашей работой. Оч-чень любопытные записи, да.

— Какие... записи?

Директор побледнел, даже белые его ресницы и белый зачес альбиноса сделались еще белее, стали как снег.

Алексей для верности пробежал всю цепочку недавней памяти, чтобы не оплошать, не ошибиться, и выложил:

— Ну как же... Сказ о войне, который вы записали в Троицком Посаде. Там еще «злые вороги», да-да, я хорошо это помню — «злые вороги»... Матрены Сидоровой сказ. Так, если я не ошибаюсь?

Мутные бисеринки пота все враз, из каждой поры, выкатились на лоб Матвея Кузьмича Малафеева. Озадаченно и уличенно моргая ресницами, он пролепетал:

— Я не посылал эту запись в Москву, в Центральный дом... еще не вся расшифровка, понимаете-понимаете... Я не посылал. Откуда вы знаете?

— Так ведь мы и газеты читаем, Матвей Кузьмич. Изучаем местную прессу, отыскиваем крупницы... Видели вашу публикацию, очень заинтересовались.— Рыжов понимал, что угодил в цель, и его несло теперь напраполаю.— Собственно, моя поездка и связана с вашим открытием. Надо ближе познакомиться с нею, Сидоровой Матреной... отчество?

— Да... Даниловна.

— С Матреной Даниловной Сидоровой, талантливой печорской сказительницей, а верней с к а з а т е л ь н и ц е й, как поправляет нас обычно профессор Шамшин. Может быть, у нее появилось и что-то новое? Меня, как и вас, Матвей Кузьмич, более всего, конечно, привлекают новины...

— Болела она, Матрена Даниловна, когда последний раз встречались той зимой. Очень сильно болела. Может быть, померла уже. Ведь никто, понимаете-понимаете, и не сообщит даже, если померла старуха, деревня ведь, что ты, что ты.

— Неужели? — поразился Алексей.

— Я лично так думаю, что померла.

Малафеев, оторвав взгляд от институтской бумаги, которую все еще держал в руках, теперь сосредоточенно и пристально смотрел в угол комнаты. Он весь напрягся, и не составляло труда понять, что сейчас он взвешивает все за и против, все свои силы и слабости, верняк и риск, что именно сейчас он примет какое-то решение, — вот, принял, облегченно откинул бумагу на стол, подтолкнул ее пальцами Алексею: держи, мол, получай обратно, а нам это без надобности.

— Так что, понимаете-понимаете, денег у нас нет. И не будет. Помочь вам не можем.

— Ясно,— сказал Алексей, прикидывая в уме, куда можно обжаловать это категорическое и несправедливое решение и сколько примерно уйдет дней на то, чтобы этому вахлаку и бюрократу вправили мозги. Дня два уйдет, не меньше.— Ясно... Тогда я вот о чем попрошу вас, Матвей Кузьмич,— продолжил он не сердито и даже вкрадчиво.— Устройте мне, пожалуйста, номер в гостинице. Ну, не номер — так место, коечку. Там сейчас не дают без брони. Видите ли...

— Не дают, конечно, что ты, что ты! — воодушевленно подтвердил Малафеев.— Послезавтра хозяйственный актив, едут со всех районов — конечно, все забронировано. Не могу, даже звонить не буду. И потом, понимаете-понимаете, если мы возьмем броню, то мы и возьмем на себя обязательство платить за номер, вдруг вы уедете, не расплатившись, тогда платить нам, а у нас денег нету, ни копейки, что ты, что ты... Помочь не можем.

Теперь он открыто и смело смотрел Алексею в глаза, понимая, что одержал победу. Более того, он уловил стесненные и безвыходные обстоятельства противника и взял курс на полное изгнание его: из этого дома, из этого города, со всей обширной территории, отданной ему во владение и в дань по части народного творчества, а тут вторгся чужак, гони его в шею, ату его!..

— А вообще, понимаете-понимаете, вы сюда зря, конечно, приехали... Кто же это на Печору через нас едет? На Печору надо было ехать напрямик: по железной дороге до Кожвы, станция Кожва, тут и Печора, мост перейти — будет пристань, каждый день пароходы, можно вниз, можно вверх...

Матвей Кузьмич явно издевался над ним, объясняя верный путь, он уже взял в расчет всю безопасность и никчемность этих подробных объяснений: денег у парня нет, шиш в кармане, все потратил, и Печору ему теперь не видать, как своих ушей.

— Я приехал сюда потому,— сказал Алексей, всячески стараясь унять праведную дрожь в голосе,— я потому сюда приехал, что направление институт дал именно сюда, к вам, в Дом народного творчества.— Он аккуратно сложил бумажку и спрятал ее в карман.— Вы должны были мне помочь... вас просили оказать помощь и содействие, а вы...

— Что ты, что ты, понимаете-понимаете! — Малафеев опять испуганно заморгал белыми ресницами, но так, для приличия и видимости и еще по привычке, употребляя это как средство защиты.— Никто не предупредил, написано «оказать помощь», а что мы можем оказать? Ничего не можем. Да и померла, наверное, старушка Матрена Даниловна, еще прошлой зимой должна была помереть, болела сильно.

Он все же выпшел проводить гостя вниз по лестнице, к выходу.

Алексей сморщился, двумя пальцами зажал ноздри, сказал гнусаво:

— Вы бы хоть, понимаете-понимаете, яму опорожнили, дерьмо вывезли, а то неизвестно, зачем вас тут держат, зарплату платят, карточки дают!

— Да, это вы правильно говорите, учтем критику,— покорно сложил крестом руки на груди Матвей Кузьмич.— Уже заказали, оформили все как положено, а не едут. Не справляется трест очистки, не успевают черпать. Вот и сидим в дерьме, весь город в дерьме.

Собственно, делать тут было больше нечего, в этом городе. Надо было убираться подобру-поздорову, отдавать концы. У него аккуратно оставалось денег на обратный путь в Москву: парходом до Котласа, а дальше поездом, как сюда. Сегодня же сесть и ту-ту. Ни о каких Печорах, ни о каких сказах, ни о какой практике теперь не могло быть и речи.

Он угадал путь к пристани — общий наклон улиц, ниспадение всего города к реке — и зашагал туда, чтобы справиться, во сколько парход.

Однако в душе Алексея все протестовало против такого решения, его гордость быда возмущена, в нем кипела злость. Это уже не впервые проявлял себя врожденный норов, то, чему надлежало в свой срок, перебурилив или перебродив, отлиться в характер — сильный, или слабый, или ни то ни се. И вот что любопытно: даже сейчас, когда ему только что без обиняков указали от ворот поворот, когда вроде бы настала минута укорить себя за опрометчивость, раскаяться в своем легкомыслии,— даже сейчас он не чувствовал никаких позывов к раскаянью, не усмотрел беды, он все это принял как должное, обычное, житейское, эка невидаль, что за кручина, переживем и это.

Наверное, это прочно угнездилось в нем, как и в других людях, хлебнувших войны, всех ее четырех лет, независимо даже от того,

где именно они хлебали это лихолетье — на фронте или в тылу, — в выживших людях, то есть в буквальном смысле оставшихся живыми. Теперь для них для всех уже не оставалось в целом мире, полном тягот и подвохов, ничего такого, о чем бы они не могли сказать с отнесенительным спокойствием: *п е р е ж и в е м и э т о*.

С тем и шагал Алексей Рыжов легко и беспечно вниз, под горку, разглядывая с интересом город, который ему предстояло нынче покинуть столь же внезапно, как и свидеться с ним.

Оказалось, что в городе есть еще несколько каменных домов, которых он не мог заметить, устремившись напрямик по делу. Заметил лишь теперь, прощально кружа по улицам.

В красивом белом здании уездного ампира было пусто и глухо — каникулы, тоже школа, как много тут школ, но здесь, вероятно, школа была еще и в стародавние времена, гимназия, краса и гордость захолустья.

Стояли лабазы да лавки, самодовольно выпятив брюха: снизу кирпич, сверху венцы бревен, внизу торгуем, наверху живем, массивные железные ставни на дверях и витринах — тут и сейчас, по вывескам судя, были магазины. Он вспомнил, что не ел с утра, но это было терпимо и привычно.

Современный гранитносерый дом с решетками в окнах цоколя и ладными часовыми у подъезда не оставлял места сомнениям, но сомнения никогда и не томили, не терзали Алексея, нет.

Над зарослями рябины и можжевельника нависало строение почтенных лет и знакомого ему облика: щелки монашеских или семинарских келий лепились друг к дружке наподобие пчелиных сотов, а окна трапезных были высоки и обширны. Снова прихлынула память детства, угрюмая память его второй эвакуации, детдом за Ярославлем, разместившийся в гулком монастырском здании, — да, на коротком его веку уже была и келья...

Но та же память подсказывала, что подобные строения всегда расположены рядом с церквями, они бывают соседством, окружением и принадлежностью церквей, они создают непрменный контраст вот таких долгих приниженных линий стен и крыш — к земле, ниц, ниц, — со взлетами колоколен, часовен, маковок, крестов от земли, в небеса, в небеса, — но в том-то и дело, что здесь их не было, никаких церквей не было в поле зрения, и не сказать чтобы они, эти церкви, были столь уж необходимы Алексею, ему они были даже вовсе не нужны — не так он был воспитан, — а просто память твердила свое и упрямылась: должны быть тут в соседстве, обязательно должны быть церкви, не может их не быть.

Он повернул назад.

Привольный пустырь, который он только что пересек, не заметив даже, как нелеп заросший бурьяном пустырь в самом центре города, а лишь заметив, что едкая белая пыль густо облепила башмаки и отвороты брюк, — этот пустырь был очерчен с доскональной правильностью круга, и по всей площади круга стыла соборная тишина.

Здесь, конечно же, стояла церковь: огромная, сковырнутая динамитом, поверженная в прах во мгновение ока. Он даже представил себе, как ухнуло, дрогнуло, распалось, развалилось.

Утвердившись в своей догадке, Алексей испытал естественное и законное удовлетворение. Жалости он не испытал и не мог испытывать, потому что никогда не видал этой церкви в целостности, и еще потому, что на коротком своем веку он успел повидать больше разрушенных церквей, пустырей, где они когда-то стояли, чем оставшихся целыми.

Он наклонился, сорвал несколько плетей бурьяна и отряхнул ими пыль с ботинок и штанов.

Но теперь обострившийся и освоившийся в чужом городе взгляд

его столь же безошибочно нашел — когда он шагал с горки, — круглую плешину в раскинувшемся над рекой парке.

Вероятно, в былые времена на подходах и подъездах к городу люди примечали другие ориентиры, а не те бензобаки в устье реки, на которые радостно указал ему Семен Ильич Улитин.

По разбитому съезду он сошел к пристани.

Старый друг и знакомец пароход «Тютчев» разводил пары.

Ну да, ведь вчера вечером он закончил рейс, перевел дух, а теперь пора уж снова в путь: лето, горячая пора навигации, только поспевай туда-сюда. Да и много ли их, кроме «Тютчева», других классиков, хаживало по этой реке?

Касса на дебаркадере была открыта, билеты были — бери, отправленья в двадцать один ноль-ноль.

Алексей перемусолил все оставшиеся в кармане бумажки и счел, что можно погодить, не выкладывать тотчас на кон все до последнего. Что-то его удерживало, подсказывало потянуть с этим: сколько еще до урочного часа, до двадцати одного ноль-ноль, целых полдня да полвечера. И билетов в кассе полно. А вон и буфет открыт на этом укачивом дебаркадере. Что там у вас? Холодная треска, бочковое пиво — давай тресочки, пивка.

И еще следовало забрать свой чемодан из гостиницы.

Он опять пустился вкругаля по улицам города, запечатлевая в памяти вязь его узорчатых карнизов, откровенность кондовых срубов, тихое изумление распахнутых ставней, а главное — запах смолистого дерева, на котором так крепко настоян воздух, так напоен им, что никаким ветрам невозможно разогнать его.

Деревянный город из стародавней сказки, а до сказок он был охоч и в детстве и после. Вот и дворец, сказочный дворец, крыша высоким шатром, задорно вскинутый петушиный гребень, пестрые хоромы — а и впрямь оказалось, что дворец, Дворец пионеров. А вот избушка бабы-яги, крыльцо на одном-единственном столбе, как на курьей ноге, а вдоль и вкось крыльца развешаны низки вяленой рыбы. А вот потянуло-потянуло к жару летнего дня еще и жаром топки, жаром раскаленной каменки, горечью исхлестанных в крутом пару березовых веников — баня...

По дощатой тропинке шла от бани навстречу ему Клара Истомина, придерживая у бедра выпуклым донцем наружу эмалированный таз. Шла — не видела, а увидела — остановилась, стала и ни с места. Перевела, спрятала смущенно за спину этот таз, вернула обратно и загородилась им, как щитом, опустила к ноге покорно и беззащитно. Собрала, прикрыла, скрутила свободной рукой в жгут неширокий вырез ситцевого платья, рассмеялась вдруг.

— Ты чего? — спросил он. — Здравствуй. Ты чего смеешься?

— Ничего. Я и не смеюсь. Ничего смешного.

А сама продолжала смеяться.

Он разглядывал ее совсем близко, хотя имел уже случай близко видеть ее, но сейчас она была в полной и подробной близости — после бани. Сырые тяжелые волосы ее не были заплетены, а просто собраны копешкой, сколоты. Кожа лица вся обтянута, пылает и блестит. Глазные яблоки в красной сеточке сосудов. Ноготки на руках распарены до мягкости. Как некрасива. Как хороша.

— Чего ты смеешься?

— Я не смеюсь ничего... Ой, да пойдем же отсюда, стоим возле бани, что люди-то подумают?

Она потащила его за рукав прочь.

— Давай таз понесу, — галантно предложил он.

И опять она, заслышав это, перегнулась в пояс, хохоча.

— Таз тебе? Ну кавалер, сразу видно, что столичный... Ой, не могу я.

Но тотчас угомонилась, построжела, пошла по мосткам задумчивая.

— А ведь я знала, что встречу тебя. Когда сюда шла — знала. То есть нет... — отмахнулась Клара. — Когда я сюда шла, то вызвала тебя. Приказала, чтоб был. Вот ты и здесь. И никуда от меня ты не делся, не спасся, миленок. Не-ет.

— Как это — вызвала?

— Не знаю как... Видно, маманя права, что еретница я. В бабу. Мама сама не умеет, а бабу, это уж точно, еретница, вся деревня знает.

— Что такое еретница? — переспросил Алексей недоуменно. — Еретичка, что ли?

— Нет же, я про еретиков, про еретичек в школе учила. То другое. А еретница, по-нашему считается, ну вроде колдунья. Да, колдунья.

— Добрая?

Она поглядела на него сбоку серьезно.

— Всяко бывает. Можно, конечно, и добро. А можно и со свету сжить кого следует, только трудно это, надо всю силу собрать, вот так! — Она вынесла перед собою кулачок, и он на глазах побелел, обескровился, словно оледенел.

— Ну и ну... Что ж ты Гитлера не сжила со свету? Уж его-то следовало: глядь, и войне бы раньше конец. Вот была бы подмога! Что ж ты?

— Я тогда маленькая была. Не умела еще.

— А-а...

Клара быстро к нему повернулась, топнула ногой.

— Что, не веришь?

— Не верю, — признался он.

— Так... А почему ты здесь?

— Где?

— Вот здесь стоишь, здесь идешь. Почему?

— Да я случайно здесь оказался: ходил-бродил по всему городу, на пристани был, потом мимо каланчи пожарной, мимо гостиницы и вот сюда забрел, совсем случайно. Вдруг вижу — ты идешь...

— Так уж и случайно? А на пристань зачем ходил?

Он заколебался, но ответил честно:

— Билет купить на пароход.

— Купил? — беспечно осведомилась Клара.

— Нет.

— А почему ты мимо гостиницы прошел, миновал ее почему?

— Там только чемодан мой. А места не нашлось, нет брони... Ничего тут для меня не нашлось, в вашем прекрасном городе, ничего, — сказал Алексей, лишь сейчас сполна ощутив горечь этого признания. — Зря приезжал.

— Идем-ка. — Она, переложив таз под другую мышку, взяла его за руку, будто меньшого братца. — Идем.

Шаги ее сделались решительными и быстрыми, когда она поняла, что его тут не приняли как должно, что его обидели в чужом городе, беззащитного — и она взяла его под свою опеку, готовая защитить его телом, грудью, всем, что у нее есть, и повела его за руку скорым шагом через весь город, с вызовом глядя во встречные лица.

Но из всех лиц, встреченных ими на пути, лишь одно заслуживало внимания.

На окраине, где мостки сузились до двух досок, им повстречался высокий человек в кирзовых, глиной облепленных сапогах, в затерханной кепке, в сатиновой выцветшей рубашке, один рукав которой заткнут за пояс, нет руки, а другая рука есть, он держит ею древ-

ке мотыги, вскинутой на плечо. Еще издали заулыбался приветливо, а подойдя, сказал:

— Здравствуйте.

Тяпку к ноге, кепку приподнял за козырек — одна ведь рука на все про все.

— Приехала? С чем приехала, Клара?

— Ни с чем, Иван Демьянович. Завалила экзамен.

— Ну да? — огорчился он.

— Ей-богу, завалила.

— А как же теперь?

— До следующего лета. Опять попробую.

— Вот и ладно, — обрадовался он. — А до следующего лета ты у нас попоешь, так?

— Выходит, что так, — согласилась Клара.

— Вот и ладно... — Он оглядел свои сапоги, синим лезвием тяпки соскреб ком глины. — А я тоже в отпуске. Никуда не поехал, огородом занимаюсь. Нынче картошку окучивал: сей год картошка бойкая, в куст хорошо идет, а там не знаю, не подкапывал.

— У нас тоже картошка хорошая, — сказала Клара.

Лишь теперь, обговорив с нею все дела, Иван Демьянович проявил интерес к Алексею. Он, вполне очевидно, хотел бы спросить его: как звать и какая фамилия, откуда и зачем, надолго ль, что и как? Он высказал все эти вопросы одним цепким и требовательным взглядом. Но тут его взгляд коснулся их соединенных рук — Клара по-прежнему держала Алексея за руку, не отпускала, — и он не задал вслух своих строгих вопросов, не посмел задать, видно, это очень много значило, как беспрепятственный пароль везде и всюду, то, что Клара Истомина держала его, Алексея, за руку: стало быть, наш, свой, вопросов не имеем, а имеем — не задаем, проходи, товарищ.

Иван Демьянович вскинул свою мотыгу на плечо и, кивнув им, зашагал дальше.

Клара выждала, пока отбухают сзади его отяжеленные глиной сапоги, а потом объяснила:

— Лапшин, председатель Комитета по делам искусств, начальник наш. Хороший дядечка. Я его, знаешь, с каких помню? Вот с таких. С детских лет, когда еще пионеркой была, а мама совсем еще молодая была и веселая, певунья...

Голос ее дрогнул.

— До войны все это, когда отец был живой. Дружили они с Иваном Лапшиным, баянисты оба... Отец погиб, а этот, видишь, без руки вернулся. Теперь не заиграешь. Поставили его на пост.

Оказалось, что и тут они были ровня, оба безотцовщина, как и все почти кругом. Но Алексей отметил про себя, что вот они как еще мало знакомы с Кларой, что не расспросили друг друга об этом и не встретиться им на пути Иван Демьянович, то не было бы, наверное, и речи.

Еще Алексей отметил, что у Клары есть мама, а идут они к ее дому.

И еще он подумал вдруг: а не подчинен ли по службе Ивану Демьяновичу директор Дома народного творчества Матвей Кузьмич Малафеев? Вот если б так. Мог бы тогда спросить Иван Демьянович с незадачливого директора: как же это ты, Матвей Кузьмич, обидел хорошего парня, бедного студента, гостя? Тем более что я лично знаю его, знаком с самой лучшей стороны... Где он? Может быть, пропадает тут, в незнакомом городе, без средств к существованию, без крова? А вдруг он, не стерпев обиды, уже плывет обратно на пароходе «Тютчев», проклиная тот день и час?.. Вот кабы так, вот был бы спрос — по справедливости!

Но теперь не было смысла рассуждать об этом. Все было кончено.

И город и улица, по которой они шли, тоже кончались.

Дома тут становились все приземистей, все убоже, теперь уже ничуть не городские с виду, а деревенские, сиротские, пропащие дома. Слева к ним подступал редкий ельник, выросший на военных вырубках, а справа крутой овражный берег отламывал последние ломти запустелых и куцых дворов.

— Вот и наша Слобода, — сказала Клара Истомина. — Вот и наша Десята, у нас тут улиц нету, живут десятидворками, наша — Пятая...

Шаги ее делались все медленней и неуверенней, все мельче, будто робость цепью сковала лодыжки, будто гири на них. Она уже оставила его руку: сам иди, сам живи, рассуждай сам. Шла-шла и совсем остановилась.

— А мамы дома нет, — сказала она. — Уехала в деревню на сенокос, родне помочь... Никого нет дома.

С этой крутизны, из Слободы, было видно далеко и ясно: как одна река, таясь за лесами, бежит попутно другой реке, то приближаясь, почти касаясь водою воды, то утекая в испуге, сторонясь; но русла их стягивает предопределение, согласно которому реки сливаются, и в том лишь разница, какая какую вберет в себя, поглотит, подчинит и назовет собой, — и было видно, как там, вдали, две реки сливаются воедино и дальше течет одна река.

Они подняли глаза друг на друга, посмотрели безмолвно и четко, решив: будь что будет.

— У тебя после этого на лице страданье, а ведь тебе хорошо, хорошо было. Почему ты страдаешь?.. Я знаю. Тебя мучит, что это грех, что ты согрешил. А ведь ты неверующий, нет, конечно. Но ты, должно быть, крещеный... Бабка крестила? Ну вот, угадала я. И на тебя это легло. Нет, не возражай — легло, на душу легло. И еще у тебя это в крови — от дедов, от прабабок. Они бога боялись, греха боялись, хоть и грешили. А вот ты, хоть бога и не признаешь, а радости сполна не знаешь, для тебя радость — грех, оттого у тебя и бровки заламываются, как на иконе... Что? Нет, погоди, отдышись, и я отдышусь. Но я доскажу сперва. Это было про тебя. А про меня — что? Мне хорошее — хорошо, радость в радость. Я ведь язычница совсем. Нас Стефан Пермский силой креститься заставил, страхом, ну, мы для виду и крестимся, а все равно тому же пню поклоняемся... либо пню, либо вовсе ничему. Как и ты — ничему. Только ты еще и страдаешь, хоть сам не понимаешь отчего, а я — нет. Понял?.. Вот теперь иди.

— Ты в Москву уедешь, а я здесь останусь. Может, вспомнишь меня? Вспомнишь, конечно: меня забыть нельзя. Да я и сама напому, если захочу... Между прочим, мы еще до вас в Москве жили спокон веков. Вы туда после нас пришли. Сомневаешься?.. А вот что такое — Москва? Для вас Москва — просто имя красивое, важное, непонятное. А для нас — Коровья Речка, вот и все, однако правильно... Знаешь, когда я в Москву приехала, на вокзале растерялась совсем — будто меня в кипяток сунули. А потом, когда вышла к Москве-реке, тут сразу и успокоилась: все кругом такое знакомое, свое, будто опять дома... Нет, при чем здесь кино? Я в кино и Америку повидала, но ничего во мне не ворохнулось. А тут сердце с рождения помнит, до рождения даже — помнит. Наверное, потому меня туда, в Москву, и тянет... Ой, да что же ты такой ненасытный? Как с луны...

Он плыл и плыл по волнам сна, даже во сне сознавая, что это сон, глубокий и сладостный, укачивающий ровно и легко, как речная вода колышет лодку, волна пробегает под днищем, а лодка остается на месте, ее удерживают весла, два весла, размеренно окунающиеся в воду, — тихие всплески и скрип уключин, когда эти весла, как крылья, закидываются назад и вверх.

Алексей открыл глаза.

Чистое утреннее небо в окне, умытый, остуженный в дальних океанах, ощутимо круглый шар солнца. Все это было и есть на самом деле. А зыбких волн и лодки, конечно, нет и не было: они оттого, что в беспробудном и крепком сне непременно к утру увидишь воду, пора вставать. Но вот что еще было не во сне, а наяву: внятный скрип железных уключин — откуда, где? Он ощущал постель рядом с собою, Клары не было, исчезла, лишь мятый след. На спинке кровати — ее платье, кинутое впопыхах, в горячке.

Он опустил ноги, встал на крашенные половицы. Тотчас гладкое тепло коснулось голени, протянулось, кольнув электрическими искрами и дрогнув напоследок хвостом, — кошка, которой он не видел вчера. Но кошка эта была серая и невзрачная, ничем не напоминавшая Клару.

А железо продолжало скрипеть, будто ходил маятник настенных часов, но часов не было на стене.

Он босиком двинулся на этот странный звук.

За распахнутой в сени дверью была лестница со сбитыми и скошенными ступеньками — он по ней, так как звук определенно доносился оттуда, сверху. Вскарabкался тихо, сторожко; над головою открылся квадратный лаз, и он высунул из него голову, как из проруби.

Горбатились замшелые стропила, вдоль тянулись решетины, а поперек, пуская в щели свет, лежали прогнившие доски кровли... Чердак был огромен, когда глядишь снизу, мрачен и пуст.

В гребень крыши были вбиты кольца, два железных прута держались за них, а сами они держали неширокую досочку, и досочка эта металась от одного ската к другому на полный мах, и если б не было этих скатов, то и удержи не было б и эти качели пошли бы кувырком через себя, вверх тормашками, закружились бы пращой, солнышком или просто улетели бы, пробив крышу, в белый свет.

Алексей вертел головой, а над ним упоенно и отважно неслась по воздуху Клара Истомина — будто ведьма, словно ангелица, как дитя.

Она с силой выбрасывала вперед ноги, вытягивала их в одну линию, в струну, и ее незаплетенные длиннющие волосы не поспевали за полетом, их относило вспять, они, как дым, вились за нею, — но тут полет замедлялся, замирал на мгновение в крайней верхней точке, и она летела обратно, рывком убрав под себя ноги, выставив круглые колени, и тогда волосы всею своей косматой тяжестью кидались наперекор движению, облепляли щеки и шею, укрывали грудь, змеились по бедрам, уже напрягшимся для того, чтобы снова бросить ступни вперед и снова взлететь.

Он продолжал стоять на ступеньке — голова наверху, а сам внизу, — глядел, онемев.

Она заметила его, достала пяткой пол, затормозила, прервала полет, соскочила с качелей и, укрывшись все тем же своим богатством волос, припала к лазу:

— Здравствуй.

Взяла его голову на ладонь, как с плахи, поцеловала в губы.

— Не уедешь, нет.

Но этот город был все еще полон сокровенных тайн. Некоторые тайны были просто сокрыты от его глаз, покуда он слонялся, осваиваясь, там, внизу, у реки. Их заслоняла гора. Но они сразу открылись, когда он взошел на эту гору. Выяснилось, что там, наверху, есть еще множество каменных зданий, слепящих белизною стен, сияющих светлыми окнами, целый город, невидимый, пока ты потерянно бродишь внизу.

Более того, взойдя, он замер от удивления: прямо перед ним на горе стоял его собственный Библиотечный институт — тут как тут, весь как есть, знакомый до черточки, до чертиков, будто его перенесли сюда из подмосковных Химок по воздуху, по облакам, будто бы весь его институт спровадили сюда на практику вслед за ним.

Он подошел к распахнутой двери, сквозь которую сновали взад-вперед суетливые абитуриенты с роковой бледностью на лицах и еле теплящейся в глазах надеждой, точь-в-точь такие же, каким он сам был год назад, — он подошел и прочел над дверью, что это здешний Педагогический институт. Алексей понял, что этот институт построили в одно и то же время с его институтом, по одному и тому же типовому проекту, оттого они так разительно схожи.

Через дорогу высилось здание с угловой ротондой, похожей на академическую ермолку, — и впрямь оказалось, что это здешний филиал Академии наук.

Дальше красовался почтенными четырьмя этажами и развернутыми крыльями Дом печати, который, как подсказала Клара Истомина, ему и был нужен.

А еще дальше, за этими зданиями, оголялся обширный загородный пустырь в холмах и оврагах, а там уж и ничего больше не было, только густой лес, может быть даже тайга, медвежья, волчья.

Алексей, переведя дух, оглянулся с горы на подгорье. Было нетрудно догадаться, что тут, на возвышенном месте, был сделан почин новому городу, который не желал иметь сходства с тем, другим, уездным, лабазным, мещанским, распластавшимся в низине. Он стоял тут, наверху, на чистом ветру, терпеливо дожидаясь, покуда истлеет, сопреет, рассыплется в труху деревянный нижний город. Или же просто война помешала ему, этому новому городу, победительно хлынуть вниз, снося старые улицы, дома, изгороди будто щепу.

Вообще на третий день пребывания в Городе-на-Реке все окружающее уже не казалось Алексею Рыжову таким захолустным и жалким, как показалось вначале.

В вестибюле Дома печати ему навстречу поднялась милиционерша с рядами латунных пуговиц на двубортном синем мундире, в португее с кобурой, спросила, кого надо, куда идет, он ей сказал, что к товарищу Улитину, она ему объяснила, что к товарищу Улитину на третий этаж. Он поднялся по широкой лестнице, уже ощущая в сердце уважение к высоте и легкий трепет.

Тугощекая румяная секретарша доложила и велела заходить.

Семен Ильич принял его в просторном кабинете с панелями из крашеного линкруста, с большим письменным столом и грузными кожаными креслами. Стекла книжного шкафа были задернуты изнутри шторками в складочку, и географическая карта на стене была тоже с одного бока задернута шторкой, неизвестно, что там за секрет. На столе лежали оттиски газетных полос, марки, с глубокими продавленными буквами.

— Садитесь. — Семен Ильич кивком указал на кресло. — Чем могу?

Он не изъявил особой радости по поводу того, что недавний попутчик, сосед по каюте, вдруг возник в его кабинете, все-таки

пришел к нему. Однако лицо его не выражало и злорадства по этому поводу: ага, мол, явился не запылится, так-то, голубчик, нас не обойдешь, не объедешь,— нет, этого не было. На лице его было выражение спокойного удовлетворения, сознания непреложных закономерностей, которые человек, мыслящий диалектически, способен предвидеть даже в самых простых житейских ситуациях,— и он предвидел.

Между прочим, сейчас, в своем служебном кабинете, Семен Ильич даже внешне выглядел совсем иначе, нежели на пароходе: теперь он ничем и нисколько не напоминал беспечного курортника, знатного чаевода. Весь облик его был деловит и строг. На нем был китель из светлой и тонкой, по времени года, серой ткани, застегнутый на штатские пуговицы вплоть до горла, до отложного воротника. На нем, когда он вышел из-за письменного стола, были такие же серые брюки, заправленные в мягкие шевровые сапоги. В руке он держал трубку с хохолком рыжего табака — на пароходе Алексей не видал этой трубки, не замечал, чтобы Семен Ильич курил, ведь жаловался на сердце, однако он и сейчас не торопился раскуривать эту трубку, а просто держал ее в руке. Жесты его были медлительны, глаза из-под бровей смотрели пронизательно и зорко, голос был негромок и чуть хриловат.

— Чем могу? — переспросил он.

— Да вот... с гостиницей помогите, броня нужна, — выложил первое, что пришло на ум, Алексей.

— Гостиница? — наморщил лоб, соображая, Семен Ильич. — Вот оно что, гостиница... А у Малафеева вы были?

— Был. С бронью он помочь не может.

— Ну? — удивился редактор. — Неужели не может — с бронью? А что он может?

Алексей вздохнул и не ответил. Ничего не может.

Улитин перегнулся через стол.

— Ну ладно. У меня времени мало — вот полосы лежат нечитанные... Идешь ко мне?

— То есть как? В смысле практики?

— Да, в этом самом смысле.— Семен Ильич нахмурился нетерпеливо, уминая пальцем табак в нераскуренной трубке.

— Ну, если в этом смысле... Иду.

— Восемьсот тридцать, плюс гонорар, плюс командировочные. Устроит?

Алексей отмахнулся небрежно: он уже слышал про все эти плюсы.

Улитин кинул ему чистый лист бумаги, искупал перо в чернилах, протянул.

— Пиши в правом углу: редактору газеты «Северная звезда», фамилия, инициалы — мои, конечно... Ниже, вот тут, посредине: «Заявление». С красной строки: «Прошу зачислить...» Что? Давай обмакну.

— Писать «временно»? — уточнил Алексей.

— Да, конечно, так и пиши. Мы иначе не можем — испытательный срок. Еще поглядим, что ты умеешь... Подпись, дата.

Нажал под столешницей, будто собственный пуп, в приемной загудело, отозвалось. Тугощекая секретарша приоткрыла дверь, с обеих сторон обитую стеганой кожей. Он поманил ее пальцем, начертал на заявлении резолюцию, отдал.

— Ася, это в приказ. Соедини с Полупановым. Пришли ко мне Яшу.

С обеспокоенной миной глянул на часы, на ворох газетных нечитанных корящихся полос.

Вскоре под столешницей гуднуло ответно. Он снял трубку телефона.

— Евгений Логинович? Здравствуй, дорогой ты мой... Приступил-приступил, к завтраму уже и позабуду, что был в отпуске... Гулял? В радоновой ванне я гулял, задницей пузыри гонял — знаешь, полезно и смешно... Слушай, Евгений Логинович, вот какое дело. Тут ко мне товарищ из Москвы прибыл, будет работать в редакции — ты ведь знаешь, каково у меня с кадрами. Фамилия — Рыжов. Надо ему сделать номер в гостинице, питание в столовой актива, а об остальном я сам позабочусь. Сделаешь?.. Добро, он к тебе зайдет через час... Ах, едешь в санаторий, туда же? Ну счастливо, гоняй пузыри, ха-ха-ха!

Положил трубку, отер с губ смех.

— Это из обкома, Полупанов, завотделом. Знаешь, где обком? Не знаешь. Он у нас в самом центре. Спустишься с горы, мимо рынка, пересечешь площадь — ну не площадь там, а пустырь...

— Где взорвано?

— Что? — Улитин пытливо воззрился на него. — Тебе кто об этом поведал?

— Никто. Сам увидел.

— Сам? Глазастый... А ведь я еще на пароходе угадал, что ты глазастый. Журналисту это не во вред. Но мы тебе маленько зрение поправим: что надо — то видь, а что не надо — то мимо глаз... За полтора месяца наладим зрение — ого-го!.. Так вот, сразу за площадью — обком.

Дверь снова приоткрылась, в нее втерся человек с курчавой шевелюрой, уже тронутый сединой, но юношески верткий в движениях. Он придерживал на груди расстегнутый кожаный футляр дорогого «кодака».

— Вызывали, Семен Ильич?

— Да, Яша. Сделай-ка портретик этого товарища, моментальный, для удостоверения, чтобы к утру было готово. Не знакомлю вас, некогда, сами потом познакомитесь. — Он опять покосился с тоскою на полосы. — Делай.

Яша с дружеской бесцеремонностью, хотя они еще и не познакомились, поднял Алексея за плечо и отвел к окну, к свету. Взял за подбородок, потрепал по щеке, будто девицу, устанавливая как нужно. Примерился, щелкнул. Выставил ладошку: еще раз, сей минут, анфас, щелк; дружески подмигнул — дескать, еще кадрик испортим, для хорошего человека не жалко.

Алексею надоело, он жуть до чего не любил сниматься, попытка для него, а тот все щелкает. Он возьми да и поверни голову вбок: был анфас, стал профиль, есть такая известная композиция — анфас и профиль; но когда он повернул голову вбок, то увидел, что Семен Ильич Улитин, оторвавшись от полосы, смотрит с укоризненной усмешкой: дескать, ай-яй-яй, что за детский сад, что за неуместные и неприличные шуточки, даже погрозил ему пальцем.

Яша насадил крышку на очко, застегнул свой «кодак» и пошел проявлять.

— Деньги у тебя есть? — спросил редактор.

— Деньги? Есть, конечно.

— Сколько?

— А вам сколько надо?

Улитин покачал головой: ох и маета с этим парнем.

Опять снял трубку, сказал барышне номер — телефоны тут были с барышнями, не автомат, провинция.

— Анна Сергеевна, к вам сейчас зайдет товарищ Рыжов. Выдайте ему аванс на мелкие расходы — рублей пятьсот. За гостиницу будем перечислять. Приказ печатают, занесут позже. Все.

Кинул трубку на рычаг.

— Бухгалтерия на первом этаже. Завтра к девяти — сюда. До свиданья.

В гостинице дежурила опять прибалтийская дама в чалме.

Алексей ждал, что она спросит, где же он пропадал столько времени, почти двое суток, думали уже, что заблудился в лесу, или утоп в реке, или забрали его куда, — но она ничего подобного не спросила.

В равной мере он предполагал, что она как-то выразит свое удивление тем, что ему удалось получить броню на комнату в гостинице: ведь номеров нет, мест нет, съезжается актив, все железно забронировано, — а между тем звонит из обкома сам Евгений Логинович Полупанов и дает распоряжение срочно выделить отдельный номер для товарища Рыжова из Москвы, выполняйте, все.

Но она отнеслась к этому совершенно безразлично, только велела оставить паспорт да еще рубль за прописку, он дал, а она ему выдала ключ от номера.

Он прошел за барьер, отыскал среди других свой обшарпанный чемоданишко, хотел пересказать, не открывая, что в нем, а затем и предъявить, но она не выразила сомнений в том, что чемодан принадлежит именно ему, так поверила.

Его номер был на третьем этаже.

Алексей отпер, заглянул и сразу увидел: прямо напротив окна, за балконной решеткой, через улицу высилась знакомая ему пожарная каланча, на ее площадке прогуливался пожарный в усах и каске, посматривая кругом, не горит ли.

В комнате стоял письменный стол, с одного края залитый чернилами — видно, тут уж и до него жили писучие люди, — а на другом краю была настольная лампа с колпаком зеленого стекла.

Гардероб с зеркалом, кривоватым, в рыжих пятнах, но большим, во всю дверцу — он полюбовался в нем собою в полный рост. Еще тут было два стула с клеенчатыми сиденьями и клеенчатыми спинками, медные граненые головки гвоздей по краешку обивки.

В углу комнаты стояла кровать с блестящими никелированными шишками, с пышной подушкой, ворсистым одеялом. Он вспрыгнул на кровать, разлегся: скрипнув, осели пружины, мягко, благодать, а до чего широко и привольно — хоть женись.

Оставалось разведать, в какой стороне умывалка и сортир, далеко ли бегать. Он нашел их в конце длинного коридора, но и от туда была видна его дверь, даже ключ, торчавший наружу, был виден — так что, в общем, недалеко.

По коридору с чемоданчиками и портфелями тянулись гуськом вновь прибывшие постояльцы, и по тому, как оживленно и громко они переговаривались, перешучивались друг с другом, как по-свои ски вели себя в этой гостинице, Алексей понял, что это и есть актив, съезжавшийся в столицу, — на него ссылался Малафеев: мол, послезавтра.

Тем не менее, подумал он, возвратившись к себе и присев к письменному столу, несмотря на это чрезвычайное обстоятельство, невзирая на то, что единственная в городе гостиница оказалась наглухо и неприступно забронированной, редактор газеты «Северная звезда» Семен Ильич Улитин сумел-таки одним звонком добыть ему место — и не просто место в общем номере, где койка на койке, двадцать коек, а совершенно отдельный, просторный, да еще с балконом, отлично обставленный номер.

Лишь сейчас, приглядевшись к окружающей обстановке, Алексей вдруг понял, отчего, когда он десять минут назад впервые переступил порог этой комнаты, — отчего в нем возникло чувство светлой радости и даже такое ощущение, будто ему все здесь давно знакомо и вроде бы он бывал здесь уже много раз.

Над дверцей гардероба, на спинках стульев, на тумбочке у кровати, на ящиках письменного стола, за которым он сидел, — вот, прямо под рукой — был один и тот же повторяющийся дере-

вянный узор: спелые колосья с ядреными зернами, серпы и молоты, звезды и шестерни, опять снопы колосьев, все это перевитое широкими лентами кумача.

Он родился и счастливо вырос среди этого.

Нет-нет... если уж быть совсем точным, то в самой ранней его детской или даже младенческой памяти гнездились иное. Квартира в Кронштадте, на Песочной улице, близ морского госпиталя. В этом госпитале когда-то служил его дед Андрей Петрович, врач, умерший задолго до его рождения. И сам он, Алеша, родился в морском госпитале, чем всегда был горд, хотя все кронштадтские женщины рожали в морском госпитале, больше было негде. А потом его привезли в дедовскую старую квартиру, первый в его жизни кров.

Он смутно помнил обстановку этого дома, ее цепкие детали: когтистые лапы птиц и когтистые лапы львов. Вся мебель опиралась на такие ножки, на эти лапы, меж которыми он ползал, еще не умея ходить. А поднявшись, увидел: простертые орлиные крылья и хищные орлиные клювы, гривастые львиные головы, разинутые пасти. Еще мечи и секиры, щиты и стрелы, лавровые жесткие венки... Почему-то именно такие украшения избрали люди для своего жилья, для своего домашнего обихода в то далекое и непонятное время.

Но вскорости все переменялось.

Отцу и матери по службе приходилось то и дело переезжать: из Кронштадта в Ленинград, а оттуда опять в Кронштадт и снова в Ленинград.

Этими веками в основном и обозначилось Алешино детство: с кронштадтских пристаней в синие погожие дни был виден в створе Финского залива, в невском устье, за тридцать верст сияющий купол Исаакия, а с ленинградских портовых набережных в ясную погоду можно было увидеть такой же золоченый купол Морского собора в Кронштадте.

И повсюду, где он жил в те поры, его окружала мебель светлого немореного дерева, крепко сколоченная, без причуд, без затей, отменно простая и удобная и всегда украшенная этой славной резьбой: колосья с налитым зерном и колкой длинной остью, зубчатые тракторные колеса, звезды, серпы и молоты, шестерни, знамена, ленты.

Вряд ли неугомонные его родители таскали за собою через Маркизову лужу туда-сюда все эти гардеробы, столы, стулья. Может быть, эта мебель была даже не собственной, а казенной, выданной в пользование морским интендантством или хозуправами гражданских учреждений, но и там и там эта мебель была совершенно одинаковая, своя в доску. И во всех домах и квартирах, где Алеше случалось бывать в гостях — у друзей его родителей, а позже и у личных его дворовых и школьных друзей, — буквально везде глаза его сразу находили эти привычные знаки: шестерни, колосья, серпы.

Однако в сорок четвертом году, когда он вернулся из дальней и долгой своей эвакуации, когда мать привезла его из детдома в послеблокадный жуткий Ленинград (уже не в Кронштадт, а в Ленинград), тут он не нашел ничего от прежней мебели: все пошло в печь на растопку, на дрова — и столы, и стулья, и шкафы, и серпы, и снопы, и звезды. Он еще ездил в центр, где жили прежде, на 9-ю Советскую, пытался найти своих тамошних приятелей и кого-то даже нашел — некоторые выжили в блокаде, а некоторые, как и он, возвратились из эвакуаций, — но нигде, ни в одной уцелевшей ленинградской квартире он больше не встречал той довоенной мебели, всю пожгли.

Вот почему он так обрадовался, когда увидел здесь, в гостиничном номере в Городе-на-Реке, столь далеко от всего на свете, что он

оказался далеким и от войны, — когда он встретил здесь своих старых знакомцев, эти колосья, звезды и шестерни, вырезанные на светлом дереве, он искренне обрадовался им, ему показалось вдруг, что он возвратился в привычный и понятный, близкий уму и сердцу мир своего детства.

Но одними воспоминаниями сыт не будешь, а колосья напомнили о хлебе. Ведь он еще не обедал, а солнце в окне клонилось к вечеру. У него в кармане лежали талоны на питание в закрытой столовой на целый месяц, на каждый день, на трижды в день — их выдал ему в обкоме Евгений Логинович Полупанов, объяснив попутно, что эта столовая находится неподалеку от гостиницы, пройти задами, пять минут ходу.

В столовой пахло щами, котлетами, подливкой, клюквенным киселем, табаком и мойкой.

Зал был огромен и набит до отказа: за всеми столами бренчали ложками-вилками, дружно жевали, хрустели, грызли — собрался актив со всего города, из всех районов, не врал Малафеев.

Никого тут не было и не могло быть знакомого Алексею, ведь он тут впервые. Но, оглядывая зал в поисках свободного местечка, он вдруг увидел за одним столом своего недавнего знакомого: Настоящий Станиславский, склонившись низко над тарелкой, страстно пожирал котлету, деля ее на кусочки, тыча в соус, — значит, уже нашел сюда дорогу, выклянчил пропуск, присосался. Алексей усмехнулся кривенько и повернулся к нему спиной, чтоб не пришлось здороваться.

— Рыжов, эй, Рыжов!

Да, это его, впервые появившегося в закрытой столовке, кто-то окликал по фамилии, но не с той стороны, где Настоящий Станиславский, а с противоположной, он пригляделся и узнал: фотограф Яша, который нынче утром щелкал его в редакции своим «кодаком», — он махал ему рукой, приглашая, рядом с ним сидел незнакомый человек, едок с третьего стула как раз встал и ушел, а четвертый стул был вообще свободен. Алексей не видел причин уклоняться, избегать зова — все-таки знакомы с самого утра.

— Садись, — сказал ему Яша, ладонью оглаживая скатерку. — Разреши представить: Василий Васильевич Бубеев, ответственный секретарь редакции.

— Ну-ну, без чинов, — заскромничал сосед, протягивая руку. — Бубеев, за глаза — Вась-Вась, скоро тоже научитесь... А я о вас кое-что уже знаю, должность такая, обязывает, хотя прошу, убедительно прошу — без чинов! В нерабочее время — без чинов. Договорились?

— А моя фамилия, ты ведь не знаешь, Черношварц, — сказал Яша. И пояснил: — Я еврей. Но еврейские анекдоты при мне — можно.

Только сейчас Алексей почувал, что от них обоих несет водочным духом, а перед ними стоял пузатый порожний графинчик. Но нельзя было сказать, что они были слишком уж пьяные, нет, в норме, как раз в той самой норме, когда разговаривать друг с другом уже надоело и появление нового человека за столом вызывает свежий прилив чувств.

— По сколько закажем? — деловито осведомился Яша, подымая графинчик за горло. — Еще по сто?

— Ему двести, штраф, — уточнил Бубеев.

Алексей, покорно вздохнув, вынул из кармана талоны на питание и командировочную хлебную карточку.

— Этого не надо, — показал Бубеев на карточку. — Хлеб здесь дают свой.

— А куда же девать? — удивился Алексей.

Впервые за долгие-долгие годы ему сулили дать хлеб без карточек, и даже непонятно было, куда девать сегодняшние талоны, как отоварить, как выкупить. Более того, эти сегодняшние талоны на хлеб могли остаться неотоваренными — ведь уже вечер, — пропасть зазря, чего с ним, с Алексеем, ни разу не случилось за все прошедшие долгие-долгие годы.

— Сухари суши, — подмигнул Бубеев. — На подоконнике.

Яша подхватил графин и направился к буфетной стойке.

А подошедшая к столу официантка взяла талоны, сказала:

— Обед не вырван. Щи давать?

— Выбейте товарищу мозги, — осклабясь, расхоже пошутил Бубеев.

У него был на редкость широкий рот, и потому зубы в челюсти были расставлены не плотно, а на некотором расстоянии, чтоб хватало от угла до угла.

Вернулся Яша Черношварц с графинчиком и третьим стаканом, налил, сказал:

— Поехали.

Вась-Вась сглотнул до дна, вслушался, как пошло, дотоле мутноватые и вялые глаза его оживились, просветлели:

— Ну, с приездом тебя, Алеша. Могу — Алешей?

— Можете, — разрешил он.

— Какими судьбами к нам? Знаю, что на практику. Но вот интересуюсь: почему именно к нам? У тебя здесь есть кто?

— Никого нету.

— Почему же именно сюда выбрал?

Алексей подумал и ответил кратко:

— Север.

— Ах вот оно что, — подхватил довольный ответом Бубеев. — Ну, конечно, мечта детских лет: челюскинцы, папанинцы, через Северный полюс в Америку, да?

— Конечно, — подтвердил он. — Все мечтали.

— А ведь Северный полюс далеко отсюда, — снова заулыбался Вась-Вась. — Дрейфующие льды, торосы, белые медведи — о-очень далеко. Ведь тут у нас, в городе, ничего такого нету. Даже оленьей упряжки здесь не видали. Только оленятину, — он потыкал вилкой в стылую свою котлету, — вот.

Алексей зажевал медленней, пытаясь уловить вкус, он ведь не знал, что котлеты из оленьего мяса.

— Я вообще-то попал сюда случайно, — объяснил он.

— Случайно?

Бубеев весь подался к нему, как будто того и ждал, словно только этого слова ему и не хватало, и вот оно произнесено.

— Значит, случайно?.. А между прочим, Алеша, я здесь тоже случайно, совершенно случайно. Представь себе. Даже о Северном полюсе я никогда не имел мечты... Или же возьми его. — Вась-Вась тронул вилкой Яшину грудь. — Скажи, Яша, ты мечтал? Или тоже случайно?

— Случайно, — подтвердил Яша Черношварц. — Я родом с-под Николаева, но после фронта туда не поехал, там у меня никого не осталось, — и вот случайно приехал сюда. Но я не обижаюсь, мне нравится, — заверил он.

— А что такое случайность? — спросил Бубеев, вдохновляясь. — Как философская категория? Случайность — смотри необходимость, да-да... Случайность — это лишь скрещение необходимостей, результат причинного хода. Больше того, случайности в чистом виде вообще не бывает. А иногда, — он значительно поднял палец, — иногда они даже тождественны друг другу: случайность является необходимостью, а необходимость случайна... Вот ты думаешь, что просто игра случая, так?

— Я ничего не думаю, — хмуро отодвинул тарелку Алексей. Ему сделалось скучно от этих пустых рацей.— Приехал и приехал. Как приехал, так и уеду. Вам какое дело?

— Ершистый, — то ли похвалил, то ли осудил Яша.

— Да ведь я не про то. Я хотел объяснить философскую сторону...— В голосе Вась-Вася была досада, слышалась усталость, а глаза его постепенно меркли, угасали, пыл сменялся тоской. — Яша, поди-ка еще возьми, — тихо попросил он.

— Хватит. Много будет, — остерег фотограф.

— Яша, — положил ему руку на плечо Бубеев, — я разметил тебе?

— Разметил, — подтвердил Яша.

— Я хорошо тебе разметил? По-божески?

— По-божески, хорошо.

— Что ж ты...

Вась-Вась крепко выругался.

Хотя Алексей и не понял, о чем между ними шла речь, но ему не хотелось, чтобы они при нем затевали ссору. Он собрал стаканы в три перста и понес их к буфетной стойке.

За стойкой важно возвышалась грудастая краля, голова в кудряшках, а возле нее на стойке высилась громадная бутыллица. Но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что краля эта уже немолода, не первой свежести — лет к тридцати. А кудряшки-то, кудряшки, как на овце. А пазуха-то, пазуха, будто всю выручку туда затолкала.

Но гораздо больше этой пожилой крали Алексея заинтересовала бутыллица водки, стоявшая возле нее: она была в человеческий рост, не взрослый, конечно, а подростковый, в ней, поди, было литров десять, а поверх была пришлепнута обычная водочная наклейка, ну и посудина, он еще никогда таких не видал, вероятно, специальный северный розлив.

— Силен пузырь! — восхитился Алексей.— А можно такой выпить?

— Смотри сколько сидеть, — сказала краля, отмеряя. — Сидите дольше.

Навалилась на прилавок всей пазухой, заглянула ему в лицо.

— А вы правда из Москвы?

Оказывается, все тут уже знали, в этой закрытой столовке, в этом потешном городе, что он из Москвы.

— Истинная правда,— заверил он.

Бубеев спал, уронив голову на грудь.

Они чокнулись с Яшей.

— Я до войны не пил,— сказал потом Яша Черношварц.— Я на войне начал. Всего сто грамм, но каждый день. Привык, знаешь... В нашей армейской редакции было два еврея: я и Сеня Коган, печатник. Он боялся спиться, отдавал свои сто грамм метранпажу Сорокину. А мне было жалко отдавать. К концу войны Сорокин спился, он еще употреблял технический денатурат. Я пью, как все. А Сеню Когана случайно задело осколком, насмерть, как стоял...

— Опять случайно? — Бубеев открыл глаза. — Я ведь только что объяснял: в чистом виде случайностей не бывает, случайность — смотри необходимость...

— Разве была необходимость, чтобы Сеню задело? — удивился Яша.

— Не в этом дело, — отмахнулся Вась-Вась и, взяв стакан, догнал их. — Я хочу, чтобы вы уловили взаимосвязь: она во всем, во всем без исключения. Обязательно. Классический пример: что такое выпуклость? — Бубеев обвел пальцем наружные грани стакана. — Берем энциклопедию, находим букву, слово. А там? «Выпуклость — смотри вогнутость...» — Он обвел пальцем стакан изнутри,

облизнул палец. — Именно так: выпуклость — смотри вогнутость! — торжествующе заключил он.

— Знаешь, Василий Васильевич.. — скептически поморщился Яша.— Я заглядывал в эту твою энциклопедию, в шкафу, немножко полистал. Так там у тебя на картинке, — он понизил голос, — Троицкий там с бородой и Зиновьев—Каменев в натуре, на плотной бумаге, офсет... Это как же?

— И здесь тоже надо искать взаимосвязь, причинность! — шепотом возликовал Бубеев.

— Я и нашел, — перебил Яша Черношварц. — Я сразу понял, почему ты раньше был энциклопедистом, выпускал в Москве энциклопедию, а вот уже семь лет припухаешь тут. По какой причине. Только ты не обижайся.

— Все это ерунда! — громко и смело в отличие от этих двоих шепотливых пьяниц заявил Алексей Рыжов. — Что за чушь: выпуклость, вогнутость?

— Не кричи, — ласково попросил Яша. — Смотри, никого уже нет.

Алексей оглянулся: да, в просторном зале столовой было пусто, лишь за одним отдаленным столиком бухтела, склонив над стаканами головы, такая же теплая компания, как они сами.

И отдыхала за стойкой, сидя в уголке, краля с кудряшками.

— Вот-вот, — несколько тише, но еще уверенней заговорил он. — Почему если выпуклость, то обязательно вогнутость, почему? Вот у нее здесь и здесь... — Алексей показал пальцем на кралю и где именно у нее.— Вот у нее здесь выпуклость и выпуклость, очень даже, а вогнутость где? При чем здесь вогнутость? И нету.

— О, воображает, — похвалил Яша. — Это он про Зойку.

— Значит, нету? — переспросил Бубеев.

— Нету.

— Ладно. — Бубеев почему-то враз протрезвел, насухо, будто и не пил. — Совсем забыл тебе сказать. Завтра утром поедешь в Белый Бор, на генеральную запань. Очерк о лучших людях, двести строк.

— Я? — крайне удивился Алексей. — Это где, Белый Бор?

— Поблизости тут, километров двадцать, — уточнил Яша.

— Но... но мне обещали, что я поеду на Печору.

— Печора далеко, — сухо, совсем уже сухо произнес Вась-Вась.— Далеко и долго. Мы ведь не знаем, что ты можешь, что умеешь. Покуда мы тебя здесь попасем, вокруг города. Присмотришься, набьешь руку. И мы тоже присмотримся.

— А, собственно, почему об этом... почему приказываете вы? Семен Ильич просил зайти к нему.

— Семен Ильич с утра будет на активе. Это его задание. И в дальнейшем ты будешь получать задания через меня.

— Ответственный секретарь — хозяин редакции, — почтительно объяснил Яша Черношварц.

— Так что к девяти, — сказал Бубеев, трезво вставая.

4

Белый полуглиссер, внучатый племяш парохода «Тютчев», здрав нос, порол днищем речную гладь, а позади него вырастали и отваливались два кипящих буруна.

Спереди был ветровой плексигласовый щиток, в лоб и в глаза не брызгало, но поверх обдавало темя холодным и мокрым, даже кропило слегка затылок, и это было приятно.

Алексей вытащил из кармана своей кожанки красную коленкорую книжечку, на ней было оттиснуто серебром «Северная звезда», только что выданное ему удостоверение, которое вручила без

излишних торжеств, но от всей своей тугощекой и улыбочивой души секретарша Ася. Она же дала ему свежий блокнот, на нем тоже было тиснуто «Северная звезда» и еще сверху каждого листка, солидно. А в петельку блокнота был вставлен остро заточенный карандаш, Алексей поколол палец этим торчливым острием — Ася зарделась, значит, сама затачивала.

Он еще раз заглянул в удостоверение, полюбовался фотографией, чуть вздохнул: на всех фотографиях своей жизни он выходил жгучим брюнетом, хотя на самом деле был определенным блондином, и даже на этой карточке, снятой таким опытным мастером, как Яша, у него были волосы и брови пикового валета. У него тут были пронзительные и беспощадные глаза сербского партизана, хотя у него по правде были светлые глаза, даже не плотной голубизны, как бы ему хотелось, а еще светлей и мягче. Но все остальные приметы были налицо, а особых примет у него не было.

— Значит, вместе будем теперь работать? — крикнул, покосившись на его занятие, водитель полуглиссера Егор. — Вместе будем, взад-вперед, газету печатать, а? — Рассмеялся белозубо и весело.

— Вместе, — кивнул Алексей, оценив его шутку. В долгу не остался: — А ты кем идешь по судовой роли — матрос, моторист, боцман?

— Нет, я сухопутный. Зарплату получаю как шофер, но машины пока нету. То есть машина за редакцией числится — «эмка», довоенная еще. Во дворе стоит. Ну а что там от ней? Скорлупа одна. Мотор истерся, сыплется, починить нельзя. Рама гнутая, а шасси... — Он только рукой махнул. — Обещают новую машину. А пока я вот на этом езжу. А что? Хорошо очень. Все лето на воде, взад-вперед... Хорошо!

Егор с видимым удовольствием заложил руль круто вправо — полуглиссер лег на бок, выкраивая дугу. Их обдало искрометной пенной влагой.

— Хорошо! — согласился Алексей, хватаясь за борт.

Он догадался, что сейчас они проскочили речное устье и вошли в иное течение, вычегодское, но разницы почти не замечалось, там вода, тут вода, лишь берега отодвинулись друг от друга подале да ветер вольготней загулял по всей шире, качая волны, а там ветра не было.

Навстречу им крохотный буксир тащил по реке плот, распластавшийся по всему фарватеру, столь громадный, что казалось — вот он вытеснит саму реку из ее русла. Тьма бревен, целый лес, полтайги — как стояло, так и полегло, так и поплыло. Они, эти бревна, в совокупности своей были теперь как бы шершавой корой, одевшей могучий ствол реки. Схваченный надежной оплеткой, в тихом смирении плыл этот отыгравший, отшумевший лес: ни скрипа не издавали притершиеся друг к дружке тела, ни стопа, ни скрежета от напряженной железной сцепки, даже трудно было поверить, что такая несметная масса может быть в движении такой безмолвной.

Но буксирный катерок гугукнул им, предупреждая.

Они обошли по краешку это плавучее лежбище.

— Оттуда? — спросил Алексей. — С Белого Бора?

— Вполне может быть, — подтвердил Егор.

Алексей раскрыл свой блокнот и сделал почин, измарал страничку, ему это показалось интересным: что они туда, а навстречу им — готовый плот.

— А может быть, и с другой запани, — подумав, уточнил водитель. — С Талицкой или Шарьинской... Тут ведь не одна.

— Все равно, — сказал Рыжов, засовывая блокнот в карман.

Мчались дальше.

— Я ведь только прошлой осенью из армии демобилизовался, осенью будет год, — продолжил о себе Егор. — Захватил малость

фронта, потом служил в Германии. В союзной комендатуре, полковника Гурьева возил, Глеба Афанасьевича... А всего там четыре коменданта было: наш, американский, англичанин и еще француз. У каждого, конечно, выезд свой, взад-вперед, машина да шофер. Так вот американского полковника, колонеля по-ихнему, на «виллисе» негр возил, солдат, звать Джон. Очень черный, прямо-таки синий весь. Мы с ним познакомились, когда коменданты, все четыре, съезжались заседать. Они заседают, а мы возле машины тары-бары. Ну нет, конечно, какие тары-бары, если он по-русски ни словечка не знает, а я по-ихнему, по-английски, тоже не могу. Однако разговаривали: я ему про все «алё-алё», а он мне про все «давай-давай». Девка-немка, скажем, идет стороной, я ему намекаю — «алё-алё», годится, мол, а он мне «давай-давай», головою трясет, мол, годится, взад-вперед, это точно, скалится, сам черный, а пасть у него красная и глаза красные, звать Джон...

Егор прокашлялся, потому что весь свой сказ он вел на крике, стараясь перекрычать рев мотора, а мотор ревел сильно и перекрычать его было трудно, но ему очень хотелось рассказать про это, и вот он орал, надрывая голос.

— А один раз его колонель выходит с заседания — весь злой и потный, распаренный, поговорили, значит, — садится в свой «виллис», перчаточкой машет: газуй. Тот зажигание провернул, на газ жмет, а мотор молчит — хоть бы чих, нету. Он педаль топчет так и эдак, ключ выворачивает — молчок. Вылез, задрал капот и глядит... А я уж, понимаешь, раньше заметил, что железа он не знает, ничего в моторе не смыслит, совсем неграмотный — только баранку крутить. Стоит и смотрит, плечами жмет. А колонель из себя выходит, хуже прежнего злится, из машины тоже выскочил, орет. Ему — это я после узнал, Глеб Афанасьевич пояснил — надо было к самому командующему срочно... ну хоть пешком беги!

Теперь им навстречу в коварном полупогружении, как субмарина, плыло по реке одинокое бревно. Егор обогнул его и плюнул вслед.

— Да. Я вижу, выручать надо, все-таки мы еще союзники, а он — свой брат-шофер. Сунулся, ковырнул, оказывается, движок отключился, провод отошел, оттого и нет искры, а всего делов — довернуть гайку. Я довернул, взад-вперед, и к рулю: завелось с полоборота, сразу др-р-р... «Алё-алё!» — кричу. Он обрадовался, засуетился: «Давай-давай!» А колонель весь поблдедел — и хльсы ему по сопатке, несильно вроде, а юшка красная потекла. Смотреть дико, как в старые времена...

— Неужели? — отозвался Алексей с искренним удивлением. — Южанин, наверное, плантатор полковник этот.

— Не знаю... Только слушай, что дальше-то было. Назавтра колонель с моим полковником, Глебом Афанасьевичем, разговор имел через переводчика. А еще через день приезжает весь торжественный и вручает мне американскую медаль, не знаю, за какие заслуги, на ленточке вешает. Я, конечно, грудь колесом и: «Служу Советскому Союзу!» — не вам, мол. Привез я эту медаль, дома лежит, во как.

— А Джон?

— Джон?.. Мы с ним и после дружили по-шоферски: «алё-алё», «давай-давай». Так вот он насчет этой медали: поддернет-поправит ее на моей гимнастерке да на себя показывает: учти, дескать, это меня ты благодарить должен за высокую награду, через меня она тебе досталась, хотя мне и по морде залепили, а тебе вот из-за этого медаль. Бычится, гордится сам собой... вообще...

Егор помолчал, вспоминая это приключение, и было похоже, что там, в его воспоминаниях, имелись какие-то камни преткновения, о которые он до сих пор спотыкался.

— Странное дело... Что у них там негр — последний человек.

хуже любого белого, это я уже понял, тем более если прямо на людях по сопатке хлещут. И сам этот Джон понимал, что последний он человек, и сносил без возражений... Но вот последний-то последний, а вижу, что меня он, этот Джон, считает еще последнее себя, потому что он американец, свысока на меня поглядывает, по плечу похлопывает — «раш-раш», считает, если русский, то еще хуже негра... А ведь я семилетку до войны кончил, второго класса шофер, а он как есть совсем неграмотный! Странное дело.

— Да ничего тут странного, — успокоил Алексей. — От забитости это.

— Думаешь?

— Точно.

Вдали синий плес реки был перетянут наискосок ниткой деревянных бонов. И там, где эта ловушка сужалась, почти касаясь берега, сидели на плаву две машины, то и дело изрыгающие дым из труб. Подле них мелькали багры, будто вязальные торопливые спицы.

Егор отжал рычаг, сбросил скорость. Посудина, весь путь так надменно задиравшая нос над волнами, кротко легла на них, закачалась, закивала. Бревна плыли теперь навстречу уже целым косяком, ныряя и выныривая под самым носом, подставляя солнцу влажные горбы. Водитель суматошно крутил баранку, обходя их, будто вел автомобиль в густой чащобе, где того и гляди заблудишься, застрянешь.

— Елки зеленые! — ругался он. — Ведь запань для того и поставлена, взад-вперед, чтоб ничего мимо рук не уплыло, а плывет вон сколько... Говорят, до войны один норвег фирму держал: вылавливал в море лес, который от нас ушел, — крепко богател! Небось и теперь богатеет, а? — Егор расхохотался.

Алексей сунул руку в карман, хотел уж было и это записать в блокнот — про норвега и про его фирму, потому что сразу почуял тут смысл, урок. Но не стал записывать, так как не был уверен, что это стодится для газеты. И поди разберись еще, где тут правда, где байка: про норвега, про негра...

Да и не успел бы он все равно записать: лодка воткнулась в песчаный берег.

В дощатой конторке с ним вел переговоры технорук запани Коломиец. Человек, будто бы прирожденный для лесного дела: сам из себя коренастый, кряжистый, рубки угловатой и плотной, с кожей, задубелой на ветрах и солнце, а голова острижена в колючий хвойный ежик.

Рыжов протянул ему, как положено, свое удостоверение — тот отмахнулся великодушно, верю, мол, и так, но потом все же взял, погладил, не раскрывая, блестящий неистертый коленкор, поднес к ноздрям, нюхнул, не пряча удовольствия, и отдал ему обратно, всем тем свидетельствуя: вижу-вижу, что человек вы новый, забот наших не знаете и знать не можете, но что поделаешь, ничего не попишешь, прибыли — встречаем, спрашивайте — отвечаем, а робеете спросить — сами скажем.

— Вовремя пожаловали, товарищ корреспондент, — сказал технорук Коломиец. — Дела у нас совсем хреновые. Такелажа осталось на неделю, а то и меньше. Трест подводит, снабженцы. Сидим на голодном пайке.

— Минутку, — прервал его Алексей, устраивая блокнот на колене. — Об этом позже. Понимаете, мне надо насчет соревнования. Передовая запань, лучшие люди...

— Правильно, — согласился технорук. — Запань у нас хорошая, зная держим. Соревнование горит огнем. Что есть, то есть, верно. А чего нет, того нет. Такелажа нет, запас кончается, последние мотки... — заволновался он.

— Одну минутку,— сказал Алексей, вытягивая карандаш из пельки. — Ваше имя-отчество? Так... Богдан Самойлович, вы воевали?

Он решил взять за правило, что отныне и навсегда это будет первым и неизменным его вопросом: вы воевали? С тех пор как однажды пришла к нему простая мысль, что войны больше не будет и что число людей, которые воевали и выжили на войне, от года к году станет убывать, а число тех, кто, подобно ему, не поспел на войну, не воевал,— оно будет неизбежно прибывать год за годом. Эту вдруг явившуюся мысль он счел озарением. Потому что никто еще, как он замечал, не хотел задумываться над этим: ведь воевало большинство, несомненное большинство людей, особенно мужчин, почти все, почти каждый. Но ведь и они, он догадывался об этом, лишь остались в живых, уцелели меж павших на войне, павших, как и его отец.

Поначалу этот счет, мысль эта пугала и давила, угнетала его даже во сне — он просыпался в липкой испарине, — но позже он спокойней думал об этом, лишь утвердившись в своей мысли, которой пока никто не хотел брать в толк.

— Вы воевали? — повторил он.

Богдан Самойлович молча смотрел на него. В глазах его было испытующее напряжение, будто он силился понять — зачем и почему этот вопрос? Как будто он даже заподозрил в этом вопросе хитрый подвох, способ уйти от серьезного и делового разговора. Но вопрос был задан, и он ответил, прихмурясь:

— Воевал.

— Где?

— На Западном, а сперва на границе...

Карандаш Алексея бежал по странице блокнота, набрасывая стенографические знаки.

— Имеете боевые награды?

— Нет.

— Ранения?

Коломиец, не отвечая, стал медленно — пуговица за пуговицей— расстегивать ворот рубахи, под нею было голое темное тело. Глаза его сузились, закипая бешенством. Эти опасные глаза и не сулящее ничего доброго движение руки, раздирающей ворот, были знакомы Алексею (контуженный, ясно), и он решил прекратить об этом, сказал примирительно:

— Теперь насчет соревнования.

Рука, вздрагивая, пошла вверх по пуговицам, застегивая их.

— Нет, теперь насчет такелажа.

— Давайте, — покорился Алексей.

— У нас на исходе такелаж. Знаете, что такое такелаж?

— Знаю, вырос на море.

— Ну вот, хотя у нас другое: проволока — вязать пучки, стальной трос — оснастка для плотов. Кончается, запаса нету. А как кончится, так и все пойдет насмарку: график, план, соревнование... Хуже того, может сорвать запань: ведь лес идет с верховьев, прибывает, жмет. Тогда — под суд. А кого под суд, меня? За что?.. — Опять потянулся к вороту. — За то, что я пять раз в день звоню в сплавконттору, в трест? Езжу сам, а мне бесподручно оставлять производство, людей посылаю, а в тресте нам — вот... Понимаете, насчет соревнования — это хорошо, очень приятно читать, когда хвалят запань, людей, хотя я наперед знаю, что меня лично в газете не вспомнят...

— Почему же? — удивился Алексей, приостановив бег карандаша. — Обязательно.

Коломиец отмахнулся и продолжил:

— А если вы в своей заметке саданете по тресту — будет прямая помощь. Такелаж будет! Они, в тресте, испугаются, что в об

коме прочтут, что с них спросят, — и сразу дадут, даже забегут раньше спроса, чтоб ответить: уже дали. А нам того только и надо. И план сделаем, и огонь соревнования раздуем, и знамя понесем...

— Будет, — твердо сказал Рыжов.

— Слово? — обнадежась, смотрел на него технорук. — Печатное слово?

— Слово.

— Тогда пошли, корреспондент, к лучшим людям.

Они спустились по песчаному сыпучему белому берегу, зашагали по колеблющимся на воде мосткам.

Залом был набит плотно, туго. Бревна, попадая в ловушку, не тотчас находили дорогу и место. Они, еще сохраняя и неся в себе скорость речного течения, с разгона бились лбом в другие комли, подталкивая их нетерпеливо, а сзади их тоже поджимало, и они, скользкие и верткие, высывались из воды, становились на дыбы, норовя взлезть на чужой такой же мокрый и скользкий горб, вдруг вставали на попа — и тут заломщики, приметив, где опасность, вонзали багры в их тела и растаскивали поврозь, проталкивали затор, но бревна опять наседали, громоздились, лезли друг на друга, как льдины в половодье.

— Вот видишь, что делается, — сказал Богдан Самойлович, — идет и идет сверху. Много леса нынче, еле управляемся. Врать не буду: когда чую, что обстановка аварийная, маленько перепускаю лес мимо запани...

— Норвегу? — шутя, справился Алексей.

Лицо Коломийца опять напряглось, черты обострились.

— Какому норвегу?

— Да так, байка это. — Алексей ухмыльнулся беспечно.

— А-а.

Голос технорука отмяк, но в глазах еще дотлевала подозрительность.

— Ну теперь давай перейдем на кошели, туда, — сказал он.

И они потопали дальше по мосткам, которые здесь, на запани, были будто тропки, будто те же, что и в городе, дощатые тротуары, однако не на суше, а на воде.

— Вот, познакомься — это Ия Шахова, бригадир.

Обернулась девушка в ситцевом платке, опеленавшем голову, и шею, и подбородок, только глаза да нос наружу, но все равно ее вздернутый нос шелушился чешуйками наподобие молодой картофелины, а брови и ресницы выгорели добела.

— Ты ему все тут объясни, Ия, расскажи, — поручил Коломиец. — Она тут все тебе объяснит, расскажет, — заверил технорук. — А он про тебя, Ия, в газете напишет, — посулил он ей. — А мне надо идти звонить в сплавконттору, — извинился он, — про то же самое, про такалаж, — объяснил он и пошел.

— А про нее уже в газете два-раз писали, про Ийку!

Алексея окружили, взяли в оборот девчата в белых косынках, вооруженные баграми, — они вмиг сбежались сюда с окрестных боннов и дружно заверещали:

— Ей уже два-раз, а нам бы хоть разок...

— Несправедливо! Другим разве не надо?

— Хоть бы в очередь, мы согласны!

— Записываю, — сказал он, раскрывая блокнот.

— Ой, да неужто и фамилию спросит и как звать?

— Нет, я не первая, погожу — погляжу...

— Да ему, девчата, поди, сперва объяснять надо — как!

— Вот я и объясню, — покраснев по красному, по сожженному, сказала Ия. — Ну-ка по местам, девки, лес упустите!

Бесконечными косяками золотистые бревна, уже присмирившие и упорядоченные, двигались к кошелям.

— Тут идет сортировка, гляди: это шпальник, его сюда...

Сортировщица, зорко углядев среди других то, что названо шпальником, зацепила, придержала багром бревно и точно послала его в один кошель, а в другой сразу же направила тонкую серую лесину.

— А это еловый баланс, — назвала Ия.

Алексей едва успевал замечать да записывать. Ведь еще пяток минут назад он об этом понятия не имел, не различал глазом, где что, все эти бревна были в его представлении совершенно одинаковыми, ну одно потолще, другое потоньше, а оказалось, что у каждого и своя примета, и свое название, и, главное, каждому свой кошель, своя дорога, каждому свое.

— Вот это пиловочник, — объясняла Ия. — Опять шпальник, а это рудстойка... а это дрова, так и называется — дрова.

Он едва успевал замечать: что шпальник толст и добротен, что пиловочник мясист и светел на срезе, что рудстойка торчлива, жилиста, а дрова заскорузлы, дуплисты, уродливы, кривы, дрова и дрова... Он едва успевал записывать. Но при этом еще в уме у него возникали соответствующие картины: как несется паровоз, заламывающая султан дыма, а за ним вагоны, вагоны, погромычивая на стыках, а за последним вагоном, оборвав мельтешенье, лежат рядком, как патроны в пулеметной ленте, ладно отесанные и густо просмоленные шпалы; как в черном, поблескивающем антрацитовыми плитами штреке, где он никогда не был, крепильщики вбивают меж кровлей и полом выносливые и упругие стойки; как визгливые пилы свежуют бревна, отваливая набок гладенькие доски — хоть лижи их; и как жарко пылают во чреве печи, постреливая, салютуя искрами, хорошие сухие дрова. Ох, что нынче за жарынь...

— А это палубник, — сказала Ия.

Он записал с охотой и радостью, потому что ему доводилось в детстве ходить враскачку по надраенным палубам военных кораблей, где служил его отец, и он не без права считал себя человеком морским, морской душой, он даже маленьким ходил в матроске с отложным воротником — гюйсом, — а тут как раз и палубник.

Ему вообще понравилось тут, на сортировке, где различали и разгоняли по кошелям лес. Он ощутил тут некую потаенную радость, внушающую веру в будущее. Ведь еще час или два назад, когда на подходе к Белому Бору они повстречали громадный плот, эти несметные и беззвучные, прикившие одно к другому бревна показались ему мертвыми, в них было покойническое смирение, они обозначали конец: был лес, шумел, играл — и нету, кладбище, аминь; а вот тут, на запани, вдруг и выяснилось, что нет, никакой не конец, что даже после конца дерева остаются жить для всякого предназначения и дела — одному быть шпалой, другому сиять свежим тесом, третьему держать потолок, а четвертому источать жар, — но в этом каждом был свой достойный удел, был наглядный зарок бессмертия и вековой жизни, который так понятен и приятен человеку, когда человек совсем еще молод, а он был молод.

— Теперь пойдем к машинам, — заторопила Ия Шахова, видно, он слишком тут задержался. — На блокстады.

— А вы давно здесь работаете? — справился Алексей.

— С войны. Всю войну и после, — кратко и просто ответила она.

Блокстадами оказались те две фабрички, которые он приметил издалека, подплывая к запани, — две фабрички, грузно оседлавшие теченье, как два довольно отвратительных спрута, сторожившие последний вольный путь бревен: едва под их брюхом накапливалось достаточное количество отсортированных согласно кондиции лесин, они, спруты, изрыгали клубы вонючего дыма — гых, гых... — под-

бирали щупальца и сдавливали бревна мертвой хваткой, только стон и крик, потом выталкивали, выплевывали уже туго связанный железом пучок, пучки плыли дальше, беспamięтно кружась и тычась друг в друга, а на рейде их поджидали мужики с баграми и петлями — там вязали плоты... А щупальца блокстадов опять уходили в воду и душили на глубине.

Эти машины показались Алексею несимпатичными и, хуже того, неинтересными. Ну что напишешь про машины? И кому про них охота читать, хотя бы и в газете?

Он обернулся, глянул из-под ладони на девчат, уже далеких, суетящихся на мостках.

Ия поняла, зашагала обратно.

— О, к нам вернулся! — встретили его одобрительными возгласами.

— Обещал — не обманул...

— Сейчас он всех возьмет наперечет!

Алексея и впрямь потянуло к этим задорным, вострым и опасным на язычок девчатам, не обремененным бригадирством, как Ия Шахова. И работа их ему понравилась: различать глазом, распознавать умом, — тем более что он уже и сам понял смысл этой работы, сам улавливал разницу между шпальником и рудстойкой.

Но ходить среди них с блокнотом и карандашиком и задавать с важным видом вопросы — как, мол, вас, и с каких пор, и какие ваши дальнейшие стремления, — нет, это было невыносимо для него, нелепо и стыдно, тем более что он парень, а они девушки, нет, это было не по нем. Да еще вспомнилось совсем недавнее и уже запечатленное в памяти добром, чем дорожат впоследствии и в чем находят смысл гораздо больший, чем просто случай: как все население парохода «Тютчев» без различия пассажирских классов и служебных рангов, стар и млад, все без исключения, как только им сделалось ясно, что надо, что само по себе не двинется, что без них не обойтись, что все зависит от каждого (а им просто объяснили это, без лишнего пафоса сказали правду), — как тут же все они двинулись по сходням на берег, разобрали пилы и топоры, выстроили цепочку, с рук да на руки — и задышали котлы парохода...

Ему захотелось опять и самому вкусить этой радости. Алексей живо сбросил с плеч кожанку, кинул к ногам, засучил рукава рубашки, подхватил с мостка чей-то багор, подошел к краю.

— Ну зачем вы? — негромко, не для всех, но озабоченно проговорила Ия Шахова. — Зачем вам?.. Все же вы представитель, вам не годится, не положено...

Но девчата-сортироващицы уже подзадоривали его:

— Вот это юнош! Молодец...

— Покажи-ка силу!

— Да верней целься...

Он воткнул багор в налимье, серое с чернотой и пятнистым узором замокшего лишайника еловое тело, быстро сообразил, что это баланс, и послал его направо, в тот кошель, куда полагалось направлять баланс.

Следом высунулась лесина, она вертелась в воде так и эдак, потому что не знала, на какой бок ей лечь, потому что была кривобока и корява, в комле широка, как граммофонная труба, а дальше узилась — поди вот вытеши из нее шпалу, выкрой хоть одну доску, нет, не выкройшь, — и он уверенно толкнул ее в последний кошель слева, на дрова.

Но тут подошла к нему, как на заказ выплыла достойно и плавно, будто красуясь собой, золотисто-розовая сосна, прямая как стрела, округлая и гладкая в обхвате, полная женской зрелой дородности, — она была так хороша, что он не смел, не мог набраться решимости вонзить в нее железо, а она медленно и спокойно уходила

от него, и тогда он испугался, что упустит, что уже упустил ее в любовании, прозевал, опоздал. Склонясь, он дотянулся все же, не острием багра, так хоть крючком, лишь бы остановить, а там уж и додумать — куда и как...

Но тотчас его руку дернуло всею силой поступательного ровного движения и повлекло за собой. Он мог бы еще разжать пальцы и отпустить, бросить багор, был такой миг, когда он еще успевал это, но не споровился, а миг пронесся. И теперь рвануло не только руку, а всего его с головы до пят. Он не устоял, не удержался — и с размаха ничком рухнул в воду, взметнув шумные брызги...

Вынырнул, отплеываясь, глотая воздух, отодвинул залепившие глаза волосы.

Девчата лежали на мостках вдоль и поперек, поваленные хохотом, как ветром.

Ия Шахова протягивала ему руку, глаза ее были круглы от испуга, она, конечно, боялась, что он не умеет плавать и сейчас пойдет ко дну, утонет, а не утонет, так эти подружки засмеют человека до смерти, а если он и выживет, то ей, бригадиру, так и так достанется от Богдана Самойловича за этот непорядок, за подобные дела, у-ужас.

Алексей отвел ее руку, уцепился за край, оперся и легко вынес тело из воды, выскочил на сухое, но с него текло ручьями и враз под ним напрудилась лужа.

Девчата хохотали навзрыд.

Он, внутренне похолодев, тронул мокрые карманы на груди и бедрах, но тотчас увидел свою кожанку, лежавшую в стороне: блокнот был там, удостоверение там, деньги там.

— А вода теплая, — невозмутимо сообщил он.

Однако нужен был еще какой-то отыгрыш, чтобы выйти из этого конфуза, как выходят сухим из воды.

Он шлепнул себя ладонями по груди, по бедрам, по ягодицам — все было мокро, и шлепки получались звонкими, — снова и снова, да побыстрей, да поцыганистей зашлепал там и сям, а набухшими, хлюпающими башмаками взялся выкаблучивать при этом матросское «яблочко».

Сортировщицы перестали смеяться, замолкли и глядели на него во все глаза в пугливом опасении, не рехнулся ли.

— До свиданья, — сказал Алексей, подобрав и встряхнув кожанку. — Салют.

Отойдя чуть далее, убедился, что никто, кажется, и не заметил, что стряслось там, на сортировке, никто не обратил внимания на его падение.

Ну и прекрасно.

Однако, зло скрипнув зубами, он тут же мысленно поклялся, дал святой зарок, что отныне и навеки, нигде и никогда, ни при каких обстоятельствах он не станет соваться не в свои дела, лезть, куда не надо, потому что всегда нужно знать свое место и свой чин, и если тебя поставили толкать бревна — толкай, пни ворочать — ворочай, землю рыть — рой, но уж если тебя отрядили писать в газету — знай пиши.

Он поравнялся с блокстадами, когда те издали пронзительный и сильный свисток. И сразу же кругом закипела новая суета: шабаш, конец смены.

Пожилой сплавщик, мимо которого он проходил, снял брезентовые рукавицы, положил с собою рядом багор, лег на мосток и, макая усы, начал пить из реки чистую воду, при этом он сдувал с поверхности крошки сосновой коры, чтоб не лезли в рот.

Алексей вытащил блокнот и записал.

Егор тоже лежал на бревнах, свесив голову к воде, у зачального полуглиссера и был до того сосредоточен и увлечен чем-то, что даже не оглянулся, когда над ним навис Рыжов, и тем паче, к радости Алексея, не стал спрашивать про его мокрый плачевный вид, где, мол, испуался.

Он придерживал двумя пальцами, в щипке, как балалаечную струну, отвесно убегающую вглубь лесу, толстую, надежную, — может быть, и впрямь струна, воловья жила.

— А что тут... — начал Алексей.

Но Егор зашипел на него:

— Ш-ш! Клюет, вишь, взад-вперед...

Он присел рядом на корточки, заинтересованный весьма и весьма, сразу позабыв о своих только что пережитых злключениях, спросил тихо:

— А что тут есть?

Водитель полуглиссера без слов тронул ржавый стальной трос, к которому тоже была привязана жила, спущенная в воду. Алексей заглянул и увидел кукан, а на кукане сидели, соткнувшись носами, будто совещаясь, штук пять хороших рыбин, толстых в спинке.

Егор поддел струну, она запела от натуги, и он пошел выбирать ее быстрыми махами, скидывая выбранные витки обратно в воду, чтоб леса не путалась на сухом, видно, что мастак, не дурак, рыбак бывалый, — он выбирал, сучил, плотноядно и хищно улыбаясь, значит, шла, слегка присуетился, когда жилу завело под бревна, это рыба, тоже не дура, пыталась оборвать и уйти, но он ее, лапушку, вывел обратно, подтянул и косым броском (чтоб упала не на воду, а на бревна, когда она вдруг потяжелееет, переходя из стихии в стихию) извлек наружу; она сверкнула на солнце дорогим серебром чешуи, полохнула алым опереньем, забила сильным хвостом, вытянула в трубочку окровавившийся рот.

— Язь? — узнал Алексей.

— Ну не сам язь, так подъязык, — заскромничал охотник, выдирая из рыбьего неба крючок. Прodel кукан под жабры, отправил вниз совещаться.

— Дай я! — взмолился Алеша.

— А чего, попробуй, — великодушно разрешил Егор, ставя перед ним жестянку с жирными червями, тихо делившими меж собой катыши влажной черной земли. Значит, хозяин полуглиссера имел постоянно в запасе снасть и насадку.

Алексей наживил, расправил поводок, поднял железное грузило, чтобы раскрутить его пращой и закинуть подальше, но Егор оставил заброс:

— Не надо, опускай так. Тут глубынь метров девять да само-теком еще унесет. Течение тут быстрое: ведь это Вычегда, а не Шпреля...

Железо кануло, увлекая за собою, разматывая в воде витки, вот леса напряглась — Алексей поддел, зашипнул, чутко слушая струну мякотками пальцев.

Он знал и любил эту ловлю донками еще с детских довоенных светлых пор на море и на реке, отец научил, он тоже был заядлым рыболовом. Но вот что странно: потом, в войну, во время долгих тягот его второй эвакуации в захолустном Городище на берегу озера Неручь, он ни разу не вышел с удочкой на берег, хотя рыба в озере водилась изобильно и хотя, казалось бы, в том еще и был верный способ добыть себе приварок на беспросветной голодухе, — но нет, не только он, но и никто из ребят детского дома не ходил рыбачить в ту пору, странно. А позже, вернувшись в Ленинград, он иногда лишь наблюдал от безделья, слоняясь после школы, как удят корюшку на Неве, на Охте не умершие блокадные старички и мальчуганы.

Так что эта рыбалка на северной большой реке была для него и приятным сюрпризом, и неожиданной забавой, и возвращением в столь далекое детство.

Почти сразу как насадка легла на дно, он почувствовал там, на глубине, возню и тормошенье и уже предположил, что хищная мелочь рвет на части, в розницу, червя, подумал, что надо бы сменить насадку, слегка потянул лесу и этим увиливающим движением раззадорил кого-то, заставил позабыть осторожность, заставил сработать хватательный инстинкт — хватъ, цап, — леса дернулась, отяжелела, заметалась на глубине, он добавил подсечки и начал выводить, предвкушая, гадая о своей удаче: язъ? лещ?..

Из воды выбросилось ему прямо на колени дивное существо, изгибающееся, будто у него и костей нет, одни хрящи, на спинке торчал часток шипов, а нос был тонок и вытянут гвоздем со шляпкой на конце, юрк-юрк, — он испугался, отдернул руки, ой, но Егор отважно и цепко перехватил поперек живота это страшилище, зажал, пригляделся, воскликнул, донельзя удивленный сам:

— О, гляди! Да ведь это стерлядка... Ну и ну! Сколь живу тут, а не видывал еще, чтоб кто-то поймал. Повезло тебе, Леха, взад-вперед! Не зря говорят, что новичку везенье...

Он все катал ее в ладонях, заглядывал в рот и под нежный животик, трогал шипы, покачивал головой, выражал восхищенье:

— Ну ладно бы щуку с руку! Ладно б тайменя, чтоб того не мене! А вот стерлядь — первый раз вижу... Как сюда дошла, взялась откуда? — Расцвел в горделивой улыбке: — Ну что, парень, Вычегда наша не Шпрея, а?..

Алексей, как обычно бывает с рыбаками, когда им выпадает удача и великое счастье, оглянулся по сторонам: нет ли еще кого поблизости, чтоб увидел его счастье, засвидетельствовал, поздравил, а сам бы сдох от зависти, — нет ли кого?

На высоком обрывистом песчаном берегу стоял человек в резиновых броднях с отвернутыми раструбами, стоял и смотрел из-под руки на клонящееся к закату солнце.

Алексей узнал: технорук Белоборской запани Коломиец, он самый. Что высматривает?

А вдруг и он опознал их: как они тут с водителем полуглиссера коротают времечко за хорошим занятием, дерг-подерг, ловись, рыбка, большая и маленькая. Это вместо того чтобы, вихрем домчавшись до города, до редакции, с пометкой «молния» напечатать в завтрашнем номере газеты статью о том, как бедствует без такелажа передовая запань... Ну, может быть, их лично он и не опознал — с такой высоты, из такой дали, — однако их белый полуглиссер, конечно, заметил, как не заметить белоснежного красавца с четкой надписью на борту «Северная звезда»?

— Слушай, поехали... — сказал Алексей, закручинясь. — Пора уже.

— Ехать так ехать, — сразу согласился Егор. — Мне была б команда, взад-вперед.

Он извлек из воды кукан с рыбой, швырнул его в лодку, отмотал чалку, оттолкнулся веслом, сел к рулю, Алексей рядом, завел, дал газ — и они понеслись.

Через полчаса крутой вираж влево подсказал, что они, оставя Вычегду, входят в устье ее притока.

Егор пошарил под сиденьем, достал оттуда низку снулой уже, в померкшей чешуе рыбы, протянул своему пассажиру:

— На.

— Да ты что? — оторопел Алексей. — Куда мне?

— Бери-бери. Тут и твоя ведь.

— Куда мне ее брать? Сам подумай, я в гостинице живу: графин с водой — и вся посуда.

— Поварихам в ресторане прикажи — жарят. Чма... — слотнул вкусную слюну Егор.

— Я в закрытой столовой питаюсь, — объяснил Алексей, — ужинать опоздал, а до завтра нельзя, протухнет.

Но все же представил себе в мечтах, как он входит в большой, звенящий ложками, скрежещущий вилками зал столовой, идет степенно и гордо, придерживая у бедра на отлете кукан с вальяжными язями, лещами и стерлядками. Все замолкают, выпучив глаза. «Это сколько же рыбы! — потрясенно восклицает грудастая буфетчица Зойка. — И не съесть за раз». «Смотря сколько сидеть», — усмехнувшись, парирует он. А Настоящий Станиславский, жующий в углу казенную треску, вопрошает плотоядно: «Послушайте, где вы это достали? Какая чудесная свежая рыба...» «Наловил», — небрежно отвечает Алексей. «Вы?» «Я». «Н-не верю!» — делает жест в отмашку Станиславский. Ну и черт с тобой, не верь.

Из-за сумрачной кромки берега высунулись, подобно приземленным аэростатам, округлые, крашенные серебрянкой бензобаки, на них еще доигрывали сочные пятна вечернего солнца.

Алексей догадался, что это и есть те самые бензобаки, которые вызвали бурную вспышку местных патриотических чувств у Семена Ильича Улитина, когда они на «Тютчеве» подходили к Городу-на-Реке, а сам Рыжов не пожелал даже взглянуть. У него и сейчас эти сооружения, эти емкости, прямо скажем, не пробудили душевных волнений.

— Да неужто кошкам отдавать — такую сладость, такую красоту? — застонал водитель полуглиссера.

— А ты почему не возьмишь домой?

— Кому — кошкам?.. Нет у меня тут дома — квартирую у хозяйки, да мы с ней в контрах, потому что давно не плачено. Отец-мать в районе живут, я ведь и сам из района.

— Не женат?

— Нет, я парень еще, гуляю, взад-вперед.

Алексей одобрительно кивнул.

Вскоре за бензохранилищем, за той же темной верхней кромкой берега потянулись седловатые охлупни деревянных крыш, печные трубы в сбоянах, чердачные зевы. И этот не слишком живописный, а попросту неказистый пейзаж вдруг показался Алексею очень знакомым, ах, как знакомо ему это, как досконально известно — но откуда?

Еще не вспомнив откуда, он дотронулся рукой до баранки полуглиссера, наклонился к ветровому стеклу и сказал:

— Егор, сворачивай... вон туда! — указал пальцем.

— Куда? — удивился Егор, но послушно заложил руль вправо. — Да это не город, Слобода еще.

— Вот-вот, туда мне.

Значит, зрительная память не подвела его. У него была отличная зрительная память.

— В Слободу? — переспросил Егор, атакуя берег напрямки. — Тебе что, необязательно в городе ночевать?

— Необязательно, — подтвердил Алексей.

— Фью... — весело присвистнул водитель полуглиссера. — Мне ведь тоже необязательно, могу заночевать здесь, а утром мы с тобой десять минут — и в городе... Фью! — беспечно насвистывал он. — Тогда и с рыбой никакой мороки нет, согдится рыбка, уж тут, в Слободе, я найду сковородку!

— Вот видишь, как здорово, — одобрил Алеша.

Оставив «Северную звезду» у берега на цепи с висячим замком

(все было предусмотрено в хозяйстве Егора), они покарабкались вверх по узкой тропочке.

— Я говорю, сковородка у меня тут найдется, — обернувшись, подмигнул Егор. — Га-арячая, взад-вперед, запрыгаешь не хуже язя! Ха-ха-ха...

Алексей хихикнул сочувственно.

Тропинка виляла из стороны в сторону, высота сокращалась медленно, преодолевалась с трудом и придыханием. Вот уже и полуглиссер, если оглянуться, сделался совсем крохотным белым лепестком, качающимся на волне, и сама река сузилась: так, речушка, отсюда видно ее устье, где она, дотянувшись, припадает к другой реке.

А слободские крыши, наоборот, приблизились, нависли уже над самыми головами, и серые прясла загородили краешек обрыва, ходу нет.

Егор все-таки не совладал с дыханием, остановился, не дойдя пяти шагов до того краешка. С некоторой подозрительностью глянул исподлобья на своего спутника:

— А тебе, Леха, куда? В какой тебе дом?

— Сам знаю куда, — засопел Алексей, чувствуя, как и в нем уже ворошится гневливое чувство соперника. — Обойдусь без прожатых.

— Нет, я к тому, что... может, возьмешь рыбу? Ведь тут и твоя.

Он опять протягивал ему тяжелую низку, то ли уступая, то ли откупаясь.

— Не надо. На ночь жрать вредно, — сказал Алексей.

И дальше по этой тропинке, где и одному узко, они пошли рядом, тесня плечом плечо, дыша друг другу в ухо и скашивая друг на друга зверские враждебные зрачки.

Однако под самым срезом обрыва, у забора, тропка вдруг разветвилась, разделилась на два рукава, раскинутые врозь, будто в пляске, — и Егора вполне уверенно повело налево, Алексей же убедился в том, что ему направо, ну да, так и есть.

— Э, — окликнул его издали Егор, негромко впрочем, потому что все окна в избах уже были темны, а на задворках подняли брех собаки, — чтоб к шести, взад-вперед, был на корабле!

— Есть на корабле, — ответил Алексей.

5

Зыков, литправщик секретариата, потыкал указательным пальцем в самый низ последней страницы, уже перепечатанной на машинке, затем поднял большой палец торчком, сказал:

— Мбу, мбу... мбу!

Алексей согнулся над страницей: что там ему понравилось, за что хвалит? А, это была концовка про то, как после свистка блокстадов, когда закончилась смена, усталый сплавщик снял брезентовые рукавицы, положил багор, лег на мосток и начал пить из реки чистую воду, сдувая с поверхности крошки сосновой коры, — вот что ему понравилось.

Вообще-то Рыжов не очень надеялся, что его первая заметка кому-то понравится, не гнался за успехом. Он был озабочен лишь тем, чтобы его не выгнали в шею сразу после этой пробы пера, чтобы дали еще попробовать.

Поэтому когда он сочинял, пыхтя, свою заметку, утробные его потуги в основном преследовали такие цели: ничего не сочинять, не выдумывать, писать лишь о том, что сам увидел, сам узнал и сам понял, для верности почаще заглядывая в блокнот.

И еще: в школе в старших классах ему удавались сочинения, он всегда получал за них пятерки, — так вот, когда он корпел над этой

заметкой, что-то подсказывало ему, что это должно менее всего походить на школьное сочинение, чем меньше — тем лучше, вот и все.

А потом он взбежал на четвертый этаж, отдал машинисткам, исправил после них ошибки, какие сам нашел, и отнес в секретариат.

— Мбу, мбу! — тряс головой Зыков, показывая уже другое место, где по реке плыл готовый плот будто венец всех трудов.

Алексей порозовел. Ведь тут он малость приврал, так как плот попался им навстречу еще по пути в Белый Бор, а он написал, что на обратном, однако это ничуть не меняло существа дела и, главное, вот — даже понравилось знающему человеку.

Он кивнул ответно Зыкову: мол, спасибо на добром слове.

Алексей уже знал, его предупредили, что Зыков глухонемой: говорить не может и не слышит ни черта. Но, вероятно, он был глухонемым не с самого рождения, иначе не понимал бы написанных слов, людского языка, во всяком случае его не посадили бы сюда, в секретариат, на должность литправщика: исправлять других, учить их, как надо, а как не надо писать в газету. Но ему понравились уже два места в заметке, которую сочинил Рыжов, и Алексей испытал чувство благодарности к нему и даже подумал при этом, что вот глухонемой человек, ничего сказать не может, а все-таки пытается высказать похвалу, а ведь мог бы на его месте оказаться и другой человек, с речью и слухом, не калека, для которого сказать вслух доброе слово не составило бы труда, а ведь ни за что, сволочь, не скажет.

— Мбу, мбу... мбу! — мотал головой из стороны в сторону Зыков, указывая теперь мизинцем на другую страницу, не в самом конце, а ближе к концу, предыдущую. Где говорилось о нехватке на запани такелажа, о том, что проволоки и троса осталось там на неделю, и если трест не обеспечит срочно Белый Бор снастью, запань станет — какю графику, какю плану и соревнованию тоже какю, а лес все идет и идет по реке с верховьев... То, о чем умолял его написать в заметке технорук Коломиец: можно ни о чем другом не писать, а об этом обязательно.

И вот именно эта самая важная страница была вся целиком перечеркнута крест-накрест. Несомненно рукою Зыкова, потому что сейчас он тщился что-то объяснить, почему и зачем вычеркнуто, что-то доказать, тыкал туда пальцем, пришепывал и отметал прочь ладонью: мбу-мбу...

Эти косые росчерки пера, крест-накрест, эти запекшиеся чернила, эти, казалось, вспухшие борозды на бумаге Алексей сейчас ощутил всей своей кожей, будто это его самого исполосовали по живому — так больно.

— Да вы что? — заорал он на Зыкова во всю глотку, надеясь, что если крикнуть погромче, пояростней, то этот глухонемой правщик все-таки услышит, дойдет до его слуха, примет его. — Там люди сидят без такелажа! Ждут помощи, а вы...

Но Зыков упрямо мотал головой и повторял это движение ладони по бумаге — будто сметая с нее все буквы прочь.

Алексей был вне себя. Ну как он теперь покажется на глаза техноруку Коломийцу и всем остальным людям Белоборской генеральной запани, когда выйдет газета и в ней будет его заметка, а в ней — ни слова о деле?... Что он скажет им в свое оправдание? Они ведь не поверят, что в редакции газеты «Северная звезда» сидит глухонемой правщик Зыков, который говорить не может и не слышит ни черта, ну нисколько не слышит, что делается вокруг, за стенами его кабинета, какая там, за стенами, кишучая и трудная жизнь, — а он только и знает что водить носом по бумаге, расставлять запятые и, когда ему вздумается, черкать по живому крест-накрест, вымарывать целые страницы, притом самые важные, — нет, они не поверят, сплавщики, они на смех поднимут за такие рассказы.

Они ведь не знают, что в редакции газеты «Северная звезда» сейчас некому работать — всех стоящих журналистов призвала война, держит армия, они скоро вернуться, приедут, наверняка уже едут, а пока вот приходится выкручиваться наличными силами, держать в секретариате глухих литправщиков, ловить на вокзалах, на пароходах встречных-поперечных, заезжих студентов, которые способны связать кое-как пару слов.

Нет, они не знают об этом, не поймут этого. Они просто дождутся там, на Белоборской запани, когда придет свежая газета, развернут ее, заглянут с надеждой — а там ничегошеньки нет насчет такелажа. Да, хорош гусь, скажут они: помельтешил тут, на запани, покрасовался в своей кожанке, с блокнотом да с карандашиком, сверзился прямо в воду, чуть не утонул, еле вытащили, отряхнулся, просох, наловил рыбки — и был таков... Несolidный товарищ.

Алексей, чувствуя, как от злости и решимости цепенеют скулы, выхватил рывком из пальцев Зыкова горемычные свои страницы, пересчитал, все ли тут, бережно разгладил и, уходя, процедил сквозь зубы еле-еле, чтоб тот не услышал, хотя он все равно ни черта не слышит, сказал напоследок:

— Глухая тетеря.

Но Зыков сразу услышал и понял, вскочил со стула как ужаленный, очень заволновался, пригрозил пальцем, потом схватил со стола чистый лист бумаги, трубно высморкался в него, скомкал и бросил в корзину — словно что-то хотел этим выразить.

Дыша негодованием, явился Алексей в соседний кабинет, к Василию Васильевичу Бубееву.

— Что, покровсали маленько? — сочувственно справился тот, на весу перебирая листы. — Зыков? Он, его почерк... Да ты садись, в ногах правды нет, хотя и в другом месте, на котором сидишь, ее тоже нет, — уточнил он, — а все равно садись.

Кинул в угол рта папиросу, раскурил, сощурился от дыма и лукавства.

— Знаешь, был такой случай. Ребята наши над Зыковым решили подшутить: взяли передовицу из «Труда», перепечатали ее на машинке слово в слово, положили ему на стол, дескать, в номер... И что ты думаешь? Он передовицу эту, голубушку, так отделал, так выправил — чистой строки не осталось! — Вась-Вась захохотал, вспомнив эту историю. Но добавил: — И, между прочим, ведь многое верно исправил, и по грамоте и по смыслу. Он ведь мастак своего дела, потому что о другом не помышляет, нет у него другого... Ну давай я все же пробегу.

Бубеев побежал глазами вдоль строк.

Алексей огляделся, он впервые был в кабинете ответственного секретаря.

Большая школьная географическая карта с топкой зеленью равнин, шероховатыми даже на вид горами, реками чернильной густоты простерлась во всю стену, — он отыскал там, близ Уральской гряды, близ Полярных Увалов, робкое рождение рек, проследил их извилистый сток, их слияния там, куда его занесло, где он сейчас находился и вот даже сочинил заметку об этих прекрасных местах.

Другую стену подпирал плечистый шкаф, за его стеклами выстроились в ряд грузные тома в переплетах алого сафьяна с золотым тиснением на корешках — Алексей догадался, что это и есть та самая энциклопедия, которую поминал в ресторане фотограф Яша Черношварц и которую, по его словам, когда-то выпускал в свет энциклопедист Бубеев, а теперь он тоже тут.

— Хвалю, — сказал Вась-Вась, перелистнув последнюю страницу. — Тем более для первого раза. Ты раньше ничего такого, а?.. — пытливо заглянул ему в лицо.

— Нет,— уверил Рыжов.— Нет-нет.

— Впрочем, это видно, что раньше ничего такого ты не предпринимал. Иначе тебе уже преподали бы урок...— Бубеев приблизил к нему почти вплотную редкозубую свою улыбку.— Дело в том, что Зыков прав. Вот это,— он коснулся перечеркнутой страницы,— надо обязательно убрать, а точнее — этого не следовало писать.

— Но почему? — вспыхнул Алексей.— Ведь это...

— Разнотык, дружище, вот что это. Смешение жанров, смешение целей, разнотык. Тебе поручили сделать зарисовку о лучших людях передовой запани, так? Так. Да ты и сделал ее, причем хорошо сделал: живо, броско, читаешь — будто видишь... Ну а это зачем? Начал во здравие, а свел за упокой. Ты представь себя на месте читателя: вот он читает, радуется, гордится, а дочитал — и рожа вытянулась, скисла... Зачем?

— Но если Белый Бор останется без такелажа, тогда как?

— А ты корреспонденцию эту для кого писал, для Белого Бора? Или для всех читателей?.. Ты знаешь тираж нашей газеты? Двенадцать тысяч, ого-го!..

Алексей, изнемогая от злости, отвел глаза. Они уперлись в стекло книжного шкафа, за которым безмолвно и чинно держали равнение тома в красных переплетах. Его вдруг осенило.

— Василий Васильевич,— беспечно отнесся он,— а как же насчет вогнутости?

— Какой... вогнутости?

— Помните, вы говорили: нужно всегда искать взаимосвязь. Если выпуклость — смотри вогнутость. И наоборот...

Бубеев кинул в сторону слегка смятенный взгляд, должно быть, на детище свое, на энциклопедию.

— Вы говорили: всегда и во всем эта связь,— наседал, увлекаясь, Алексей.— Если выпуклость, то и вогнутость. А в данном случае это особенно важно!

Широкая челюсть Бубеева отвисла уныло и разболтанно, сейчас было особенно заметно, как редки в ней зубы, как безволен и мягок весь его рот.

— Видишь ли, Рыжов, в принципе это безусловно верно. В принципе-пе!

— Я и хочу, чтобы в принципе.

— Да, но...— Вась-Вась жевал губы как жвачку.— Но ты, брат, чересчур буквально все это понимаешь.

— Что?

— Хорошо, я скажу тебе.— Он подобрался, нащупав довод.— Для газеты этот принцип не годится. Сложновато, перебор диалектики. Газета — она проще, прямолинейней, что ли. Она должна добиваться пользы конкретной, неотложной, порой даже сиюминутной...

— Вот я и добиваюсь. Они там не могут ждать — без такелажа станет запань. Ну Василий Васильевич! — взмолился Алексей.

Бубеев сгреб листки, постучал ребром, выравнивая.

— Идем к редактору,— буркнул он хмуро.— Только имей в виду, Рыжов, сейчас мне накостыляют по заливке, а виноват будешь ты. Идем.

Они зашагали по длинному коридору, куда свет проникал из ленточных окошек под самым потолком, да не прямо с улицы, а сквозь кабинеты, вполтину теряя яркость.

Улитин стоял подле письменного стола, глядя прямо на них исподлобья, испытующе — будто ждал.

— Слушаю.

Вась-Вась молча положил перед ним листки.

Алексею показалось, что с того момента, когда он впервые явился сюда, в редакторский кабинет, а было это лишь два-три дня назад, тут прибавилось солидности и торжественной важности. За счет чего же? Вроде бы все было как было, те же линкрустовые панели,

кожаные кресла, а вот все-таки отчего и почему? И вдруг Алексей понял, что это ощущение возникло у него лишь по той причине, что он только что перед этим был в другом кабинете, бубеевском, и там географическая карта висела на стене открыто, а тут карта была задернута шторками, леший знает, что там за ними. И книжный шкаф энциклопедиста Бубеева был весь наружу, как дома, как в магазине, а здесь тоже репсовые шторы в складочку, не углядеть, что там, загадка и тайна.

— Так что? — недоуменно спросил Семен Ильич, дочитав. — В чем дело?

— Да вот автор возражает против сокращений, — съябедничал Бубеев. — Он, видите ли...

— А вы объяснили, почему материал сокращается? — холодно перебил Улитин. — Вы должны были объяснить. Автор молодой, только начинает, только пробует перо, и, кстати, — он пошевелил страницы на столе, — неплохо пробует, совсем неплохо, да... Вы должны были ему объяснить, почему эти сокращения необходимы, почему они совершенно правильны, в этом нет вопроса — правильны, — уточнил он, — а вы, ответственный секретарь редакции, тащите автора ко мне, затеваете третейский суд — как это прикажете понимать, Василий Васильевич?

Голос Улитина набрякал раздражением.

Вась-Вась кивал согласно и раскаянно, слушая эту речь, эти справедливые укоры, эту вздрючку, и лишь один раз в промежутке между кивками одарил Алексея выразительным взглядом: ну что, говорил я тебе, на кого падут шишки, кому накостылят по заправку, говорил или нет; говорил, эх ты, паря...

Алексей понял, что надо выручать человека и самого себя защитить, хватит молчать да чужие речи слушать.

— Я не возражаю против сокращений, — сказал он достаточно твердо. — Дело вовсе не в этом. Я прошу не вычеркивать, оставить критику в адрес сплавконторы и треста насчет такелажа. Это нельзя сокращать. Критику вообще нельзя сокращать, — добавил он уверенно, хотя еще минуту назад эта мысль и не приходила ему в голову, — нельзя.

— Вот как? — с язвительной уважительностью переспросил Улитин и, склонясь над столом, заглянул в текст. — Вы полагаете, что нельзя?

— Нельзя.

Семен Ильич, неслышно ступая мягкими сапогами по ковру, приблизился к Алексею, коснулся рукою его плеча.

— Послушайте, Рыжов. — Теперь его голос был вкрадчив и тих. — А как вы считаете: сплавконтора, трест — они нарочно не дают такелажа Белоборской запани? От скупости или назло? Или, может быть, там засели саботажники, вредители? Тогда давайте напишем в газете: так и так. И к ногтю их, мерзавцев!

— При чем здесь... Я этого не говорил. Я не писал этого.

— Разве? Тогда скажите, Рыжов: откуда берется такелаж — может быть, он в лесу растет на деревьях? Из чего, по-вашему, делается проволока, трос — из воздуха?

— По-моему, из железа, — не дрогнул Алексей.

— Ах из железа? То есть вы хотели сказать — из металла.

Улитин прошагал к своему столу, едва заметным движением указал, чтоб они сели, и сам тоже сел, горстью пальцев подперев лоб.

— Вот тассовский материал, только что принят... На «Азовстали» собирались ломать домну, взорванную немцами: крен, осадка. Ломать и строить новую. Но рабочие решили восстановить домну. Вышрямили, передвинули на новое место — всего за полтора месяца, — теперь домна задута. Это — подвиг!.. Но сколько еще лежит в развалинах: Кривой Рог, Запорожье, Макеевка, Никополь, вся южная металлур-

гия. Откуда же быть металлу в достатке, вы об этом подумали?.. Поставьте «Азовсталь» на первую полосу.

Он передал листок Бубееву.

— С металлом трудно. А вот наши местные, с позволения сказать, металлурги...— Семен Ильич задышал свирепо.— На активе опять склоняли Пычимскую плавильню: план второго квартала сорван. Проследите, Василий Васильевич, чтобы в отчете как следует их, да... Однако этого мало.

Темные глаза Улитина сблизились у переносицы, буравя Алексея насквозь.

— Очень хорошо, что вы смелы на критику. Мы вам предоставим такую возможность. И заранее обещаю, сокращать не будем: чем злее, чем хлеще — тем лучше. Василий Васильевич, распорядитесь, чтобы ему оформили командировку в Пычим. Дня на три, пусть приглядится как следует, пусть раскусит. Между прочим, вам это будет полезно, Рыжов: смена впечатлений, после дерева — железо. Ну вот. А с этим...

Он еще раз скользнул взглядом по страницам, лежащим перед ним. Досадливо крикнул, взял ручку и вычеркнул, перекрестил еще полстраницы в самом начале.

Бубеев и Рыжов потянулись оба к этому кресту как на целованье.

— О Коломийце не нужно,— объяснил редактор.— Совсем не нужно.

— Почему? — вскочил Алексей.

— По кочану,— спокойно осадил его Улитин.— Коломиец в плену был. Четыре года в немецком концлагере, в Норвегии.

— Где? — переспросил обалдело, не веря своим ушам, Рыжов.

— В Норвегии. Да какая разница где? Прославлять не будем. Нам нужны только лучшие люди... Кстати, Василий Васильевич, эта фамилия попадается мне уже второй раз, на третий я объявлю вам выговор. Новичку простительно, а вам...

Челюсть Бубеева опять свисла уныло, он снова с укоризной и тоской поглядел на Алексея: вот видишь, тебе все простительно, а мне все по загрызку — и ведь я предупреждал, что будет так, когда шли сюда.

— Свободны,— сказал Улитин.

Он спускался по лестнице, размеренно и четко ставя подошвы, а тут было гулкое эхо, оно усиливало звук, и на все это огромное здание, поди, было слышно, как Алексей считает ступеньки. Между тем он считал не ступеньки, ему было начхать свысока на эти провинциальные мраморные казенные ступеньки, а считал он — ногами и слухом — не ступеньки, а дни, оставшиеся до окончания практики и до отъезда отсюда. Ступенек донизу оставалось еще много и дней, увы, тоже. Полный срок.

Тогда он стал прикидывать в уме степень вероятности того, что в этот оставшийся срок (уже после выхода газеты с его первой статьей и уже после того, как он возвратится из командировки в Пычим, а на все это уйдет без малого неделя) он повстречается на улице нос к носу с техноруком Белоборской генеральной запани Коломийцем, и тот, поздоровавшись, а может быть, и нет, прямо скажет: «Что же ты, сукин сын, а?.. Да ведь ты слово мне дал, честное слово! Ты не только мне обещал, а через меня всему коллективу, включая бригадира Юю Шахову, — обещал помочь, а сам напустил слюней, утереться нечем, вот и вся твоя заслуга... А еще зачем ты меня битый час выпрашивал про то, как я воевал на границе, какие у меня огнестрельные ранения и сколько у меня контузий, то да се, а в своей слюнявой статейке даже словцом меня не вспомнил не упомянул, ни гуту, хоть бы имя одно, но я мол-

чу об этом, потому что я уже привык к тому, что мое имя держат в секрете, будто я партизанский батя, товарищ Н. Что молчишь, глаза прячешь? Ладно, это мы переживем, лично я переживу... Но насчет такелажа! Вот видишь, я приехал в город, в трест, именно затем и приехал, биться-добиваться, выручать Белоборскую запань, а навстречу мне по улице топают такая знакомая и противная, лживая насквозь твоя физиономия. Ну здравствуй, дорогой товарищ, наконец свиделись...»

Алексей лег грудью на перила, ноги его отказывались идти дальше.

Однако он вспомнил, как жаловался ему технорук Коломиец, что ему самому несподручно оставлять производство, ездить в город, что он предпочитает названивать да посылать людей, а этих людей Алексей Рыжов, слава богу, в глаза не видал, и они его не видали либо запамятовали. А если даже Богдан Самойлович и сам нагрянет в город, то еще неизвестно, по какой улице он пойдет, а по какой в это время будет шествовать сам Алексей. Хоть и велик этот город, а улиц в нем предостаточно, чтобы счастливо разминуться двоим.

А там Алексей уедет восвояси, а Коломиец останется тут, мир велик, и в нем каждому свое, и навряд ли их пути еще когда-нибудь пересекутся, и скорей всего они больше никогда не встретятся в жизни.

И как ни много дней оставалось ему околачиваться здесь, в Городе-на-Реке, но день за днем истекал срок его летней студенческой практики.

И сколько ни было ступенек у этой казенной лестницы, а вот и они кончились, первый этаж, милиционерша с наганом, а в бухгалтерию от нее налево, Алексей уже бывал там, когда получал аванс.

Анна Сергеевна, пожилая бухгалтерша с добрыми глазами и тихим вкрадчивым голосом, отсчитала ему еще денег, сказала в наставленье:

— Главное, Алексей Николаевич, не забывайте про отчетные документы. Это у вас первая служебная командировка, и вам надо помнить, что за все придется давать отчет. Значит, на каждый рубль, что потратите, должен быть документ, бумажка. На командировочном удостоверении — отметка, когда прибыли, когда убыли, печать обязательно. За постой, за ночлег — счетик. Проезд туда, проезд сюда — билетиками...

— А на чем туда ехать, в Пычим? — спросил ее Алексей.

— Не на чем, — сочувственно сказала Анна Сергеевна. — Автобус туда не ходит. Разве что на попутке — грузовиком.

— Какой же с попутки билетик?

— Шофер даст расписочку.

— Так ведь не даст! В морду даст, если заикнусь...

Он весело рассмеялся, представив себе, как просит расписочку у шофера попутки, а тот его за это — в морду. Его очень рассмешила эта предполагаемая сцена. Но еще он испытал удовлетворение оттого, что уже обладал известной житейской сметкой, понимал, что не во всех случаях жизни человеку возможно обеспечить себя оправдательной бумажкой, получить билет, прикрыться счетиком, нет, в жизни был и определенный риск, это он, слава богу, понимал уже.

— Знаете, Алексей Николаевич, завтра в Пычим едет мой брат. — Голос Анны Сергеевны сделался еще тише. — Он в прокуратуре следователем работает. Едет в командировку. Не положено, конечно, брать посторонних, но я упрошу. Вы подойдите ранышком к прокуратуре. Габов Геннадий Сергеевич, следователь, юрист первого класса...

— А что там случилось, в Пычине? — понизил голос и Алексей. Но Анна Сергеевна только покачала головой, приложила палец к губам. Уж если брать посторонних заказано, то болтать лишнее и подавно.

6

«Черный ворон» ломился по тракту, зарываясь в колдобины, с натужным воем выползая из них, и снова трясся по разбитой грунтовке. Если бы он мог дать скорость, то клубы пыли, выметывающиеся из-под колес, оставались бы сзади, выедавая глаза и пороша ноздри тем, кто едет следом. Но скорости не было, и пыльные вихри тащились, не отставая, вместе с машиной, так и ехали в сплошной пыли. Заднее оконце «воронка», взятое крепкой решеткой, было мутно, ничего не разглядишь в пути. Да и на что смотреть? Лес и лес, гарь да гарь, кое-где плешина скошенного луга, клинышек приземистого ячменя, снова лес, опять гарь, пыль.

— А что там случилось, в Пычине? — спросил Алексей не потому, что его снедало любопытство, а просто так, лишь бы скрасить дорожную скуку. — Что произошло?

— Убийство, — вяло ответил попутчик, отнюдь не польстившись проявленным к нему вниманием. — Обыкновенное убийство.

— А кого?

— Шофера. С полуторки... В сущности, ни за грош человека убили. Нет, это говорится только, что ни за грош: кое-какие гроши при нем обязательно были. Кальмил, как вся шоферня. Вы в любой кузов загляните — найдете пару досок, а то и три. Он их поперек с борта на борт уложит — и садитесь, сколько вас до Пычима, всем места хватит, чем не автобус. Пыльно, правда, зато с ветерком... А что еще делать? Тракт этот в четырьеста верст, а на нем хоть бы один автобус — нет пока. Ну как жить? Людям сообщение требуется: от села к селу, да в поселок, да в город — у всякого своя забота. Ездят на попутках, не бесплатно, конечно, по десятке с носа — шоферу полный карман... Вот на этот карман злодей и польстился: обухом по голове — и все, плачь, подруга. Между прочим, парень этот, шофер, всю войну проехал — от Москвы до Праги — цел-невредим, а тут...

Попутчик махнул рукой.

Однако если разобраться по чину, то попутчиком был Алексей, а не он. Именно он был хозяином положения и посему имел даже полное право сесть в кабину «воронка», рядом с водителем, там и сиденье помягче, и пыли меньше, и обзор веселей — без решетки. Вероятно, он там и должен был ехать. Но еще в городе, у прокуратуры, когда Алексей подошел и назвался, предъявив красную книжицу, объяснил, что это он и есть по рекомендации Анны Сергеевны, вашей сестры, — Габов, секунду поразмыслив, велел сопровождающему милиционеру садиться в кабину, на почетное место, рядом с шофером, а сам вслед за Алексеем полез в эту неудобную камеру с жесткими лавками вдоль.

Он был в штатском, кепка и пиджак, но по всем его повадкам было заметно, что человек еще недавно — притом долго — носил военную форму, то есть служил в армии, наверняка был на фронте, еще не отвык от армейского обмундирования и к нему еще не вернулась привычка к гражданской одежде, она ему противна даже.

Впрочем, подумал Алексей, он ведь работает следователем, а вся прокуратура носит теперь мундиры с погонами, погоны чистого серебра с золотыми звездочками. Анна Сергеевна говорила, что ее брат — юрист первого класса. Сколько же это будет звездочек, если перевести на армейский счет? Вероятно, четыре маленьких, ровня капитану, не шибко. А едучи в Пычим, он все-таки переоделся в

штатское, чтобы ходить незаметней, серой кошкой, чтобы верней и внезапней схватить.

— Надеетесь найти? — спросил Алексей.

— Кого? — откликнулся тот с некоторым недоумением.

— Я имею в виду — преступника.

— А-а...

Габов помолчал, будто взвешивая в уме, стоит ли вести доверительный разговор с этим молокососом, которого навязала ему в поездку сестра. Слегка усмехнулся:

— Нам искать не надо. Мы знаем, кто убил.

— То есть как?

— А вот так... Понимаете, для маленького поселка вроде Пычима тайн не существует. Люди слишком хорошо знают друг друга, все о любом и каждом, всю подноготную — что у кого за душой, что у кого в кармане. И кто на чей карман способен позариться, на душегубство тоже — они обо всем догадаются без промашки.

— Тогда...

— Подождите, я не кончил. — Геннадий Сергеевич наклонился к нему, хотя никто их тут не мог услышать за воем мотора и лязгом разболтанных рессор. — Кроме того, милиция тоже не дура: у нее есть свои источники информации — бывшие уголовники, выходящие с того света. Так что милиция, — он кивнул в сторону сидящего в кабине конвоира, — уже наутро после убийства знала к т о.

— Я не понимаю, — честно признался Алексей Рыжов. — Если все известно... если давно известно... то я не понимаю.

— А вы и не должны понимать, — снова откинулся к железной тряской стенке следователь. — У каждой профессии свои секреты. Я, например, когда газеты читаю, тоже не всегда и не все могу понять. Такое, скажем: «Враг не должен пройти, подумал он и закрыл амбразуру грудью...» А откуда он, сочинитель, знать-то может, о чем тот думал, когда закрывал? Ведь он уже не расскажет: так, мол, и так...

— Да, мне это тоже всегда — поперек, — охотно согласился Алеша. — Но я так никогда не пишу, уверяю вас. Впрочем, об этом — о чем мы сейчас с вами говорим — я вообще не намерен писать. У меня совсем другое задание... Мне просто самому интересно.

— Ладно, — кивнул Габов. — Слушайте и вникайте. Мы знаем, кто убил шофера, кто его ограбил, знаем точно. А улики у нас нет. И свидетелей тоже нет. Вот тут милиция бывает иногда туговата соображением — насчет улики. И свидетели побаиваются: сами не идут, а спросят — жмутся, стесняются... А уж мы-то, прокуратура, обязаны — стражи закона, святой долг.

— Что же вы — на милицию насядете?

— Нет. Добудем улики, найдем свидетелей.

— Кто?

— Я. На то я и следователь. За тем и еду. Уразумели?

— Да... теперь — да.

Габов достал из кармана пачку «Беломора», встряхнул, протянул жестом расположения и щедрости.

— Спасибо, я не курю, — поблагодарил Алексей. — Я когда-то курил, но...

— Когда-то? — улыбнулся спутник. — В младенчестве, что ли?

— Почти.

Геннадий Сергеевич жадно заглотил дым и продолжил, не выпуская его куда из нутра:

— А добыть улики будет трудно. Спустя неделю взять след — овчарка откажется, а вот я — возьми... Не скрою, немного претит такое собачье занятие. На фронте я бы... он бы у меня давно стоял

у стенки, точней — лежал... а тут придется чикаться, доказывать суду. Я докажу. Но все равно вышки не будет.

— Какой вышки?

Габов изогнул дымом и досадливо поморщился. Кажется, его начинала раздражать непонятливость собеседника, его наивность и, главное, полное неумение хотя бы скрыть это молчанием.

— Я имею в виду высшую меру. Ведь отменили смертную казнь, совсем отменили — в мае этого года, в честь победы. Такие вещи вам бы полагалось знать.

— Для чего же? Меня это как-то не очень касается... — повел плечом Алексей Рыжов. — Но это хорошо или плохо?

— Указы правительства я не обсуждаю. Я выполняю их. Однако... для такого исключительного рода преступлений, как убийство, должна существовать и исключительная мера наказания. Здесь должна быть одна ставка: за жизнь — жизнь, отнял чужую — отдавай свою. Только это может остановить, иначе... ну, тюрьма, лагерь, срок — это его не остановит, тут он даже не задумается. А почему?

Габов снова наклонился близко, дыша табаком, и Алексей вдруг отметил для себя, что глаза Геннадия Сергеевича очень похожи на глаза сестры, Анны Сергеевны, но если у той глаза лучились тихой кротостью, вероятно даже противоречащей ее бухгалтерской должности, то у него они посверкивали сухо, с той лихорадочной страстью, которую он уже не раз замечал у людей, вернувшихся с войны.

— Я объясню вам почему. Вот этого вы знать не можете... Видите ли, там — в тюрьме, в лагере, — там ведь у них тоже жизнь, своя жизнь, не курорт, конечно, а все-таки жизнь. Со своим укладом, который делается привычным для человека, тем более что человек там не один, а среди таких же, как он, человек... Это вроде климата, да-да, вот некоторые люди живут в теплом климате, он им привычен с рождения, где-нибудь у Черного моря, а там, глядишь, волей обстоятельств человек попадает в другой климат — морозы под сорок, снега до крыш, — сначала ему кажется, что это конец света, конец жизни, ложись да помирай, но постепенно он осваивается в этом климате, привыкает к нему — и ничего, оказывается, жить можно, как другие живут...

Геннадий Сергеевич рассмеялся вдруг.

— Не случайно употребляют иногда такое выражение: мол, пришлось переменить климат — это о них... Слыхали?

— Да-да, — обрадовался Алексей, ему действительно уже не однажды доводилось слыживать подобное.

— Ну вот, — опять посуровел и подобрался Габов, — так что для рецидивистов... а предумышленные убийства, как правило, совершают рецидивисты, и здесь, в Пычине, могу вас уверить, работал рецидивист... им этот лагерный климат куда привычнее, чем воля, они тяготеют своей свободой и не столько сознательно готовятся к новому преступлению, сколько тянутся к нему, ищут его, ищут неволи. Но вот если бы на кон ставилась жизнь...

Машину круто занесло вправо. Геннадий Сергеевич, чуть пристав, выглянул в окошко.

— Пычим, подъезжаем... как водится, за хорошим разговором и пути не уследишь.

Алеша тоже выглянул в оконце, перечеркнутое железными прутьями.

За решеткой, в проеме соснового леса синела гладь озера с пологими берегами, к которым жались бревенчатые дома, а за ними виднелся багровый кирпич заводских строений, и черный дым отвесно, как над пожаром, вставал над печами, и ко вкусу дорожной

пыли, оседавшей в гортани и ноздрях, уже примешался не менее едкий запах расплавленного текучего железа.

Оно клокотало в печи, кипело, пузырилось, всплескивало, брызгалось, взбулькивало, как вода, но это был металл — и Алексей впервые поверил (не доверился, а поверил, убедился воочию), что когда-то, в первозданности, в дни творенья, все на свете — и тверди, и хляби, и недра, и выси, — могло быть перемешано в одном адском огненном котле, как в этом горне.

— Ну что, красиво? — кричал ему в ухо Дидовик, главный инженер завода. — Там, в печи, сейчас тысяча триста двадцать градусов! Сильно, а?

Алексей мог ответить на этот вопрос вполне утвердительно, потому что это было на самом деле красиво и сильно, однако он внутренне изговоровался ко всем хитростям, которые тут могли припасти для него, совершенно несведущего в металлургии человека, чтоб обмануть, втереть очки, обвести вокруг пальца и не дать ему докопаться до сути, тем самым обезопасив себя от справедливой критики, — он догадывался, что так они и попытаются сделать.

Хотя главный инженер Пычимской плавильни Антон Кузьмич Дидовик уже третий день, презрев все другие заботы, неотлучно сопровождал его — то в литейный цех, то в механический, то в кузницу, то к вагранкам, — втолковывал азы, терпеливо сносил непонимание, объяснял сызнова, вел дальше, но в этой неотступности мог как раз и таиться подвох: не терять его из виду, не оставлять одного, чтоб невзначай не заглянул куда не следует, чтобы не спросил кого не надо, чтоб не узнал того, что не положено.

Учтя все это, Алексей Рыжов мысленно отождествил свою цель с той нелегкой и каверзной задачей, с которой прибыл в Пычим его дорожный попутчик, следователь прокуратуры Геннадий Сергеевич Габов. Его тоже будут обманывать, запутывать, наводить на ложный след, прятать концы в воду — но он чутьем и опытом одолеет все эти препятствия, доберется до истины, найдет искомое, уличит... Он, Габов, тоже третий день рыскал по всему поселку, по окрестностям, являлся в Дом приезжих, где им отвели койки рядом, уже близко к ночи и, едва раздевшись, бросался на подушку, ментально всхрапывал, не обнаруживая больше склонности продолжать те речи, что вел на пути в Пычим.

А главный инженер завода Дидовик, отстранив от глаз защитные синие стекла, через которые они оба заглядывали в бурлящее пекло вагранки, все смотрел на него, дожидаясь ответа на свой вопрос: красиво ли? сильно ли?

Алексей сообразил, что подтверждение этих оценок — да, красиво, да, сильно — уже было бы в известной мере сдачей его непреклонных и жестких позиций, потому и ответил уклончиво:

— Жарко....

И впрямь здесь, у горнила, была чудовищная жара, он ощущал, как пот стекает по лбу к глазам, как липкие струи скользят меж лопаток, как неприятно и сыро сделалось в паху, он весь исходил влагой, он испарялся, он понимал, что еще немного — в жилах вскипит кровь и от него останутся одни лишь мощи.

— Жарко? Ну пойдемте остынем, проветримся, — согласился Дидовик.

Они вышли из горячего цеха в прохладу полудня.

Этот полдень середины лета был тоже нещадно горяч и сух. Солнце полыхало в небе тем же зраком вагранки — дырой в геенну огненную. Воздух неподвижен, не колеблем ни малейшим дуновением. Тени коротки и узки. Но насколько этот природный жар был легок, свеж и ласков по сравнению с гудящим жаром плавильни, ее угарным духом.

мен: ведь Пычимской плавильне без малого двести лет, тут задули вагранки еще при Елизавете Петровне...

— Демидовы?

— Нет, не Демидовы, помельче сошка — Плотников да Попов, устюжские купцы, но развернулись они солидно. Ведь шла Семи-летняя война, тоже пруссаков колотили, а пушечное ведомство тогда возглавлял граф Петр Иванович Шувалов, он артиллерийскую науку отменно знал и в металлургии разбирался... Одним словом, шуваловские «единороги» и «секретные» гаубицы, которые потом еще сто лет служили, и у Бородина и даже в Севастополе, — их тут, в Пычине, отливали, да. Оговорюсь: не только здесь, но и на уральских заводах — дело было широко поставлено. Вот какая история... Ну, мы обшарили окрестности, поковырялись и впрямь нашли — хорошая земляца, всего два-три раза шла в опоки, можно еще использовать, вполне годится. Мы и пустили ее снова в оборот.

Алеша заметил свежие, как свинцовый срез, недавние откопы на холмах, что были к ним поближе.

— Вот эта самая земляца: в ней и лили пушечки для Румянцева-Задунайского, для Суворова-Рымникского, для Михайлы Илларионовича Кутузова...

Алексей почувствовал головокружение, уже знакомое ему, когда земля вдруг начинает плыть перед глазами и завинчиваться по часовой стрелке. Но, к счастью, он сейчас не стоял, а сидел на этой земле, поэтому ощущение было не таким пугающим, как обычно. Кроме того, он догадался, что это от перегрева: напекся у вагранки, надышался окисей, еще походил с непокрытой головой под отвесным солнцем, а теперь укрылся в холодке — и все это вместе повлияло.

— Между прочим, — продолжил свой рассказ сидевший рядом старикашка с черными усами, в которых запутались белые мухи, — мы во время войны тоже не в бирюльки играли: мы отливали опорные плиты для минометов. Не то что сейчас: утюги да сковородки, жаровни... ширпотреб, местпром... Конечно, моральный фактор нельзя сбрасывать со счета: многие люди ушли с завода, как только увидели, что пошел другой сортамент. Особенно женщины, хотя им-то, казалось бы, что — ведь вернулись к своим же домашним сковородкам, утюгам... С кадрами у нас тоже сейчас туго, — вздохнул Дидовик...

Головокружение мгновенно унялось, верченье земли прекратилось. Алексей увидел снова — как было наяву, а не наоборот, не как на негативе: что усы у главного инженера белые, а мухи, застрявшие в них графитовые крохи, — они черные. Он почувствовал, что вот оно, чего он дождался в напряженном опасении: что старый хрен начнет его обманывать, охмурять, сбивать со следа. Ишь куда увел, в какие дебри.

— Я бы все-таки хотел... — сказал Алексей ледяным тоном, доставая блокнот из кармана куртки.

— погодите, успеется, — ладошкой остановил его Антон Кузьмич. — Извините за личный вопрос, но он имеет отношение к нашей дальнейшей беседе: вы кто — историк? То есть я понимаю, что вы журналист по роду занятий, но я имею в виду специальную подготовку... История?

Алеша растерялся, не зная, что ответить: не мог же он признаться этому хитрому старикану, что он пока еще никто, едва перевалил на второй курс. Впрочем, ведь каждый студент, избирая для себя институт и факультет, уже этим первоначальным шагом достаточно четко определяет свою специальность, свою линию жизни. Так что незачем приbedняться.

— Нет, я филолог.

— Вот и прекрасно! — обрадовался Дидовик. — Это именно то, что нужно. Никто другой не сумеет понять меня лучше, чем вы... так послушайте, Алексей Николаевич.

Он выдержал долгую и значительную паузу. И опять Алексей услышал, как шумят на безветрии вековые сосны.

— Стало быть, разворошили мы старину, залезли в восемнадцатый век: нужда заставит — и не туда полезешь... А как по-вашему, отчего в восемнадцатом веке Пычимскую плавильню поставили именно здесь? Чем прельстились? Ведь пусто место. Ну лес хороший — на уголь жечь, так ведь лесу в этих краях везде достаточно. Ну, само собой, озеро — так и воды на Севере повсюду хватает...

— Значит, руда, — подсказал Алексей Рыжов.

— Верно, такое хозяйство всегда ставили прямо на руде, а не возили ее за тридевять земель, как нынче. Нам руду издалека возят, железной дороги нет — вот и хиреет Пычим, чему тут удивляться, — проворчал Дидовик. — Но, заметьте, когда купцы из Великого Устюга завели тут плавильню, местные руды были уже известны и порядком выпотрошены, до них постарались, притом за долго... А кто?

Антон Кузьмич улыбался загадочно.

— Не знаю.

— Не знаете, конечно. Даже наши академики почтенные — и те не знают. Либо не хотят знать... Вы о древней чуди слышали?

— Да, — подтвердил Алеша. Теперь он догадался, зачем главному инженеру завода потребовалось расспрашивать о его далеко не законченном высшем образовании. — Это я знаю.

— А что вы знаете?

— Ну... что жила, что была. Была, да сплыла.

— А куда она делась?

— Чудь под землю ушла. Живьем закопалась.

— Это как же? Ну как вы себе это представляете?

— Она, чудь, с врагами сражалась, отступала, уходила в глухие леса, а там, когда уже некуда было деваться, некуда отступить дальше, они, чудины, рыли глубокие ямы, прятались в них, а крыши этих землянок подпирали столбами — сидели там, затаясь. А если враги приближались, находили их, то они вышибали подпорки — и сами себя под землей хоронили, закапывались живьем... Вот так, — заключил Алексей.

— А вам об этом откуда известно?

— Так гласит предание. Молва гласит. И в летописях то же самое: чудь под землю ушла.

— Красивая сказка, — хмыкнул в усы Дидовик.

— Но я читал, что ученые находили эти чудские могилы: осыпи, глубокие ямы, в них трухлявые столбы, а там — скелеты, скелеты, много... Наверное, это правда. Это похоже на правду.

— Похоже, конечно. Хотя слишком много неясностей. Например, кто были враги? Ведь в тех же летописях — а я их читал, Алексей Николаевич, специально занимался, — там прямо сказано, что чудь вместе с русью, вместе с вещим Олегом на Царьград ходила щит на врата вешать, да и не раз... Кто же враги? Татары? Нет: чудь вместе с волжскими болгарами поначалу отбила нашествие, не пустила орду. А позже ордынцы в северные земли не совались, тут были новгородские владения, а с Новгородом они предпочитали ладить. Опять не получается... Да и как же целый народ мог себя в ямах схоронить? Чушь, извините, ерунда. Небывальщина!

— Но ведь нашли эти ямы!

— Ямы? Да, нашли, — охотно согласился Антон Кузьмич. — Если угодно, я и сам их находил. Я ведь, товарищ Рыжов, старый

Бродяга. Всю Сибирь, весь Урал своими ногами исходил. На Магнитке домы задувал, Кузнецк строил. И кое-что повидал... Так вот: это вовсе не чудские могилы, а копи, чудские копи. Самые настоящие рудники — железные, медные. Люди вели проходку по всем правилам горного искусства: вертикальный ствол, закопушка, а от нее — пологие штольни, выработки вдоль жил. И вот эти самые столбы, про которые вы говорили, тоже были для дела — шахтная крепь, стойки... Только, понимаете ли, даже при соблюдении техники безопасности на рудниках случаются обвалы, катастрофы — и сейчас, увы, бывают. Тогда земля и хоронит людей живо. Вот так и с ними было, с этими древними рудокопами... Потом находили скелеты, бывало, что и много, скелет на скелете, — и с перепугу не замечали, что при них не копыя, не боевые секиры, а горняцкие кайла. И мешки кожаные — руду выносить, и глиняные светильники, и даже, представьте себе, рукавицы: им лишние мозоли тоже ни к чему были... Вы что улыбаетесь?

— Красивая сказка, — не остался в долгу Алексей. — Складная очень.

— Складная, потому что к истине ближе. Я вот еще одну истину обнаружил: в языке людей, которые здесь живут, все металлы — и золото, и серебро, и медь, и железо — имеют свои собственные названия, притом исконные, древние. Еще бы: этим чудским копиям по меньшей мере пять тысячелетий! Вот почему наша плавильня именно тут стоит — устюжские купцы не дураки были, мужики дошлые, наугад не ставили. И Демидовы тоже в своих затеях не знали промаха — места им были наперед известны...

Протяжный заводской гудок донесся из-за озера, заплутался в соснах, приумножась эхом.

Антон Кузьмич, кряхтя, поднялся, отряхнул со штанов налипшие ржавые иглы, и в том, как он послушно встал по гудку, сказала, вероятно, не столько срочная необходимость (ведь могли бы и еще посидеть за приятным разговором), сколько впитавшаяся в плоть и кровь привычка заводского человека, от которой уже никогда не избавиться и никуда не деться.

— Конец смены, — объяснил Дидовик. — Остальное — завтра, у меня в кабинете. Выдам вам все цифры, все факты — берите на карандаш, на прицел, критикуйте...

Антон Кузьмич опять, уже на ходу, искоса и лукаво заглянул ему в лицо.

— Нет, почему же... — неуверенно пробормотал Алексей.

— Так ведь знаю я, за чем пожаловали. Я на активе был, все слышал, ну, думаю, теперь со дня на день жди корреспондента, а вы и здесь. Да и пререкаться грех: квартальный план мы не выполнили — за это надо критиковать, надо бить, отсталых бьют. Аось и подтянемся.

За озерным колеблющимся маревом постепенно проступали, обретали четкость заводские угловатые строения.

— Так что завтра утром, — подтвердил Дидовик. — Я еще хочу передать вам свои записи — если не возражаете, конечно. Несколько тетрадей. О чудских копиях: кое-какие наблюдения, сопоставления, мысли... Есть тут, понимаете ли, тайна, притом важная, — дознаться бы! А вы молоды, вам, ей-богу, будет интересно. И я рад, что эти записи попадут в руки сведущего человека, не профана. Когда вы заговорили о чудских могилах, я сразу понял: вот он, тот самый человек! Впрочем, я даже раньше догадался, как только вы появились...

— Но зачем их отдавать?

— Я уезжаю, Алексей Николаевич, покидаю эти благословенные края, — непритворно вздохнул главный инженер. — Всю войну

здесь, да, всю войну, а война была долгая... Теперь пора собираться восвояси, вязать узлы.

— А куда вы едете?

— Домой, в Мариуполь. Перед войной я работал на «Азовста-ли». Потом эвакуация. Будь я помоложе, отправили бы опять в Си-бирь или в крайности на Урал — тем более что места мне знако-мые... Но наркомату срочно потребовалась единица для Пычима, меня и направили сюда: пускай, мол, погреет кости старик у допо-топных вагранок. Вот так, Алексей Николаевич. Но мы здесь тоже славно поработали. А теперь — домой... Видите ли, я боюсь, что там, на Юге, мало кого заинтересуют мои тетради. Скажут, чужь ка-кая-то, зачудил старый... Но вам это будет интересно. А я к вам про-никся доверием...

Всю дорогу, пока они шли к поселку, Алеша старался найти в себе силы и решимость, чтобы наотрез отказаться от непрошенной чести, от доуки, от этого странного завещания. Сказать бы ему прямо, что вовсе нет, что он не внушает доверия, нисколечко, да-же наоборот, потому что он человек случайный, залетный, что вскоре и ему предстоит убираться восвояси, что он тоже уедет от-сюда и навряд ли еще когда-нибудь возвратится сюда.

Но так или иначе, им еще предстояло встретиться завтра утром. И Алеша решил отложить этот разговор на завтра.

— А вот это уже просто презент — на добрую память о Пычи-ме,— сказал Антон Кузьмич Дидовик, положив рядом со стопкой тетрадей, перевязанных бечевой, вещицу из светлого пористого чугуна.

Это была пепельница, похожая на створку устричной раковины, но большая, в две ладони. Внутри вогнутого ложа был изображен пенный гребень волны, в которой нежилась полногрудая русалка с распущенными по воде волосами, у нее были крутые бедра, посте-пенно обрастающие чешуей и сужающиеся в рыбий хвост.

Первым побуждением Алексея было — отказаться, на сей раз немедленно и бесповоротно: ему сразу не понравился этот хвост, эта холодная чешуя. Кроме того, подобный презент уже мог быть истолкован как откровенная взятка, попытка подкупить его, чтобы он не написал в газете ничего худого, а между тем цифры и фак-ты, которые привел ему главный инженер, внушали опасения, что и в следующем квартале Пычимская плавильня вряд ли осилит го-сударственный план.

У него даже возникло желание одним махом избавиться от двух зол: взять и отодвинуть разом от себя и пепельницу и связку тетрадок в клеенчатых обложках: нет-нет, извините, но я никак не могу, это совершенно неприемлемо, исключено, нет и нет, я вполне удовлетворен нашей деловой беседой, поверьте, мне было очень приятно...

Однако распущенные волосы русалки манили и влекли, ему вдруг показалось, что эта русалка похожа на Клару Истомину, что волосы очень похожи, хотя Клара никак не была столь дородна и, слава богу, на ней не было чешуи и уж подавно этого неразъемно-го хвоста, какая гадость.

Дидовик, вероятно заметив на его лице борение чувств, под-толкнул пепельницу к нему поближе, сказал, увещевая:

— Да что вы, Алексей Николаевич, не извольте беспокоиться: это вещица рублевая, да еще с брачком. — Показал пальцем ка-верну, дырочку в металле, совсем рядом с русалочьим пупком. Усмехнулся: — Я понимаю, что тематика... пошловато, конечно, не мобилизует. Но все дело в том, что эта вещица, представьте себе, получила большую серебряную медаль на Нижегородской ярмарке

в тысяча восемьсот девяносто шестом году, а формочка сохранилась, мы и воспроизвели. Так что окажите любезность, на память...

Дверь кабинета приоткрылась, в щелку заглянула немолодая и неряшливо одетая секретарша.

— А, Нина Петровна, зайдите. — окликнул ее Дидовик. — Товарищ Рыжов сегодня убывает. Надо ему отметить командировочное удостоверение.

— Я отмечу, — пообещала секретарша и, подойдя к главному инженеру, шепнула ему несколько слов на ухо.

— Да?.. — очень живо отозвался тот на ее сообщение.

Встал со стула и быстро прошел к окну, закопченному дымами. Секретарша, осторожно ступая, покинула кабинет.

— Взгляните, Алексей Николаевич...

Он подошел.

Вдоль улицы, на которую выходили окна заводууправления и которая была главной улицей поселка, стояли люди: рабочие в брезентовых спецовках, отлучившиеся из цехов, старухи в крапчатых косынках, босоногая по летней поре ребятя, поварахи в белых фартуках, выскочившие на крыльцо столовой, бородатые деды с клюками, парни в выцветших гимнастерках, густо увешанных медалями, девчата в наспех накинутых жакетах — пожалуй, весь Пычим собрался тут, на главной улице, в молчаливом удовлетворении наблюдая шествие.

По середине улицы шел, привычно заведя руки за спину, длинношеий верзила в кирзовых сапогах, с заросшим щетиной лицом, такая же щетина топырилась на остриженной его голове, и Алексей Рыжов обратил внимание на то, что волосы росли у него прямо от бровей, не оставляя даже узкой полоски лба — явно выраженный ломброзианский преступный тип, — из-под бровей зыркали по сторонам волчьи глазки, а губы были распущены в слюнявой странной ухмылке. За ним шагал, придерживая у пояса расстегнутую кобуру, знакомый Алексею милиционер, конвоир, тот, что по дороге в Пычим сидел в кабине. А замыкал шествие следователь прокуратуры Геннадий Сергеевич Габов. Он шел, опустив голову то ли из скромности, чтоб не видеть почтительных и благодарных глаз толпы, то ли скрывая таким образом вымотавшую его усталость. Сейчас было особенно заметно несоответствие его офицерской выправки, чеканной походки военного человека и широких, болтающихся вокруг ног штатских брюк, кургузого пиджачка и блинчатой кепки.

— Знаете, у нас тут, в поселке, произошло... — начал Антон Кузьмич Дидовик.

— Да, я знаю.

— Народ был очень встревожен, подавлен... Но вот — поймали.

— Я в курсе, — повторил Алексей.

Шествие достигло машины, которая стояла у околицы. Зафырчал мотор, сизый дымок побежал из выхлопной трубы.

Алеша внимательно проследил за тем, в каком порядке они будут размещаться.

На сей раз конвоир, отперев дверцу с зарешеченным оконцем, пропустил внутрь арестованного, влез за ним следом и сильно захлопнул. Габов обошел машину и сел в кабину рядом с водителем. «Воронки» тронулся с места, взметнув облако пыли.

Алексей, конечно же, как и все, испытывал в этот момент законное и полное удовлетворение виденным. Тем более что он ощущал себя даже в некоторой степени причастным к свершившемуся возмездию.

И ему, безусловно, претило бы сидеть в одной железной камерке и много часов подряд дышать одним воздухом с убийцей, с этим омерзительным типом, у которого волосы росли прямо от бровей, а

тот бы взглядывал на него — совсем близко, напротив — своими волчьими гляделками и, поди, еще ухмылялся б слюняво: что, мол, фр-раер, пока вместях трясемся?.. Нет, это его, Алексея, не прельщало.

Однако он ощущал и некоторую досаду: что вот так, ничего не сказав, ничего не спросив, попросту забыв о нем, взяли да и уехали. А ему теперь придется целый день околачиваться на тракте, дожидаясь какой-нибудь попутной полуторки.

Он брал чистый лист бумаги, задумывался, искал слово, с которого можно было бы начать, но потом его осеняла догадка, что начинать нужно вовсе не со слова, а с мысли, однако мысль не шла, не складывалась, и он опять обнадеживался тем, что сначала все-таки должно быть слово, которое, явившись, потянет за собою мысль, но это подходящее слово он тоже не мог найти и через несколько минут ловил себя на том, что рисует на чистом листе бумаги рогатого черта, ах, черт, еще один лист измаран, испорчен зря...

А, собственно, что он искал? Взять да и написать все как было, все как видел: огнедышащую печь и людей в брезентовых спецовках, работающих у адского пламени; рассудительного Дидовика, смахивающего с седых усов графитовые крохи; отвалы формочной земли, пронзенные стеблями иван-чая... Однако трудность была в том, что обо всем увиденном он не мог написать ничего, кроме хорошего. А его не за тем посылали, не за хорошим. Он обязан был написать критическую статью о заводе, который не выполняет план. Это было ясно, настолько ясно, что даже главный инженер плавильни Антон Кузьмич Дидовик сразу понял, зачем он пожаловал в Пычим, сам сказал: «Надо бить, авось подтянемся». Сказать-то легче, чем написать... Алексей скомкал лист и швырнул его в плетеную корзину, стоявшую под столом: видно, в этом гостиничном номере и до него жили писучие люди, тоже мучились.

А может быть, вся загвоздка в том, что он опрометчиво и напрасно причислил себя к писучим людям? Возомнил, что сумеет, а сам ни в зуб ногой — не сумел, вот который час уже бьется, сколько бумаги извел, а толку все равно нет. Ему даже показалась соблазнительной, облегчающей душу эта голая истина: он не умеет, не сподобился, нет и нет. А на нет и суда нет.

Однако на краю письменного стола лежал позавчерашний номер газеты «Северная звезда», который вручила ему редакционная секретарша Ася, когда он вернулся из Пычима в Город-на-Реке. Там на третьей странице в три столбца была напечатана его статейка, очерк, зарисовка под названием «На генеральной запани». Честно говоря, заглавие это придумал вовсе не он, а кто-то другой, может быть Вась-Вась, а вполне возможно, что и глухонемой литправщик Зыков, но Алексею понравился заголовок: в нем была простота, была определенность, а само слово «генеральная» внушало уважение, придавало вес, — но это прекрасное название придумал не он. Что же касается самой статейки, то в ней не было ни одного чужого слова, все слова были найдены им, написаны им, принадлежали ему. Это скреплялось четкой подписью внизу: «А. Рыжов, наш спец. корр.». Отпираться было невозможно и бессмысленно.

Но это, в свою очередь, лишало его возможности пойти и честно сказать: я не умею, товарищи, извините. Как же так, сказали бы ему в ответ, когда в позавчерашнем номере уже напечатана статейка в целых три столбца, а под нею, заметьте, стоит не чья-нибудь, товарищ Рыжов, а ваша собственная подпись, так что, пожалуйста, не хитрите, не приbedняйтесь, а ступайте и работайте, товарищ

Рыжов, тем более что вам за это идет зарплата и еще выплачивают командировочные, желаем удачи.

Однако, несмотря на всю очевидность, ему как-то не верилось, что на газетной странице четким печатным шрифтом тиснута именно его фамилия с его собственным инициалом. То есть фамилия несомненно совпадала, инициал тоже, но он ли это, про него ли?.. Все-таки с непривычки было трудно в это поверить.

Алеша взял газету и, распластав, повернул ее к окну, к свету, просматривая бумагу насквозь, как проверяют большие деньги, есть ли на них водяные знаки, не фальшивые ли они.

«...никинеД» — прочлось с обратной стороны.

Он удивился: что за Никинед, какой Ники Нед?

Перекинул страницу с изнанки на лицо, нашел. В самом конце номера, над черточкой, за которой уже следовала подпись Семена Ильича Улитина, редактора, отвечавшего за все, что было напечатано выше, он увидел краткое сообщение: «Хроника. Нью-Йорк. ТАСС. Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс, в Анн-Арбор (штат Мичиган) умер от разрыва сердца белогвардейский генерал Деникин».

Вот тебе и Никинед...

Однако удивление не покидало, оно отвлекло его от всех иных только что обуревавших забот.

Его изумило, что этот белый генерал был до сих пор жив, то есть дожил до нынешних времен и лишь теперь умер. Алексей предполагал, что он умер сто лет назад, ну не сто, а лет двадцать пять тому, когда белякам пришел каюк и кончилась гражданская война. Что его настигла, порубила в крошево буденновская конница, доколотила Красная Армия где-нибудь за Перекопом, прищучила вместе с Врангелем и Колчаком, со всей этой нечистью, враг отступает, разбит, даешь Крым, ура... А он-то, оказывается, все еще был живехонек, забрался вон куда, в какую глухомань, в Анн-Арбор, штат Мичиган, Ассошиэйтед Пресс. И жил-поживал, прожил еще целую вечность, пока не умер от старости в своей собственной постели, пока его не хватил обыкновенный и сугубо штатский разрыв сердца. Просто даже странно это себе представить.

Но тут он вспомнил, что примерно такое же удивление выразила Клара Истомина, когда на пароходе «Тютчев» они вели разговор об одном композиторе: она, Клара, тоже думала, что он сто лет назад, а он, Алексей, довольно высокомерно объяснял ей, что нет, совсем недавно, сразу после Сталинграда, когда домолотили окружение, и Клара была несказанно этим удивлена.

Алеша коснулся пальцами пепельницы, которая красовалась перед ним на письменном столе. Он тронул этот пористый чугунок, хранивший в себе прохладу даже на жаре, плившей в комнату из окна (ну и пекло, вот тебе и Север), погладил кончиками пальцев круглые русалочки груди, поскреб ногтями чешую на бедрах, пытаясь очистить, как во блу, проследил на ощупь извилистые космы ее распущенных волос — и тут вдруг его осенило: он отдал себе отчет в том, что пепельница — это пепельница, чем бы она ни была украшена, и откуда бы она ни была привезена, и какой она ни есть предмет искусства, что у нее есть прямое и вполне утилитарное назначение — в нее надо стряхивать пепел и гасить в ней окурки.

И тут Алексей Рыжов ясно понял, чего не хватает ему, из-за чего у него никак не идет работа над статьей о Пычине, по какой причине он никак не может сосредоточиться, найти нужное слово, почему не являются мысли. Хорошо, что вовремя догадался.

Он вышел из своего номера, скатился по лестнице, выбежал на улицу — здесь, прямо у гостиницы, был табачный киоск. Он взглянул, что там, на витрине, за стеклом, остановил свой выбор на «Беломоре» — вспомнил, что именно эти папиросы курила и пы-

тался ими его угостить следователь Габов, а он, дурак, отказался; и еще от этого названия веяло настоящим Севером, о котором он мечтал, а не тем, какой он тут нашел.

Он не забыл купить и спички.

Вернувшись в номер, Алеша надорвал пачку, вытащил папиросину, размял и, прикусив, поднес огонек.

Для него это не было ни событием, ни грехопадением, поскольку он и впрямь уже покуривал в детстве, в Кронштадте, когда учился в пятом классе. Они тогда, пацаны, решили наконец попробовать, что же это за курево, что за сладость, какой упиваются взрослые, купили в складчину пачку папирос и залезли на крышу своего дома на Коммунистической улице, напротив школы. Вот тогда и оттуда, с крыши, они увидели зарево над северной стороной Финского залива — горел Выборг.

Алексей затыкнулся дымом, придержал его, хотя и почувствовал, как он сразу запросился наружу, как он раздирал грудь, как горло набрякло кашлем, — но он совладал с собою, удержал дым и, выдохнув, легонько стряхнул пепел в чугунную ракушку с русалкой.

Нет, он и после того еще не раз курил и, быть может, не бросил бы и дальше этого занятия — так что ему сейчас не нужно было учиться, он давно умел, — если б с ним не случилось несчастье, если бы он не заболел тяжело, почти смертельно.

Однако же ему не удалось вот так сразу, после столь долгого перерыва выкурить всю папиросу. У него закружилась голова, в глазах поплыло, он зашелся в надрывном кашле. Надо было привыкать постепенно, не слишком насилуя себя.

Он еще раз пригляделся к русалочьим вальяжным бедрам и окончательно уверился в том, что это не Клара Истомина, нет и нет, нисколько не похожа, только что волосы распущены во всю длину, так ведь это любая может распустить, если есть.

Он только сейчас понял, чем тогда, еще в кабинете главного инженера Пычимской плавильни Дидовика, могла заинтересовать его эта русалка, привлечь внимание и даже вызвать какие-то отдаленные и странные ассоциации, — она была похожа совсем на другую женщину, которую он знал, да.

Алексей Рыжов вынул изо рта папиросу и, кроша несгоревший табак, загасил об нее.

Паровоз набрал воды на станции Чудово и, гугукнув, заторопился дальше, в Бологое.

Лишь позднее они узнали, что через час после того как их эшелон ушел из Чудова, там появились немецкие танки, 20 августа.

Но они уже были далеко. Их везли через Рыбинск на Ярославль и еще за двести километров — в тихий городок Городище.

Они были напуганы и подавлены всем происходящим — вторая эвакуация, туда-сюда, хлопоты, прощанья, слезы, — но, в общем-то, они оказались счастливыми, избежавшими бомбежек и артобстрелов, не узнавшими, слава богу, ни смертельного голода, ни других блокадных жутей. Они лишь видели потом, ближе к зиме, как на станцию прибывали составы заиндевевших теплушек: в них не слышалось ни голосов, ни шевеленья, никаких признаков жизни, и было похоже, что выгоны пусты, но потом обнаруживалось, что они были полны людей, что там и взрослые и дети, но никто не в состоянии подняться и отодвинуть дверь. Их выносили на руках по двое зараз, такие они были изможденные и легкие. Некоторые из этих блокадных ребят потом, оклемавшись, появились в детдоме, но и позже их было нетрудно отличить среди других: они были замкнуты, глядели исподлобья странно поблескивающими глазами, руки их сами собой помимо воли сгребали со столов крохи, а крох

не было, не оставалось, в Городище тоже не знали сытости, влачили дни впроголодь.

И тут Алешу достали первые удары судьбы — один за другим.

Мать прислала письмо, в котором сообщала о гибели отца. Обходя намеками строгости военной цензуры, дала понять, что произошло это в самом конце августа, когда Балтфлот прорывался из Таллина в Кронштадт («по пути домой, на старую квартиру»), что он был на эсминце «Яков Свердлов» («шел с Яшей»), что некоторые люди утверждали, будто видели его живым на воде («купались вместе»), но позже она получила официальное извещение о том, что «бригадный комиссар Н. А. Рыжов пропал без вести при выполнении боевого задания».

Сомнений в том, что он погиб, не было. Но поразительно, сама гибель отца не так уж и потрясла Алешу, он вырос в военной семье, где знали, что война непременно будет, что военные ближе всех к гибели на войне, такая профессия. Да и отец, он помнил, в последние годы частенько поговаривал: «Везет, как перед смертью». А что уж так ему везло? Разве что когда с флота его переводили в Смольный, он там не находил почти никого из прежних друзей, а когда бросали опять на флот, то и там почти не оказывалось старых знакомых. Он супился, мрачнел и за рюмкой водки обреченно вздыхал: «Везет, как перед смертью».

Сколько ни горько было самому себе в этом признаваться, весть о смерти отца Алексей воспринял достаточно спокойно, как, впрочем, и мать, судя по ее письму, полному обдуманых иносказаний.

Шла война, ее ход был жесток и покуда несчастлив, люди гибли в ней несметно под пулями и бомбами, умирали.

Уже и детдом в Городище, который поначалу был просто интернатом для эвакуированных ленинградских ребят, сделался в течение одного лишь года заправским сиротским приютом: почти у каждого кто-то из родителей погиб на фронте, кто-то умер в блокаде, а у многих и то и другое разом.

Была даже некоторая ущемленность в том, что Алеша не мог полноправно разделить это близкое чужое сиротство: лишь потому, что на его отца пришла не похоронка, а извещение, что пропал без вести. Хотя он и знал, что это одинаково гиблое дело — тем более на море, тут не было надежд на спасение.

Но душу его вдруг посетили сомнения иного рода: а есть ли смерть вообще? Вправду ли так уж безвозвратно уходят из жизни люди — навсегда и никуда? Или же они только пропадают без вести, как вот пропал без вести его родной отец: быть может, он существует где-то и как-то, в каком-то неизвестном мире, откуда он просто не в силах подать весть, что он там...

Вероятно, в удрученном сознании мальчика эти слова «пропал без вести» нашли благодатную почву, откуда пробился блеклый и слабый росток упования: а может быть, ее и вовсе нет — смерти? Конечно, нет. Вот почему он и не пролил ни слезы об отце, потому что уверился: смерти нет.

Все это было для него неожиданным открытием, как и многое другое, что случается в этом возрасте.

И это было тем более странно, что он был совсем не так воспитан, ведь он с пеленок был неумолим и тверд в своем неверии.

Надо думать, что здесь сказалась обстановка.

Детский дом разместили в зданиях и на подворье бывшего Всехсвятского монастыря. Не то чтобы обитель упразднили специально для этой цели, нет, гораздо раньше. Вообще в этом монастыре с незапамятных времен, с его основания в XVI веке, то и дело возникали неурядицы, все тут шло не слава богу. Первоначально монастырь был мужским, его святые отцы славились ученостью и благочестием далеко окрест и еще дальше, вплоть до самой Москвы. Но потом

здесь вышли наружу не только богохульные ереси, но и крамола — монастырь разогнали по прямому указу царя Алексея Михайловича, обратили в женский, поселили тут стариц из соседней Рождество-Богородицкой обители. После революции тут была колония беспризорных, позже кооперативный техникум, надобность в котором к войне отпала, а потом уж все хозяйство перешло к детдому.

Несмотря на то, что божественный дух давно отлетел из этих покоев, сами стены, казалось, хранили завет и чин былых времен. Облупленные церкви монастыря не теряли своей осанки, в которой сочетались смирение и достоинство: в них завели склады, конюшню, а там по-прежнему веяло молитвой, и гулкое эхо блуждало под куполами, переиначивая обыденную речь на торжественность псалма.

Монашеские кельи были тесны, как щели, в них едва помещались торец к торцу две железные узкие кровати, а ходить мимо них можно было лишь бочком, двоим не разминуться. Но потолок этих келий были несоразмерно и пугающе высоки: откроешь глаза после теплого сна — и тебя сразу возносит в горний холод. Завтраки, обеда, ужины в общей трапезной, за топорными столами проходили в угрюмом молчании — так мал был кусок, так пуста похлебка.

После уроков и хозяйственных работ они бродили, как тени, по лестницам, по галереям в своих серых уютских одеждах, отощалые, иночески бледные.

За крестообразными рамами узких окон, за пыльными стеклами открывалось озеро Неручь, обширное, но мелководное, забитое илом. Оно предстало глазам то скованное льдом и укрытое снегом в желтых промоинах, крапленое несметным вороньем, то ихлестанное дождями, то клубящееся на жаре зловонными испарениями гнилого дна.

На противоположном дальнем берегу стояли хмурые еловые леса, в них единственным проблеском была колокольня соседней обители, но никто не знал, что там теперь, секрет.

В Городище было полсотни деревянных домов, оползшие валы земляного кремля, запустелый гостиный двор, где металась дикая кошка, и еще несколько полуразрушенных церквей.

Вот такая была картина, такое тянулось бытие, когда Алеша впервые стал размышлять о жизни, когда к нему пришли первые сомнения, а за ними столь же сомнительные прозрения, будто смерти нет.

Именно тогда последовал новый удар судьбы, подсказавший со всей определенностью, что жизнь конечна, что со смертью шутки плохи, ибо она есть и не столь уж отдалена: на сей раз она явилась прямо к нему, по его душу.

В восьмом классе детдомовских мальчиков повели на приписку в райвоенкомат. Заодно им надлежало пройти медицинскую комиссию для определения годности. У Алеши было все хорошо: и кровь, и зрение, и слух, и ноги оказались вполне исправными, без плоскостопия. Ну, некоторые признаки истощения, так это у всех и впоследствии, на армейских харчах, пройдет.

Однако в рентгеновском кабинете после короткого просвечивания врачаха, неразличимая в темноте, продиктовала сестре:

— В верхней доле правого легкого затемнение... с нечеткой дорожкой к корню легкого... Несомненный очаг, тэ-бэ-цэ... Что же вы там стоите? Одевайтесь.

Последнее уже было обращено к нему.

В ту пору врачи не слишком церемонились, не утешали, не обманывали — была война, — свои диагнозы они тут же и тотчас сообщали пациентам.

— У вас туберкулез, — сказала врачаха. — Вам определяют негодность к военной службе, но дело не в этом... Я направляю вас в тубдиспансер, нужно срочно сделать мазок. Вы живете в интерна-

те, в коллективе, тесное общение, позаражаете других,— уже сердито выговаривала она ему. — Идите, Рыжов, мы распорядимся.

Он вышел из темноты на белый свет, моргая и растерянно улыбаясь. Он сразу понял, что это приговор, конец. Излечения от туберкулеза не было, лекарств не существовало, о них лишь осмеливались мечтать, а покамест чахотка просто сводила в могилу, одних скоротечней, других медленней, в рассрочку, но определенно и обязательно.

У него взяли мазок из горла, анализ показал отсутствие палочек Коха, что еще больше насторожило врачей.

Алешу отправили в область, в Ярославль, устроили в туберкулезное отделение железнодорожной больницы.

Палату, где он лежал, да и соседние палаты днем и ночью сотрясал надрывный, харкающий, иступленный кашель. В плевательницах валялись окровавленные тампоны. Это была взрослая больница: в основном тут были дряхлые старики и старухи — во всяком случае, такими они казались Алеше, — несколько подростков вроде него да пара мужиков, от которых постоянно несло сивушным перегаром, это были, конечно (он не сомневался), симулянты, дезертиры, скрывающиеся здесь от фронта, они тоже исправно кашляли.

У Алексея кашля не было.

Во время болезни он стал очень быстро расти, вытягиваться, косякаться — это еще больше пугало его, он предполагал, что это капля за каплей испивает его чахотка.

Иногда по коридору пронесли на брезентовых носилках покойников, накрытых простынями, все выходили смотреть.

Он лежал и думал, что школа юнг отпадает, морское училище отпадает, да что там море — все отпадает, даже пехота, его не возмут на военную службу, он к ней не годен. И пусть смерть на войне нынче стала обыденностью, умереть просто от болезни — обыкновенной болезни — было стыдно, как стыдно! Ему не повезло, его жизнь не удалась, он оказался негодным для нее. В сущности, он умрет, еще не начав жить, потому что детство — это не жизнь, а постылая тяготица. Как обидно: он должен умереть, даже не поняв, зачем родился, еще не дав себе отчета, что бы он хотел в этой жизни сделать. Он плакал тайком.

Повторные просвечивания и снимки подтвердили: очаг в правом легком, явно выраженный и запущенный. Когда это случилось?.. Но палочек Коха в слизи не находили. Кашля по-прежнему не было. У него не пропадал аппетит, хотя это было одним из непременных симптомов, — впрочем, тут даже самые доходяги не жаловались на отсутствие аппетита и до блеска вылизывали миски.

Еще у него должна была к вечеру подсакивать температура, тоже симптом.

Медсестра Тоня обходила койки, вынимая из подмышек градусники, опутанные марлей с верхнего конца, взглядывала, записывала, стряхивала, кидала в дезинфекционный стакан.

Она приблизилась к кровати Алексея, коснулась лобастыми коленями его плеча, скользнула прохладной рукой ему за пазуху, посмотрела, сказала будто бы даже с укором:

— Тридцать шесть и шесть.

Пошла к двери, катая в разрезе халата с завязками на спине полные ягодицы. Она была намного старше его, ей уже было за двадцать.

Это повторялось ежевечерне, когда она дежурила. Только теперь Тоня, посмотрев на термометр, уже ничего ему не говорила, а просто смотрела весело и шально, ободряюще. И он уже знал: тридцать шесть и шесть, тридцать шесть и шесть.

Безысходная обреченность, покорное ожидание конца впервые

дрогнули, заколебались перед этими очевидностями: устойчивой нормальной температурой его тела и ее лобастыми смелыми коленями.

Однажды вечером она как будто на бегу, впопыхах заглянула в палату:

— Рыжов, в ординаторскую... иди, зовут.

Он прибрался, пошел, соображая, кто бы это мог быть, кому и зачем он понадобился.

Но в притемненной ординаторской была одна Тоня, она сидела на топчане, застланном клеенкой, а грудь ее все так же пышно, как от бега, вздымалась.

— Кто... зовет? — спросил он.

В ее глазах он увидел тот же странный лихорадочный блеск, голодный и подавленный, какой был у его сверстников, вывезенных из блокады.

— Кто?

— Да я же, я..

Она повернула ключ в двери и, опрокидываясь на топчан, потянула его на себя.

Он ничего не умел, лишь представлял себе умственно, да еще был ошеломлен и напуган, и она сама управляла им, как куклой, как чучелом, но потом все вошло в подогнанный природой лад и они, сопя, углубились во взаимное это дело. Но когда он в инстинктивной нежности потянулся губами к ее губам, она быстро и брезгливо отвела лицо в сторону, плотно, до белизны, сжала рот и так выдержала до конца, даже охнула, не открывая рта, утробно.

Он был настолько благодарен ей за науку, что не обиделся. И она еще не раз зазывала его.

Но однажды вечером, проходя, он услышал, как знакомо и вкрадчиво щелкнул изнутри ключ ординаторской, и оттуда вышел, дыша спиртным свежим духом, симулянт, прятанный в больнице от фронта.

Нет, он не возненавидел Тоню после этого. Он просто составил свое мнение о женщинах: об их нехлопотной доступности, неразборчивости, их эгоизме и притворстве — они лишь делают вид, что отдают себя, а в действительности все берут. Но это впоследствии вовсе не отвратило его от них.

И еще один урок преподала ему медсестра Тоня. Он перенял ее брезгливость и обратил ее на окружающее. Теперь он корчился от гадливости, слыша вокруг этот мерзостный кашель, видя склизкие плеватальницы, ступая по загаженным полам уборной, дотрагиваясь сальной ложкой до миски, не отмытой со вчерашнего и бог знает после кого, — к горлу подступала тошнота, ноздри как бы сами старались плотнее зажать крылья, он натягивал одеяло на голову, боясь дышать тлетворным воздухом палаты... Да, понимал он, очаг в его легком оставался незараженным, но именно тут, в больнице, он и мог скорей всего нахвататься микробов, нажраться палочек этого проклятого немца Коха, вот уж и кашель будто саднит грудь, лезет наружу...

А температура оставалась нормальной: тридцать шесть и шесть.

После очередного просвечивания и анализов его выписали из больницы, сочтя, что его болезнь не опасна для окружающих. Он возвратился в Городище, в детдом.

Теперь появилась надежда, упование на чудо: что он выживет и будет жить всю жизнь до самой смерти, пока не умрет.

Он сильно отстал в учебе, пока лежал в больнице, была опасность остаться на второй год, но даже в этом теперь звучал ликующий оптимизм — второй год! — еще один подаренный судьбой год. Впрочем, он приналег на алгебру и физику, подтянулся и догнал.

Теперь все свободное время он читал — не школьное, а для себя, для души. Читал сказки.

В детстве Алеше не досталось сказок. Дедушки он не застал в живых, бабушка, окрестив его малюткой в кронштадтской церкви Богоявления, вскоре сама преставилась. Ни мать, ни отец не рассказывали ему сказок на сон грядущий, а когда он просил, канючил, даже всплакивал, удивлялись этой блажи. Отец запевал бодро: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...» Алеша отвлекался, охотно подпевал, ему нравилась эта песня, но тут же спрашивал: «А какую?» «Что — какую?» — недоумевал отец. «Какую сказку? Ну, которую былью...» «Ишь хитрован!» — покачивал головою Николай Алексеевич Рыжов.

Ему покупали книжки: о Днепре, запертом плотиной, про фабрику-кухню, которая одна куховарила на весь город, о соленом заливе Кара-Бугаз. Это были хорошие книжки, он прочитывал их не отрываясь, но ему опять-таки не хватало в них сказки, хотя бы чути, хотя бы в самом конце. Как было однажды, когда он рылся в дедовых старых книгах с закоричневевшими, увядшими по краешку страницами: там были скелеты людей и люди с содранной кожей, состоящие из одних красных и синих жил, там были кишки, мозги и совсем уж неприглядные вещи. Однако он нашел одну, где было не про кишки, — «Детские годы Багрова-внука», начал читать, спотыкаясь о незнакомые буквы «Ъ», «і», «ѳ», но, хотя там и было про детей, чтение показалось ему скучным, он заглянул в конец — и обнаружил вдруг сказку «Аленький цветочек», красивую и страшную, с настоящим чудом, без которого сказка не сказка.

И вот теперь, на пороге шестнадцатилетия, он выискивал в детдомовской библиотеке, которая, кстати, оказалась сущим кладом, книжки сказок и, стыдливо обернув их яркие обложки газетой, чтоб избежать насмешек, жадно читал их: афанасьевские, гриммовские, беломорские, арабские, индийские, корейские сказки... Его мало занимали приключения, он не ужасался страшному, не смеялся над смешным, его не впечатляла мораль, он только выискивал там чудеса, его интересовало лишь само явление чуда, он ждал и жаждал спасительного чуда и, как все жаждущие, допускал его возможность хотя бы в порядке исключения — лично для него.

Что ж, это было вполне извинительно: ведь он был болен и не знал никаких других книг, повествующих о чуде, кроме детских сказок.

Красивая девочка, его одноклассница Лена Распопова, зардевшись, передала записку: «Мне нужно сказать тебе очень важное. Я буду ждать ровно в семь часов вечера на Поклонной горе».

Он пришел в срок, любопытствуя, что за важность и для кого это важно — для него или для нее.

— Я люблю тебя, — сказала Лена Распопова.

Затем прикрыла глаза, встала на цыпочки, подняла лицо, подставляя его для поцелуя.

Алексей полюбовался ее густыми ресницами, удлиненными закатной тенью до самых щек, посмотрел, как она колышется, словно травинка, стоя на носках. Повернулся и пошел прочь, сунув руки в карманы, вниз с Поклонной горы, к монастырскому саду, к гостинному двору, к озеру.

Он пощадил ее, уберег от своего ненадежного дыхания и был горд таким рыцарством. Но ему еще польстило, как она беззаветна, эта самая красивая девочка в классе. И еще он достиг понимания того, что обиду, причиненную одной женщиной, верней и легче всего выместить на другой.

Весной 1944 года, через два месяца после снятия блокады, мать приехала в Городище и увезла его домой, в Ленинград.

Там первым делом она показала его профессору.

— Нет, ошибки нет, — сказал профессор, посмотрев рентгеновские снимки, прослушав грудь, — у него очаг Гона, характерный для подростков. Сейчас он, по-видимому, инкапсулировался, обызвествился. У него в легком развивался активный туберкулезный процесс. Что было причиной? Я не знаю. Может быть, случайная простуда, может быть, снижение сопротивляемости организма, плохое питание, сбой внутренней секреции, угнетенность нервной системы, еще есть сто причин, я не знаю... Но болезнь компенсировалась, процесс остановился. Практически сейчас у него нет туберкулеза. Почему? Этого я тоже не знаю... — Он улыбнулся, развел руками. — А вы не можете мне объяснить, почему во время войны зарубцевались все язвы?

Он спросил это у матери. Вообще профессор разговаривал не с ним, а с матерью, как будто речь шла не о нем и как будто его вообще не было в кабинете. Но мать не могла ему этого объяснить, и он, Алеша, не смог бы, он даже не знал, что все язвы зарубцевались. Его не интересовали чужие язвы.

— Что же дальше? Дальше будет так: всю жизнь при рентгенировании у него будут фиксировать очаг, затемнение в правом легком, спрашивать — в чем дело, что и почему. Всю жизнь ему будут задавать этот вопрос... Но туберкулеза у него нет, смею вас уверить. Молодой человек вполне здоров.

На прощанье профессор снизошел до него, похлопал по плечу.

Алексей успокоился, понемногу пришел в себя. Через некоторое время, особенно когда война закончилась, все это, происшедшее с ним, стало казаться дурным сном, наваждением: тесная монашеская келья, гнилостный запах озера Неручь, дикие кошки, мечущиеся в опустелом гостинном дворе, покойники, накрытые простынями, которых везли по коридору железнодорожной больницы, тихо щелкающий ключ ординаторской, затерханые обложки сказок, которые он, стыдясь, оборачивал газетой...

Он охладел к сказкам. Нужно было наверстывать другое чтение: то умное, что требовалось по программе старших классов, и то глупое, что равно забаве, но было пропущено им в угрюмую пору. Вдруг, например, обнаружилось, что у «Трех мушкетеров» есть продолжения — «Двадцать лет спустя», «Десять лет спустя». И пусть продолжения не были столь же увлекательны, как начало, они очень соответствовали его настроению после болезни, после войны: двадцать лет спустя, десять лет спустя... а дальше? Но дальше было так далеко, что и не имело смысла загадывать.

Он забыл о сказках. Пожалуй, это лишь однажды и косвенно напомнило о себе: когда в конце первого курса выяснилось, что предстоит летняя практика, что нужно будет собирать сказы, и он решил, что поедет за ними на Север.

Его еще более разморили все эти промелькнувшие чередой воспоминания. А слово, с которого следовало начать статью, не являлось. Он хотел уж было плюнуть — не идет, так не идет, — отложить на завтра, может быть, завтра утром, на свежую голову, само пойдет. Но утром надо было сдать готовую статью в секретариат, он не успевал никак.

Протянул руку к связке тетрадей Дидовика — он в них даже заглянуть не удосужился, да и зачем? Не развязывая бечевки, отогнул уголок страницы, прочел там выведенное округлым и крупноватым, будто детский, стариковским почерком: «...по рассказам самих скифов, Геродот описывает страну, в которой находится золото, как одну из самых холодных земель, за которой лежащие к северу пространства никому не известны, потому что воздух там полон перьев, из-за которых ничего не видно... однако же он поясняет, что

перья, о которых ему рассказывали скифы, в этой стране летают зимою и летом, хотя летом их меньше, чем зимой...»

Алексей улыбнулся невольно: снег?.. Посмотрел в окно: кажется, жара к вечеру немного спадает... Неужели тут бывает зима, бывает снег? Отлистал еще несколько уголков: «...золото — зарни, серебро — эзысь, олово — озысь... медь — ыргэн, железо — кэрт, сталь — емдон...» Даже сталь?.. Но если Дидовик записывал эти слова в окрестностях Пычима, в деревнях, от местных жителей, то это живой язык, а если живой — то не чудской, ведь чудь была, да сплыла, исчезла, под землю ушла, живьем закопалась.

И тут Алексей вдруг понял, отчего у него никак не идет статья.

Да все оттого, что он ворошит старье, никак из него не выберется, погряз в нем, увяз, засосало его — ног не вытянешь, не то что мыслей.

Все старье: вот эти тетради в клеенчатых обложках, в которых Геродотовы сказки; чугунная пепельница с русалкой, которой уже полвека, просто формочка сохранилась — ее и отлили заново, пычимскую Венеру; и газета «Северная звезда», хотя и достаточно свежая, позавчерашняя, даже с его собственной статейкой, но на изнанке ее совсем непостижимым образом возник этот Ники Нед из Мичигана.

Да и сам он хорош: сколько времени потратил на зряшные, к тому же и не слишком приятные воспоминания, на то, что хотя и было, но быльем поросло, и незачем в нем копать, беречь старелое и больное, тем более что нынешнее в его жизни куда интересней прежнего, настолько важнее и значительней, что вся эта бывшая вечность не стоит одного теперешнего часа, и тем более жаль каждого мига, потраченного впустую.

И, кстати, нет ли подспудной причины, из-за которой Пычимская плавильня сорвала выполнение квартального плана, в том, что ее главный инженер Андрей Кузьмич Дидовик весь как есть оказался во власти размышлений о былом, о древности, о старине в ущерб сегодняшним заботам? За то его и погладили против шерсти на активе — и он там был, сам все слышал, но возражать не посмел и после, уже в разговоре с заезжим корреспондентом, сам честно признался, что критиковали правильно, что надо критиковать, надо бить, это он сам сказал.

К тому же он, Дидовик, уже и вовсе собрался покидать Пычим, возвращается на «Азовсталь», сидит на чемоданах. Любопытно даже: кто из них, Дидовик или он, Алексей Рыжов, кто раньше уедет отсюда? Просто любопытно... И появится ли в газете его, Алексея, статья о Пычине раньше, чем уедет Дидовик, успеет ли он ее прочесть? Впрочем, это не имеет значения, все равно.

Алексей положил перед собою чистый лист бумаги, достал из пачки «Беломора» еще одну папиросу, закурил, сосредоточился, собрал в кулак всю свою волю, напряг ум — и довольно быстро, на одном дыхании, написал то, что нужно было написать.



Позвонил Бубеев и велел к нему наверх.

Алексей застал его за таким делом: Вась-Вась перелистывал страницы «Северной звезды» минувших недель, которые лежали перед ним навалом, и синим концом двухцветного толстого карандаша малевал на этих страницах цифры: 200, 150, 30, 70...

— Что? — спросил Алексей, ожидая, что его сейчас опять зашлют куда подальше, срочное задание.

Но Бубеев ослабился широко и дружески, возвратился к начальным страницам, сказал:

— Гляди.

На очерке Рыжова о лучших людях Белоборской генеральной за- пани значилось: 300. На разгромной статье о Пычимской плавиль- не было нарисовано: 200. На репортаже с городского стадиона в День физкультурника, который он сделал прямо в номер, стояло: 120...

— Что это? — спросил он, очень заинтересованный синей каба- листикой.

— Это разметка, братец, — тихо и значительно объяснил Вась- Вась. — Это гонорар, денежки.

Денежки?.. Изогнув шею, Алексей с еще большим интересом стал следить за шелестящими газетными листами: теперь их вкрадчи- вое шуршанье приобрело некий новый смысл. Он следил за мель- каньем цифр, которыми наискосок лихо, будто блатной татуировкой, были исписаны листы — в глазах рябило от нулей, — а в уме помимо воли, по школьной невыветрившейся привычке, сами собой вдруг начали слагаться эти цифры, эти нули, плюс да плюс.

Он еще ездил в пригородный питомник, где какие-то чудачки пытались выращивать зимостойкие северные яблоки и груши; был на строительстве школы, которую не успевали сдать к новому учеб- ному году, за что надлежало взгреть — и он взгрел; выспрашивал по телефону (такой был спех, что и ехать некогда), сколько валенок сверх плана выпустила пимокатная фабрика...

И все это было напечатано в газете. И за все это ему, Алексею, теперь причиталось.

— Так что с тебя причитается, — поправил ход его мыслей Бу- беев. — Первый гонорар, не шутка. Да и намолотил ты, братец, из- рядно... Может, посидим вечером?

— Да-да, конечно, — согласился Алексей.

Он вспомнил свою первую встречу с Вась-Васем, первое знаком- ство в людной и шумной столовке, где они засиделись допоздна, до безлюдства, до закрытия.

— И Яшу позовем, — предложил он.

Бубеев на это лишь пожал плечами.

— Можно и Яшу... Но при чем тут Яша? У Яши свой намолот.

Он, вероятно, хотел дать понять своему молодому и совсем жел- торотому практиканту, еще раз дать ему понять, кто здесь, в редак- ции, в газете, полный хозяин, кто вправе тут миловать и казнить, озолотить или пустить по миру, — лишь он и он.

И, сознавая за собой это право, Вась-Вась окинул Алексея, сто- ящего возле его стола, покровительственным взглядом с ног до го- ловы и обратно.

— Слушай-ка, что ты все комиссаришь в своей кожанке? Влез в нее, как в шкуру, и не вылезашь...

— А что? — не понял Алексей.

— Да смотреть жутко. Маузера не хватает в деревянной кобуре.

— У отца был маузер... да-да, в деревянной кобуре! — обрадо- вался он. — Такая фотография дома есть, лежит.

— Ну, лежит и пусть лежит. То когда было!

Вась-Вась скучно покосился на окно: что там нынче? Продол- жил:

— Купил бы себе костюм или пиджачишко. Загляни на базар — там барахла трофейного... Ты ведь теперь человек богатый. Вот!

Он еще раз взлохматил газетные листы, густо и пестро разрисо- ванные синим карандашом.

— Вот! Барыня прислала сто рублей, что хотите — то купите... Знаешь?

— Знаю, — обрадованно подхватил Алеша знакомое с детства. — Что хотите — то купите, «да» и «нет» не говорите...

— А дальше, дальше?

— Дальше? — Алексей наморщил лоб, вспоминая эту присказку к игре в фанты. — Белого и черного не называйте... Так. А дальше я не помню.

— Аха-ха! — Бубеев явно тешился и веселился, глядя на него как на маленького, даже прослезился от утехи и веселья, вытер слезы. — Э, брат, ведь и тут какой смысл заложен: что хотите — то купите, но «да» и «нет» не говорите, а того-то не называйте... Зато — целых сто рублей. Верно?

Алексей испугался, что сейчас он начнет развивать свои представления о диалектике, причинности и взаимосвязи, полезет в энциклопедию, где «выпуклость» надо смотреть на «вогнутость».

Однако Бубеев прервал беседу:

— Ладно. Значит, как договорились — до вечера. Я за тобой зайду.

У самой двери кабинета в цокольном этаже, где он сидел и работал, Алексей услышал, как надрывается звонками телефон. Отпер, подбежал, снял трубку, но там уже прохрипел отбой, барышня со станции назвалась: «Шестая», он повесил. Впрочем, он торопился совершенно напрасно, так как звонили наверняка не ему, а Федору Макаровичу Коюшеву, заведующему отделом промышленности, это ему принадлежал кабинет, в который посадили Алексея, покуда у него практика и покуда кабинет пустовал: Коюшев болел уже месяц-два, не появлялся. Вообще Алексей и в глаза не видал этого Коюшева, но все время звонили и спрашивали Федора Макаровича, он отвечал, что болеет, поправляется, скоро.

Минут через десять телефон забренчал снова, он ответил:

— Алло.

— Кто это? — спросил женский голос.

— Да так, посторонний... Кого надо?

— Мне надо Рыжова.

— Ну я, — удивившись, сказал он.

— Алеша? — Хохоток. — А я тебя не узнала, голос совсем другой. Это Клара.

Он тоже лишь теперь узнал ее голос, так изменившийся на линии, они еще никогда не говорили по телефону, она ему ни разу не звонила в редакцию, это впервые.

— Здравствуй, — сказала она. — А я уж всю газету обзвонила, все номера подряд — везде искала, нету. Непоседливый ты. Но от меня не спрячешься, нашла.

— Да тут... — буркнул он смущенно, но не стал распространяться, где, у кого и зачем был.

— Алеша, — голос Клары приобрел деловитость, — знаешь, мама приехала из деревни, с собою бабку привезла погостить.

— Ну?.. — уныло отозвался он на эту новость.

Значит, кончилась для них обоих сладкая воля: одни в целом доме, он да она и еще кошка.

Он сразу подумал, что Клара спешит его упредить, чтоб он не вздумал явиться сауру в Пятую Десяту — ах, здрасьте, вам кого, а вы кто будете, — хорошо, что предостерегла.

— Леша, так ты приходи сегодня вечером, — сказала она.

— А зачем?

— С мамой познакомя, с бабкой.

Он перемолчал свой ответ: на кой ляд, очень надо.

И Клара это поняла.

— Ты забыл... ведь это та самая бабка моя — из Троицкого Посада, которая заговоры знает. И сказы старые знает. Ведьмачит она, помнишь, я тебе рассказывала. Она неделю будет гостить, всего неделю.

— Сказы? — неуверенно и тихо, словно очнувшись, переспросил Алексей.

— Да. Разве ты забыл?.. — Голос Клары стал еще ниже и глуше, вероятно, она прикрыла ладонью трубку. — Ой, тут подошли. Я ведь тоже с работы звоню, из филармонии... До свиданья. Так вечером.

Он положил трубку и тотчас спохватился, схватился за нее: — Алло, алло!

— Шестая, — отозвалась телефонистка.

Вот черт, он не успел собраться с мыслями и не успел ничего сказать. Он не успел ей сказать, что сегодня вечером никак не может быть в гостях в Слободе, потому что сегодня вечером он занят, он должен идти с Бубеевым, с ответственным секретарем редакции «Северной звезды», в закрытую столовку, чтобы там отметить, как положено, первый гонорар, первый намолот — напоить Вась-Вася водкой досыта, сколько влезет в его широкий рот, в его бездонную пасть. Обещано и сговорено. Вась-Вась зайдет за ним.

Но в то же время Алексей вдруг осознал, похолодев, что, когда Клара Истомина завела речь о своей ведьме-бабке и упомянула, что эта бабка знает старые заговоры и сказы, он не сразу даже понял, о чем она, он действительно позабыл, зачем, с какой целью, с каким делом забрался он в эти дали, — он совершенно позабыл об этом в каждодневной суете и запарке, в этих бесконечных разъездах и мотаниях туда-сюда, он позабыл. И сейчас, вспомнив, похолодел даже.

Телефон зазвонил снова.

— Алло.

— Алексей... Алексей Николаевич?

— Да.

Тут он сразу узнал, что звонит Ася, секретарша Улитина, и даже по телефону почувствовал, как она густо краснеет, не смея называть его просто по имени, хотя они уже и не первый день знакомы и тоже сверстники, однако служба службой.

— Зайдите к редактору.

Семен Ильич, к его удивлению, сидел над той же самой кипой газет полумесячной давности, испещренной синим, которую он час назад или меньше видел на столе Бубеева, а в руке его был такой же, как у Бубеева, двухцветный карандаш, но обращенный вниз красным концом.

— Смотри, — без приветствий и обиняков сказал Улитин, откинув несколько страниц.

И на очерке о Белоборской генеральной запани, где синим было выведено 300, он решительно красным перечеркнул эту цифру, вывел сверху тоже красным: 400.

Зашуршал дальше, добрался до Пычимской плавильни. Поднял глаза на Алексея, постучал карандашом плашмя по тексту.

— Дмитрий Иванович твою статью прочел, похвалил — дельная, говорит, статья. Я был у него утром.

— А... кто это?

— Что — кто? Дмитрий Иванович Есипов.

— Я не знаю, — честно признался Алексей, — я не знаком с ним. Я еще мало кого тут знаю.

Семен Ильич с откровенным любопытством взглянул на Алексея: не шутит ли? Нет, вроде бы не шутит. Укоризненно покачал головой:

— Дмитрий Иванович Есипов. Первый секретарь обкома. Это надо знать.

Он перечеркнул 200, написал 300.

Рой разноречивых мыслей и смятенных чувств овладел в эту минуту Алексеем.

Сперва его мозги, опять помимо воли, опять по школьной привычке, сложили цифры — плюс да плюс, равняется. Прежняя сумма росла и пухла, как снежный ком, катясь по газетным страницам, он уже подсчитал, что если бухгалтерша Анна Сергеевна и вычтет сегодня из его гонорара тот аванс, который дали ему в первый день, снизойдя к его сирости, то и тогда на руках у него останется сказочное богатство, хоть сори деньгами.

Вторая мысль была о том, что вот Бубеев, изображавший из себя владыку, хозяина редакции, коим он, собственно, и являлся, написал свои цифры синим карандашом, и это было как итог, как закон, как быть посему; но над ним, над владыкой и хозяином, имеется еще большая власть, а против синего карандаша есть красный карандаш, который обладает правом зачеркивать и писать сверху; но и на Улитине ведь власть не кончается, он только что сам счел нужным напомнить об этом, сказав про Дмитрия Ивановича, у которого был нынче утром, и поди положи весь этот газетный ворох на стол Дмитрию Ивановичу, под его карандаш, что-то еще может случиться...

Но Алексею хватило здравости догадаться, что выше уже не пойдет, а пойдет вниз, к Анне Сергеевне.

Третья же мысль была совсем проста: а не пригласить ли Семена Ильича Улитина в закрытую столовку отпраздновать первый намолот вместе с Вась-Васем. Скажем, Яшу Черношварца действительно не приглашать, не тревожить, а Семена Ильича позвать, да сделать это приглашение сейчас же, не дожидаясь, куда редактор станет сам намекать и набиваться, вот сейчас.

Улитин, переметив последнее, отложил карандаш, устремил на Алексея свои темные, проникающие, немного грустные глаза, произнес тихо, но веско:

— С Бубеевым не пей... нет, не перебивай, не возражай, не корчись, я ведь знаю, не ты первый... С Бубеевым пить не нужно: он алкоголик, тяжелый, больной, несчастный. Не подноси, не ставь, его щадить надо, жалеть... И тебе мой совет: не увлекайся — Север, знаешь, по этой части опасен. Ясно?

Алексея несколько покоробили и смутили эти редакторские слова: неужто он так злопамятен, что не забыл, как на пароходе «Тютчев» в обед все заказывали по сто, а он, Рыжов, обуйанный студенческой гордыней, из куража заказал сто пятьдесят, а то был чистый спирт, и он, хлебнув, мгновенно запынел и даже, помнится, хотел стгоряча вмазать вот этому товарищу, знатному чаеводу, своему нынешнему строгому и благодетельному начальнику.

Жаль, конечно, что об этом Улитин не забыл, держит в памяти, хотя с тех пор уже и набежала давность. А вот о другом, куда более важном, он все-таки забыл, как, впрочем, забыл бы и сам Алексей, если б не напомнила сегодня по телефону Клара Истомина.

Он обернулся у самой двери, но его опять подстерегал прямой и темный взгляд Улитина.

— Я помню, — сказал Семен Ильич. — Ты ведь о Печоре? Я не забыл, я помню.

Он ушел сразу, как только получил свое, ладно тут, в редакции, никто не держал под контролем, когда он приходит на работу, когда уходит, — практикант, с него какой спрос. Он ушел пораньше, чтобы Вась-Вась не мог застать его: теперь, после беседы с редактором, он был вправе избегать всякой пьянки с Бубеевым, он обязан был щадить и жалеть его. Хотя, по совести говоря, было тяжело себе представить, как Вась-Вась в конце рабочего дня сойдет вниз, тронет ручку двери, а она не поддастся, он еще подергает, что за черт, постучит, послушает, заглянет в замочную скважину — никого, выругается, поцелует пробой и пойдет домой. Впрочем, сегодня намолот был у всех, так что, догадался Алексей, в любом случае Бубеев доберется домой поздно.

И еще он торопился поспеть на базар.

Этот базар, обнесенный забором, а вдоль забора внутри застроенный бревенчатыми лавками на подмостях, был виден отсюда, с горы, пока он спускался.

Он шагал, ощущая на груди приятность оттопыренного и тугого кармана. Как было не вспомнить сейчас с усмешечкой совсем недавно: как минувшей зимою, когда какая-нибудь из прелестниц своего либо чужого института назначала ему свиданье, а он томился безденежьем — ну, не то чтобы в кино сводить, два билета по трешке, или на каток, два рубля, или просто довести потом до дому, проводить на трамвае, на метро, туда-сюда рупь шесть гривен, а у него подчас и того не было, совершенно не было карманных денег, — тогда он тихохонько, хотя никого не было дома, приоткрывал дверцу буфета, запускал руку и умыкал из теткиной сахарницы три-четыре куска пиленого сахара, полученного по карточкам, и в толпе возле булочной на Разгуляе сбывал эти кусочки тишком из рукава в рукав по пятерке за штуку, обычная такса, и на эту выручку ехал кавалерствовать, гусарить... ах, даже вспомнить смешно.

Он вспомнил об этом еще и потому, что теперь, когда сама собой отпала пьянка с Бубеевым и стало ясно, что предстоит другое свиданье, что нынче вечером он будет в Слободе у Клары Истоминой, он мог быть вполне спокоен, мог с полным сознанием своего достоинства ничем не терзаться в предвкушении этого свидания и не лазать по чужим сахарницам.

Базар кишмя кишел. Но он заметно отличался от тех базаров, которые случалось видеть Алексею даже в эти послевоенные скудные времена. Тут не было ярких и сочных красок, присущих летней поре: ни пламени спелых помидоров, ни прохладной зелени молодых огурцов, ни пестрых пучков редиски, столь плотных и ладных, что кажется, будто редиска так и растет пучками, гроздьями, что твои орехи; ни насквозь просвеченных солнцем листьев салата, ни заточенных на конус, как авиабомбы, синих баклажанов, ни петушиных перьев лука, хотя, если подумать, отчего бы не произрастать здесь луку, вон какая стоит теплынь; ни влажной россыпи клубники, ни сухой россыпи абрикосов, ни икрной россыпи красной и черной смородины, ни яблок, сводящих скулы одним своим видом, ни поздней примятой и сладкой черешни — ничего не было тут, не росло, или еще не выросло, или пока не сажали; и никто другой не привез сюда этого товара из иных краев, знойных и щедрых, потому что путь сюда очень дальний и долгий, кружной и накладный. Север, он Север и есть, как бы подсказывал всем своим видом этот базар, не обессудьте.

Лишь в ближнем к воротам ряду Алексей заметил мужика, торговавшего рыбой: снулые щуки и язи лежали навтыжку поперек стола, наловил, как они с Егором, и вынес продавать — сам бы ел, да деньги надо; и еще старуха продавала из ведра стаканами, будто семечки, черные соленые грибы — то ли прошлогодние, то ли

уже этим летом спроворилась; и еще другая старуха расставила перед собою сплюснутые крохотные розовые репки, словно шашки — подходи, сыграем.

Но ведь он и не за этим, не за овощами, не за фруктами явился сюда.

А то, за чем он сюда явился — это можно было заметить с одного взгляда, — оно тут было.

На прилавках и в междурядьях, у лавочных подмостей и у забора, повсюду вскидывали и трясали, расстилали, вертели, пробовали на ощупь, примеряли наскоро разноцветное и разнообразное барахло.

Более того, среди продавцов этого базара, куда он заглянул впервые, в совершенно чужом ему городе он вдруг обнаружил знакомые лица — два знакомых ему лица.

Фрау Илюхина, жена капитана Илюхина, стояла за прилавком, а перед нею лежал товар: женская кофта толстой заграничной вязки, белая блузка тонкого шелка, вспененная пышными кружевами, дамская шляпа с кисейной вуалеткой и модная сумка крокодиловой кожи на длинном ремешке — дорогой и броский товар, на который в почтительном безмолвии взирали, не смея даже тронуть, местные красотки в ситцевых платьишках. А сама фрау Илюхина короткими и настороженными взглядами зыркала по сторонам, будто опасалась чего-то, и один из этих коротких взглядов пал на Алексея, он поклонился ей, искательно улыбнулся, мол, какая приятная встреча, а помните, как мы... — но фрау Илюхина тотчас отвела взгляд, он сделался еще более опасливым и настороженным, вероятно, она не узнала Алексея Рыжова, забыла, как они вместе плыли и бражничали на пароходе «Тютчев», в первом классе.

А чуть поодаль за прилавком, как за гостиничным барьером, высилась столь же знакомая ему дама в чалме, с горбоносым профилем, дежурная из гостиницы. Она продавала мужские башмаки, огромные, громоздкие, с загнутыми вверх носами, в пестрых шнурках, вроде лыжных пьекс; и грубошерстный плед в клетку крупной ячеей, с махрящимися по краям кистями; и раззявленный дорожный несессер на «молнии», где в аккуратные петельки были вдеты позлащенные коробочки, футлярчики, патрончики, отдельно щеточки, ножнички, ковыралоочки, зеркальце, мечта недорезанного буржуя. Эта дама, поведя глазом, тоже и тотчас заметила кивнувшего ей Алексея Рыжова, но и она почему-то не узнала его, отвернулась безразлично, хотя еще вчера, когда несла дежурство, они поздоровались как старые и добрые знакомые.

Впрочем, Алексею было начхать на них обеих — не желают узнавать и не надо, — тем более что их выложенный товар не представлял для него никакого интереса. Он ведь тоже явился сюда не для того, чтобы опознавать знакомых, кто тут и чем торгует. У него были свои интересы.

Следуя вдоль рядов, он довольно скоро обнаружил тот товар, который ему был нужен, за которым пришел.

Совершенно незнакомая тетеха продавала пиджак верблюжьей масти, может быть, и впрямь из верблюжьей шерсти, ворсистый и мягкий, однобортный, с узкими лацканами, накладными карманами и глянцевыми шоколадными пуговицами. Алексей на глаз определил, что пиджак ему впору, однако для верности скинул кожанку и, держа ее в зубах за воротник, примерил верблюжий пиджак: он будто на него был сшит, как на заказ, и плечи по плечу, и рукав по руке. Рыжов уплатил не торгуясь.

Чуть дальше продавалась почти новая коричневая рубашка, тоже по нем — его, правда, несколько смутил цвет, ведь известно, кто расхаживал в коричневых рубашках, и он заколебался, проследо-

вал мимо, но тут же подумал, что тех, кто расхаживал в коричневых рубашках, уже извели на нет, что о них вспоминать, а такая рубашка, догадался он, отлично подошла бы к его новому пиджаку, да и цвет немаркий, носи хоть месяц без стирки, и он, преодолев сомнения, вернулся и купил.

И еще ему попался галстук, атласный, густо-вишневый, в частую желтую крапинку, и этот галстук был точно так же в тон его рубашке, как рубашка была в тон пиджаку, — и он купил.

Хотел уже идти к воротам — ведь все было куплено, что надо, — но его перенял на пути, приманил пальцем лохматый мужик, определивший, должно быть, что покупатель знатный, богатый, покупает не торгуясь и долго не раздумывая, глаз имеет острый, вкус отменный, берет, что ему надо, и предпочитает товар добротный, первосортный, шикарный, люксовый, — этот лохматый мужик отвел его в сторонку. От мужика несло водочным перегаром, и от него же исходил какой-то приглушенный стрекот. Он отвел его в расщелину меж лавок, к самому забору и там, оголив запястье, показал: рука его была опоясана множеством ремешков и браслетов с часами, большими и маленькими, круглыми и квадратными, с римскими цифрами, арабскими цифрами и вообще без цифр, лишь точки и тире, соображай сам.

Алексей очень обрадовался, он едва не ушел с базара без самой важной и самой нужной покупки — без часов. В девятнадцать лет, накануне двадцати, у него еще никогда не было собственных наручных часов, более всего удостоверявших, что ты уже не подросток и не юноша, а мужчина: отогнул рукав — и сразу видно, кто ты таков. И даже не в том дело. Теперь, в каждодневном верчении редакционных заданий, командировок, когда нужно поспеть везде и всюду, когда на счету каждый час и каждая минута, очень трудно и неудобно в этой теперешней жизни засыпать до луны, а просыпаться по солнцу, ждать, покуда пропищит радио и диктор объявит время, то и дело соваться к прохожим, не скажете ли, который час, а эти прохожие сами без часов, самим интересно. Нет, часы ему были теперь необходимы позарез.

Лохматый мужик, предположив, что товар не подходит, отрянул рукав и заголил другое запястье: на нем тоже были часы, часы за часами, часы поверх часов, очень богатый выбор.

Алексей указал пальцем на прямоугольные солидные часы в позолоченном корпусе, с черным циферблатом.

— Они, — кивнул мужик, одобряя выбор. — «Мозер», швейцарские...

Отстегнул ремешок, протянул покупателю.

Алексей приложил часы к уху: они, несомненно, шли.

Он заплатил не торгуясь. Он мог себе это позволить, мог сорить деньгами направо-налево. Ему даже смешно было вспомнить, что всего лишь несколько месяцев назад он по мере надобности приворовывал из теткиной сахарницы.

В гостиничном номере все побросал на кровать, скинул с себя, тоже бросил, сел, переводя дыхание.

Взгляд его пал на кожанку, только сейчас он заметил, как сильно она истерта на локтях, на лопатках, как измяты рукава на сгибах в мелкие неизгладимые морщины, как она стара, — он только сейчас это заметил, купив все новое. Сколько же ей лет, этой кожанке?..

Дама была фотография, которую он особенно любил разглядывать, да и отец любил. На ней комиссар Николай Рыжов был заснят в этой самой кожанке, весь в ремнях, с маузером в деревянной кобуре, среди братишек, лихих матросов 1-го Кронштадтского полка,

давшего бой под селом Кузнецким на Урале трем колчаковским полкам, — Алексей знал, что вот эти лихие братишки, на фотографии, они-то и остались в живых после белых атак, а остальные полегли.

Он знал, что в этой кожанке отец стоял под Гатчиной против казаков Краснова, кончал Духонина и его ставку в Могилеве, кончал на Украине петлюровскую Раду, ходил из Кронштадта на штурм мятежных фортов в девятнадцатом, а в двадцать первом штурмовал мятежные форты самого Кронштадта. Ему везло, ни одна пуля его не тронула — «везет, как перед смертью», — и единственной дыркой на коже этой кожанки было отверстие для штифта ордена Красного Знамени.

Алексей, когда был маленький и когда подрастал, все горячо уверял отца, что он, наверное, просто позабыл, как в этой же кожанке штурмовал Зимний дворец («Ну вспомни, папа, вспомни!»), но отец категорически мотал головой и утверждал, что нет, что в ночь на 25 октября их отряд занял государственный банк и оставался там до утра, таков был революционный приказ, он объяснял и доказывал, что банк — это тоже очень важно, но в конце концов соглашался, что да, что жалко, что не Зимний...

Однако вовсе не эти соображения и чувства владели сыном, когда, уезжая из Ленинграда в Москву вопреки материнской воле, снаряжаясь в самостоятельную жизнь, он вытащил из гардероба, из самого угла, задубевшую от долгого висенья отцовскую кожанку, примерил, шелестя, и она ему оказалась в самый раз, и он решил ехать в ней, потому что такая куртка годится и для лета и для зимы, а особенно для весны и осени, на любую погоду, и потому, что ей сносу нет, хоть еще сто лет носи, и еще потому, что везучая она: единственная на ней дырка — и та от ордена.

Он ведь тогда не мог предполагать, что всего лишь год спустя в провинциальном городе, где он случайно окажется, эта старая кожанка наведет жуть на энциклопедиста и пьяницу Бубеева, а ему, Алексею, вдруг привалит куча денег и он позволит себе разжиться на базаре кой-каким барахлишком.

Опорожнив карманы кожанки, лишив ее документов и денег, он повесил ее на самый глубинный крюк гостиничного шкафа, пусть висит, отдыхает.

Теперь он решил подробней и придирчивей изучить свои обновы. И при ближайшем рассмотрении они ему преподнесли неожиданные сюрпризы, раскрыли ему свои тайны, которые он, естественно, не мог заметить в базарной сутолоке.

На вороте пиджака изнутри была пришита шелковая ленточка с надписью «Exclusiv», а чуть пониже и чуть помельче «Singapore». Он схватился за галстук и там тоже обнаружил с изнанки шелковую ленточку, на которой было написано дробными буквами: «Juwel New-York». Поспешно растянул воротник распластанной на кровати рубашки, но там, слава богу, ничего не было, хотя рубашка имела несомненно заграничный вид.

Сингапур, Нью-Йорк... Им овладело удивление, странным образом смешанное с тревогой, оторопью. Нет, его не испугали сами эти чужеземные вещи: ведь ему, сыну моряка, кронштадтскому мальчику, ленинградскому жителю, с детства были не в диковину привезенные из-за границы, из заморских стран, из дальних шлаваний яркие, броские, модные тряпочки, а на них, разумеется, всегда были и фирменные заграничные этикетки — эка невидаль.

Но каким таким непостижимым образом все это могло оказаться здесь, в Городе-на-Реке, в медвежьем углу, в захолустье?..

Впрочем, нет, и не это повергло его в испуг.

Просто он опять испытал сейчас то странное головокружение, тот морок, что не раз приходил к нему, когда он чувствовал, что земля плывет из-под ног, что он висит в воздухе без опоры, что

его несет неведомая сила, перемещая во времени и пространстве, этот знакомый наезженный кошмар... Вот точно так было минувшей весной в квартире профессора Шамшина, когда он увидел в окне напротив старорежимную надпись по фасаду. И совсем недавно, когда он увидел за околицей Пычима вековые отвалы сожженной земли, из которой, как из преисподней, возносились факелы иван-чая; и когда он нечаянно посмотрел свою заметку в газете сквозь свет и на другой стороне листа проступило, что в Америке умер генерал Деникин... И вот еще сегодня, сейчас, когда он обнаружил эти шелковые ленточки, эти дробные латинские букочки на заграничных обновах.

Может быть, это опять болезнь? Такая редкая и странная болезнь. Но ведь он совершенно здоров, здоров, как бык, здоровее здорового, особенно теперь, когда почти зарубцевалась память о пережитом смертельном недуге, он был абсолютно здоров. И хотя у него теперь не было поводов измерять что ни день температуру, он чувствовал всем своим духом и телом бодрую норму: тридцать шесть и шесть, тридцать шесть и шесть.

Значит, тем более он должен суметь распознать этот морок, исследовать это головокружение, понять, отчего оно и что оно, как добавляет здравому человеку.

С тех пор как он понял случайность рождения, случайность появления человека в этом мире (протестующий указательный перст Бубеева на мгновенье помаячил перед его носом: нет-нет, братец, случайностей не бывает!..), его одолевали два совершенно фантастических предположения.

Первое: что он мог родиться не тогда, когда он родился, а гораздо раньше, скажем лет за сто до этого срока, еще при крепостном праве,— при том, разумеется, условии, что и отец и мать тоже родились бы намного раньше, иначе как же. Тогда бы он, пожалуй, и не дожид до нынешней поры, он бы уже умер, хотя бы от той же чахотки или чего другого. Он бы умер, так и не дожив до Октябрьской революции, так и не узнав, что будет дальше, вслед за нею. Конечно, никто из людей, которые жили тогда, никто не знал о будущем ничего достоверного, и люди как-то мирились с тем, что они живут в другое, и довольно тусклое, время, и даже в нем они находили удовольствие и свой смысл. Но у него от этого предположения буквально перехватывало горло, его душило при мысли, что он мог жить раньше и не дожить до того времени, в котором ему выпало счастье жить ныне. Хотя при этом он вполне сознавал и присчитывал к общему счету, что и в этом времени были свои беды и лишения: чего стоила одна война!.. Но он уже понимал, что люди, которые родятся позже, станут завидовать ему и в этом: что он жил при такой войне, хотя сам не воевал, но тоже чуть не умер, пока она шла. Кстати, морок этот распространялся и на будущее время: его равным образом никак не устраивало и запоздалое рождение — что он еще и не родился, что это ему еще предстоит и он будет жить в таком светлом будущем, о котором сейчас лишь мечтают, — нет, ему не хотелось и этого, он был вполне и безраздельно удовлетворен своим временем, так счастливо выпавшим на его, Алексея Рыжова, долю. Вот отчего, наверное, его пугали неожиданные вести из других времен и перемещения во времени, которые он порой испытывал.

Второе касалось пространства. Опять же он допускал такую случайность, что он мог родиться не в России, а черт знает где — в том же Нью-Йорке, или Сингапуре, или в какой-нибудь Бельгии. То есть не то чтобы родиться не русским (это вообще исключалось, даже в Сингапуре он родился бы обязательно русским), но он имел в виду само место рождения: вдруг какая-нибудь Бельгия. Ну, о Нью-Йорке он хотя бы знал, что там небоскребы, а в Сингапуре,

кажется, там, люди живут в лодках-джонках прямо на воде, кучно и сыро. Но вот эта Бельгия, столь неясная, бесплотная, неосязаемая, ничего не говорящая ни уму, ни сердцу, — хотя нет, он слышал, что всю Бельгию можно из конца в конец проехать на трамвае. О боже, ехать через всю свою родину на трамвае, поглядывая в окошко, чтоб, неровен час, не промахнуться — стоп, слезай, граница, дальше Люксембург. И главное, человек, родившийся там, в этой Бельгии, он как бы рождением своим приговорен жить именно там, во всяком случае оставаться всю жизнь уроженцем этой крохотной Бельгии, и от этого ему никуда не деться, судьба... Правда, Алексею Рыжову, выросшему в Кронштадте, на точечном островке в четырнадцать квадратных километров, была не чужда вот такая уютная малость, но он всегда знал, что эта малость — лишь частица огромной страны, которую почти никому из живущих в ней не дано изъездить всю из конца в конец и вдоль и поперек.

Он успокаивался и яснил душой, сознавая, что родился и живет в той стране, в которой надо, и именно в то время, в котором живет.

Время... а сколько сейчас времени?

Алексей потянулся за своими часами, приложил их к уху: они продолжали мерно идти.

Значит, не обманул лохматый мужик с базара. Лохматый мужик... А сам? Он взъерошил пятерней волосы, ого, как зарос, по уши, надо бы постричься и побриться заодно, вон какая щетина — он провел пальцами по щекам, подбородку, верхней губе: все колосось и косматилось.

Быстро надел свою новую рубашку, повязал галстук, накинул пиджак, застегнул ремешок часов, запер дверь, зарысил чечеточкой вниз по лестнице.

Парикмахершей в гостинице оказалась дочка той прибалтийской дежурной дамы, которая сегодня торговала барахлом в рядах. То есть он не знал в точности, дочка это или младшая сестра, а может быть, и вовсе никто ей, но она была очень похожа на даму из Каунаса, только моложе, и у нее был тот же монотонный тягучий акцент, только ласковей.

Она усадила Алексея в кресло с подлокотниками и подзатыльником, повязала ему чистую простыню, щекотно тыча за ворот, посмотрела на его отражение в зеркале оценивающим и вопросительным взглядом — там глаза их встретились, и он едва заметно кивнул: делайте со мной что хотите.

Жамкая машинкой, она сняла волосы согласно моде догола с висков, вокруг ушей и выше ушей — они тотчас смешно оттопырились, — сняла с затылка и выше затылка под самую макушку тоже наголо, так, что засинела открытая незагорелая кожа, а потом, загребая гребенкой, брэнча ножницами, она стала подравнивать все остальное, сохранив лишь зачес набок, возведя молодеватый легкий долубокс, чик-чик и еще чик-чик.

Потом она взбила в чашечке густую мыльную пену и ловким помазком облепила пеной все лицо, а его в этот момент осенило вдруг, но раскрыть рот было невозможно, нажрешься мыла, и он замычал, как глухонемой литправщик Зыков: «Мбу... мбу...» — выпростал из-под простыни руку и показал ей, что желает оставить усы, не такие, конечно, вислые казацкие усы, как у главного инженера Дидовика, а модные журналистские усики, как у Константина Симонова, — она поняла и оставила.

Потом она обрызгала его шипучей струей одеколona до жжения в прижмуренных глазах, осыпала лицо пудрой, смахнула, сдержала с него простыню, как полотноще с нового памятника, нагну-

лась, положив ему на плечи свои груди, прислонилась щекою к его щеке, заглянула в его глаза в зеркале: доволен ли?

Он был доволен: когда он садился в это кресло, у него было всего-навсего хотя и заросшее, но предательски глупое и наивное юношеское лицо, а сейчас на него смотрела из зеркала вполне мужская, усатая, важная, холеная, лощенная морда.

Почему-то он вдруг пожалел, что не купил сегодня на базаре тот буржуйский несессерчик на «молнии», с патрончиками и ковырялочками, любопытно, сколько за него запрашивала каунасская дама, родственница вот этой искусной парикмахерши.

Он повел плечами, освобождаясь от ее грудей.

Расплачиваясь, подумал, что если бы он не был нынче вечером так занят и уже зван в гости, то, возможно, попросился бы проводить ее домой после работы. Интересно, она живет вместе с дамой в чалме или врозь? Но, к сожалению, он был занят сегодня вечером.

— Розовый какой весь, будто поросенок наш Борька... — сразу все заметила Клара. — Нет, больше на kota похож — усы, нашей Мурке товарищ. О, гляди, сама признала!

Гладкое, серое, теплое коснулось его ноги, кольнуло электричеством сквозь брюки и, дрогнув напоследок хвостом, отошло неслышно.

— Вот моя мама, познакомься — ее зовут Павла Романовна, — представила дочь.

— Очень приятно, — сказал Алексей, пожимая ей руку.

Он перенял ее первый оценивающий взгляд, и оценка там была совершенно ясная: ну так я и знала, что молокосос и сопляк, хотя и усами прикрывается, но много ли ими прикроешь; галстук нацепил, а все равно понятно, что человек несолидный, нет, не жених, дочкина блажь, нам бы таких не нужно.

Сам он при этом успел определить, что ей за сорок и Клара похожа на нее, то есть к сорока годам вот так же должно загрубеть и затесаться углами, такими же резкими и длинными морщинами должно исполосоваться округлое и нежное лицо Клары, но его это ничуть не пугало, он не заглядывал столь далеко.

— А это моя бабушка, баба Окся, Оксинья Ивановна, вот приехала к нам погостить из Троицкого Посада, на неделю всего.

— Мне очень приятно, — поклонился Алексей.

Он перенял и бабкин сноровистый хитрый взгляд: она, не выказав интереса к его усам и галстуку, обзыркала, ощупала его отягощенные карманы — и взгляд ее тотчас завеселел.

— Давайте к столу, пора ужинать, — сказала Павла Романовна. — Поздно уже.

Он поставил обе бутылки на стол. А там уже дымилась в казане, разорвав покровы, крупная картошка; розовая семга истекала пахучим рассолом, купалась в нем; желтое сало отвердевало к корочке в неразгрызный янтарь; плоские ржаные шаньги были не с пылу, не с жару, а заметно, что черствы, всю эту снедь, все эти гостинцы, вполне очевидно, привезли из далекой деревни и везли очень долго, но привезли кстати — Алексей был голоден, как волк.

— Со знакомством. Будьте здоровы.

Они чокнулись четырьмя гранеными стаканами. Три опрокинулись доньшком вверх, как положено, фу-фу, дыши глубже.

А с четвертым творились дива дивные: Оксинья Ивановна, баба Окся, вылила свою водку в глиняную миску и стала крошить туда шаньгу — смуглые и заскорузлые от трудов ее руки отщипывали кусочки и кидали туда, как некоторые крошат хлеб в щи, чтоб сделалось больше щей в тарелке, чтобы щи сытней были, так и она, толь-

ко не в щи, а в водку,—потом взяла лежавшую обок столовую ложку и, уткнув подбородок в самый край миски, пошла кидать это хлебо-во в беззубый рот, и было видно, что ей нравится и вкусно.

Алексей глазами хлопал, наблюдая эту небывальщину.

— Закуси,—напомнила Клара, подмигнув, чтобы он не сильно обращал внимание на эти бабкины странные манеры, пусть ее, ведь что с нее возьмешь, она ведь не столичная, не из города, а из деревни.

— Да вы ешьте, ешьте,—пригласила Павла Романовна.—Семга вот, рыба хорошая, только засол у нее особый, печорский, так и называется—печорский засол, не всем одинаково нравится, запах очень сильный, но мы привыкли, едим... берите, ешьте.

— Спасибо,—кивнул он и схватился за горячую картофелину, стал спускать с нее шкуру.

Кошка под столом опять прильнула к его ногам, пригрелась и его пригрела.

— Значит, вы из Москвы?—спросила Павла Романовна.

— Да, я сюда приехал из Москвы. Я учусь в Москве. А вообще я родом из Ленинграда, точнее—Кронштадт. Но мама теперь живет в Ленинграде.

— А что же вы с ней не живете? Мать как-никак.

— Как-никак. Видите ли...

Он задумался: стоит ли исповедоваться этой чужой женщине, которая, вне сомнений, отнеслась к нему сразу неприязненно, и он, говоря честно, тоже не ощутил к ней особой приязни, во всяком случае пока не питал, вряд ли стоило исповедоваться. Но она спросила его, и вежливость требовала ответа. Он сказал:

— Видите ли, мне тяжело теперь жить дома—без отца. Отец погиб на фронте. Я очень любил отца. И мне теперь тяжело без него.

— А-а, это да...—согласилась мать Клары. Она обвела взглядом стены избы, оклеенные обоями в цветочек, и было件нятно, что и ей, вдове, о многом говорят осиротелые эти стены, но глаза ее остались сухими, она спросила:—А отцова могилка где?

Он опять смешался, подавленный голой категоричностью вопроса. В жизни все было сложнее, чем она себе представляла, меряя все на свой аршин, на свой опыт. А в жизни и даже в смерти все было гораздо сложнее. Рассказывать подробно, он чувствовал, слишком долго, но ведь она просила.

— Видите ли, его могилы нет. Его могила—море, он был моряк. Он шел из Таллина в Кронштадт на эсминце «Яков Свердлов». Флот шел сквозь огонь, без прикрытия—их атаковали с воздуха, с моря, отовсюду. Немцы пустили торпеду во флагманский крейсер «Киров», попадание было неизбежным, и тогда «Яков Свердлов» принял торпеду на себя—никто не выплыл... нет, кажется, выплыли три человека, а остальные... вот так погиб отец.

— Утоп, значит?

— Наверное. Или раньше был убит, в момент взрыва. Понимаете, с «Якова Свердлова» никто не спасся, всего три человека, но и они знать ничего не могут. Говорят, что отца видели на воде. Но подобрать все равно бы не смогли: там кипело, все море кипело, и шли не останавливаясь...

— Господи,—откликнулась Павла Романовна на этот рассказ.

Клара смотрела на него, брови ее сочувственно пригорюнились.

Даже старая ведьма, баба Окся, оторвалась от своего жуткого хлеба и поглядывала на него жалобно. Но оказалось, что у нее кончилось.

Алексей взял бутылку и разлил по стаканам, а ей прямо в миску, щедро.

Выпили и помолчали за вечную память.

— Ну а наш в земле лежит,— сказала мать Клары, и в тоне ее была гордость, слышалось превосходство.— Адрес могилки есть, в Венгрии, но как туда съездишь, в Венгрию?

— Надо бы съездить,— подала голос дочь.

— Конечно, а как... Вы, значит, в Москве у тети живете? Она с какой стороны, чья сестра — отца или матери?

— Тетя Надя — мамина сестра, старшая, а маму зовут Люба, Любовь. Они две сестры — Надежда и Любовь.

— Надежда и Любовь? А раньше Веры не было?

— Веры не было,— уверенно ответил Алексей.

— А может, умерла еще маленькая? — не унималась мать Клары.

— Нет. Веры просто не было.

— И братьев не было?

— Не было. Только две сестры — Надежда и Любовь.

Алексей усмехнулся в душе: его потешала эта настойчивость и дотошность Павлы Романовны, будто ей было не все равно.

— А по отцу?

Ну вот, пошли по другой ветви. Однако здесь Алексей ничем не мог удовлетворить ее любопытство, он просто не знал.

— Я не знаю,— признался он.— Отец мой из крестьян, с Оки. Он еще пареньком нанялся на завод, кочегарил, а оттуда его взяли на флот: раньше от печи брали на флот, считалось, что печь — это техника,— пояснил он.

— И никого из его родни так и не знаете?

— Никого. Отец в деревню не ездил, не писал. Нет.

— Как же?..

Она смотрела на него с укором и сожалением, привела в назидание такой пример:

— А я вот у них была, в Троицком Посаде,— указала она на бабушку,— это не моя, а мужнина родня, Истомины, а я сама Трошева. Но я к ним ездила помочь по хозяйству, да еще вот старую с собой привезла погостить, пускай пирует... Вот как.

— За ваше здоровье,— поднял Алексей стакан,— за ваше доброе сердце.

Мать Клары ему определенно и уверенно не понравилась.

Впрочем, она не собиралась долее засиживаться, утерла губы, поднялась:

— Хорошо вам сидеть, а я пойду, устала с дороги... Чай вскипел, ты сама налей, Кларочка.

— Ладно,— отмахнулась Клара.

Она тоже, Алексей это понял, не сильно жаловала мать.

— Гляди, сейчас начнется...— шепнула она, поведя глазами на бабу Оксю.

Старуха отвалилась к стене пресыщенно и упоенно, всем своим видом свидетельствуя, что довольна. Она зажмурилась и начала раскачиваться из стороны в сторону, ерзая по ветхим обоям лопатками, беззубый рот ее шевелился, пробуя на вкус и на плоть какие-то еще не высказанные, но уже подкатившие слова.

— Сейчас,— повторила Клара.— Пиши...

Алексей опаматовался, сунул руку в нагрудный карман и тогда лишь обнаружил, что он не в старой кожанке, а в новом пиджаке, блокнот лежал теперь в другом кармане, вытащил, раскрыл чистую страничку, потрогал пальцем острие карандаша,— он был весь внимание, весь готовность.

— Ома илекса улья палема, куюс андога ува лайтома,— запричитала Оксинья Ивановна.— Ува мякса тас, нью калалы...

Он записал, испугался, что не так, что ослышался, перечеркнул, попробовал восстановить на слух уже отлетевшие звуки, но они не

поддавались восстановлению, они уже распались и растворились в воздухе, а между тем он упустил несколько мгновений, пропустил то, что она уже наговорила дальше, опоздал, теперь нужно было нагонять упущенное, но не за что было зацепиться, не на что было опереться, все было совершенно незнакомым и диковинным, его ухо достаточно вятно воспринимало звуки и слова, однако сами эти слова не имели значения и потому не вязались друг с другом, не отпечатывались в мозгу, а только будоражили мозг, не оставляя следа, и тогда он, рассердившись на себя, решил забежать вперед и там ждать, а когда она доберется и достигнет — там схватить и оттуда повести, уже не отпуская от себя ни на шаг, но она опять проследовала мимо, и как будто даже не рядом, а сквозь него, и он опять остался ни с чем, опять был в хвосте, отстал, хотя на этот раз ему показалось, что он приблизился к пониманию, а точнее — он уже уловил общую направленность того, что она говорила, само движение, ведь движение — это уже нечто, это уже весьма и весьма, кроме того, ему удалось войти в ритм, засесть периоды чередования, они были неторопливы и протяжны, повествуя о вечности, ведь там совершенно некуда торопиться, значит, у него уже накопилось вполне достаточно для того, чтобы понять и остальное, но вот тут-то и возникал неодолимый порог, глухая стена, и он вынужден был топтаться в беспомощности и отчаянии, уже сознавая, что никогда не достигнет, ни в кои веки, нет и нет, — впрочем, ему удалось разгадать еще одно очень важное свойство: там звучала откровенная печаль, все в миноре, хотя и без надрыва, вполне достойно, там и намек не было на радость, из чего следовало, что высокий слог всегда близок к печали, но не к той, которая прорывается в бессвязном рыдании и всхлипах, а к той, что приходит позже, там печаль склонна к расуждению и мудрости, она отливается не в слезу, а в слово.

— Ныда мойеро ома кутима, игмас лоуги кенже илеза...

Она все раскачивалась из стороны в сторону, и было заметно, что ей самой эти звуки доставляют наслаждение, хотя, быть может, она и сама не ведала, что они значат, что несут.

Алексей посмотрел на Клару, взывая о помощи.

— Я не знаю, — призналась она виновато. — Это не по-зырянски, не по-пермяцки... не по-ижемски, нет... не по-устыцилемски...

Вот сколько языков она знала.

— А если это по-чудски? — изумленным шепотом высказал он предположение, столь невероятным оно было, но что оставалось думать об этом странном языке.

— Да, — обрадовалась Клара.

— Но ведь чудского языка никто не знает. Чудь под землю ушла, живьем закопалась, хотя...

— Она знает! Она все знает, ведьма старая.

Бабка вдруг замолкла, словно прислушиваясь к их шепотливой беседе. Но нет, она просто заснула посреди своего несусветного сказа, вместо слов от нее теперь доносилось лишь посвистыванье на входе и низкий храп на выдохе.

Алексей разгладил страничку блокнота, так и оставшуюся незамаранной.

— Это что у тебя на пальце, бородавки? — спросила Клара.

По краю лунки его ногтя топырились темные твердые трещиноватые зернышки.

— Да, вот взялись откуда-то... а пусть, не болят, не мешают.

— Зачем же они тебе? — возразила Клара. — Хочешь — сведу?

— Их прижигать надо, а это больно, придется терпеть. Зачем искать боль, если не болит?

— Не надо жечь. Я их так сведу — заговором, без боли, сейчас. Хочешь?

Алексей улыбнулся снисходительно.

— А ты не улыбайся. Если будешь сомневаться — ничего не получится. Но если ты сам согласишься... Согласен?

— Давай, — великодушно разрешил он.

Клара ощупала короткий рукав своего домашнего застиранного платьишка, потянула, выдернула нитку. Накинула ее петелькой на сустав бородавчатого пальца, приказала:

— Теперь молчи. И верь мне — обязательно верь.

Он ощутил кожей пристальную силу ее глаз.

— Всё. — Она откинула мягкую нитку, освободила палец. — Всё.

Бородавки были на прежнем месте. Алексей вопросительно посмотрел на нее. Она рассердилась:

— А ты захотел, чтобы сразу? Нет, милоч, подожди.

— Но ведь ты обещала заговор, а сама молчала.

— Это обязательно вслух.

Старуха басовито, пугающе хрюкнула.

Алексей опять приглядел страничку блокнота, написал на ней: «Я пойду». Еще подумал и добавил вопросительный знак: «Я пойду?» Клара прильнула к нему, отобрала карандаш и написала чуть ниже: «Не уходи». Он пожал плечами, взял у нее карандаш: «А как же?» Она ему ответила: «Мама скоро заснет». Он покосился на старуху, предостерег: «Бабка не спит, глаза открыты». Клара поискала чистое место, не было, он перелистнул, и она написала под оттиснутым на листке четким шрифтом «Северная звезда» веселыми каракулями: «Она с открытыми глазами спит». Он усомнился: «Так не бывает». Она его заверила: «Честное слово, видит бог». А потом еще дописала: «Сиди тихо. Я сейчас выясню».

В окнах было темно, ни огонька не тлело во всей Слободе — только у них, наверное. Пожалуй, и впрямь было поздно уже добираться по такой крошечной непроглядной до города, в гостиницу.

А он и не заметил, как отлетела пора белых ночей, как сделались по-осеннему темны и глухи вечера. Интересно, сколько сейчас времени?

Но тут он вспомнил, что у него есть часы. Поднес запястье к уху, послушал, они тикали. Четверть двенадцатого. Теперь было хорошо, теперь он мог следить по часам за тем, как течет время.

(Окончание следует)

ИЗ УКРАИНСКОЙ ПОЭЗИИ

★

МИКОЛА НАГНИБЕДА

Чудо-быль

Киеву.

Из дальних мест текут к нам
реки —
И Днепр и тихая Десна,—
В них новизной звенит вовеки
Славянской сказки старина.

Она из родников глубоких,
Из темных дебрей и степей
К нам шла от милых синеоких
Прабабушек и матерей.

А в сказке плачет Ярославна,
С надеждой вглядываясь вдаль,
Где с половцами витязь славный
Скрестил сверкающую сталь.

И сказка льется и препоны
Дробит, сметает на ходу,
Все Карлы и Наполеоны
Находят в ней свою беду.

О чудо-сказка! В ней народы
Объединились на века,
Во всех боях, во всех походах
Одна живила нас река.

А в сказке трубы, кобзы, лиры
Зовут на бой богатырей;
Отступники лишь да вампиры
Блуждают черной тенью в ней.

А сказка-быль слилась с судьбою,
С желаньем жизни и тепла,
Она и в острие стальное
И к сеятелю в плуг вошла.

Нет выше, нет священной были,
Чем наше братство, наш союз,
Нет чище дум, что мы взрастили
Для мира, для труда, для муз.

ВИТАЛИЙ КОРОТИЧ

Общность

Побратаемся хлебом,
он дружбы честнейшей оплот.
Пребывать будем все мы в высокой и сверенной силе,
Когда сядут за стол общий дружно с народом народ
И преломят свой хлеб
из пшеницы, что вместе взрастили.

Побратаемся кровью,
что пролили мы в те года,
Когда в мраке войны даже солнце кровавилось желто.
Пусть огонь революции нас возжигает,
когда
Поднимаем мы взоры на стяг наш,
что красен, как кровь та.

Побратаемся песней —
участницей грозных боев
И споем о героях, всех вспомним мы их поименно.
Побратаемся песней — мы вместе сложили ее,
Развернув над землею могучие наши знамена.

АЛЕКСАНДР ПИДСУХА

* * *

Кто я такой? Я — мостик над рекою,
 Объединяю берега собой:
 Прошедшее, что тлеет в непокое,
 И Будущее, что всегда со мной.
 А как со мной? Как я его несу?
 Убожество души или красу?
 Мысль яркую иль тусклое свеченье?
 Иду с огнем в душе или неясной тенью?
 А Прошлое? Ведь все оно во мне,
 Я с ним одолеваю все препоны,
 Оно мое по праву, по закону,
 Оно горит, как свет в моем окне.
 Без Прошлого мы пышность в пустоцвете,
 Как мотыльки над полем золотым...
 Есть Прошлое — и живы мы на свете,
 Исчезнет вдруг — рассеемся, как дым.

САВВА ГОЛОВАНОВСКИЙ

Любовь к Грузии

Кажется странным — ни разу я не был в Тбилиси.
 В Лондоне был и в Париже, а в Грузии — нет.
 Лишь представлял себе реки, ущелья и выси,
 древние склоны и неба таинственный свет.

Был молодым — патриархи не брали с собою,
 стал патриархом — дорогу даю молодым.
 Только во сне
 я порою стоял над Курюю,
 видел свое отраженье под склоном крутым.

Не суеверен я, но размышлял поневоле,
 что некозырная в жизни мне выпала масть:
 самым невинным желаньям противилась доля —
 что ни задумаю,
 выполнить случай не даст.

Но над душою не властны фортуны потехи,
 ей не отнять, не отторгнуть любовь от души,
 в мире огромном любовью расставлены вежи,
 чувства из сердца летят и не знают межи.

Будто в радаре
 отсветятся горной грядкою
 и возвращаются, чувством таким же полны,
 новые звуки и краски приносят с собою
 в музыку речи и в тихом напеве зурны.

И совершается чудо:
 Мтацминду я вижу!
 Я узнаю над кипящим теченьем Куры
 всех мастеров, ставших мне и дороже и ближе,
 славой вознесшихся выше великой горы.

Память хранит еще горечь последних прощаний,
слышится мне, как вливается снова краса
в песнь Леонидзе, в чуть сдержанный стих Чиковани —
давних, могучих, любимых друзей голоса.

Вижу веселых, певучих, в них все без утайки,
нежных и чистых, хрустальнее струй в роднике,
Нату Вачнадзе,
погибшую в небе, как чайка,
вижу Тамару,
рожденную с кистью в руке.

К нам приезжали они, как светились их лица!
Я, расставаясь, приезда их нового ждал!
Только мой друг фронтовой,
воин Шаламберидзе,
он не уехал, он смертью героя здесь пал.

В дни, когда рвался фашист на днепровские кручи,
Шаламберидзе, как витязь, горою здесь встал.
В битве погиб. И как только представился случай,
в Грузию весть о герое я тут же послал.

И с той поры я о Грузии чаще мечтаю,
клятву на верность мне хочется дать у вершин.
чтобы сумел я седому и юному краю
так послужить, как земле моей Грузии сын.

Пусть наше время стремительно-бешеным бегом,
всех обгоняя,
с собою меня не возьмет —
в край над Курою
и в небо над снежным Казбеком
я снарядил уже мысленно свой самолет.

Грузия-мать! Величава ты в цвете и силе,
в братстве народов пусть высится имя твое!
Слава поэтам, что в Грузию всех нас влюбили,
Слава любви твоей к тем, кто достоин ее!

Переводы ЮРИЯ САЕНКО.



АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ

★

О

Однажды в душный предгрозовый полдень я забыл закрыть форточку и ко мне залетела черная дыра.

Помню только, как выгнулась разрываемая фортка. Моя убогая комната — самая незавидная в поселке. Ее бедный потолок раздулся, затрещал, словно в картонку от транзистора всовывали огромный трещащий арбуз.

Посредине комнаты сидела черная дыра.

Она была шарообразна, ее верх прогибал и раздвигал потолок. Побежали трещины. Штукатурка поплыла.

Почему Маяковский мог пить чай с солнцем, а я не могу пообедать с черной дырой?

Я в ужасе забился в угол. Было тягостно. Тянуло жаркой стужей. Стекла моих картин на противоположной стене вздулись, как медицинские банки на спине. Фанера шкафа выгнулась парусами.

— Я — ваша погибшая цивилизация, — сказала она.

Уже? Неужели?!

Что случилось с людьми? Что стало с матерью? Что случилось с тобой? С Наташей? Что стало с друзьями? Что случилось со мной? Когда? Почему?

Мы переоценили или недооценили технику? Мы переоценили или недооценили свободу? Или ты сама себя уничтожила?

Врешь, дура! Посмотри, как до подоконника вымахали июньские ромашки. На экранах летает мировой мяч футбольного чемпионата — не может же мир не увидеть финала. Я добыл два билета на теплоход, и никаким козням мировой реакции и потусторонним силам не вырвать их у нашего человека!

— Я — не гибель, а возможность.

— Так какого же черта ты приперлась, чугунная уродина? Пошла на кухню жарить картошку! Зачем ты давишь на психику? — смелая от ужаса, орал я. — Ты покорила мой единственный шкаф. Мотай, откуда пришла. Луны делает бочар в Гамбурге. Дыры делает Мур под Лондоном. Отваливай!

Я протянул ей финские «Мальборо».

— Не курю, — поблагодарила она.

В двадцатые годы от начала столетия твое солнце, игнорируя тебя, зарулило к поэту. Почему именно сегодня, за двадцать лет до конца века, ты являешься сюда?

У нее не было глаз. Она была вся тоскливый комок бескрайнего взгляда.

— Мне одиноко, — сказала она.

Она осталась жить у меня.

Утверждать, что она «сказала», было бы неточно. Она не могла говорить, не имея приспособления для голоса. Она передавала мысли.

Правда, иногда она издавала какой-то странный вздох, отдаленно напоминающий наше «о», — в нем было печальное восхищение, и сожаление, и стон. Я звал ее именем О. Стоило мне мысленно произнести «о», как ты сразу появлялась.

Сейчас я думаю: что притянуло ее тогда в мою форточку? Моя тоска? От тебя целый день не было ни слуху ни духу. Или, может быть, страницы этой рукописи, лежащие на столе?

О чем писалось в тот день?

Об оставленной архитектуре? О дырах судеб? О пяти гениях prošящегося века? О черном кольце? Об осах и остальном?

Память, круглосуточная ополоумевшая телефонистка, подключает случайные голоса. Кружатся дырочки диска.

Я слышу голос осведомленного критика, читающего только заголовки: «Разве может буква, даже такая, как «о», стать сюжетом? Автор и сам признается в том, что он — нуль. Хе-хе. Так и озаглавил свой опус — «Андрей Вознесенский — О»...»

О взгляде Вечности, уставившемся на нас одинаково с фресок Рублева, Эль Греко и Врубеля? О жизни, которая есть и одновременно была?

О человеке-Совести из московской мастерской? О поездке на острова? Об осенних полых скульптурах?

«**О** тветьте междугородной!»

Он сидит на табуретке в своих очечках на востром носу, ше-веля выгоревшими на воле пушистыми бровями, великий английский скульптор, похожий на мужичка-лесовика, мурлыча улыбочку, он сидит и мастерит своих «мурят» — нас с вами, махонькие гипсовые фигурки.

Сумерничаю с Муром.

На столе перед ним проволока, гипсовая крошка, чья-то челюсть, обломок кости палеолита. Фигурки его смахивают на многочленные земляные орехи — арахисы — со сморщенной кожурой, только белого цвета, гипсовые. Некоторые из них стоят на столе, как игрушечные арахисовые солдатики. Другие валяются, как сухие известковые остовы мертвых ос.

Старый Мур — производитель дыр.

Неготовая дыра прислонена к стене.

Ему восемьдесят три. Он недавно повредил спину, ему трудно двигаться, поэтому он и формует эти мини-модели, а подручные потом увеличивают их до размеров гигантских каменных орысин. Каморка его тесная, под масштаб фигурок. У стены, как главный натурщик, белеет огромный череп мамонта с маленькими дырами глазниц и чей-то позвонок размером в умывальную раковину.

Это XX век, подводя итоги, упрямо и скрупулезно ищет свою идею, находит провалы, зачищает неровности гипса скальпелем.

Однако она оказалась довольно ручным чудовищем. Я водил ее на прогулки.

Питалась она клочками энергии, вытягивая их на расстоянии из кошек, мыслителей, автомобильных аккумуляторов и поклонниц Пугачевой. Мы шли, оставляя на мостовой почти безжизненные кошачьи тела, как выпотрошенные шкурки.

На Котельническую я больше ее не водил — она отсосала всю электроэнергию из соседнего Могэса.

Отвратный, скажу я вам, она имела характер! Она была капризна, дулась, вечно была полна какого-то отрицательного заряда. Ревнуня

к людской жизни, она портила телефон, подключаясь к нему. Аппарат принимал одновременно нескольких абонентов. Голоса троились. В трубку подсеялись сестры Берри, диспетчерская и какой-то Александр Сергеевич. Одновременно подключалось хрюканье, мяуканье, уханье — я понял, что она не простая штучка. Особенно она не любила разговоры об архитектуре.

От нее я узнал, что она не дыра, а еще дырениш, отколовшаяся от массы и заплутавшая. Я узнал, что черные дыры — это сгустки спрессованной памяти и чувства, а не проходы в иные пространства, как об них понимали люди. Я узнал, что темнота — это не отсутствие света, а особая энергия тьмы.

Ее как-то искали. Наступило что-то вроде затмения. Стонали куры. Выли собаки. Истерикивали кошки. Вылетели все пробки. Спустившийся тоскливый мрак искал ее всюду.

Она забилась под кровать и отключила в себе напряжение, чтобы ее не нашли. Погоня пронеслась мимо. Она два дня не вылезала из убежища. Что ей у меня нравилось?

Домашние мои к ней притерпелись. Они называли ее Кус-Кус. Когда я уезжал, я запирали ее в чулан.

Однажды, заперев ее, я умотал в горы. Я шел по плато. Вдруг на доселе ровной площадке мне под ноги бросилась радостная дыра, и я кубарем провалился. Раздался восторженный испуг. Я сломал ключицу.

Она любила слизывать кисленькие электроды с батареек транзистора.

Я видел, как она разминалась на воле — она заняла весь поселок и Минское шоссе до мотеля. Во всем поселке отключился свет. Но для удобства она сжималась до размера нормального ньюфаундленда.

У нас была игра с нею. Я должен был перепрыгивать через нее. Когда я находился в воздухе, она расширялась, и я вдруг оказывался над Дарьяльской пропастью, потом она мгновенно сжималась, и я опускался опять на крепкую землю.

Но больше всего она любила, когда я подбрасывал ее, как волейбольный мяч, толкал ее энергетическими полями ладоней и пальцев. Она кувыркалась, хохотала, издавала свои вздохи, дурила, прыгала мне на голову, отскакивала от плеч — это было такое счастье, такое веселье. Потом мгновенно наступал спад, хроническая хандра. Жизнь с ней становилась невыносимой.

В маленьких распрях с нею я забывал, что она еще ребенок, и уже совершенно забывал, что она — мироздание.

Ожидаю на пороге Мура.

Скрипнула половица. Как ни стараюсь не дышать, век замечает меня. Востроглазое птичье личико вскидывается. Взгляд затуманен радушием и одновременно колючий. В нем чувствуется хмурая тьма и властная энергия. Вы понимаете, что он может быть деспотичным, что это именно он вырубил из скалы и поставил перед зданием ЮНЕСКО бессмертную свою «Мать-землю». Сын шахтера, он понимает духовную тяжесть и животворную темную силу земных недр.

Взгляд цепко оценивает вас.

— А вы совсем не меняетесь! — Взгляд поворачивает вас, как на турщика на станке. Вы поеживаетесь. — Вы совсем не изменились с тех лет.

Взгляд ощупывает, пронзает вас, взгляд, как лишнюю глину, срезает, скидывает с вас два десятилетия — и вы вдруг ощущаете зноблящую легкость в плечах, свободу от груза и полет во всем теле, и узкие брюки подхватывают в шаг, и за окном шумит май 1964 года, и вы стоите под его взглядом на лондонской сцене перед выходом, и ослепительный Лоренс Оливье читает «Параболическую балладу»...

«Вы совсем не изменились» — ах, старый комплиментщик, вы тоже не меняетесь, Мур, вы тоже...

Век по-домашнему обтирает руки об фартук. Он делает вид, что не понимает, зачем вы пришли.

— Дочка-то замуж вышла. Вы помните Мэри?

Мур показывает африканское фото солнечной семьи. Из памяти всплывают золотые веснушки, как звездочки меда на теплом молоке. Веснушки Мэри скрылись под загаром. Я взглянул на часы. Было 20-е число. 11-й месяц. 11 час. 59 мин.

Час прошел, век ли? Не знаю.

Она пропала!

Получилось, что я сам выгнал ее. Тогда начинались январские грозы. Жить с нею становилось все опаснее. Друзья остерегали меня судьбой семьи Берберовых. Над нашим Переделкином стали отключаться от пути летящие на Внуково самолеты. Судя по ее невинному виду, я понял, что это ее проделки.

В тот день на все мои телефонные звонки отвечали Пушкин, Юлий Цезарь и чугуевская баня. Кто-то отсосал у меня две гениальные мысли. Кто-то вылизал всю темноту в кувшинах. Она радостно лыбилась, требуя поощрения.

— Займись делом! Оставь Аэрофлот в покое. Твои сверстники учатся и строят БАМ. Кто опять слизнул все кисленькие батарейки? Если тебе скучно — никто тебя не держит!

Я обидел ее.

Она взглянула злобно, растерянно и беспомощно. Она передернулась форточкой и вылетела вон.

— Нагуляешься — фортка открыта!

Я подумал, что она без пальто, но потом понял, что это для нее не имеет значения.

Она не вернулась ни завтра, ни в среду.

Ее не было под кроватью, ее не было в саду за сараем, ее не было в канаве у шоссе, ее не было на кладбищенском пригорке. За пригорком ее тоже не было.

Я складывал ладони рупором, я звал ее: «О-ооо!»

Откликалось эхо, но это было не ее «о».

Иногда мне кажется, что я вижу ее взгляд в глубине темного зала, поэтому меня тянет выступать. Однажды в самолете я почувствовал тоску под ложечкой и понял, что она где-то рядом.

Потом я забыл о ней.

— **О**смотрим, что ли, мои дыры?

Мур спрыгивает с табурета. Вы пытаетесь поддержать его. Он увертывается и, легко опираясь на две палки, выпрыгивает на улицу, а там медленно подбирается по дорожке к машине. В его коренастой фигуре крепость и легкость, летучесть какая-то. Кажется, не будь он привязан к двум палкам, он улетел бы в небо, как кубический воздушный шар. Также привязан к воткнутой палке и не может улететь куст хризантем, обернутый от заморозков в целлофановый мешок.

Ветер, какой ветер сегодня! Он треплет его белесый хохолок, он вырывает мой скользкий шарф, и тот как змея, завиваясь, уносится по дорожке и застревает в колючих кустах.

Ветер треплет прямую пегую стрижку Анн, племянницы Мура. Ветер струится в траве, дует, разделяя ее длинными серебряными дорожками. В образовавшихся полосках просвечивает почва, розоватая, как кожа. Ветер треплет и перебирает прядки, будто кто-то ищет блох в траве.

Мур садится за руль. Меня сажают рядом — для обзора.

Машина еле-еле трогается. Мы проезжаем по парку, по музею Мура. В мире нет подобных галерей. Его парк — анфилада из огромных полян, среди которых стоят, сидят, возлежат, парят, тоскуют скульптуры — его гигантские окаменевшие идеи. Зеленые залы образованы изумрудными английскими газонами, окаймленными вековыми купами, среди которых есть и березы.

— Скульптура должна жить в природе, — доносится глуховатый голос создателя, — сквозь нее должны пролетать птицы. Она должна менять освещение от облаков, от времени суток и года.

Машина еле-еле слышно, как сумерки, движется, кружит вокруг идей, вползает на газоны, оставляя закругленные серебряные колеи примятой травы, объезжает объемы. Как в замедленной кинохронике, открываются новые ракурсы.

— Объемы надо видеть в движении.

Он слегка то убыстряет, то замедляет ход. Кажется, он спокоен, но голос иногда хрипловато подрагивает, он всегда волнуется при встрече с созданиями. Его вещи нельзя смотреть в закупоренных комнатах, с одной точки обзора.

— Самая худшая площадка на воздухе, на воле лучше самого распрекрасного дворца-галереи. Вещь должна слиться с природой, стать ею. Вон той пятнадцать лет, — говорит он о скульптуре, как говорят об яблоне или корове.

В одну из скульптур ведет овечья тропа.

Это его «Овечий свод». Две мраморные формы нежно склонились одна к другой, ласкаясь, как мать с детенышем. Под образованный ими навес, мраморный свод нежности, любят забиваться овцы. Они почувствовали ласку форм и прячутся под ними от зноя и ненастья. Как надо чувствовать природу, чтобы тебя полюбили животные!

Черные свежие шарики овечьего помета синевато отливают, как маслины.

Среди лужайки полулежа хмуро замер гигант с необъятными плечами и бусинкой головы — Илья Муромец его владений.

Мастер любит травертинский камень. Этот материал крепок и имеет особую фактуру — он как бы изъеден короедами, поэтому скульптура вся дышит, живет, трепещет, будто толпы пунктирных муравьев спуют по поверхности. Скульптуры стоят, похожие на серобелые гигантские муравейники.

Они стоят по колено в траве и вечности.

Сквозь овальные пустоты фигур, как в иллюминаторах, проплывают сменяющиеся пейзажи, облака, ветреные кроны.

Вот наконец знаменитые дыры Мура. Они стали основой его стиля и индивидуальности. Поздние осы вьются сквозь них. Люди смотрят мир сквозь них. Здесь каждый может подобрать свою по размеру печаль и судьбу. Надо знать только свою душевную диоптрию.

Пространства и события не только вокруг, но и внутри нас. В нас видны, плывут, просвечивают пейзажи горя, лиц, разлук и пространства иных измерений.

Это отверстые проемы между «здесь» и «там». Это мировые дыры истории. Ах, как свистали ветры в окно, прорубленном Петром в Европу!

Вот Память или, может быть, Раскаянье? — сквозь нее видны леса и история.

Объезжаем идею «Влюбленных». Это уже не скульптура, а формы жизни. Проплывают овалы плеч, бедра, шеи. Открывается разлука. Линии жизни. Пропasti. Сближения.

Ты подняла над переделкинским омутом свои округлые руки, закалывая волосы на голове, заведя их, как потягивающиеся живые кольца золотистых ножиц. В овальном пространстве, ограниченном внутренней незагорелой стороной руки, плечом, шеей, щекой, проплывают дорога и мостик. Птица пролетает.

Мы стоим по колено в траве и вечности.

Дальше.

Глухое волнение исходит от следующей скульптуры. Перехватило горло. Я прошу остановиться. Выходим.

На боку лежит двувальный силуэт из темного мрамора с дырой посередине — как положенная на ребро, окаменевшая в монумент гитара Высоцкого.

Опустив голову... Но нет, сначала о Таганке. Год, когда я первый раз посетил Мура, был годом открытия Театра на Таганке. Это было веселое, рискованное, творящее время. Ко мне в комнатку на Елоховской приехал атлетический молодежавый Ю. Любимов в черной пузырящейся куртке на красной подкладке. Он приехал с завлитом Э. Левиной и позвал меня выступить в новом театре. Театр подготовил из моих стихов одно отделение. Я читал второе. Мы провели два вечера. Так родился спектакль «Антимиры». Его сыграли восемьсот раз, еще в два раза больше было неучтенных выступлений. Театр стал родным для меня. Когда готовили второй спектакль, мы почти полгода не расставались.

Молодые талантливые глотки орали под гитару:

Антимиры — мур!

Самым небрежно-беспечным и замороженным от гибели казался коренастый паренек в вечной подростковой куртке с поднятым воротником. Он сутулился, как бегун перед длинной дистанцией.

Почти вплотную придвинувшись, почти касаясь незрелыми ресницами, ставшее за столько лет близким, его молодое, изнуренное мыслью лицо в упор глядит на меня сквозь эту страницу.

Его лоб убегает под рассыпчатую скошенную челку, в светлых глазах под усмешкой таится недосказанный вопрос, над губой прорастает русая щетинка — видно, запускал усы перед очередным фильмом, — подбородок обволакивает мягкая припухлость, на напряженной шее вздулась синяя вена — отчего всегда было так боязно за него!

Попытавшийся нарисовать его с удивлением вдруг обнаруживал в его лице античные черты — эту скошенную по-бельведерски лобную кость, прямой крепкий нос, округлый подбородок, — но все это было скрыто, окутывалось живым обаянием, усмешечкой и тем неприкаемым, непередаваемым, трудным светом русской звезды, который отличается от легкого света поп-звезд Запада. Это была уличная античность, ставшая говорком нашей повседневности, — он был классикой московских дворов.

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее...

Облазивший городские крыши, уж не угнал ли он на спор чугунную четверку с классического фронтона?

Я никогда не видел на нем пиджаков. Галстуки теснили ему горло, он носил свитера и расстегнутые рубахи. В повседневной жизни он чаще отшучивался, как бы тая силы и голос для главного. Нас сблизил «Антимиры».

Он до тона заводил публику в монологе Ворона. Потом для него ввели кусок, в котором он проявил себя актером трагической силы. Когда обрушивался шквал оваций, он останавливал его рукой. «Провала прошу», — хрипло произносил он. Гас свет. Он вызывал на себя прожектор, вжимал его в себя, как бревно, в живот, в кишки и на срыве голоса заканчивал другими стихами: «Пошли мне, господь, второго». За ним зияла бездна. На стихи эти он написал музыку. Это стало потом его песней, которую он исполнял в своих концертах.

Для сельского сердца Есенина загадочной тягой были цилиндр и шик автомашины, для Высоцкого, сорванца города, такой же необходимостью на грани чуда стали кони и цветы с нейтральной полосы.

«Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее», но кони несли, как несли его кони!

В нем нашла себя нота городских окраин, дворов, поспешно заасфальтированной России — та же российская есенинская нота, но не крестьянского уклада, а уже нового, городского. Поэтому так близок он и шоферу, и генералу, и актрисе — детям перестроенной страны.

Кто сказал, что самородки рождаются лишь у ручьев, в заповедных рощах, в муромских лесах? Что только пастушки и подпаски — народные избранники? В городах тоже народ живет. Высоцкий — самородок. Он стал сегодняшней живой легендой, сюжетом людской молвы, сказкой проходных дворов. Он умыкнул французскую русую русалку, посадив ее на желтое двойное седло своей гитары.

Смерть его вызвала море стихов, в том числе и народных. В них главное — искренность. Мне показывали несколько моих, которые я видел впервые. Увы, должен сказать, что мне принадлежат лишь три посмертных стихотворения его памяти. Еще одно, «Реквием», тогда называвшийся «Оптимистическим», я написал при его жизни, в семидесятом году, после того как его реанимировал Бадалян:

О златоустом блатаре
рыдай, Россия!
Какое время на дворе —
таков мессия.

Страшно, как по-другому читается это сейчас! Но тогда эти стихи ему нравились. Он показывал их отцу. Когда русалка прилетала, он просил меня читать ей их.

Трудно писать еще о нем, такая мука слушать его пленки — так жив он во всех нас.

На десятилетия Таганки, «червонце», он спел мне в ответ со сцены:

От наших лиц остался профиль детский,
Но первенец был сбит, как птица, влет.
Привет тебе, Андрей, Андрей, Андрей Андреич Вознесенский.
И пусть второго бог тебе пошлет...

Страшно сейчас слышать его живой голос с пленки из бездн времен и судеб.

Он никогда не жаловался. В поэзии он имел сильных учителей.

Он был тих в жизни, добр к друзьям, деликатен, подчеркнуто незаметен в толпе. В театре он был вроде меньшого любимого брата. Он по-детски собирал зажигалки. В его коллекции лежит «Ронсон», который я ему привез из Лондона. Его все любили, что редко в актерской среде, но гибельность аккомпанировала ему — не в переносном смысле, а в буквальном.

Однажды на репетиции «Гамлета» в секунду его назначенного выхода на место, где он должен был стоять, упала многотонная конструкция. Она прихлопнула гамлетовский гроб, который везли на канате. Высоцкий, к счастью, заговорился за сценой.

Он часто бывал и певал у нас в доме, особенно когда мы жили рядом с Таганкой, пока аллергия не выпнала меня из города.

Там, на Котельнической, мы встречали новый, 1965 год под его гитару.

Заходите, читатель, ищите стул, а то располагайтесь на полу. Хватайте объятые паром картофелины и ускользящие жирные ломти селедки. Наливайте что бог послал! Пахнет хвоей, разомлевшей от свечек. Эту елку неожиданно пару дней назад завез Владимир с какими-то из своих персонажей.

Гости, сметя все со стола — никто не был богат тогда, — жаждут пищи духовной.

Ностальгический Булат, основоположник струнной стихии в стихе, с будничной властностью настраивает незнакомую гитару и, глянув на Олю, поет своего «Франсуа Вийона». Разве он думал тогда, что ему придется написать «Черного московского аиста»?

Будущий Воланд, а пока Веня Смехов, каламбурит в тосте. Когда сквозь года я вглядываюсь в эти силуэты, на них набегают гости других ночей той квартиры, и уже не разобрать, кто в какой раз забредал.

Вот Олег Табаков с ядовитой усмешкой на капризном личике купидона еще только прищуривается к своим великим ролям «Обыкновенной истории» и «Обломова». Он — Моцарт пляяды, рожденной «Современником».

Тяжелая дума, как недуг, тяготит голову Юрия Трифонова с опущенными ноздрями и губами, как у ассирийского буйвола. Увы, он уже не забредет к нам больше, летописец быта асфальтовой Москвы.

Читает Белла. Читая, она так высоко закидывает свой хрустальный подбородок, что не видно ни губ, ни лица, все лицо оказывается в тени, видна только беззащитно открытая шея с пульсирующим неземным знобящим звуком судорожного дыхания.

Позднее всех ошеломили «Сто лет одиночества». На краю стола военизированный Габриэль Маркес раздосадованно шпарит наизусть абзацы из Достоевского, отпрянув, как от дымящейся головни, от огнедышащего напора Юрия Карякина.

В темном стекле картины отражаются лисьи косички Ии Савиной. Она лукаво имитирует Беллин голос. Даниил Гранин с насупленной усмешкой говорит что-то залетевшему к нам из иных измерений космонавту.

Бывал Шагал. Белый, прозрачный, как сказочный морозный узор на стекле с закатным румянцем. В той же манере он сделал иллюстрации к моим стихам. Вот он, потупясь, из-под деликатных кисточек бровей косится на уверенную осанку Константина Симонова и вздыхает Зое: «О! давненько я такого борца не кушал. Еще полтаре-лочки, а?»

Да нет же, я ошибся, это, конечно, в Другой раз было, дурная черная дыра, ты подводишь меня, это было уже в Переделкине — а сейчас безбородый Боря Хмельницкий, Бемби, как его звали тогда, что-то травит безумому еще Валерию Золотухину. Тот похохатывает как откашливается, будто в горле першит, будто горло прочищает перед своей бескрайней песней «Ой, мороз, мороз...».

Майя Плисецкая в золотом обтягивающем платье откидывается, как на черную спинку стула, на широкую волевою грудь Щедрина. Они будто репетируют перед нами «Кармен-сюиту».

И каждый выпукло светится, оттененный бездной судьбы за спиной.

Смуглый Таривердиев, не стряхнув коротко стриженный снег с головы, нервно сбрасывает нерповую куртку на грудь пальто и шуб в спальне и, морщась, как от зубной боли, углубляется в ненастроенное пианино.

В открытый проем балконной двери залетают снежинки и тают, касаясь голых разогретых плеч его головокружительно красивой спутницы.

В проем двери, затягивая, глядела великая тьма колодца двора. Двор пел голосом Высоцкого.

Когда он рванул струны, дрожь пробежала. Он пел «Эх раз, еще раз...», потом «Коней». Он пел хрипло и эпохально:

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее...

Это великая песня.

Когда он запел, страшно стало за него. Он бледнел иступленной бледностью, лоб покрывался испариной, вены вздувались на лбу, гор-

ло напрягалось, жилы выступали на нем. Казалось, горло вот-вот перрвется, он рвался изо всех сил, изо всех сухожилий...

Пастернак говорил про Есенина: «Он в жизни был улыбчивый, королевич-кудрявич, но когда начинал читать, становилось понятно — этот зарезать может». Когда пел Высоцкий, было ясно, что он может не резать, а зарезаться.

Что ты видел, глядя в непроглядную лунку гитары?

В сорок два года ты издашь свою первую книгу, в сорок два года у тебя выйдет вторая книга, и другие тоже в сорок два, в сорок два придут проститься с тобой, в сорок два тебе поставят памятник — все в твои вечные сорок два.

Постой, Володя, не уходи, спой еще, не уходи, пусть подождут там, спой еще...

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее...

Опустив голову, осторожно в день его рождения, 25 января, мы с Любимовым несем венок на могилу. Уже вторая годовщина его смерти идет.

Венок выше нас.

Юрий Петрович нагибается, становится на колени, поправляя шипящие огоньки свечек на снегу.

Когда заносили, разворачивали венок, я оказался на мгновение за венком, лицом к процессии. И вдруг на миг в овальной хвойной раме венка поплыли лица тех, кто шел за венком, тех, кто начинал с ним театр, родные любимые лица — Боря, Тая, Валера, Зина, Коля, Алла, Таня, Веня, — в эту минуту не знаменитые артисты, нет, а его семья, его театр, пришедший к усопшему брату своему, безутешные годы театра плачут по нему, плачут, плачут...

О чем говорит мне гостеприимный скульптор?

Выезжаем за ограду, горизонт образован идеальной линией зеленого холма. Чистая линия оставляет ощущение свободы, простора и ровной печали. Природа всегда совершеннее рук человеческих.

Скульптор будто понимает вас без слов.

— Тут хотели фабрику построить, весь ландшафт опаскудили бы. Вот и пришлось откупить у них все это пространство. Я насыпал холм, найдя сегментную форму, хотелось на нее поставить скульптуру, да как ни примеряю, все не подходит.

Он лепит не только из меди и гипса — он лепит холмами и небесами.

— Узнаете? — спрашивает скульптор, объезжая две плоские формы с проемом между ними, как потемневшие оркестровые тарелки, сдвинутые за миг до удара.

...ослепительный Лоренс Оливье читает «Параболическую балладу». Идет мемориальный вечер памяти Элиота. Идет шестьдесят четвертый год. Все живы еще. И вы только что написали «Озу».

Вы беспечно и уверенно стоите на сцене. Но в шею дует. За вашей спиной ощущается холодок движения — на кружащейся, едва-едва кружащейся сцене плавно вращаются две царственно белые тарелки, специально изготовленные для этого вечера. От их вращения шевелятся щекочущие волосы над вашей шеей, вы чувствуете холодок за спиной, по лицам зрителей плывут белые отсветы, за окном шумят шестидесятые годы.

И какое-то предчувствие спазма сводит горло.

Увы, не только овации были памятью того года.

Меня мучили страшные рвоты, они начались год назад и продолжались жестоко и неотступно. Приступы этой болезни, схожей с морской и взлетной, особенно учащались после вечеров. В воспали-

адрес свободы. Он аккомпанировал себе на медных тарелочках. «Ом, ом!» — ревел он, уча человечности.

Что ты жаждешь, зияющая пасть аудитории? Боб Дилан говорил мне, что обожание аудитории может обернуться выстрелом. Он даже одно время боялся выступать. Это было задолго до убийства Леннона.

И за этой массовой, обрядом, хохмой, эстрадой совершалось что-то недоступное глазу, чувствовался ход некоего нового мирового процесса, который внешне выражался в приобщении к поэзии людей, до того не знавших стихов.

Разве это только в Москве?

Расходились. Отшучивались. Жили. Забывали. Вкалывали. Просыпались. Тосковали. Возвращались душой. Воскресали.

Откалывала номера реклама.

Вот одна афиша: «В Альберт-холле участвуют все битники мира: Л. Ферлингетти... П. Неруда... А. Ахматова... А. Вознесенский...» В те дни Анна Ахматова гостила в Англии, получала оксфордскую мантию. Я не мог видеть этого церемониала, в тот же вечер у меня было выступление в Манчестере. Профильная тень Ахматовой навеки осталась на мозаичном полу вестибюля Лондонской национальной галереи. Мозаика эта выполнена в сдержанной коричневой гамме Борисом Анрепом, инженером русского происхождения. Еще в бытность в России они обменялись с Ахматовой кольцами из черного камня. Анреп носил это кольцо на груди подвешенным на цепочке — маленькое черное «о» колечка.

Их историю мне рассказал оксфордский мэтр сэра И. Берлин, один из самых образованных и блестящих умов Европы. Помните ее «Сказку о черном кольце»? «Потеряла я кольцо».

На мозаичном полу в овальных медальонах расположены спресованные временем лики века — Эйнштейн, Чарли Чаплин, Черчилль.

В центре, как на озере или огромном блюдище, парят и полувозлежат нимфы. Нимфа Слова имеет стройность, челку, профиль и осиную талию молодой Ахматовой. Когда я подошел, на щеке Ахматовой стояли огромные ботинки. Я извинился, сказал, что хочу прочесть надпись, попросил подвинуться. Ботинки пожалы плечами и наступили на Эйнштейна.

На мозаичном полу в вестибюле расположены киоски для путешественников, проспектов, открыток. Толпятся люди. Полируют подошвами лики великих, впрочем, не причиняя им видимого вреда.

Толпа валила в галерею. Любящие люди шли смотреть вывешенных кумиров, по пути топча их лица и имена.

Ответьте, пожалуйста, академик Лихачев, астроном истории и языка, Дмитрий Сергеевич, ответьте, пожалуйста, не встречалось ли вам в ваших пространствах непознанное пятно? Лихачев не слышит. Судьба русской интеллигенции проступает сквозь его лицо. Он разглаживает на столе рукопись, как кольчугу, сотканную из ржавых «о».

Осы, бессонные осы залетают в мое повествование, золотые тельца, крошечные веретена с нанизанными на них черными колечками, осы, в которых просвечивает имя исчезнувшего поэта. Ос особенно много этой осенью. Имена проступают, порой неосознанно, сквозь произведения.

«Бор, бор» — будто другое имя слышится в строках: «Этого бора вкусный цукат, к шапок разбору...», «И целым бором ели, свесив брови, брели на полузанесенный дом...». Вы слышите? Проборматывается «бор», обрывок обмолвленного имени, мета мастера, его отражение в природе — двойник духа — бор, бормотанье, бабочка-буря, брррр...

С какой сердечностью, распахнутостью, незащищенностью, предчувствием скорого расставания с кратковременным «я» повторяется

в стихах Есенина: Сергей, Сережа, Сергуха, Сергунь, Сергей Есенин! Ахматова просвечивает сквозь термин «акмеизм». Как ковано звучит «Владимир» Маяковского! Цветаева зашифровала себя в море.

А что скажет нам имя «Мур»? Как оно проступает в его твореньях? Как подсознательное «я» проявляется в очертаниях его созданий? Откуда его овалы дыры, пустоты, ставшие его манерой?

MOORE — так пишется по-английски его имя. Оно образовано двумя «о». Да простят мне английские муроведы наивность лингвистического метода! Я вижу, как вытягивается уже достаточно вытянутое аристократическое лицо Джона Рассела, автора монографии о Муре, мы многие часы провели с ним в беседах: ах, вот куда клонит этот русский! Да, я уверен, что эти «о» стали неосознанно творческим автографом Мура в камне — отсюда его отверстия, овалы люки в пространстве. Скульптор подсознательно мыслит очертаниями родных букв.

Осведомленный критик тут прерывает мое повествование. Его глаз пролезает в скважину моей двери. Он весь по пояс протискивается, как змея, за своим сладострастным глазом.

— Ну автор, вот, хе-хе, и до двух нулей доигрался. Туалетные символы. Пушкин так бы не написал. Конечно, я читал Пушкина. Но у него это было более по-народному. Или по-французски.

Он уныривает в нору замочной скважины и затихает, уже куда-то пишет. Жаль его. В его взгляде вечная ущемленность.

От нее осталась у меня манера читать страницы. Я вижу сначала жемчужную горсть «о», разбросанных по листу, а потом уже остальные буквы.

Страница газеты, как оконные стекла, в оспинах первых капель дождя напоминает мне о ней.

В хрустальной морозной пушкинской строфе 1829 года замерли крохотные «О», как незабвенные пузырьки шампанского:

Мороз и солнце...
Открой сокрыты негой взоры...
Северной Авроры...
Вечер, ты помнишь...

Оказалось, что буква «о» — самая распространенная в русском языке, основа нашей речи, а стало быть, и сознания. Не она ли ключ к национальному характеру? Даль пишет: «О — по старине «он», повторяется не в пример чаще всех прочих».

«Обрыв», «Обломов», «Обыкновенная история» говорят об овальном мировоззрении Гончарова, восприятию окружности бытия.

Сейчас, когда я пишу эти строки, по крыше лупит благословенный рахманиновский переделкинский ливень. Потолок протекает. Мы ставим два таза — один, большой, эмалированный, посередине комнаты, другой, поменьше, жестяной, в правый угол, где у меня висят акварели.

Небесная капля, набухнув в штукатурке потолка, вздув ее, как творог марлю, глухо шлепается кругами в таз. Тазы наполняются полнзвучными «о» — большими и малыми, пропахшими садовым духом цветенья, профильтрованными потолком июньскими небесными буквицами. Кошка пытается достать их из таза лапой.

Завтра надо с этим справиться. Чудо кончится.

Впрочем, Лазуковой, которая живет в двух шагах, не до этих красот. Она недавно схоронила мужа и живет с сыном. Я заходил к ним вчера. Посередине комнаты выстроились корыта, тазы, ведра. Сплошное пролитье потолка. Вошла соседка, тоже мученица верхнего этажа: «Год просим, все не ремонтируют, идола. Помогите нам

написать куда-нибудь, лучше в „Труд“». Напишу в это повествование. Может, чем поможет.

Я думаю: что притянуло небесную гостью к нашему жилью?

Дом наш на три семьи. За задней стенкой недавно умер сосед, оставив печальный вакуум небытия. Он был добрым поэтом, знал Есенина.

Затененный участок зарос елями, крапивой и угрюмством. В подслеповатых комнатках даже в жаркий полдень сыро. Но в этом хмуrom клочке земли есть какая-то душевная волшебная тяга, как в за-таенном характере пушкинской Татьяны или безответном чувстве. Именно здесь, у покосившегося забора, среди крапивы и бурелома, находится заповедный уголок пейзажа, который приехавший великий художник назвал самым красивым на свете и дорогим. Может быть, поэтому здесь проходит незарастающая тропа, сделавшая наш двор проходным, а может быть, оттого, что это сокращает путь в соседний магазин.

Дыры — слезы сыра.

Искусство нарезания сыра, костромского или голландского со слезой, — в тонкости и ровности ломтя. Нож должен просвечивать сквозь золотую плотность сыра. Раскройте страницу «Старосветских помещиков», пожелтевшую от времени, с золотым обрезом, посмотрите на свет терпкую плотность его письма — и вы увидите комочки «о», как дырочки сыра, разбросанные по прозрачному листу.

Какой сыр без дыр? Какая проза без слез?

Гоголь, завершая «Мертвые души», видел прекрасное далеко России сквозь каменные ожерелья римских балюстрад.

Самое гениальное «о» мировой литературы — это колесо чичиковской брички, которым начинаются «Мертвые души». «Докатится или не докатится до Москвы?» — обсуждают мужики. А до Петербурга? А до наших дней? А далее?

Докатилось.

— О, поэзия... — повторяет Мур, — она высшее из искусств. Она связывает людей, она — прямое выражение духа.

— И музыка, — вставляет Джон Робертс, статный президент ассоциации «Великобритания — СССР», с которым мы приехали. Он рассеян, собирается жениться, а по вечерам поет в хоре.

На пьедестале лежит огромная скульптура с двумя дырами, как тяжелые, каменные очки с выбитыми стеклами, словно оставленные после себя гигантом. В них, как в выбитые окна войны, свищет музыка.

Я вижу другую оправу, нервные щеки и плоский нос, как костяной нож для разрезания гениальных страниц.

Русская музыка стала главной нотой XX века — музыка Шостаковича, Прокофьева, Стравинского.

Ответьте Шостаковичу.

Он позвонил мне в 1975 году. Мы не были знакомы до той поры. Позвонив, он попросил приехать к нему и подумать о совместной работе. Речь шла о переводе сонетов Микеланджело, самого скульптурного из поэтов.

Я приехал в его сосенные пенаты. Когда он отвернулся к окну, я увидел измученный его профиль.

Он, видно, только что подстригся. Короткая стрижка сняла весь висок и почти весь затылок. Слегка вьющаяся внизу когтистая челка держала голову, вонзалась в лоб, как темная птичья лапа — невидимая мучительная птица судьбы и вдохновения.

Он быстрым свистящим шепотом сообщил мне свою идею. Волнуясь, он мелко скреб ногтями низ щеки, будто играл на щипковом инструменте.

Той же мелкой дрожью дергался нагретый барвихинский воздух за стеклами террасы.

Та же дрожь щипковых, струнных слышится в третьей частилюбимой мною его Четвертой симфонии, где ничего не происходит, лишь слышится страшный тягостный холод небытия ожидания и как мороз по коже этот леденящий шорох — шшшшш...

Входила жена его Ирина Антоновна, похожая на строгую гимназистку. Потом он играл — клавиатура утапливалась его пятерней, как белые буквы «ш» с просвечивающимися черными бемолями, — он был паническим пианистом!

Две буквы «о» в его фамилии, как и оправа очков, лишь прикрывают его сущность. Он не был крутым. В нем была квадратура гармонии. Она не вписывалась в овальные вопросительные уши. Линия лица его уже начала оплывать, но все равно сквозь него проступали треугольники и квадраты скул, носа, щек.

Потом встречи длились и в Барвихе и в Москве, и над бытовыми беседами, чаепитиями, дачными собаками стало возникать уже то неуловимое понимание, что возникает не сразу и не всегда, но предшествует созданию.

Шостакович — самый архитектурный из композиторов. Он мыслит объемом пространства, он не прорисовывает детали. Шостакович — эстакада, достоевская скоропись духа. Если права теория о неземном происхождении жизни, то он был клочком трепетного света, невесть почему залетевшего в наш быт, — его даже воздух ранил.

На полярной станции «СП-24» над зеленой прорубью в палатке аппаратуры слушает лед бородач с гоголевской фамилией Гаврило. Он сутками, уйдя в наушники, бледный от страсти, отрешенно ловит кайф музыки льда. В наушниках музыка шорохов, касанье рыб, океана, небытия. Они шуршат, как уже знакомый нам зов «о». Он, как марафетчик, зовет меня приобщиться, познать свою страсть. «На что это похоже, Гаврило?» «Ну, немного на органные звуки или как чайки кричат». И улыбается, вспоминая. В двадцатые годы поэт написал: «По городу, как чайки, льды раскричались таючи». Сейчас фанат музыки повторил это ощущение. Меня пронзила эта неслыханная доселе гармония шорохов, льда, небытия, напоминающая Стравинского и странные шорохи Четвертой симфонии.

Из затеи с Микеланджело ничего не вышло, хотя я перевод сделал. Помню, он созвал к себе домож Хачатуряна, Щедрина, ну почти весь секретариат и заставил меня им прочесть. Сам нервно, по-кошачьи чесался. Он был доволен.

Но что-то там не успело, или певец уже разучил прежние тексты, или не заладилась новая музыка, но случилось так, что в Ленинграде на премьере исполнена была музыка с прежними текстами, которые ему хотелось заменить.

Он написал мне длинное достоевское извинительное письмо. Это была не только нота бережности и деликатности, за ней предчувствовалось иное.

Он задумал и рассказал мне замысел нового своего произведения, которое в уме уже написал на темы семи стихотворений, среди которых были «Плач по двум нерожденным поэмам», «Порнография духа» и др. Но записать он эту музыку не успел. Музыка осталась иным стихиям.

Дыра этой ненаписанной вещи слилась с дырами других не написанных им вещей и влилась в безмолвную бездну небытия, что нас окружает.

Он был так слаб в последние дни, что пальцы не держали листа бумаги. У меня хранится партитура его музыки к моему переводу, где дергающимся кардиограммным почерком написаны ужаснувшиеся слова: «Кончину чую».

Ответьте детству!

В какую дыру забросила нас эвакуация, но какая добрая это была дыра!

Частенько у нас отключали свет. Керосин жалели. Население нашего деревянного дома, мы все сидели на крыльце, озаренные ровным светом ночного бесплатного неба. Сумерничали. Не выражались.

Курящие сидели на корточках, держа самокрутки огоньком вниз. Когда затягивались, красным светом озарялись снизу губы, ноздри и морщины щек. Пухлая помада Мурки-соседки появлялась из темноты и исчезала, как в круглом зеркальце. После затяжки она мелко сплевывала, далеко цыкала сквозь зубы. Щуплый Харитоныч, только что отмотавший срок, докуривал чинарик до края, почти обжигая губы.

К соседке ездил вздыхатель, пожилой шофер из летной части. Машину он заводил во двор, к крыльцу. Мурка выжидала.

Один раз он привез ей апельсин. Видно, их выдавали летчикам. Апельсин был закутан в специальную папиросную обертку. Мурка развернула ее и разгладила на коленке. Коленка просвечивала сквозь нее, как ранее апельсин.

Мурка дочистила кожуру до донышка, где мякоть образует белый поросячий хвостик. Кожуру положила в карман ватника.

Она ела апельсин, наверное, полчаса. Долька за долькой исчезали в красивой ненасытной Муркиной пасти. Когда осталось две дольки, она сказала мне: «На, школьник, попробуй». И дала одну. Скулы свело от счастья.

Рядом остывал мотор «студебеккера». Сибирские сумерки пахли бензином и апельсинами. Этот запах мешался с запахом махорки, псины и молочным запахом тесового крыльца, только что вымытого горячей водой.

Потом они сидели, обжимаясь, в кабине, подсвеченные красным щитком, и слушали радио при включенном двигателе. Стекла они опустили, чтобы было слышно всем.

Шла трансляция из Ленинграда. Негромкая музыка была хриплой, режущей, непонятно страшной и великой — до кожи продирало.

Слушали напряженно. Лица все чаще озарялись и гасли. Поблескивал Тобол. Все, что они слушали, было про них, про их судьбы. Они не понимали всего, о чем писал композитор. Но все, что происходило с ними, со страной, стало музыкой, страшной и великой.

Останавливались у частогола.

— Что такое передают? — спрашивали.

— Шостаковича, — не сразу сказала Мурка.

— Доходяга, а какую симфонию написал! — сказал Харитоныч.

— О, музыка... — добавляет Джон Робертс.

Мур не любит, когда его прерывают.

— Поэзия — высшее из искусств, — завершает он дискуссию.

И ведет нас осматривать мастерские. Это свободно расположенные павильоны, просторные, белые, как глянцевые обувные коробки, в которых хранятся колодки его скульптур. Вот лежит огромная знаменитая «Лежащая». Против нее у стены, изнывая и потягиваясь, примостился огромный слоновый бивень, сантиметров тридцать в диаметре.

— Ну-ка попробуйте поднять.

Я с трудом приподнимаю — тяжело.

— А какую такую штуку на носу носить? — смеется создатель.

Отмыкать павильоны ему помогает Анн, только что окончившая искусствоведческий. Она облокотилась в одной из его студий о верстак, и непроглядный рукав ее черного бархатного парижского пиджачка напудрился ввевшейся гипсовой пылью. Гипсовый локоть за-

мирает в изгибе. Осторожнее, мисс, вы становитесь скульптурой Мура!

Открытая форточка прямоугольна и пуста.

Где же ты сейчас носишься, черная дыра, перекати-поле, перекати-небо?

Видишь, я совсем не помню тебя. Очень надо! Вот уже сколько белых прямоугольных страниц я ни разу не вспомнил о тебе. Я не помню о тебе утром, не помню днем, совсем не помню вечером.

Но зато ты научила меня науке воспоминания. «Вы, люди, чтобы увидеть прошедший образ, оглядываетесь на ту же точку, где он был. Но там его уже нет. Вы так ничего не увидите. Чтобы попасть в утку, надо стрелять на три утки вперед. Прошлое летит перед вами. Смотрите в сейчас — и вы увидите прошлое».

Так, глядя в сегодняшние работы Мура, я вижу просвечивающие сквозь них вчера и сегодня.

Странная вещь память! Когда Никита Михалков поставил «Пять вечеров» по Володину, оказалось, что он детально помнит быт послевоенной Москвы, несмотря на свой возраст.

Иногда ты пошаливала. Шутки у тебя были дурацкие. Подкравшись сзади, ты stalkивала меня в чужую память и судьбу. Я становился то Гойей, то Блаженным. Ну и досталось же мне, когда я забрался в Мэрилин Монро!

Отчаянно ревнива ты была!

Стоило женскому голосу позвонить, как ей из трубки в ухо ударял разряд. Глохли. Многие лысели. Стоило мне притронуться губами к чашке — ты разбивала ее. Особенно ты ревновала к прошлому. Ты сладострастно выведывала, вынюживала память о моих давних знакомых. Ты озарялась. Как злобна и хороша ты была! Я подозреваю, что ты даже могла влюбиться из ревности, а не наоборот. Уже давно забывшие обо мне, ничего не подозревавшие мои знакомые вдруг теряли слова на сцене, разбивались на машинах, по рассеянности подносили спички вместо газовой конфорки к бумажному халатику и горели синим пламенем.

Окружающие осуждали. Завидя нас, вибрировали. «Чаще заземляйся», — посочувствовал проносящийся Арно и поспешно поднял стекло. Позвонила тетя Рита: «До меня дошли слухи, которым я не верю. Но чтобы не усугублять...» «...ять, ять, ять», — захулиганили феи телефона. Тут я вспомнил, что тетя Рита год как умерла.

Но сейчас даже отверстия в скульптурах не напоминают мне о тебе.

Отчего великим скульптором именно XX века стал сын английского шахтера?

Англия — островная страна, скульптурная форма в пространстве. Космонавт рассказывал, что Англия похожа на барельеф. Англичанин рождается с подсознательным мышлением скульптора. Надутые ветром белые парусники уже были пространственными скульптурами. Ставший притчей во языцех английский консерватизм тяготеет к замкнутой структуре. Традиционные английские напитки виски или джин с кубиками льда, попруженными в прямые цилиндрические бокалы, имеют скульптурную композицию.

Только два года назад англичане начали пить вино — бесформенную, изменчиво льющуюся субстанцию. Сейчас появились винные пабы.

Когда английским поэтам понадобился символ, эмблема, они взяли чистую форму озера, став озерной школой. Сын недр, Мур выразил замкнутую островную форму XX века.

Но не только место рождения сделало его скульптором века.

Этот дом свой, названный «Болота», служивший ранее фермой, скульптор купил в 1941 году, после того как его прежнюю мастерскую разрушила авиабомба.

Мур стал знаменитым в 1928 году, после Орлгстонской выставки. Необходимым, своим для миллионов людей он стал после рисунков «Жители бомбоубежища». Стихия народной беды и истории задула в трубы муровских дыр. Каждую ночь сто тысяч лондонцев прятались в метро от жесточайших бомбежек. Они приходили, располагаясь с вечера на платформах, со своими снами и незамысловатым скарбом.

Сын шахтера стал Дантом военного метро. Серия станковых рисунков, каждый размером около полуметра, была выставлена во время войны в Лондонской национальной галерее. Думаю, что это самое сильное, что было создано во время войны западным искусством.

Вот эти рисунки. Огромная дыра туннеля засасывает тысячи крохотных, оцепенелых во сне женщин. Следующий рисунок — крупный план. Открыв рты, закинув онемелые руки, четверо спят под общим одеялом. Цветное одеяло похоже на волны времени. Сидящие рядом, как тутовые куколки, фигуры обмотаны пряжей пастельного штриха. Длинные волокнистые линии карандаша как бы опутывают их цепяницей паутиной. Точка зрения выбрана художником снизу, как бы лежа или сидя рядом с ними.

Время не случайно выбрало Мура. Вся его художническая жизнь была как бы подмалевком к этим работам.

— Я увидел там сотни лежащих фигур Генри Мура, разбросанных вдоль платформ, — вспоминает создатель. — Даже дыры туннеля, казалось, похожи на дыры в моих скульптурах. Я очень остро осознал в рисунках бомбоубежищ свою связь со страданиями людей под землей, — добавляет он.

Вот рисунок двух женщин. Есть замедленное величие в их тогах из одеял. Они напоминают фигуры фресок его любимого Мазаччо. Шпурообразный штрих походит на Дега. Иногда мелькают мотивы Сезанна.

Казалось, что вся мировая культура ожидает гибели в туннелях бомбоубежищ.

Ночами Мур спускался под землю. Он бродил мимо заспанных фигур, по несколько раз прицеливался глазом, потом отходил в угол и украдкой делал крохотные наброски на конверте или тайном клочке бумаги — заметки для памяти. Он стеснялся смущать людские страдания своим соглядатайством. Виденное он переносил дома на ватман. Он работал пером, индийской тушью, восковым карандашом и размывом.

Мастер вспоминает, как он открыл технику рисунка. Но главного своего секрета он не договаривает. Когда он нагнулся за рисунком, я увел его угольный карандаш. Он был без грифеля. В нем была спрессованная память, оправленная в деревяшку черная дыра. Но молчок! Пусть думает, что я не догадываюсь. Рассказывает же он так:

— Я нашел новую технику. Я использовал несколько дешевых восковых карандашей, которые куплены в Вулворте. Я покрывал этим карандашом самую важную часть рисунка, под воском вода не могла размыть линию. Остальное без оглядки размывал и потом подправлял пером, тушью. Без войны, которая направила нас всех к пониманию истинной сущности жизни, я думаю, я многое упустил бы. Война выявляет ноту гуманизма в каждом.

То же оцепенение бомбежек оркестровал Элиот в своих бетховенских «Четырех квартетах».

Эта тема связала Элиота со стихией народной судьбы, сделала его музу общечеловеческой, по сути массовой. В Лондоне идет сей-

час рок-опера «Кошки» по его стихам, где судьба городских трущоб, крыш, городского нутра, нищеты города слилась с интеллектуальной нотой поэта. Вообще рок-опера и широкая музыка все чаще и чаще обращаются к серьезным текстам, к судьбам времени.

С дантовских перекрытий бомбоубежищ капает вода. Фигуры оцепенели в ожидании. Меркнет лампочка без абажура.

У меня затекает нога. Хочу повернуться, но тесно. Щеку шерстит мамина юбка. С бетонных сводов серпуховского бомбоубежища капает — то ли это дыхание сотен людей, становящееся влагой, то ли сверху трубы протекают?

Рядом клюют носом бабушка и сестренка. Бабушка всегда прихватывала с собой свою маленькую подушку, думку, как ее в старину называли.

Я как самый маленький лежу на матрасике, который мы носим с собой. В спину упирается что-то. В матрас защиты нехитрые драгоценности нашей семьи — серебряные ложки, бабушкины часы и три золотых подстаканника. Во время эвакуации все это будет обменено на картошку и муку.

Вокруг, захваченная враспloh сигналом воздушной тревоги, наспех отмахивается от сна, протирает глаза, достегивается, подтыкает шпильками волосы стихия народного бедствия. Реют обрывки снов. Воспаленно хочется спать.

Это в основном семьи рабочих. Наш дом от завода Ильича. Несмотря на пыль подземелья, многие наспех одеты в праздничные добротные вещи, в самое дорогое на случай, если разбомбят. Кончается лето, но некоторые с шубами.

Так на ренессансных картинах, посвященных темам Старого и Нового завета, страдания одеваются в богатые одежды.

Заходится, вопит младенец, напрягая старческую рожу лица, сморщенную, как пунцовая роза. Распатланная мадонна с помятым от сна молодым лицом, со съехавшей лисьей горжеткой убаюкивает его, успокаивает, шепчет в него страстным, пронзительным нежным шепотом: «Спи, мой любимый, засранец мой... Спи, жопонька моя, спи».

Для меня слова эти звучат сказочно и нежно, как «царевич» или «зоренька моя».

Местный вор Чмур, изнемогая от бездействия, томится головой на коленях у жены, которая вдвое старше и толще его. «Чмурик, ну Чмурик», — успокаивает она его душу, как уговаривают вдруг заворчавшую во сне овчарку.

Мыслями все наверху. Все думают о небе. Там, в темном небе, перекрещенном прожекторами, словно широким андреевским крестом, идет небесный бой, оттуда каждую минуту может упасть бомба, и что могут поделывать эти женщины? — только ждать, их мужья в небе, на крышах, у песочных ящиков, среди них были и Шостакович и Пастернак, тушат зажигалки, там летят раскаленные осколки, чтобы мы на завтра собирали их, продолговатые и оплавленные по краям окалиной, как фигурки Джакомоетти. Тем же андреевским жестом, крест-накрест, были перекрещены клейкими полосками окна всех московских домов.

Дети бомбоубежищных подземелий, мы видели столько страшно-го, наши судьбы и души покалечены, кое-кто пошел по кривой дорожке — но почему эти подземелья вспоминаются сейчас как лучистые чертоги? Все люди и вещи будто очерчены, озарены святым ореолом, словно и не было счастливей дней.

Первым чувством наших едва начавшихся слепых жизней было ощущение, конечно не осознанное тогда, страшных народных страданий и света праведности народной судьбы и общности, причащенности к ней.

Когда я потом взялся прокомментировать военную фотохронику

М. Трахмана, это чувство неотвязно вело меня. Наша война застыла в черно-белых великих кадрах фильмов «Два бойца», «Летят журавли», в черных дисках с голосами Руслановой, Шульженко, Гурченко. От этого не отделаться при любом упоминании о войне.

Мы бежим с матерью по меже мимо зеленого звона овсов, я на ходу сдираю овсинки и, спотыкаясь, вышелушиваю пухлые молочно-образные зерна из длинных зеленых усов. Мы приближаемся к опушке.

Говорили, а может, врал, что у немца далеко за лесом есть тайный аэродром, на котором он подзаправляется и летит бомбить Москву. Ополченцы прочесывали лес.

Вдруг среди бела дня он вылетел, почти задевая верхушки сосен, грохочущий «мессершмитт» с черным крестом, он летел, ковыляя, так низко, что мне казалось, будто я видел шлем пилота. Он дал несколько очередей по лесу и ушел на Малаховку. Мать столкнула меня и сестренку в канаву, а сама, зажав глаза ладонью, на фоне стремительного неба замерла в беззащитном своем ситцевом, сшитом бабушкой сарафане.

Но не только мое детство имеется в уголке этих муровских рисунков. Мотивы и фигуры, виденные художником во время войны, окаменели в будущих его вещах. Вот в правом уголке рисунка «Беженцы туннеля» застыла обернутая одеялом женщина с ребенком. Она стала прообразом его послевоенной мадонны для собора в Нортамптоне. На том же рисунке в лежащей фигуре на платформе мы узнаем позу его будущей «Лежащей», высеченной в 1957—1958 годах.

Та же обращенная к небу фигура. Взгляд женщины с тоской обращен в небо. Неужели опять?

Он и сейчас ежедневно рисует. По утрам работает над скульптурой, после обеда отдыхает, а в сумерки, когда рука уже утомилась, рисует.

— У меня три причины заниматься рисунками. Когда рисуешь, можешь разглядывать людей, это наслаждение. Хотя и опасно. Когда я работал над портретом жены, я так наразглядывался, что это чуть не стало поводом для развода,— подмигивает он мне.— Второе. Это мгновенное искреннее впечатление. Третье. Это моя поэзия.

Рисующий останавливает мгновения, он торопливо оставляет на листе лица и судьбы, спасая их от исчезновения, выхватывая из наступающей тьмы небытия. Вот еще одну спас, вот еще...

Такова же цель моих поспешных заметок — хочется хоть как-то задержать, сохранить от быстротекущего распада лица друзей, живые черты — вот еще одна, вот еще...

Как дед Мазай вытаскивал ушастых беженцев из несущегося потопа, так и пишущий спешит сохранить чьи-то жизни и минуты. Лодка прогибается. Еще одна, еще, вон еще, вон рука торчит, еще, еще вытягиваешь... Дело осложняется тем, что, спасая чьи-то минуты, ты тратишь минуты единственной жизни своей. Это делает все серьезным, а не забавой.

Мне много раз спасали жизнь.

В 1946 году инженер плодосовхоза в Одоеве спас меня, уже захлебнувшегося и потерявшего сознание в водовороте. Я так вцепился ему в запястье, что остался круговой синяк.

Мне спас жизнь хирург Рябинкин, румяный, с клинышком воробьиной бородки.

Олжас Сулейменов спас мне жизнь (и себе) тем, что превысил скорость, и машина, перелетев кювет, перевертывалась уже на мягком лугу.

Меня спасли сибирские незнакомые ресторанные друзья тем, что, засидевшись с ними, я опоздал на самолет, который разбился вместе с моим сданным чемоданом.

В страшные для меня дни ты прилетела на пару часов в Новосибирск, после этого сама ослепла на месяц.

Я вспоминаю всех, кто спас меня в тяжелейших ситуациях (как и каждого, наверное, спасают по многу раз за жизнь), тех, кто спас и забыл об этом, вспоминаю ваши ставшие родными лица, всю жизнь пробую вернуть вам долг.

Однажды мне спас жизнь редактор одного толстого журнала, назовем его здесь тов. О.

Неудавшиеся самоубийства часто вызывают юмор, это — тоже.

Судьба моя неслась с устрашающим ускорением. Я запутался. Никто не хотел печатать мое программное произведение. Я понял, что пора кончать.

Близкие знают, что я никогда не жалуясь (разве листу бумаги), не плачусь друзьям и подругам в жилетку, не изливаюсь, не имею привычки делиться на бабский манер. Бестактно навязывать свои беды другому, у всех наверняка хватает своих.

Но тут подступил край. Непроглядная затягивающая дыра казалась единственным выходом.

Я попробовал собраться с мыслями. Разбухший утопленник не привлекал меня. Хрип в петле и сопутствующие отправления тоже. Я подумал о тех, кто придет. Меня, в ту пору молодого поэта, устраивала только дырка в черепе.

Я заклеил два конверта и пошел к седому прозаику, у которого был немецкий, сладко оттягивающий ладонь пистолет. «Дайте мне его на три часа, — объяснил я убедительно. — Меня шантажирует банда. Хочу попугать».

Беззаветно лживые глаза уставились сквозь меня, что-то смекнули и вздохнули: «Вчера Лидочка нашла его и выбросила в пруд. Слейте в Тбилиси к И. Там за триста рэ можно купить».

Два дня я занимал деньги. Наутро перед отлетом мне вдруг позвонили от О.: «Старик, нам нужно поднять подписку. У тебя есть сенсация?» Сенсация у меня была.

В редакции попросили убрать только одну строку. У меня за спиной стояла Вечность. Я спокойно отказался. Бывший при этом Солоухин, который знал ситуацию, крикнул, но промолчал. Помню доброе участие Рекемчука и других членов редколлегии. Напечатали.

Держа свежий номер журнала или потом, заплывая в утренней реке, я думал, каким я мог быть кретином тогда — не увидеть столько, не узнать, не встретить утром тебя, не написать этой вот строки. Как упоительно жить!

Мы редко встречаемся с О. Мы не близки ни в жизни, ни в литературе. При встрече со мной взор его гаснет. Но сердце мое наполняется веселой благодарностью ему. Он подарил мне все, чем я живу сейчас и что делаю. Воздай, судьба, ему всем добрым!

Отчего российские ветры дуют в окна и щели этой английской усадьбы? Что за ностальгический сквозняк пронзает ее насквозь? Отчего именно в этих стенах меня одолевают родные воспоминания?

Ирина, жена скульптора, русская. Они прожили вместе более пятидесяти лет. Познакомив нас, Мур буркнул:

— Ну-ка, поговори с ним по-русски. Он, наверное, устал изъясняться на чужом наречии.

Сейчас она не может сопровождать нас, читатель, потому что лежит в мучительном гипсе с переломом ноги на втором этаже дома. Ее боль передается всем гипсам мастерских.

Русские музы в мировом искусстве XX века — особая тема. И Матисса, и Дали, и Леже, и Пикассо вдохновляли русские жены. Татьяна, Гали, Вавы, Нади, русые москвички и смолянки, каково вам было носить над мировыми безднами, среди Лаур, Делий и Валькирий!

Ответь хотя бы, где ты носишься сейчас, тоскливая перекаати-поле, перекаати-небо?

Отвалила. Намылилась и отвалила.

Отвратительный, повторяю, она имела характер!

Как-то сел у машины аккумулятор, я подсоединил ее. Мы очнулись в окрестностях Житомира.

В редкие минуты благодущия она демонстрировала мне видения ведьм, российской истории и образы моего детства, которые я и сам не помнил.

— Покажи мне, что меня ожидает.

— О, для этого тебе надо было познакомиться с белой дырой.

И опять взрыв агрессии.

Как-то я привел ее пообедать в наш клуб. Она высосала немые мысли всего ресторана. Потом долго болела. Я не заметил, что в углу сидел протухший критик.

Ты ее не замечала. Тебя она, может быть, недолюбливала, но не трогала. Примеряла без тебя твои платья. Брезгливо брызгалась твоими духами, и брызги замирали на ней в воздухе, как огромный одуванчик.

Управы на нее не было. Как-то в сердцах я ее ударил. Она не знала, что это такое. Вся засияла улыбкой. Она думала, что это новая игра. Мой ботинок завяз в ней. Когда я его вытащил, он был покрыт жемчужной смеющейся пылью. Потом она что-то поняла и замкнулась.

А уж как любопытна она была! Одно слово — баба. Она лакомилась новостями. Прорва их в нее вмещалась. Любопытство и подвело ее. Осенью ее украли. Заманили и умыкнули. Через два дня сами принесли ее назад в мешке, перекошенные от тока. Я посоветовал им зарыться в землю, чтобы электричество стекало. До сих пор их не откопали — видно, не все еще стекло.

Я любил, когда она созывала гостей. Обычно приглашала Бориса Годунова, чету Макаровичных, нос Наполеона и ножку Павловой — остального она у них не помнила. Борис Годунов хорошо пел, но очень уж боялся автомобилей. Нос сидел у него на плече, как попугай, подпевая. Ножка Павловой сидела за столом строгая и прямая, чуть кивая балеткой, как туго натянутой шапочкой для душа. Угощала она телячьими запеченными окороками и лососиной, которые помнила по натюрмортам Эрмитажа.

Однажды я предал ее. Но не мог же я везде таскать ее с собою! У нее в запасе была вечность, моя же жизнь была коротка.

Я сказал, что иду в контору, запер ее, а сам зарулил в гости. Когда я вывалился, напротив подъезда стояло такси с включенным счетчиком и отключенным шофером. В темноте машины я узнал ее мстительный взгляд. Дома, встретив, она ничего не сказала мне, но телефон неделю не работал.

Иногда она исчезала по своим цыганским непроглядным делам. Сначала я волновался, искал ее, боялся, что ее сожрут иные стихии и поля. Я оставлял форточку открытой, и она возвращалась. Я это узнавал по отключенному телефону.

Ответь, где ты носишься теперь?

Отлично работает телефон. Откровенно говоря, я рад, что от нее избавился. Возбужденные спелые кошки безопасно набираются солнца. Над Переделкиным ревут самолеты. Никто не портит настроение.

Но какая-то пустота сосет под ложечкой, будто дыра какая тянет. Уж не сидит ли во мне самом какая-то темнота, карамазовщина, роднящая меня с ней?

Я связываю это с тоской по оставленной архитектуре.

Не заводите вторых профессий, второй страсти, второй семьи. Вас будет сосать вакуум. Ночью вы будете путать имена. Вы начнете чудохаться с витражами. Провоняете дом эпоксидкой, но вас все равно будет тянуть.

Мне рассказывали, что мой друг-поэт мечтает, чтоб я вернулся в архитектуру. Этого же хотела бы моя мать, правда по иным причинам. Ей хочется для меня режима и уверенных потолков. Мне снятся архитектурные сны.

Люди занимаются архитектурой не только из утилитарных соображений, а для того, чтобы заполнить пустоту, преодолеть пространство небытия, черные дыры, бездны, окружающие жизнь. Как спресованное будущее, противостоят им белые колонны Парфенона, столп Ивана Великого, «белые дыры» стадионов.

Как и поэты, архитекторы смотрят глазами будущего. Задолго до изобретения самолетов каждый архитектор видел свои сооружения не фасадно с улицы, а весь объем с птичьего полета, «с птички». Теперь так может видеть каждый из окна самолета.

Мне снится какая-то мраморная крона.

Отозвав меня в сторонку, слабо улыбнувшись, будто по малой нужде, Мур заводит меня за вертикальную мраморную плиту.

— Я знаю, чем вы интересуетесь. Ее здесь нет.— Он проводит ладонью по нагретой от солнца плите.— Она здесь была. Вот ее место в камне. Она из породы блуждающих черных дыр. Они улетают.— По лицу его пробегает тень.— Она была любимой из моих созданий. Поинтересуйтесь-ка у Пикассо. Он мог переманить. Он — пожиратель дыр.

Я заметил, что он не сказал все это вслух, словами, а передал посредством мыслей. «Не так-то прост этот садик»,— подумал я.

Но Мур, подмигнув, через секунду уже превратился в классического Мура, его глазенки-незабудки озябли и спрятались под мохом бровей.

Окошко, круглое окошко домика на горе, прилепившегося, как известковое птичье гнездо. Уж не оттого ли круглое, чтобы удобнее было залетать? А для тех, кто не умеет летать, черные перила лестницы ведут в спальню второго этажа.

Как спят гении?

Может быть, на ковре-самолете, или на метле, или на шаре, или на эластичном матрасе, наполненном вместо ваты пружинистой водой, или в постоянном состоянии невесомости они приклеиваются снизу к перине, парящей над ними?

Вы спали в кровати Пикассо?

Не отчаивайтесь, если нет. Вы проворочаетесь всю ночь, вы очей не сомкнете. Квадратная низкая кровать — в правом углу, она заполняет половину такой же квадратной спальни. Слева дверь в ванную. На полу длиннорунный палас его работы. Под лампой на гumbочке альбом его грациозной эротической графики. Кровать не хочет подминаться под вами, она помнит, как когда-то прогибалась под ним.

Давно ли вы лежали в той же позе лицом вниз, содрогаясь от рвотных спазмов?

Не топлено. От командорских известняковых стен несет стужей. Ледяные колючие простыни вонзаются в спину и икры.

Очень широкая эта кровать.

Пикассо не был большого роста. Что он, катался по ней из угла в угол, что ли, согреваясь, как бешеный колобок?

Вы по несколько раз бегаєте в горячей душ согреваться. Как

страшно ощутить босыми ступнями скользкие, стоптанные, засаленные его туфли. Непроглядная мировая ночь спит, дышит рядом с вами, спят Парижи, небеса и недра, принадлежавшие ему.

Вдруг вы видите, как пустые шлепанцы сами без скакками шмыгают в ванную. Под дверью загорается свет. Шумит вода.

Вы нажимаете кнопку света на тумбочке, но кнопка сама вдавливается на мгновение раньше, и свет загорается на миг раньше, чем вы ее нажали. У вас зубы стучат, вас колотит озноб, хоть вы и уговариваете себя сами, что это от холода.

Так тихо, что слышно, как внизу, на первом этаже, в гостиной, дрожит, звякает таким же ознобом стеклянная посудная полка. Как в поезде.

На стекле полки подрагивает серебряный выводок маленьких лебедей.

Он мастерил эти маленькие лебединые фигурки из алюминиевых крышек от бутылок минеральной воды. Крышечки французских минеральных вод, как и наши московские водочные, имеют язычок для открывания. Надорвав и вытянув язычок, он получал голову и лебединую шею. Потом он сминал крышку пополам боками вверх, так что получались крылья.

Серебряная лебедажья стая скользит по стеклу. Продолговатая стеклянная полка распрямляется в бескрайний овал озера. Звучит Чайковский, Чайковский...

Но не «Лебединое озеро» звучит, нет, а Первый концерт, которым он встретил меня в 1963 году.

Припоминая пустые залы,
с гостей высокой, в афроприческе,
шел я, как с черным воздушным шаром.
Из-под дверей приближался Чайковский.

В комнате жара. Кажется, вот-вот проступит смола из высоких черных спинков испанских стульев. То ли топили, то ли он сам нагревал весь дом жаром своего печного пышущего тела.

Пикассо был полугол, в какой-то сетчатой майке, как загорелый желтый бильярдный шар, крутящийся в лузе.

Лицо его уже начало обтягиваться книзу, появилась горькая осунувшаяся тень, отчего еще сильнее выделились вышуклые, широко расставленные глаза. У Пикассо была теория — чем шире расставлены глаза, тем человек талантливее. Он был гений.

Его глаза торчали навывкат, вылезали из лба, казалось, будто интеллект изнутри выдавливал глаза пальцем.

— Жаклин, Жаклин, погляди, кто явился к нам! — завопил он в шутовском ужасе, вращая стрекозиными глазами. И, ерничая, добавил, поддевая гостя: — Ну-ка включи tv. Наверное, его уже показывают. Смотри, какой он снег привез.

Вошла смуглая Жаклин в упругом зеленом платье. Вошел, замер и кинулся лизаться пес Кабул, белая плоская гончая со щучьей загадочной улыбкой.

И началось. Он буйно показывал озаренные зеленым холсты, и везде были Жаклин и пес. Он буйно поволок в подвал, где в дьявольской преисподней гаража дымилась его скульптурная мастерская, стоял орангутанг из металлолома, с головой из капота «шевроле». Млели белые купальщицы с мячом, те самые, которые так повлияли на раннего Мура. Во всем была бешеная поспешность жизни, страсти, все было озарено его счастьем последней любви, последней пылкой попыткой жизни. В доме пахло любовью. Предметы имели ореолы.

Если следовать звездной классификации, Пикассо был «белой дырой».

Это волевые натуры, в которых спрессованы сгустки будущего, память не о прошлом, а о будущем. Обычно это строители, оптимисты, борцы за правое дело. По гороскопу они часто быки.

В отличие от ностальгических черных они победоносны в форме, порой в эмоциональности уступая им. Дело не в размере, а в качестве таланта. Классическими черными дырами были Блок, Лермонтов, Шопен, белыми — Шекспир, Горький и Эйзенштейн. Я не встречал более таких доведенных до абсолюта «белых дыр», каким был Пикассо.

Космонавт, заколачивая в лузу белые шары, рассказывал мне о невесомости:

— Там у стола нет ни верха, ни низа... Режу на полшара!.. Можно подплывать к столу с любой стороны... Хорош своячок. Сейчас мы его нежненько... Чтобы люди не сдвинулись в сознании, остаются условные верх и низ. Нам спроектировали комфортабельные кресла со спинками, мягко поддерживающими усталое тело. Но что поддерживать, если нет притяжения?.. Сейчас зайчиков влупим. И сами себе подставим... Мы, конечно, эти спинки отменили. Психика еще не освоилась с полной свободой от притяжения... Ах, замазан. Жаль.

Меня удивляет, как далеки от действительности некоторые наши романисты, у которых последнее время все героини стали летать.

Их ведьмы летают вверх головой, опустив центр тяжести и другие дела, будто на них еще действует закон притяжения.

Я отчетливо помню, как ты поутру улетала от меня. Ты удалялась попросту, по-нашему вниз головой. Как будто твое отражение. Обратив лицо вниз, к земле, не отводя от меня прощального взгляда.

Над тобою, будто ты подвешена к ним и они уносят тебя, плыли белые туфельки вверх полукаблучками, срезанными наклонно, словно трубы удаляющегося теплохода.

Пикассо мог все. Он преодолел притяжение. Он преступил границу возможностей. Он преступил бездну. Может быть, в этом была его трагедия.

Он не давал мне опомниться. Тащил, оглушал вопросами, чтобы я только не успел прорваться с главным вопросом, вертящимся на языке. Я уже начал: «А не видали ли вы, маэстро...»

Но он затыкает мне рот, попросив прочитать «Гойю» по-русски, и, поняв без перевода, гогочет вслед, как эхо: «Го-го-го!..»

Потом он обжирался дырами.

Склонив набок голову, зажмурясь, он со смачным всхлипом, причмокивая языком, высасывал дыры из черно-лиловых мидий. Стол вокруг него был завален их раздавленными скорлупами с микроскопическими бороздками, как покоробленные осколки грампластинок, на которых записано море. Он шинковал ломтями золотые пахучие дыры дынь, называемых у нас «колхозницами». Затем, опорожнив, выковыряв дыру из банки, он намазывал на ломоть белого хлеба тонким слоем дырки черной икры, так что ломоть становился похожим на маленькое решето. И наконец, подмигнув, высасывал ароматную дыру из темного горлышка пузатой бутылки, оплетенной прутьями, как корзина.

Когда он проходил, дыры шмыгали и забирались в норы. «Тсс! — слышался восхищенный шорох. — Идет пожиратель дыр».

Чревоугодник и чародей, он жадно втягивал в себя все новейшие течения в искусстве, опорожняя мастерские других художников, он присоединял их к своей империи, через них втягивал в себя будущее.

С особым вкусом он показывал керамику. Томилась пепельница в виде слепка женской груди. Хохлились знаменитые голуби. Он торопился внести красоту в ежедневную жизнь всех. Той же идеей красоты для всех мучимы были Врубель и Васнецов в абрамцевской майоликовой мастерской. Этот искус нашего промышленного века. Самая массовая буква «о» одновременно и самая орнаментально красивая из знаков. Красоте тесно в галерейных рамках, ей хочется стать жизнью людей. Она желает, чтобы ее касались губами, брали в теплые руки, наполняли дыханием и вечерним чаем. Чтобы она

шубертовской или сегодняшней легкой мелодией оставалась на устах после радио. Чтобы воздух вокруг людей звучал красиво.

Голубка Пикассо свила свои гнезда в миллионах халуп.

Если бы он одну только «Гернику» написал, он уже был бы художником века. Пикассо был самым знаменитым из всех живших на земле художников. Он не имел посмертной славы. То, что обычно называется ею, он познал при жизни. В этом он преодолел смерть.

Пикассо жаждал знать все.

Вращая, как шарообразным сверлом, своим мозолистым глазом, он вытягивал из меня информацию о публике, бывшей на моем вечере.

— Они же не умеют слушать стихи в театре,— бурчал он.

Мне хотелось не самому рассказывать что-либо ему, а его слушать. Но и видеть, как он слушает, как меняется в лице, было наслаждением.

Я видел, как в доме Арагона раскрытая книга, страница которой разрисована фломастером Пикассо, поставлена в паспарту и застеклена в раму,— в старинном, артистично-аристократическом доме, где вместо лифта вы садитесь в людовиковское кресло и вас подъемником взывают на этаж.

Арагон тогда напоминал худющего тонкогубого заколдованного рыцаря. Одевался он аскетично. Он еще не раскрепостился и не носил белых кудрей до плеч, бархатных, расшитых золотом плащей и золотых туфель.

На моем поэтическом вечере, состоявшемся в театре «Вьё Колombe», справа в зале сидел Бретон с ватагой, слева маячил белоснежный пик Арагона с товарищами. Два поэтища, когда-то братья по сюрреализму, теперь они смертельно враждовали. Зал был похож на омут с двумя круговоротами или электробритву с двумя плавающими ножами. Если справа хлопали, слева закручивался вакуум тишины. И наоборот. Это вообще был первый вечер русской поэзии в театре Парижа. Там ранее не было традиций поэтических вечеров. Поэтому так полярно разнообразна была аудитория. Восседали мэтры, бушевали студенты, шуршали шумные платья мемуаровые. Зал, как корзина для голосования, полная черных и белых шаров, был доверху полон белыми и черными дырами людских судеб.

Рассказанное и виденное исчезало в утробе Пикассо. Он, урча, вбирал информацию о московской художественной жизни, которую знал лишь понаслышке, с трудом разбирая неизвестные ему длинные русские фамилии — еще! еще! — жаждал вобрать всю энергию века, одним из строителей культуры которого он был.

Век проносился, чудовищный и прекрасный, и он торопился придать ему человеческую форму, пока материал не застынет, не отойдет к другим векам и ничего уже исправить будет нельзя.

Да здравствует культура XX века, которую не сжечь, не расстрелять, которая существует! Да здравствует бешеное бессмертие ее мастеров! В потоке мирового сознания по ней, по этой культуре — по кому же еще? — найдут и вспомнят о нас с вами, о нашем веке.

Спасибо, что мы были свидетелями этого века, пока итогового для людской истории. Мы были свидетелями открытия и тюменской нефти, и неиссякаемого источника нового романа Булгакова.

Век стер многие границы. Намечается новая общность людей — творяне, как назвал их на заре века поэт: «Это шествуют творяне, заменившие Д на Т». У каждого из них за спиной свое трудное Т.

«Блажен, кто посетил сей мир...»

Блажен творянин Ефремов, жилистый и мосластый, как бурлак, который, зажав пальцами язву, тянет великую лямку театра! Блажен

творянин Айтматов, прирезавший к своим степям космические угодья! Тарусский творянин Паустовский навечно владеет поместьями среднерусского пейзажа.

Беловежский творянин Бедуля, сломав ногу на ухабах сельского хозяйствования, подняв ее античную гипсину, несется по полям, наклонясь вперед, будто он целует эту землю.

Да будет благословенна творянская рука хирурга, держащего пульсирующее сизое сердце, да будет благословен творянин Рошин, давший обнаженное сердце свое. Потомственный творянин Капица, светясь по вечерам, приходит в миллионы квартир, в их невероятные обыкновенные судьбы. Как щемящи творянская надменность и страдание к живому в августейшем слоге Ахмадулиной!

Похожий на генералов-усачей 1812 года курганский творянин Гаврила Елизаров, Мур наших костей, выращивает, как волшебные каллы и ландыши, новые живые голени, ступни и кисти. Первые узлы расцветают, как орхидеи. Осчастливленной женщине он вылепил новое рубенсовское бедро. Сейчас он, как бамбук, выращивает позвоночник.

Отсутствующий палец вырастает на глазах в белую дыру кости, затем обрастает плотью, и на конце его, как лепесток, распускается ноготь.

Еретику Елизарову было трудно преодолеть людскую косность. Теория не поспевала. Но ноги и руки стремительно росли.

В жизни он то хмуро-сосредоточен, то жаждет шумного общения. Он обожает чудесить с картами. Под его добродушными усами черви у вас на глазах чернеют в пиковки. Я, как и все сначала, не доверял ему, но потом несколько раз из колоды, перемешав ее своими руками, вытаскивал четыре дамы.

В Кургане я пошел в первый класс. С тех пор, может не без его чар, деревянный одноэтажный городишко вырос в девятиэтажный центр с клинкой, которая дает ошеломленному миру уроки магического материализма.

Сущность его метода в том, что кости пронзаются елизаровскими спицами в особом, похожем на шлем космонавта аппарате. Они растут, тянутся к иным измерениям. Маячит элизиум теней — работает Елизаров.

Да здравствует Королев, основавший династию творян Вселенной, прорвавшийся из бездны в бездну, пробивший первую дыру в космосе! Когда я встретил Гагарина, боковой свет окна скользнул по нему, я заметил, как блеснул шрам, рассекший его бровь, — словно белый короткий мазок кисти, которым Феофан метил свои лики. Его любил народ, что непредсказуемо, особенно для судеб на гребне успеха. Место под Киржачом, которое пропахала его бесшабашная гибель, считается чудодейственным. К нему стекаются паломники.

Смоленский творянин Твардовский с напльвшим, как слеза, лицом, высоким голосом пел на всю Европу свою родословную песнь: «Там и утром все дождь, дождь...» Как не хватает в поэзии сейчас его ноты, его великой своенравной фигуры!

Матерый творянин Распутин, сам с черепом, проломанным разбойным ударом, помог творянину Евтушенко в его прозаическом начинании.

Да исчезнут распри между творянами!

Выстраданную речь об упырном потребительстве и пустобрехе произнес на Творянском собрании твердый творянин Федор Абрамов. Не надо плакать над родной землей и умиляться, надо тяжким трудом ее подымать. Нужны люди дела. Кто сегодня спасет землю от запустения, кто взрастит леса, даст людям кров, красоту и продовольствие? Чтобы люди сносно жили и красиво пели. Только творяне.

Впервые на земле все пронизывает один вопрос, вобравший все мучившие человечество вопросы: жить или не жить? Не одному, не городу, не стране — всему роду людскому. Кто может спасти? Только те, в ком жив творянский дух.

Осовелым, завистливым взглядом следят за творянами упыри. В «Гернике» Пикассо обозначил клыки мирового упыризма.

По ночам на заброшенном кладбище вздрагивает крышка гроба. Зеленая рука, как ящерица, выскальзывает из щели наружу, открывая гробовую крышку. Черные норы проваливаются в холмиках могил.

Как сова, встряхнулась урна старого колумбария. Сдвигается крышечка. Из маленького жерла вылетает прах мерцающим роем. Так некогда из жерла вылетал прах Лжедмитрия. Рой обретает очертания тел, материализуется — появляются лжепоэты, лжегерои, лжепередовики. Упыря можно узнать по тухлому взгляду. От его взгляда киснет молоко и увядают молодые поэты. Он внешне энергичен, он делает карьеру, он пробует быть обаятельным. Но люди не любят его, инстинктивно чуя, что под кислым перегаром скрывается сладковатый запах мертвечины. Люди холодны к его «творениям». Он не может ничего построить и сотворить, от этого он ущемлен и ненавидит тех, кто творит и строит.

В ампириных рамах мерцают портреты великих упырей — тех, кто опробовал кровь Пушкина, кто надел удавку на открытую шею Есенина, кто продырявил грудь Маяковского, чтобы долго сосать их бессмертную кровь. С брезгливостью взирают портреты на своих последышей. Где вы, богатырские упыри, перед которыми содрогались восхищенные народы? Нет, не тот пошел упырь. Мелок, склизок, как летучая мышь с детскими пальчиками.

Завидуют. Плетут клевету, интриги, гнусь.

Спят, что метро мешает спать мертвецам. «Закрывать метро», — постановили. А это кто шустрит за столом? Кто следующий на повестке ночи? Уж не наш ли это осведомленный критик? Он водрузил на стол тяжелую дубовую доску с очком посередине. Просунув голову в очко, он, как собака из конуры, вещает: «Водопроводы всё, унитазаы... Забыли мы классические традиции!» Взволнованный, под жидкие аплодисменты уходит к двери. «Куда?» — подозрительно спросили. «Волгу» прогрею. Вьюжит. Да секретку проверю». Через полчаса доносится вороватый шум спускаемой воды. Не тот пошел упырь.

Уханье, хлюп, храп.

Осторожнее, читатель, не шурши платьем. Услышат.

Заметили!

Мерзкие глазенки оборачиваются на вас со злобой и страхом, скользкие мышинные пальчики тычут в вашу сторону.

Погоня. Чур меня, чур!

Упыри преследовали Пикассо. Он должен был покинуть франкистскую упыриную Испанию. И сейчас, когда слышатся речи о «чистом» оружии, гуманно убивающем миллионы, или когда, вздохнув, призывают к ядерной войне, я чувствую упыриный дух. Их, как по фотографиям, можно узнать по «Гернике». Они могут быть образованными. Но разве важно, что они захотят сыграть вам на пусковой кнопке — «Хабанеру» или такты Девятой симфонии?

Недавно в Москве гостил Чик Кореа, исповедующий Дебюсси, Стравинского и Щедрина. Великолепный Чик, небесная мангуста в зеленой жилетке, играл в Доме композитора с нашими музыкантами. На той же клавиатуре блеснул наш Чижик. Золотые трубы Москвы — неистовый узкобородый Козлов, Лукьянов в inferнальном френче, Алексей Зубов с усищами, изогнутыми, как дудки тромбо-

га, — переплелись со сверхъестественным роялем Чика. Они не были трубами апокалипсиса. Это был не обычный «джер». Вдруг, неожиданно оказавшись в зале, вышли на сцену и заголосили девушки Покровского — жемчужные собирательницы и паломницы русской песни. Небесные «о» и «а» российского распева оказались ближе всего к неземному роялю гостя. Это был праздник души. Искушенный зал скандировал. Это звучала нежная погребальная упырям. Объятия культур противостоят мировому разладу.

Пикассо ненавидел фашизм. Режим пытался купить его. Франко заказал ему свой портрет. Пикассо знал, что Франко упырь. Пикассо ответил: «Если он хочет, чтобы я нарисовал его, пусть присылает свою голову». Тореадоры специально приезжали на юг Франции из Испании, чтобы устроить для него корриду. Он рисует на книге, которую дарит мне, быка и пикадора. Это его автопортрет, потому что художник всегда и пикадор и бык одновременно.

И вдруг я заметил, как жадно и жалостливо мелькнул его зрачок, и я понял, что век столетия истекает, но через секунду он уже хохочет и, подмигнув, рисует мне деда-мороза.

Я привез снег в Антиб.

Темные зеленые роци изумленно ежились, как крупной солью пересыпанные снегом.

Мы вышли на морозную террасу. Наконец мы одни. Его слова были окутаны паром. Пар исходил не только из губ его и ноздрей, пар шел изо всех пор его горячего тела, гневного столба его жизни, все тело его клубилось на морозе.

Так же под ярким синим небом, отходя от неожиданного снега, дымилась разомлевшая земля. Пар шел от мокрых скамеек, дымилась и остро,пряно пахли мокрые веники лавровых и апельсиновых кустов, ошпаренных снегом и потом солнцем. Дымилась банная деревянная шайка замка под горой. По розовым разомлевшим дорожкам, как клочок белой мыльной пены и пара, носился счастливый пес.

В бане люди откровенны. Сейчас я спрошу его.

Не подозревая, что они ему позируют, внизу, под горой, млели с ручейками между лопаток женственные стены домика из розового известняка. Шла великая парилка. И далеко внизу, скорее угадываясь в тумане, млело море, дымящееся, как Ватерлоо старинной гравюры, бездонная загадка существования, история.

А надо всем этим слева от меня торжествовал, кричал, дымился жизнью гениальный банщик с ровным клочком как будто мыльной белой пены вокруг загорелого загривка. Он весь был окутан паром, порой только веселый и отчаянный глаз проглядывал в просвет между белыми клубами.

Я отвернулся, следя взглядом за буксовавшей машиной, газующей на нижнем шоссе.

Когда я опять обернулся к нему, рядом со мной стоял столб пара. Пар рассеялся. Пикассо не было.

Я обернулся через двадцать лет.

Отверстая черная дыра затянула его, неужели и его тоже?

Очень может быть, что ты мстишь мне, насылая на меня как радиопомехи всякие воспоминания. Или я заразился от тебя, подхватив бактерию памяти? Какой бы поступок я ни совершил, одновременно происходит со мной уже бывшее в моей нынешней или прошлой жизни. Где-то ты носишься, как темный спутник связи, посылая

мне через себя непрошеное прошлое? Сам процесс памяти для меня связан с тобой, он представляет тревогу и, не скрою, наслаждение. Кого бы я ни вспоминал, вспоминал тебя. Как ты, наверное, там мстительно торжествуешь — я не расstaюсь с тобой.

«Отец мужчины — детство», — читаем у Вордсворта.

Я родился в Москве. Но с детских лет мое московское «а» обка-
тывалось круглым «о» володимирской речи.

На моих глазах овальная музыка речи обрела форму.

Так же округлы были холмы над рекой, облака, праздничные яйца, крашенные суриком, золотом и жареным луком. Овальным, за-
вершенным был уклад жизни и скорлупы лесных орехов, которые мы собирали огромными корзинами, а потом сушили на крыше. Сбирать орехи радостно. Не надо сгибаться. Когда берете гриб или ягоду, надо сначала поклониться, как бы благодаря их за то, что берешь. Бруснику же вообще собирают на коленях.

Орешник по росту вам. Впрочем, лесные орехи круглы-то круглы, но имеют вверху шлемовидное завершение. Они растут на ветках кучками, по четыре-пять, прижавшись один к другому, каждый в своем зеленом гнездышке. Их светлые затылки торчат из зеленых гнезд, как выглядывают из зелени на холмах уменьшенные далью пятиглавые соборы.

Сродни этой плавности были широкая окружность огромного города, из которого я приехал, образованного семью холмами и двумя кольцами — Садовым и Бульварным (в отличие от прямоугольной планировки Ленинграда или Нью-Йорка).

Свердловчанин Севастьянов рассказывал, что из черного космоса Москва выглядит ромашкой с круглым центром и лепестками новых кварталов, оборванных, как при гадании «любит — не любит».

Я знаю наклоны, повороты и подъемы этого города сердцем и кишками, не раз прогнав по Садовому на велосипеде. Четой белеющих берез моего детства были две старые амбирные колонны на Полянке, с облупленной штукатуркой, как яичная скорлупа, и проступившим кирпичом под ними. Но странное дело, колонны эти никак не противоречили и душевно сочетались со статными владимирскими берестяными сестрами.

Сейчас много и правильно говорят о душевной общности и стиле литературных школ — вологодской, ростовской, рязанской и т. д. Думаю, что философам нашим надо подумать о душевном складе и стиле мышления уроженцев Чистых прудов и Замоскворечья.

Сердце так же стонет, как от порубленной рощи, от снесенных кварталов и оград.

Арбат — это наш вишневый сад.

Что ты хочешь сказать, насылая на меня эти круглые воспомина-
ния, зачем ты хочешь закружить меня?

Отпадайте, кружитесь, вращайтесь, вытягивайтесь макаронами по окружности, смазанные лица, сгущенкой и мазутом вытягивай-
тесь, глаза!

Я кружусь на спор, раскинув руки буквой «т», окруженный сверстниками двора, на встающей вертикально мостовой.

Двадцать, тридцать! Подступает взлетная тошнота. Сорок. Шире круг! Сливайтесь в туман, дворовые мучители! Шире круг. Я взлетаю пропеллерным винтом над качнувшимся двором. Шире круг! Кру-
жись, жизнь, я обожаю тебя.

Шире круг. Я — Василий Блаженный. Я кружусь хороводом моих раскрашенных неслыханных куполов.

Движение замедляется. Я застываю в историю. Людские фигурки проступают сквозь великий туман.

Я окружен практикантами с подрамниками. Они рисуют меня. Я не вижу, что на подрамниках. Но в их лицах отражаются мои пожары и вековой туман.

Вот один, тощий, отходит от рисунка, пятясь, чтобы сравнить нарисованное со мной. Он отступает еще. Его губы что-то бормочут. Я не слышу что, но понимаю, что это имеет отношение ко мне. Он отходит еще. Вот уже его не видно в толпе. Он отходит от архитектуры. Он уходит в поэзию.

Основное мое детство и отрочество прошло на Большой Серпуховской. Лиричность владимирского зодчества отразилась в полуутопленных арках зала метро «Добрынинская» — самой сердечной из московских станций. Она, как владимирская бабушка или мамка, стояла на выходе из моего детства, будто приехала в столицу приглядывать за ним, направляя пути начинавшейся жизни. У всех были свои Арины Родионовны, у меня — эта.

Архитектор Павлов, прежде чем нарисовать ее, провел ночь в июле 1945 года с церковью Покрова на Нерли — самой женственной жемчужиной русской архитектуры.

Тогда рядом с нею существовала колокольня. В ней сушили сено. Сторож разместил Павлова на ночлег на этом поднебесном сеновале. Затаившись, не дыша, он сверху наблюдал за изменением ее состояния. Ее светлые дуги отражались в воде. Два ее рассветных часа волшебны.

Сначала она была сумеречно-серой, потом стала голубой. Потом зарделась смущенным розовым. Затем обрела ровный желтый спокойный свет. «Это как женщина, все познавшая», — взволнованно рассказывал он, воровски пряча свой голубой взор, теперь понятно, откуда похищенный. Потом она стала белой.

Приехав в Москву, он за один вечер нарисовал проект станции. Его потом крепко прорабатывали за поклонение древнерусской архитектуре, а заодно почему-то и западной. Но она уже была построена, и навеки в ее подземных залах отразились белые и палевые очарованные очертания Покрова на Нерли. Одни из первых моих стихов были об этом храме, и даже теперь, когда он стал туристическим объектом, свет его неиссякаем.

Во Владимирской области на границе с Горьковской есть места с дурной славой — это обычно низины с заболоченным хмурым пейзажем. Там даже местных жителей начинает «водить». Вы кружите полдня по лесу и потом выходите к тому же месту как бы под тяжелым гипнозом. Народные суеверья относят это к влиянию ведьм или русалок. Что ты водишь меня по кругу, плутаешь, путаешь меня в чащобах памяти, возвращая все к тем же воспоминаньям?

Ориентировалась ты по излучению. У тебя не было глаз, ушей, чтобы узнавать цвет или звук. Порой ты забиралась в кого-нибудь, как кошка в старую туфлю, и из него наблюдала мир.

Однажды ты вселилась в школьницу, напаяв ее на себя, как комбинезон. Ее ноздрями и зрачками ты поняла, как пахнет белый гриб, как красна рябина. Ты проникла в мир наших первичных ощущений, для тебя наивных и свежих, как Пиросмани. Этот мир увлек, влюбил тебя.

Во время сдачи прыжков на норму ГТО школьница невзначай зыркнула на трех зазевавшихся кошек. Те сникли под ее взглядом. Школьница взлетела без шеста на четыре сорок, однако, взлетев в зенит, увидела под собой изумленные лица, поняла, что, видно, делает что-то не то, и с половины прыжка скромно вернулась к исходной точке.

Но на уроке истории школьница ляпнула две фразы, в бездне информации которых утонул учитель. Он свихнулся. Тебя увезли в

«скорой помощи». В унылом доме, куда тебя привезли, санитары не верили тебе, что Петр Первый был сыном Никона, и оказались противниками 17-го уравнения Бора. Вырываясь от них, ты порезала руку об пробитое окно, как рвут брюки, пролезая через забор. Ты была в крови, было больно, по-человечьи отчаянно, ты была в смятении — ты побежала по проволоке электропередачи вдоль загородного шоссе. Под тобой бежали санитары, толпа, выли сирены.

Ты не понимала, в чем дело. Ты приносила людям, в которых радостно вселялась, несчастья. Потом ты вселилась в поэта Репкина. Он написал гениальную поэму. Но все опять кончилось плачевно — он развелся.

Обиженная шаровая энергия освобожденно летела над рекой.

— Эй, тетка, почему ты ко всем цепляешься, такая злая, кожу ободрать норовишь?

— Жизнь меня насквозь всю издырявила. Вот и стала, как терка.

У деда в саду было два улья. Над ними кружился золотой гул в форме роя. На речке дед учил меня плести корзины из лозы — согнутые в дуги, стояли остовы для корзин, как овальные рамы, белые и скользкие прутьевые рамы речного пейзажа.

Оказывается, что я всю жизнь как бы готовился к встрече с тобой, не могла же ты подтасовать все эти крутяшки в моей памяти?

А вечерами дугами вытягивались гармоника, а в последние годы трофейный аккордеон. Крашенная перекистью красивая продавщица с синими наведенными бровями и в трофейных чулках с черным швом, поддавшая, но в норме, выходила из круга и, сдав подруге на сохранение лаковую сумку, подбоченивалась кренделем и кричала свежую частушку. Ее речевой слой отличался речным вольным воздухом от намуренного блатного фольклора многоэтажных дворов. В самой жизни, как бы тяжела она ни была, незримо присутствует светлый рублевский овал, созданный, как известно, в години народных бедствий, когда жгли города и живьем по пояс закапывали людей в землю.

На попутном грузовике по знаменитой Владимирке мы приезжали в город с белым кремлем на холме.

Белокаменный проем арки гениальных Золотых ворот обретал форму О, по пояс врыгую в землю.

Одолело виденье!

Одугловатый медвяный образ преследует меня.

Отстань! Таких уже нет больше в нашей жизни. Я прилеплю тебя к этой странице, чтобы ты от меня отцепился.

Круглых дураков мне не встречалось, зато овальных хватает. Зайдешь к нему, к редактору, в кабинет. У него абсолютный вкус. Его глазки мгновенно сужаются, найдя лучшую строку. «Гениально», — сладострастно стонет он и вычеркивает ее. У поэта Вентилянского есть тетрадь вычеркнутых им строк из разных авторов. Это целая антология. К счастью, не все редакторы, даже в пятидесятые годы, были такими.

Судьба чаще заносила меня в круг добрых людей — это высоченный, из породы переделкинских сосен, недостижимый энциклопедист Чуковский; это домашний Маршак с плотно прихлопнутым ртом, похожим на сказочный кошелек, набитый золотыми монетами слов; это первый силач из московских поэтов Коля Глазков, в обхватку боровшийся с зеленым змием; это, может быть, самый щедрый из людей Зураб Церетели, под палящим солнцем сам своими пальцами выкладывающий квадратные километры мозаики, чтобы потом было что всем раздарить.

В С. С. Наровчатове была голубоглазая грузность екатерининских военачальников. Его окутывала пороховая и волшебная дымка российской истории. Его серый пиджак бывал помятым, но мне всегда казалось, что его согнутая в локте рука держит треуголку и жемчужный фельдмаршальский жезл. Легкая одышка напоминала о тяжелых перевалах судьбы.

Отношения у нас были заповедными. Когда-то он побранил меня в статье. Озлившись, я печатно обозвал его Нравоучатовым. Другой бы мстил. Но он был творянином. В нем была широта. Мы встретились и говорили о судьбе и истории, он сказал, что не все понимал, он поделился замыслом своего рассказа о диспуте с Иоанном Грозным, подначивал меня опробовать прозу. В его взоре синела смущенная нежность художника и книжного княжича. Он напечатал наиболее дорогие мои вещи и написал в «Правде» обо мне самую лестную статью.

Около Владимира, во Мстере, учился Павлов. Павлов — творянин из дворян. Брат его матери генерал Костяев, герой германской войны, знавший семь языков, стал начальником Полевого штаба Красной Армии, был в числе десяти обладателей четырех ромбов. В детстве Павлов дома близко общался с Тухачевским, с не снимавшей шляпку Коллонтай, играл в городки с бородатым Дыбенко. Когда Деникин подходил к Москве, под Тулой голодная дивизия взбунтовалась против Троцкого и грозила перейти к Деникину. Ленин послал Костяева. Человек безумной храбрости, он в одиночку вышел на митинг перед разбушевавшейся стихией и распахнул командармскую шинель. Под ней был надет генеральский мундир с золотыми эполетами, лентами и орденами. «Видите, я царский генерал, стал красным. А вы?» Он убедил.

Павлов спроектировал в красном порфирном камне павильон для траурного ленинского поезда, который сейчас стоит на Павелецком вокзале. Сейчас он сдает рабочие чертежи музея-хранилища в Горках. «Я применил в нем свободную композицию объемов Василия Блаженного», — говорит он. Я гляжу на эти беззаконные кубы — будто купола Блаженного бережно ушakovаны в картонные ящики для отправки в иные века.

Областное Владимирское издательство выпустило первую мою книгу. Нашла меня редактор Капа Афанасьева и предложила издаться. В России нет литературной провинции.

Капа была святая.

Стройная, бледная, резкая, она носила суровое полотняное платье. Правое угловатое плечо ее было ниже от портфеля. Она курила «Беломор» и высоко носила русую косу, уложенную вокруг головы венециановским венчиком. Засунутые наспех шпильки и заколки осыпались на рукописи, как сдвоенные длинные сосновые иглы.

Дома у нее было шаром покати.

Они с мужем, детьми и бабушками ютились в угловых комнатах деревянного дома. Вечно на диване кто-то спал из приезжих или бездомных писателей. У нее был талант чутья. Она открыла многих владимирских поэтов. Быт не приставал к ней. Она ходила по кухне между спорящими о смысле жизни, не касаясь половиц, будто кто-то невидимый нес ее, подняв за голову, обхватив за виски золотым ухватом ее тесной косы. В ней просвечивала тень тургеневских женщин и Анны Достоевской. На таких, как она, держится русская литература. Когда Некрасов писал о русской женщине, он писал о Капе. В ней выпрямилась судьба нашей земли, которая не согнулась прежде, которая не гнется и в сегодняшних тяготах и высоко несет свой русский венчик.

Когда вышла «Мозаика», грянул гром. Это была пора перегибов, которые потом называли волонтаризмом. Позвонили прикрыть тираж, но его уже продали. Капу вызвали в большой город. Сановный хам, собрав совещание, орал на нее. Обвинения сейчас кажутся смехотворными — например, употребление слов «беременная», «лбы». Он шил политику. Капа, тихая Капа прервала его, встала и в испуганной тишине произнесла вдохновенную речь в защиту поэзии. И, не dokonчив, выскочила из зала. Потом несколько часов у нее была истерика. Ее отстранили от работы.

Капа, прости меня.

В тот момент в «Неделе» шли мои набранные стихи. Мне удалось к одному стихотворению поставить посвящение ей. Спустя некоторое время вмешалась справедливость. Капу назначили главным инженером типографии, даже повысив оклад. Последний раз я видел ее во Владимире, когда мы приезжали играть «Поэторию».

Ее золотой венчик, сплетенный, как ручка от корзинки, поблескивая, возвышался над креслами. Когда Зыкина под колокола пела «Матерь Владимирская единственная...», она поклонилась Капе.

«О» — это вздох, кислород языка.

Овалами антоновки тяжелела яблоня. Ее прогибающиеся ветви дедушка подпирал рогатинами.

Она стояла за домом, против рассвета. Каждое утро из-за спины силуэт ее омывался сиянием. Сквозили лучи в косую линейку. Силуэты яблук были обведены сияющими ободками, как прописные буквы «О» с нежным нажимом, будто утро учило чистописанию.

Из-под одного яблока змеился червячок, как незнакомая еще мне «Q».

О моя первая учительница письма! Тысячи лет назад в ином саду другая первая учительница, робея, протянула сияющую овальную букву, с которой начался род человеческий.

Наливалось дерево языка. Вначале было слово, не имеющее формы. Человек свято и греховно сотворил форму для слова, создав кириллицу, рисунок, скульптуру.

Мне снится, как мне снится золотое дерево языка! Оно растет сквозь меня, всасывая мои соки, оно прорастает сквозь мою жизнь, шумит кроной надо мной.

Крона языка — моя навязчивая идея. Мне хочется на какой-нибудь площади поставить монумент языку. Это будет памятником ушедшим великим словам — «нелепо ны бяше братия», — это будет вечный огонь живого слова. Там сольются поэзия и архитектура. Как колокола, будут раскачиваться золотые «А», сережками будут звенеть «С», фыркнет филином «Ф», будут наливаться винные гроздья «О» — крона должна быть золотой, слегка качаться от нагреваемого воздуха, от света, человеческого дыхания.

Я вглядываюсь в образ. Это не совсем дерево. Я не вижу ствола. Какой же ствол у языка? Я понял — это должно быть Облако. Наши жизни, испаряясь, превращаются в золотое Облако языка. Золотое облако будет парить над площадью. А дерево пригодится для другой идеи.

Как решить это конструктивно? Надо бы проконсультироваться. Консоли или ванты не годятся. Облако не может быть подвешенным. Мощное силовое магнитное поле лучше, но магнитные колодки будут портить вид. Да и дорого. Я думаю поставить облако на воздушную подушку. Ведь есть же корабли, поезда, да и танк на воздушной подушке, она выдерживает. Облако будет стоять на четырех столбах из сжатого воздуха. Один пониже — по центру, — три наклонных воздушных столба с боков будут удерживать облако от

смещения. Сквозь подрагивающий воздух будут просвечивать деревья парка, будто на площади стоит вечно дрожащая золотая осень.

Материалом, думаю, должна быть медь. Титан холодноват. Никель слишком шикарен. А может быть, спрессованный свет? Конечно, в идеале было бы взять купольное золото, это было бы торжественно и светоносно, в зеркальной поверхности отражались бы жизнь, люди, облака — язык же живой! — и по городу дрожали бы зайчики — золотое Облако языка.

Я беру подрамник. Забиваю с обратной стороны гвоздики для лески. Замешиваю крутой клей из ржаной муки. Мочу в ванной широкий рулон бумаги, натягиваю, прижав поплотнее углы, гляжу, чтобы не было складок. Оставляю горизонтально — вялой мокрой простыней.

Рано утром гляжу — как празднично натянулось! Упруго, но податливо, а не туго, как барабан. Бумага дышит.

Так бог без единой морщинки натягивает за ночь снежное квадратное переделкинское поле и крышу над нашей халупой.

Проверив леску, натягиваю свежеобструганную горизонтальную рейку. Провожу первую линию. Она звенит, как струна.

Одержимость только может оправдать обучение в Архитектурном институте.

Читатель, знаете ли вы, что такое ионики?

Конечно, вы знаете, что это архитектурная деталь яйцеобразной формы, принадлежность ионического и, конечно, коринфского стиля. Они примостились в центре ионической капители, будто некая божественная и коварная птица снесла три белых яйца между рогов ионического барана. По форме они странно напоминают оники, как в старину называли букву «о». Даль приводит пословицу: «Брюшко оником, ножки — хером».

Давайте нарисуем с вами хотя бы эти три ионика.

По форме они не круглые, а сужаются книзу. Их не вычертишь ни по линейке, ни по лекалу, ни циркулем — только от руки. Один должен идеально походить на другого. Их рисуют от руки, через кальку, зачернив обратную сторону грифелем, слегка продавливают легкий контур, а потом обводят острейшим, самым твердым карандашом «6-НН». Постоянно замеряют точки измерителем. Вы уже устали, читатель? ooo

Но их надо нарисовать целый карниз — три тысячи микроскопических, каторжных, лукавых яичек. Доцент Хрипунов будет злобно проверять каждый из них. В Камероновской галерее, которую я вычерчивал, их было несколько тысяч. Легче почистить двадцать ведер картошки, обстругав ножом овальные клубни, как приходилось во время дежурств в солдатской кухне.

Нет, вы не знаете, что такое ионики!

Опаздывая, я шел по знакомой лесной дороге. Я знал, что сейчас будет подъем и поворот и слева ориентир — сосна с могучей веткой на уровне двух человеческих ростов, почти достающей дорогу.

Из-за поворота появилась сосна. Но что это?

На ее груди щемяще и драгоценно блистал прикрепленный золотой образ богоматери. Он стоял на полочке.

Приблизясь, я понял, что это такое. Ветку выдрали, как вырывают руку из живого сустава. Образовалась овальная свежая древесная яма. Среди багрово-темной коры она сияла, как молодое золото.

Волокна по диаметру образовывали подобие нимба, оклад вокруг плеч. Дыра темнела, принимая женский силуэт. Крупные слезы смолы горели в вечернем солнце. Слева вниз бежала застывшая белая, как соляная, дорожка. Снизу сук был подрублен топором, что и дало резкие отщепленные линии обруба, которые создавали впечатление деревянной полочки.

Она, видно, разрослась и хлестнула по машине. Ее, видно, вырывали с мясом и подрубали, став на кузов. Мне стало стыдно.

Так образуется дупло.

Крона культуры недосыгаемо осеняет нас.

«Отсоедините, пожалуйста, девушка! Кто-то подключается. Нет, это не бюро обмена. Я просил Тбилиси. Алло, Скульптор, ты слушаешь? Ты можешь вылепить руку? Да, принялся за старое. Помнишь, мы хотели сделать памятник Нонешвили? У меня есть идея. Скажи Медее. В его жизни, в его маленьком лице было трепыхание струи, этот трепет самоотдачи многим даже казался суетным. Его рукой Грузия положила цветы на гроб Пастернака. Я спроектировал питьевую струйку. Она бьет из белой пригоршни. Сквозь пальцы вода стекает в крохотный бассейн, образованный его лежащими грузинскими инициалами. В Тбилиси жарко. На кладбище все хотят пить. Вода драгоценна. Он жил, чтобы его пригубили. Я думаю, из мрамора. Или из органического стекла. Кроме того, у меня есть идея Облака».

Отключили.

Окончив серию «Бомбоубежищ», Мур отправился на родину в Йоркшир, где спустился в забой, в глубины рождения и детства и создал серию рисунков, посвященных страшному и великому труду шахтеров во время войны. Он рисовал в полной темноте. Мур впервые обратился к мужским фигурам. Труд шахтера под стать труду скульптора. Прорубаются тысячелетия, спрессованные в уголь.

Мрак. Свет фонарей из лба. Слепая белая лошадь. Сваи креплений. Голые мускулистые фигуры.

Мы идем за ними в прорубаемом коридоре. В проеме брезжит свет. Непроглядная стена рушится.

Иные пространства, иные дни. Встречные лица. Оранжевые, по форме как грецкие орехи, подземные каски.

Мы попадаем в необлицованную металлическую трубу туннеля с поперечными ребрами. Поблескивают уже проложенные рельсы, много воды на стенах и под ногами. Два парня в касках толкают вагонетку с бетоном. Один оборачивается — у него лицо подпaska. В бытовке на столе рядом, за извествленной бутылкой из-под кефира, прислонены к окну два пакета с апельсинами. По восторженным подземным оборотам речи мы понимаем, что идет строительство метро «Нагатинская».

Из темноты клубится сияние. Между прорабами, бетонщиками, лимитчиками, грунтовыми судьбами, как гипсовый кулак, вздымается белая голова архитектора Павлова. «Перекосили!» — стонет он. Его лепные локоны сжимаются гневно, как пальцы. Он как лепная белая дыра носится по подземелью. Оказалось, не перекосили.

В спокойном состоянии зодчий похож на белый мраморный бюст Гёте, если бы скульптор, оставив волосы беломраморными, лицо бы отлил в бронзе.

Среди ора и толкучки он несет сияние взгляда на закинутаом лице, как официант над головами пронесит на закинутой руке поднос с сияющим хрусталем, наполненным волшебной влагой.

Это первая в Москве подземная станция с круглыми колоннами. Вот они стоят — скользкие, из белого мрамора под обрез, от пола до потолка.

Трудно было пробить этот проект, осуществлять — адски. Строители отказываются от круглой формы — она невыгодна и трудновыполнима. Круг — форма идеальная. Мука его выкладывать. Ни угрозы, ни деньги, ни поллитры здесь не властны. Только если рабочий влюбится в ваше создание, станет создателем, вложит душу, колонна закрутится. До сих пор этого под землей никому не удавалось.

Подходит рабочий. Столбовой творянин. Он полон какой-то невысказанной благости. Ему надо, чтобы его поняли. Когда он приближается к колонне, белым отсветом наполняется его худое лицо, каждая морщинка вспыхивает. «Да ведь как сложно класть-то, — сияет он. — Одна плитка горбатенькая, другая пузатенькая. Подгоняешь. Ведь первая такая станция с круглыми колоннами. Надо не орачиться. Еще никому не удавалось».

Оранжевые щиты забора ограничивают участок стройки. Выходим по шатким доскам в раскисшую от дождя глину. Вход уже замраморован. На нем проступают эмблемы «Спартак» и «ЦСКА». Справа в щели забора раскинулся огромный город, в котором мы с вами живем. К полям и роцам проносится Варшавское шоссе. Слева в двадцати метрах от забора расположилась платформа электрички «Нижние Котлы». Затормаживаются и проносятся зеленые воскресные вагоны, битком набитые черемухой.

Из проема в заборе на платформу выбегает долгогривый паренёк с лицом подпaska. Он уже успел переодеться. На нем брусничная рубашка навывпуск. Он несет два пакета с апельсинами. Он с размаху прыгает в утрамбованную спинами, раскрытую дверь электрички. Пакет рвется, апельсины раскатываются по платформе, как лихо разбитая бильярдная пирамида. Вагон трогается с прищемленным в дверях хвостом брусничной рубашки.

Один апельсин поскокал по платформе, скатился по ступенькам, прокатился по асфальту переезда, как колобок, провильнул между уже двинувшимся потоком машин, пролетел какой-то темный промежуток, покатился по другому тротуару и ткнулся в дубовую дверь отеля «Черти».

Отель «Черти» — антибуржуазный, наверное, самый несуразный отель в мире. Он похож на огромный вокзал десятых годов, с чутунными решетками галерей — даже, кажется, угольной гарью пахнет. Впрочем, может, это тянет сладковатым запретным дымком из комнат.

Здесь умер от белой горячки Дилан Томас. Здесь вечно ломаются лифты, здесь мало челяди и бытовых удобств, но именно за это здесь платят деньги. Это стиль жизни целого общественного слоя людей, озабоченных социальным переустройством мира, по энергии тяготеющих к «белым дырам», носящих полувоенные сумки через плечо и швейцарские офицерские красные перочинные ножи.

В лифте поднимаются к себе режиссеры подполного кино, звезды протеста, бритый под ноль бакунинец в мотоциклетной куртке, мулатки в брюках и пиджаках из золотого позумента, надетых на голое тело. На их пальцах зажигаются изумруды, будто незанятые такси.

Его я встречал пару раз в лифте.

Ширли Кларк, черная режиссерша подпольного кино, чмокая

слова улыбающимися вывернутыми губами и языком, будто сося апельсиновую дольку, рассказывала его историю.

Это была история певца, кажется, югославского, его мгновенной сказочной славы. Он происходил из загорной суровой части страны, какой — Ширли так и не могла пояснить, но которая сильно пострадала во время войны.

Он сочинял песни. Сюда он приехал на выступления. Один продюсер, уехав на месяц, поселил его в своем трехкомнатном номере в «Черти». Крохотная прихожая вела в огромную гостиную с полом, застеленным серым войлоком. Далее следовала спальня.

Началась мода на него. Международный город закатывал ему приемы, первая дама страны приглашала на чай. У него кружилась голова.

Она была одним из доказательств этого головокружения.

Она была фоторепортером. Порвав с буржуазной средой отца, кажется австрийского лесовика, она стала люмпеном левой элиты, круга Кастро и Картасара. Магнитная вспышка подчеркивала ее близость к иным стихиям. Она была звезда, стройна, иронична, остра на язык, по-западному одновременно энергична и беззаботна. Она влетала в судьбы, как маленький солнечный смерч восторженной и восторгающей энергии, заряжая напряжением не нашего поля. «Бабочка-буря» — мог бы повторить про нее поэт.

Едва она вбежала в мое повествование, как по страницам закружились солнечные зайчики, слова заволновались, замелькали. Быстрые и маленькие пальчики, забежав сзади, зажали мне глаза.

— Бабочка-буря! — безошибочно завопил я.

У них был небесный роман.

Взяв командировку в журнале, она прилетала на его выступления в любой край света. Хотя он и подозревал, что она не всегда пользуется услугами самолетов. Когда в сентябре из-за гроз аэропорт был закрыт, она как-то ухитрилась прилететь и полдня сушилась.

Ее черная беспечная стрижка была удобна для аэродромов, раскосый взгляд вечно щурился от непостижимого света, скулы лукаво напоминали, что гунны действительно доходили до Европы. Ее тонкий нос и нервные, как бусинки, раздутые ноздри говорили о таланте капризном и безрассудном, а чуть припухлые губы придавали лицу озадаченное выражение. Она носила шикарно скроенные одежды из дешевых тканей. Ей шел оранжевый. Он звал ее подпольной кличкой Апельсин.

Для его суровой снежной страны, как, наверное, и для нашей, апельсины были ввозной диковиной. Кроме того, в апельсинном горьком запахе ему чудилась какая-то катастрофа, срыв в ее жизни, о котором она не говорила и от которого забывалась с ним. Он не давал ей расплачиваться, комплексуя со своей валютой.

Не зная языка, что она понимала в его славянских песнях? Но она чуяла за иступленностью исполнения прорывы судьбы, за его романтическими эскападами, провинциальной неотесанностью и развязностью поп-звезды ей чудилась птица иного полета.

В тот день он получил первый аванс за пластинку. «Прибарахлюсь, — тоскливо думал он, возвращаясь в отель. — Куплю тачку. Домой гостинцев привезу».

В отеле его ждала телеграмма: «Прилетаю ночью тчк апельсин».

У него бешено заколотилось сердце. Он лег на диван, думал. Потом пошел во фруктовую лавку, которых много вокруг «Черти». Там при вас выжимали соки из моркови, репы, апельсинов, манго — новая блажь большого города. Буйвологлазый бармен прессовал апельсины.

— Мне надо с собой апельсинов.

— Сколько? — презрительно промычал буйвол.

— Четыре тыщи.

На Западе продающие ничему не удивляются. В лавке оказалось полторы тысячи. Он зашел еще в две.

Плавные негры в ковбойках, отдуваясь, возили в тележках тяжелые картонные ящики к лифту. Подымали на десятый этаж. Постояльцы «Черти», вздохнув, невозмутимо смекнули, что совершается выгодная фруктовая сделка. Он отключил телефон и заперся.

Она приехала в десять вечера. С мокрой от дождя головой, в черном клеенчатом проливном плаще. Она жмурилась.

Он открыл ей со спутанной прической, в расстегнутой полузаправленной рубашке. По его растерянному виду она поняла, что она не вовремя. Ее лицо осунулось. Сразу стала видна паутинка усталости после полета. У него кто-то есть! Она сейчас же развернется и уйдет.

Его сердце колотилось. Сдерживаясь изо всех сил, он глухо и безразлично сказал:

— Проходи в комнату. Я сейчас. Не зажигай света — замыкание.

И замешкался с ее вещами в полутемном предбаннике.

Ах так! Она еще не знала, что сейчас сделает, но чувствовала, что это будет что-то страшное. Она сейчас сразу все обнаружит. Она с размаху отворила дверь в комнату. Она споткнулась. Она остолбенела.

Пол пылал.

Темная пустынная комната была снизу озарена сплошным раскаленным булыжником пола.

Пол горел у нее под ногами. Она решила, что рехнулась. Она поплыла.

Четыре тысячи апельсинов были плотно уложены один к одному, как огненная мостовая. Из некоторых вырывались язычки пламени. В центре подпрыгивал одинокий стул, будто ему поджаривали зад и жгли ноги. Потолок пыл алыми кругами.

С перехваченным дыханием он глядел из-за ее плеча. Он сам не ожидал такого. Он и сам словно забыл, как четыре часа на карачках укладывал эти чертовы скользкие апельсины, как через каждые двадцать укладывал шаровую свечку из оранжевого воска, как на одной ноге, теряя равновесие, длинной лучиной, чтобы не раздавить их, зажигал свечи. Пламя озаряло пупырчатые верхушки, будто они и вправду раскалились. А может, это уже горели апельсины? И все они оранжево орали о тебе.

Они плясали в твоём обалденном черном проливном плаще, пощечинами горели на щеках, отражались в слезах ужаса и раскаянья, в твоей пошатнувшейся жизни. Ты горишь с головы до ног. Тебя надо тушить из шланга!

Мы горим, милая, мы горим! У тебя в жизни не было и не будет такого. Через пять, десять, через пятнадцать лет ты так же зажмуришь глаза — и под тобой поплывет пылающий твой единственный неугасимый пол. Когда ты побежишь в другую ванную, он будет жечь тебе босые ступни. Мы горим, милая, мы горим!

Мы дорвались до священного пламени. Уймись, мелочное тщеславие Нерона, пылай, гусарский розыгрыш в стиле поп-арта!

Это отмщение ограбленного детства, пылайте, напрасные годы запоздавшей жизни. Лети над метелями и Парижами, наш пламенный плот!

Они зовут давить их, кувыркаться, хохотать в их скользком, сочном, резко пахучем месиве, чтобы дальние свечки зашипели от сока.

В комнате стоял горький чадный зной нагретой кожиры.

Она покосилась, стала оседать. Он едва успел подхватить ее.

— Клинический тип,— успела сказать она.— Что ты творишь! Обожаю тебя...

Через пару дней невозмутимые рабочие перестилали войлок пола, похожий на абстрактный шедевр Поллока и Кандинского, беспечные обитатели «Черти» уплетали оставшиеся апельсины, а Ширли Кларк крутила камеру и сообщала с уважением к обычаям других народов: «Славянский дизайн».

Отдохнем, мой читатель. Оторвемся в глушь. Сейчас такой июнь и омут!

Скрывшись от посторонних глаз, как волшебный столбняк фиалок на полуметровых стеблях, цветет баснословный остров молодой сильной лесной крапивы.

Этого не увидишь у затурканных дачных крапив.

Лесная крапива дает сильные лиловые цветы, размером похожие на фиалки. Они растут столбцами, как гиацинты, вокруг стеблей. Каждое соцветие формой напоминает лиловый львиный зев. Я заметил, что цветут только молодые крапивы с мелкими листьями. Орясины с большими листьями цветов не дают. Я очень люблю эти заповедные цветы.

В них есть блеклая гамма Борисова-Мусатова, острая зелень Гончаровой. Они напоминают угрюмство молодой Цветаевой. Потом она гибла от быта, мыла посуду, имела колючий нрав, но цвела упрямо и заповедно. Люблю эти цветы.

Давайте я нарву вам, милый читатель, дикую охалку крапивы, она молодая, не так жжется, это будет с ней потом, когда ожесточится.

Вы поставьте этот ворох в ведро с водой, лучше колодезной.

После первых гроз красиво
фиолетово цветет
некрещеная крапива —
розы северных широт.
Иностранцы и кассиры
не познают до конца,
в чем скрывается России
ведьмовидная краса.
Будет в доме изумленном
острый запах красоты
и лиловые с зеленым
декадентские цветы.
Этот омут декадентский,
притаившийся в шипах,
так похож на нрав твой женский
в фиолетовых шелках.

Тебе много ломали цветов, черемухи, роз, я и сам наламывал тебе сирень, но уверен, что никто не дарил крапивы,— а ведь как свежа и хороша! Я дарю полную охалку, вон девчонки у речки смеются — мужик крапиву рвет, наверное, лечится, я рву, я дарю её вам, переполненную охалку, уже рук не хватает, столько ее вокруг. Я дарю вам всю опушку, весь остров дарю, да и что там — все оставшееся...

В траве прошелестел Осведомленный критик.

Отряхнув пыль с ботинок, блудный сын архитектуры, уставший от пустопорожних дрызг непоправимой жизни, я припаду к квартирной двери с табличкой «Л. Н. Павлов».

Давние годы отворят мне. Они ни о чем не спросят. Да и я ничего не скажу.

По лицу Павлова плавает свет. Павлов — Человек-сиянье. Сказать, что у него глаза, как синие плоски, — ничего не сказать. Его загорелое, широкой лепки лицо закинута, как пригоршня голубой родниковой воды. Он ходит, подняя голову к небу, чтобы не расплескаться взглядом.

Да вы совсем не постарели, Леонид Николаевич. Плотные плечи обтянуты полотняной рубахой с черными подковками, горохом разбросанными по ткани. Снежная копна волос, закинутых назад, похожа на белого сокола, свесившего одно крыло перед полетом, — Леонид Николаевич, милый, кумир, творческая совесть моей архитектурной юности!

Взгляд обволакивает вас сожалением и прощением.

Тут я понял, как я влип, на какую муку триперся сюда. Но Человек-совесть уже отобрал мой плащ.

Со стен на меня глядят гениальные укоры его холстов. Павлов идеи своих сооружений сначала пишет маслом на огромных холстах. Грифель и даже уголь слишком немощны, чтобы передать идею. Нужно масло, цвет.

У окна на полотне на плотном горячем фоне стройно испаряется вертикальный серебряно-белый объем, поперечными мазками похожий на ствол березы. К нему прижался черный куб, как кубический клубок шерсти, записанный плотными, непроглядными курчавыми мазками. Неизъяснимая нежность прижимает их друг к другу.

— Это моя мадонна с младенцем, — волнуется Человек-совесть.

— Береза родила Пушкина, — улыбаюсь я.

— Это идея Вычислительного центра в Иванове. Черный лапелец — хранилище информации, вместилище человеческого гения. Это объем без окон и дверей. Я хочу записать его плотно, по черному, как Палех или флорентийская мозаика.

Я гляжу и думаю: «Что же ты какая-то прямоугольная вся стала, для маскировки, что ли?»

Он со сладострастным садизмом протягивает слова «флорентийская мозаика», «объем», а сам смотрит на меня. Человек-совесть, и все это звучит в подтексте: «Как могли вы это бросить, прельститься, ухильнуть за химерой, я так поверил вам тогда... Но вы все же устыдились, потянуло, приползли на исповедь... Что ж, казнитесь...»

Человек-совесть подводит меня к костру. На соседнем холсте, как языки пламени, качаются красные, золотые и черные узкие треугольнички. Треугольник — это бунт, разрез, антивал.

— Это пламя я хотел поставить в Пляя-Хироне. Монумент из пламенных треугольных высоких пирамид. Когда зритель обходит вокруг треугольных пирамид, происходит оптический обман, их вершины смещаются, и зрителю кажется, что пирамиды качаются.

Черные, красные качающиеся языки пламени шуршат: «Вечным студентом носитесь по свету без точки опоры, что соблазнило вас — громкая слава? Я не так примитивен, чтобы думать, что вы прельстились монетой, но есть искус тщеславия стать гласом народным — а далее, может быть, божьим? — есть искус пострадать, стать черной дырой. Зодчий умирает в каждой вещи, остается в вечности, и это, соизвольте согласиться, тщеславие куда более высшего порядка, так сказать, стратегическое...»

Я пытаюсь защищаться, я выхваляюсь, что мои рисунки куплены нью-йоркским Музеем современного искусства, я трусливо плачусь в жилетку, что в мастерских мне давали проектировать лишь лестничные клетки и санузелы, а в стихах я продолжаю архитектурные принципы, я слышу, как моя мысль взвизгивает до визга: а другие отступники архитектуры? а им можно? а Архипова? а Даниеля? а...

Я решаюсь на запрещенный прием, я думаю: «Ну ладно, это все грезы-прогнозы, идеи, а что же вы сами в жизни сотворили, совесть-

мечтатель, поставщик идей, Андрей Белый отечественной архитектуры? Что вы осуществили в жизни, в крупнопанельной решетке нашей действительности?»

Я вижу, как на фотографии строится, обретает бетонные очертания над лесами и полями идея Автосервиса. Отверстия сверху напоминают фары. Раскинув бетонные крылья, он парит над частниками, матом ремонтников, магарычом, заправляя их дозой красоты.

Павлов гасит победную усмешку. Здание Автосервиса он строит на пересечении Кольцевой и Минского шоссе.

Он строит его там, напротив мотеля, как бы специально для того, чтобы я, ежедневно проезжая из Переделкина и обратно, вжимал голову в плечи, воровски шмыгая мимо его бетонного укора. И вслед за мной по пятам будет лететь над шоссе не Медный всадник, а страшный парящий бетонный укор моих юных лет!

На следующий день, 1 июня, я отправился на Минское шоссе. Я мстительно надеялся на строителей. Вдруг они перекосят всю идею и наваждение не состоится. В противном случае надо было менять место жительства.

Светло-серая стенка Автосервиса стояла на горе, вся на фоне ясного золотистого неба. В ней зияли горизонтальным рядом четыре еще не застекленные циркульные дыры. Есть такие хранилки для монет, изготовленные из светлого металла, с круглыми дырами, куда утапливают монеты. Их любят таксисты. Автосервис походил на такую хранилку.

И что поразительно! Солнце садилось точно за Автосервисом. И золотой диск его был точно такого же диаметра, как дыры. Как это удалось рассчитать зодчему? Или солнце, полюбив его (что там овцы!), подгадало место для заката и выверило размер? «И в ту дыру, наверно...» Было пять одинаковых кругов — четыре черных, как затмение, и одно золотое.

Солнце помедлило над ними, поразмыслив, потом раздумало и на этот раз закатилось за горизонт.

Потомственная «белая дыра», Павлов не выносит рефлексирющих «черных дыр». Даже темные ниши в своих домах он расписывает. Цвет съедает тень.

Он что-то чувствует, он подозрительно принюхивается ко мне, во время разговора приближая лицо, как милиционер якобы невзначай наклоняется почти вплотную к водителю, чтобы узнать, не пахнет ли мерзкой черной дырой.

Искушение продолжается. Павлов вдруг хорошеет.

— Это моя любимая вещь — вещь жизни.

Так говорят о женщине. Он достает заветное фото. Это очень откровенное фото. Идет пылкая стройка. В строительном ритме есть поспешность объятий. Человек-совесть волнуется, ревниво сопит. Мне даже неловко смотреть. Наконец леса сброшены и два спокойных, огромных, плоских квадрата остаются парить в воздухе.

Москвичи знают это плоское здание, как заслонка замыкающее Ломоносовский проспект. Это здание — Ухо. Посредине его как на пластиковом стенде повешено скульптурно-мозаичное ухо с огромной дырой. Пушкин гениально дал жизнь отрубленной голове. Гоголь отрезал нос, а Павлов поставил памятник уху. Оно обращено к Черемушкинскому рынку. Там царит хаос буйной речи, хруст овощей, цветастых словес, пестрота и неорганизованность форм и страстей, разгул стихии, где Восток дынь встречается с Севером морошки, где дольки чеснока хранят от гриппа и вампиров, где молодая картошка в конце мая стоит двенадцать рублей, а телятина — семь рублей, где в углу справа лучшие розы в Москве, где бушует вакханалия расчета. Контрастируя с ней, два стройных квадрата Вычислительного центра напоминают о вечности и гармонии.

Когда Ухо улавливает особенно сочные изречения, оно мозаично краснеет, как в консерватории (если вы заметили, сидя сзади) краснеют от наслаждения уши меломанов, уловивших гениальную ноту.

— Да это никакое не ухо, это лента Мебиуса, — доказывает Павлов. — Это скульптурно-философская восьмерка, говорящая о бесконечности пространства, с почти муровской дырой посередине. Это глаз в нутро матери природы. Я придал ему размер — одна миллионная диаметра Земли. Это магический модуль моей вещи. Все детали кратны этому числу. Поэтому вас и тянет к пропорциям этого квадрата — инстинктом человек чувствует соразмерность с Землею.

Но ему никто не верит, все знают, что это памятник Уху. И, завидя его, приветственно шевелятся уши горожан.

Но Павлов настаивает:

— Поглядите, какая гипнотичность пропорций фасадов...

Но подтекстом звучит: «Изменщик! Неужели вы можете въезжать в города, ходить мимо прекрасных зданий, не мучаться? Неужели вы не ревнуете к создателям? Вот они стоят, возлюбленные вашей жизни. Вы их отдали другим. Архитектура была не пустяком для вас — вы вкладывали страсть в нее. Ее статная чувственная античная линия была линией вашей жизни. Как вы можете жить теперь, зная, что она несчастлива в чужих воровских руках, что кто-то другой лепит ее, заставляет принимать уродские наглые позы, а если она счастлива с кем-то — это же мука двойная! Вы любили ее, вы и сейчас ее любите, я-то знаю. Как вы могли, Андрюша?»

Он отроком прошел школу иконописной страсти Мстеры, потом подвижнически учился в кельях Вхутемаса у Весниных, Леонидова и Митурича, потом был художником у неистового Мейерхольда, тот, ошеломленный его небесным взором, уговаривал его сыграть Чацкого, но юноша не изменил архитектуре. Он работал с Маяковским и Шостаковичем. Дружил с Туполевым, который, как и Ильюшин, прекрасный рисовальщик, учился во Вхутемасе. Дочка Павлова, Капля, которая сейчас поступает тоже в Архитектурный, звала того дедушка Ту. Русская культура с синеглазой сокрушенностью смотрит на вас.

Такая боль в вашем сердце, такая беда.

Человек-совесть понимает, что перегнул. Он лучится радушием, он называет вас Андрюша, как зовут вас лишь домашние.

— Вы, кажется, у Мура недавно побывали — как там его овечки? — спрашивает он со счастливой завистью.

Его самого давно подбивало построить что-то для «братьев меньших». Его жена Лиля, тоже художник, миниатюрная, как лукавая искорка в глазах, загадочная, как персидская миниатюра, и лучшая в Москве кулинарка пиццы, будучи в Англии, посетила Мура.

— В каком году это было, Лиля? — кричит он, приложив ладони к губам.

— В семьдесят третьем, — отвечает Лиля из Веймара. И добавляет: — Синеглазый такой старикашка...

— Она у меня в Веймаре сейчас, в командировке, — поясняет Павлов.

Он не знаком с Муром, но художники обходятся без виз и обмениваются визуальными мыслями. Павлов счастлив, что собрат его понят овцами. Сейчас Москва стремительно расстраивается. Лесные просеки становятся улицами, вольные рощи и поля — площадями. Обманутые генетической памятью, в наши крупноблочные клетки то лось забредет, то пыльная смятенная лисица, то волк-шизофреник.

Ночами над белой поленовской задушевной церквушкой, ставшей складом, за Круглым домом безумствует семья соловьев. Они поют на краю бывшего Ведьминога, или Троицкого оврага, который

некогда зарастал бурьяном, черемухой, убийствами и любовью. Отчаянные головы заруливали сюда, а барышни с замиранием сердца проشمывали мимо.

Гонимые непонятной памятью, неистребимые гениальные пугалы, зачем они прилетели из незапамятных далей своих в глубь Москвы, зачем они выводят свои самоубийственные колена над ржавыми жестянками гаражей, остывающим асфальтом, желтым пивным ларьком и мстительными прожорливыми желтоглазыми дворовыми кошками? Зачем смущают захмелевших горожан?

Открывают окна, стихают свары, просветляются алкаши, слушают.

Соловьев прорва этим летом. Они заполонили Переделкино, они изнемогают в заглохшем саду между пастернаковской и ивановской дачами. Грибное лето, говорят, к войне. Соловьиное, наверное, наоборот. Соловьи газет не читают, но знают что-то свое. Хочется им верить.

Останавливаются машины. Шоферы глушат разгоряченные моторы. Выходят. Слушают.

Стоит черемуховый жужжащий июнь. Открытые павловские окна затянута белой марлей, чтобы в комнату не залетели маленькие черные дыры, разносящие микробов, и другие — ноющие крохотные кровопийцы.

Вдруг, метко глянув, Павлов сбивает мухобойкой черную мохнатую точку, приблизившуюся к нашему разговору.

Тут вы чувствуете, как свет будто отключается от вас. Иной огонь загорается в Павлове. Его мозг, наверное, уже мастерит не то беседку-консерваторию для соловьев, не то лежбище для лосей из рваного камня, не то волчье логово-кемпинг.

Он уже машинально берет медный пропорциональный циркуль золотого сечения.

Природа вся задумана в золоте. В золотом сечении убывают расстояния между ветками деревьев. Венец создания создан тоже в убывающей пропорции. Когда-то Ле Корбюзье нарисовал на салфетке и подарил мне фигуру обезьяны в золотом сечении — свой основной принцип человечности. Продолжив ряд, он высчитал высоту жилища для среднего человека — два метра сорок сантиметров. Грубо говоря, это человек с поднятой рукой.

Человек-совесть спорит с механической теорией Ле Корбюзье. Он показывает мне руку свою:

— Видите, фаланги пальцев уменьшаются в золотом сечении, но если мы продолжим ряд на одно звено, то получим над рукой расстояние точно такое же, на котором слепцы чувствуют предметы. Это золотой энергетический ореол человека.

Это не помещается в потолок Ле Корбюзье. Отсюда гнетущее ощущение, что потолки давят. Павлов видит золотой ореол. По его расчетам, высота должна быть два девяносто пять.

Выпьем за золото! Павлов — великий бражник. Он наливает из графина водку, настоянную на крупинках сусального золота. Я чувствую, как мой глотка и кишки покрываются горячей позолотой, как труба Армстронга.

Меня подмывает рассказать ему про проект золотого Облака, но никакие поддачи и попытки не развяжут мне язык. Это только мое. «Ни матери, ни другу, ни жене».

Но Павлов будто уже все знает. Он спокойно невзначай говорит:

— Вполне реальная идея — поставить архитектурный объем на воздушную подушку. Только надо разработать направление поддува. Держит же водяная пыль фонтана стеклянные шары. Ну а материал, думаю, все-таки медь. Медь как-то державнее. Хотя спрессованный свет реальнее и дешевле.

Рука мастера держит петровскую чашу. Отнюдь не страсть, не искушение толстовского о. Сергия, а сорок второй военный год отхватил фалангу его большого пальца, поэтому он не может больше играть на фортепиано любимого Прокофьева. Он проектирует здание около консерватории в виде клавиш — пусть играют облака и деревья.

Я гляжу на загорелую руку Павлова со светлыми выгоревшими волосками — золотую десницу великого творца.

Надоели бессовестные оптимисты-болтуны, надоело бесплодное брюзжание, оправдывающее свою творческую несостоятельность лозунгом: «А разве разрешат?» Я за породу творцов, ценой жизни — а другой цены не бывает — воплощающих свою идею. Совестьливо закатывать глазки и ничего не делать — бессовестно. Сделайте хоть что-нибудь!

Павлов лается с прорабами, покоряет идеей в наше трудное время, а когда были легкие времена? Рукописи не горят — горят авторы. Даже если он не побеждает — он победил. Он сотворил. Творец — это совесть.

Смущенный и потрясенный, я внимаю ему. Несмотря на муку и стыд, душа моя, как тело, изломанное в турецких банях, ощущает некое обновленное просветление.

Внезапно Павлов сталкивает меня в воду.

Я бухаюсь во всем, в чем был, в брюках, в тяжелых ботинках. Брюки облипают холодом тело, стесняют движение. В уши забивается вода печали и недоумения. Карманы набиты тугой водой.

Рядом, фыркая, плывет Павлов. Он плывет саженками. Он столкнул меня в идею своего водного театра. Облипающая его полотняная рубаха, намкнув, стала прозрачной, и к его плечам и телу, как татуировка, прилипли темные подковки рисунка ткани.

— Идея на двенадцать тысяч мест! — кричит он, подплывая. — Строится сейчас в Измайлове. Театр фигурного плавания.

Вода пахнет не хлоркой, она пахнет горечью и разлукой. Вот так, в облипших брюках, мы купались с тобой прошлым летом. Сухими оставались только медные пуговицы. Ты подплываешь. «Эй, в серых брюках, ноги, ноги отработывайте!» — в мегафон орет похожий на полуголого Пикассо тренер с другого берега.

Павлов уже освоился в воде. Он плывет, как на матрасе, на своем плотном сиянии. Его волосы уже просохли, стали рассыпчатыми и пушистыми. Подсинивает он их, что ли?

— Театр плавания — новая идея. Дитя спорта и искусства. Муза для миллионов. Примерно то, что вы сейчас пытаетесь делать с Паулсом. Сквозь окна в брюхе бассейна зрители могут видеть действие снизу. Если вы ныряете, то видите зрительские лица.

Я ныряю. В зеленом свете я вижу на стенах лица под стеклом, как цветные фото на стенах, — я вижу Мурку, тебя, Пикассо, Рябинкина, Яроша, все они наблюдают за нашими жизнями. Дыхания не жвзатает — выныриваю.

Помню, в Лионе во время постановки «Макбета» сцена постепенно заполнялась водой. Уровень воды подымался с уровнем преступлений. Последнее действие герои играли по подбородок в крови.

В заключение воды Вечности смыкались над ними, только маленький пузырек чьего-то дыхания всплывал, как крохотное «о», размером с игольное ушко.

Мы плывем в водах истории и разлуки, Павлов! Спасибо за крещение! Сквозь гигантские сквозные дыры-иллюминаторы под потолком, выходящие на фасад, видны белые облака, ветряные верхушки деревьев и крыши нашей земли. Их относит назад. Мы отплываем, Павлов!

Трибуны начинают заполняться людьми. Хлопают стулья. Я чувствую дыхание, волнение, энергетическое поле судеб. Оно имеет форму гигантской чаши. Чаша дышит.

Это живая форма, самая волшебная из архитектур, мой Павлов! Мы ей принадлежим. Мы в ней растворяемся.

Сквозь волны истории и музыки, захлестывающей нас, проступают полуголые торсы.

Павлов сидит в кресле десятого ряда. Он уже просох совсем. Только под ботинками остались мокрые лужицы. Соседи думают, что это от дождя. В моих ушах, как погремушка, шуршит забвенная вода разлики.

Павлов пришел на оперу «Юнона и Авось». В этой опере, поставленной Театром имени Ленинского комсомола, композитор Алексей Рыбников молитвенно и восхищенно оркестрировал историю России — вечную и нынешнюю. Белые волосы Павлова касаются плеч. Они похожи на париж резановских времен. Его лицо бронзовеет, как державный бюст. Он похож на персонажей действия. Зрители думают, что он подсажен.

— Как прекрасно, что нота торговых связей России и Америки звучит в стенах бывшего Купеческого собрания! — ахает он. — Какая музыка! А пластинка скоро выйдет? — И рассказывает, как оформлял «Выстрел» у Мейерхольда, где глубина сцены была всего шесть метров.

Он продолжал рассказывать это домам и вечерним липам Пушкинской, то есть Страстной, площади, когда мы вышли.

Но странное дело! Чем белее колонны, чем вышуклее и оптимистичнее был мир, чем меньше я вспоминаю о тебе, тем явственнее твоё присутствие. У меня мелькнула даже догадка, что оно активизируется в присутствии Павлова.

Раньше, когда мы гуляли с тобой, ты вдруг сбегала и пряталась от меня. Я терялся, бегал, звал: «О-о-о», вызывая сочувственные взгляды прохожих. Иногда ты пряталась на фоне ночного неба. У меня затекла шея выглядывать тебя. Твои излюбленные прятки были на фоне Большой Медведицы. Ее звезды тускнели, закрытые тобой, а крайняя, не закрытая тобой, лупила как ни в чем не бывало. «О!» — удивленно вопил я и тыкал в небо пальцем. Ты, заждавшись, прыгивала ко мне. То-то было радости!

Вот и сейчас. Мы идем с Павловым. Низкое небо полно звезд. Вдруг я замечаю, что Большая, да и Малая Медведица и три пушкинских фонаря под ними тусклее других. И это не добрая тусклость, а какая-то напряженная, колючая.

Павлов что-то сечет, он смешался, прервался на полуслове и круто свернул к метро. Он шел в сгущающихся сумерках толпы. Набежал московский ветерок.

Павлов уходил на полных парусах своих белых волос.

Однако нам пора продолжать поездку. Усадьба Мура находится в полутора часах от Лондона. Но мы, выступив в лондонском «Раунд-Хаузе» («Круглом театре»), даем круг по всей стране с выступлениями и через озера добираемся до Мура.

О чем я думаю, откинувшись в растущую скорость автомашины и одновременно с нею стремительно нарастающую скорость сумерек?

Сумерки — растворенная черная дыра. Твой взгляд обволакивает меня. Он все сильнее и глуше обволакивает происходящее и предметы.

Хочу реабилитировать сумерки. Напрасно ими окрестили эпохи упадка. Люблю сумерки. Это самое волшебное состояние души и

суток. Это напряжение духовных сил, осязаемое волнение движения времени, это творческий взлет мысли. Сумерки диктовали лучшие ноты Чайковскому и Блоку.

Может, сейчас сумерки века? Шестидесятые годы были хребтом столетия. Они были высвечены прожекторами, светом иных веков, их судьбы были выпуклыми, яркими. Может, сейчас время перехода, ожидания культуры, творческого наращивания?

Пронесется осы фар, удлиненных скоростью. Левостороннее движение сообщает странность мыслям. Проплывает Эдинбургский замок. Скала незаметно для глаза переходит в стены и башни стоящего на ней замка. Будто гигантская рука смяла скалу сверху, как бумажный пакет, — получились вмятые складки замка. Из мерцающего приемничка машины доносится старая арфовая музыка, видно модная в этом сезоне. Она уходит к эпохе Оссиана.

Отчего музыка эта отозвалась в угрюмых генах отчаянного поручика Тенгинского полка? Отчего люди тратят единственную жизнь свою, жертвуя карьерой, семьей, бытом ради сложения звуков, называемых по простоте душевной небесными?

На дороге, на стенах домов, на спинах прохожих белеют мелом нарисованные круги — эмблемы антивоенного движения. Это движение непредсказуемо, оно вырвалось как из-под земли, став самым массовым и живым в Европе сейчас. Их мессия посетил меня в отеле в минуту возвращения от Мура. Утопая в кресле бара, он просматривал очередную разносную статью о себе в «Гардиан». В соседнем кресле валялись авиамешок и плащ — немудреный его скарб земной перед отбытием в небо. Через четыре часа он улетал в Гамбург на митинг за разоружение, печальный рыцарь антивоенного движения. На его выступления собираются десятки тысяч.

Разговаривая, он машинально стряхивает непослушный пепел темно-серых волос. Под его глазами тени мировой культуры, в фигуре чувствуется спортивность и усталость английского аристократизма. Его питомцы рисуют на асфальте белые круги с тремя радиусами. Эта круглая эмблема похожа на белый автомобильный руль. В сумерках кажется, что дома, деревья, дороги, вдруг став автомашинами, движутся сами, обретают движение. Белый руль хочет, чтобы дома и деревья обрели безопасное направление, стали управляемыми, не улетали в пропасть. Все философские вопросы, мучившие род людской, слились впервые во всеобщий вопрос — жить или не жить жизни вообще?

Куда несется мир, куда?

Поэт наиболее национален, он весь в языке и в то же время связан с мировой культурой и разумом. Пушкин, русский гений, чувствовал близость с Байроном. Даже сейчас, в миг мирового разлада, поэты соединяются в общий круг. Самая русская буква «о» — одинаково общая для всех европейских языков. А заокеанцы даже подымают пальцы в виде «о» в знак одобрения. Может, кто-то потом создаст пальцу ю крону — Облако Культуры, где сплетутся ветви Лермонтова, Руставели и Шелли? Может быть, это Облако языка будет кочевать из столицы в столицу как гостящий монумент, и лучше, если народы будут обмениваться такими облаками, чем ядерными. Поэты узнают друг друга по взгляду.

Как-то я брел морозной подмосковной скрипучей ночью. В кювете на боку лежала «Волга». Уже припорошенная снежком, она походила на птенца, выпавшего из гнезда, выбившегося из сил и притихшего.

Я провалился в сугроб, открыл дверцу. Во тьме проема кто-то спал — его грузное тело сползло от руля к дальней дверце. Я попробовал вытащить и поднять его — тело было неподъемным.

Неожиданно я узнал эти смуглые непробудные скулы. Они принадлежали таланту сильному, мускулистому, упрямому. Он прошел фронт и мировые бездны. Его раненого вытащил на себе Наровчатов. Мы не были приятелями. Когда он читал, покоряла недюжинная свобода интонаций, то есть судьба. Его губы были притянуты близко к носу, будто он принохивался к кислому суетному быту после широкого ветра войны. Сейчас в нахмуренном трудном сне губы тянулись совсем по-детски.

«Волга» лежала против движения. Вероятно, сознание оставило его, когда он разворачивался, или он сбился с пути в непонятном мирном существовании, или хотел рвануть наперекор всему — кто знает?

В этот непроглядный час машин ни на дороге, ни на шоссе не ожидалось. Я дошел до гаража городка, добудился сторожа, потом мы подняли в теплой квартире из домашних снов шофера в заспанной майке. Тот для порядка поматерился, но воспринял все как естественное.

Вывернули колеса «Волги». Самосвал напруг трос, машина хмуро дернулась. Как ей не хотелось покидать мягкое, снежное, холодное гнездо, вырваться из снов, дурмана, памяти войны, молодости — так душа и улетевшая жизнь хмуро противятся воле реаниматоров, познав уже дикую угрюмую свободу, не даются тросу реанимации, который уверенно и неотступно тянет ее сквозь ирреальную дыру обратно в земное бытие.

Потом встречаясь, мы никогда не заговаривали с ним об этой дороге, но что-то между нами произошло. Я частенько чувствовал на себе его особый тепло-карий взгляд...

Тормоза машины вырывают меня из грез российских воспоминаний. Возвращают, так сказать, к реальности, к прозе жизни.

— Приехали!

Разминаем затекшие ноги. Перед нами белая усадьба Мура. Круг замыкается.

Осторожнее, не потревожьте мастера! Мур невозмутимо лепит свои крохотные фигурки — нас с вами. Круг кончается. Век кончается, а он все будто не понимает, зачем вы заявили к нему и что пытаетесь спросить.

Он радушен к гостям, твой тайный крестный. Когда мы трапезничаем, он пересаживает меня на другую сторону стола, откуда лучше вид на древний барельеф, подсвеченный на стене юпитером. Входит рабочий с хомяком в руке. Он, разговаривая, перебирает хомяка рукой, как свисающие живые золотые четки. Хомяк не всегда в восторге от этого. Об этом свидетельствует прокусанный палец. Мур хищно впивается в золотую изгибающуюся форму. И опять будто не замечает, что я, прощаясь, стою ссутулившимся вопросом.

Вместо ответа, что-то ворча под нос, он дарит свой рисунок. И сам упаковывает. Мол, дома развернете и все поймете. Закутывает в целлофан, прокладывает картонкой. Не найдя второго картона, отрывает обложку от альбома для набросков. Потом все аккуратно заклеивает скотчем.

Ответьте себе, ну почему вы тогда не удержали ее?

«**О**бладейте всей полнотой жизни, обновляйте форму, дерзайте,— говорил мне Павлов,— но только не теряйте себя, не преступайте бездну, не вступайте в черную дыру».

Черная дыра стоит посредине моей комнаты. Ее взгляд открыт и ожидающ.

Я вошел в черную дыру.

Дант ошибся, описывая ее как безнадежный промозглый сводчатый коридор. Его ад — память. Его заставили забыть, что он видел, и вложили вместо этого ложную информацию.

Там нет ни времени, ни пространства. Все заполнено бескрайним внутренним голосом.

Ориентиром, запоминающим место, где я вошел, оставалось лишь висящее, как на вешалке, мое поношенное тело с изъеденным молью затылком и выдавшим виды немодным носом. Было жаль расставаться с ним. Оно, удаляясь, уменьшалось.

Я продвигался, минуя воздушные ямы. В них томились клочки сметенной энергии. Это были мученики памяти. Так в восточных деспотиях пытали, сажая на ведро с крысой. Бедное животное, чтобы вырваться наружу, проедало внутренности.

С краю бледный акселерат в бессчетный раз бил молотком по черепу своей матери. Страдалица, подняв залитое кровью лицо, молила: «Оставьте его, он не виноват, я сама ударилась».

Измученный юнец обернулся ко мне и, запыхавшись, спросил: «Новенький, что сейчас лабают на планете? Правда, что Чик приплюхал в Москву? Напомни мне Пинк Флойда. Всю память тут отшибли».

Я напомнил. Он кивнул, как благодарят за затяжку, и вернулся к своему занятию.

Смеркающийся самодержец целовал отрубленную голову своей любовницы. Изнемогающего живописца терзали птицы с женским лицом и грудью. Тут мое зрение отключилось.

Звучал только голос. Но это была еще преддыра. Она была наполнена вопросом.

Вернее, голоса было два. Они задавали вопросы. «Что важнее — вера или предмет веры? Смысл жизни или жизнь смысла? Свобода или путь к свободе? Безграничность мысли или ограниченность земных ресурсов?»

Между вопросами струилась энергия. Она создавала города. Над ней радужно рассветали и испарялись цивилизации. Между вопросами возникали войны.

Меня спросили: «Ты хочешь знать Ответ?» Мне хотелось. «Но ты видел тех, кто пытался, кто преступил. Ответ дается ценой жизни». «Жизнь отдают за kilo колбасы».

«А как вдруг, узнав, ты проклянешь себя? А как вдруг по этому Ответу твоя мечта окажется жабой? Царевна-то — склизкой лягухой? А дрянь окажется «величественней, чем Лев Толстой»? А вдруг своей извилиной ты не поймешь Ответа и будешь внимать лишь химере своего убогого разума? (Как люди века молятся неверно законспектированному Евангелию.) А? А как, вдруг уже познав, ты сразу забудешь его?»

Я шагнул в Ответ.

Ясность Ответа поразила меня. Он вмещался в одно слово. Это творящее Слово пронзило счастьем все мое существо. Я познал, моя жизнь осуществилась, удалась, но она уже не имела значения. Она слдлась с Ответом. Я растворился в Слове.

Годы, века? — не знаю.

Но как-то, счастливы и растворенно плывя в исторических пространствах, отдалившись к окраине, я почувствовал некую тягу вроде тайника, пустота которого простукивается в стене, или скрытого лаза. Я давно заприметил это место. Это был тайник черной дыры, смущенная память, где она помнила то, что скрывала от себя.

Я увидел какую-то убогую комнатку с обшарпанным шкафом. Автопортрет хозяина, покосившись, прижимал отставшие обои. Света не выключали. Подслеповатая лампа склонилась, как над пьальцами, над натянутым подрамником с запыленным эскизом какого-то облака.

Форточка была безнадежно открыта.

Обернувшись вокруг, невдалеке снаружи я обнаружил мое висящее, довольно прилично сохранившееся тело. Я с трудом стал натягивать его. Оно село, покоробилось, оно не узнавало меня. Ноги жали. Ничего, разносятся!

Я раздвинул пошире скрипучую фортку и впрыгнул в комнату.

«О-о-о... — обездоленно и бескрайне слышалось за моей спиной. — О-о-о...»

Ко мне бросился мир — горячий, карий, васильковый, щебечущий, русский, живой!

Автопортрет, не узнав меня, отшатнулся и вдавился в стенку. «Что ты давишь на психику?» — трясаясь от страха, сказал он. Первый, кто узнал меня, был хромоногий стол. Он кинулся, визжа, пособачьи уткнулся мне в живот. С покосившегося шкафа мне на плечо спрыгнула ваза, когда-то подаренная тобою, и обплакала всю рубаху. Я едва успел поймать ее в объятия. В окно забарабанили, стали лизаться лохматые ромахи. Половицы, мяукая, выгибались и терлись о мои ступни.

«Родные, я привез вам Ответ! Сейчас вы все узнаете!»

Но тут я понял, что забыл Ответ.

Я забыл, я все забыл.

Я живу, все дни я пытаюсь вспомнить Ответ. Портрет не узнает меня. Какая мука — вспоминать, вспоминать и не вспомнить! Может быть, Слово случайно само сложится из букв строящегося облака? Может быть, Ответ надо не получать с небес, а строить самому, и в этом тоже есть смысл Ответа?

«Откажитесь от идеи облака. Опасно после стольких лет отвычки братья за архитектуру — облажаетесь! Архитектура в отличие от зданий не стоит на месте. Ваше облако все равно зарубят. Оппонент Омлетов категорически против. Он звонит по ночам конструкторам, членам худсовета, вашим соавторам, запугивает их, чужим голосом ухаает, хрюкает, храпит в трубку. — И мяукает? — Откуда вы знаете? И мяукает».

Боже, неужели и до этого ты докатилась в своей низкой мести мне? А может, и вправду идея не удалась?

Отмщение!

Спустились, набрякли, взбесились небеса. Природе отшибло память. В июне под Москвой выпал снег. Урожаи сгорели и померзли.

Вытарщенный несчастный шар носился над поселком.

«Я тебе сделаю! Я тебе устрою архитектуру! Я тебе сворую Ответ! Я связалась с подонком!»

Ты лупила по мне, как кнутом, черными молниями. Но, слепая от гнева и горя, промахивалась. Ташкент шатнуло землетрясением. Ты швыряла мечети оземь, как чашки.

«Я тебе снюхаюсь с «белыми дырами!»»

Всеобщее затмение ума! Черемуха зацвела черным. По всей округе молоко в чашках стало черным и превратилось в пустоту. Я не могу ни рисовать, ни писать на ставших черными листах бумаги, слова утопают, сливаются с темнотою.

Ты вселилась в обезумевших кошек, кур, прохожих — они несутся найти меня, заклевать, выцарапать, проработать.

Солнце, твой родич, почернев, вздымает над головой взбешенные кулаки, будто, пыхтя, пытается подтянуться на невидимом турнике. Оно кричит что-то яростное, солнечное на своем, как у всех толстяков, тонком обиженном дисканте.

«Погода балует! — Соседи заперлись на крюки. — Все небо продырявили!».

Я один знал, что это я виноват во всем. Зачем я приручил тебя к нашим земным утехам? Я виноват в том, что сгорели урожаи. Я виноват в том, что я лишь человек, что мои поступки человечьи, я мыслю, увы, не высшим разумом, а по-дурацки, лишь по-людски.

Ты обезумела, ты обезумела, ты обезумела.

«Где ты прячешься? Ах, ты запер все фортки! Небось со своей тварью. Да, я глухая, слепая, но погляди на себя, портреты шаркаются от тебя. (Портрет, перекосясь, плюнул в меня.) Что я нашла в этой роже? Глянь в зеркало — подбородок в краске, а может, это помада? (Зеркало хлобьсть — вдребезги.) Ну, теперь я уже не промажу!»

Слепая, она пронеслась мимо.

Вдруг, видно вспомнив, она зависла в зените точно над моим домиком. Крыша вжалась. Она застыла. Сейчас последует неотвратимый удар. Она не промажет. Но она медлила, видно, чтобы продлить наслаждение мщенья.

Потом вдруг дрогнула и окуталась каким-то туманным облаком.

Ты плачешь? Ты можешь плакать, несчастная, злобная, нескладная, мокрая, как электрический скат? Ты плачешь впервые в жизни. Бессловесная кикимора, ты можешь плакать?

Все отсырело в комнате. Черные бумаги просветлели, прояснились, но стали волглыми, на них расплылись слова. Ну вот, наорут, все перебьют, а потом утешай их!

Окно снаружи запотело. Потом по стеклу побежали чистые ручьи. Я открыл раму.

Тебя не было. Утомившееся солнце садилось за полем, все еще машинально подымая и опуская кулаки, будто спускало воду. В такт ему набегал трепет листвы в кладбищенской роще, будто накатывающиеся и стихающие аплодисменты.

Я выпрыгнул в сад. Я прижался щекой к внешней стороне стекла. Щеки стали мокрыми от твоих слез.

Годы, века? — не помню.

О канчиваю. Я прощаюсь с тобой, моя темная повесть! Ты скоро разлетишься по свету на тысячи буквочек, как бусины распавшихся бус, но в каждой из маленьких «о» отныне будет ответ твоего тепла.

Вечереет. Я пишу в Переделкине за садовым столом. Белые рамы дома как бы отдаляются в сумерках. Белый лист бумаги покрывается тенью моих словес, исчезает под строчками.

Уже совсем темно. Не видно ни листа, ни пера, ни руки — они сливаются с твоей тьмой. Прощай. Я столько суток провел с тобой. Я бывал для тебя друзей и дела. Как ты меня мучила! Спасибо, что ты меня нашла.

Оловянное небо написано нейтральтином на подаренном рисунке Мура. Сумерки встревожены, небо волнуется, ищет тебя. В тучах просвет, будто открытая фортка.

Поспешный овал озера. Четыре дерева на другом берегу. В центре озера стоят три грации — Поэзия? Архитектура? Разлука? Прижавшись друг к другу, они образуют триединый беломраморный столб.

Они стоят на темном пьедестале. Судя по черному плавнику, это спина дельфина, кита-касатки либо лох-несского чудища. А может, это черные шестерни нашего жестокого века?

Видно, как кисть художника торопится, мазок поспешает, летят брызги, видно, как он, волнуясь, приготавливает в баночке нейтральтин, смешивая берлинку, умбрию и свою тоску. Кисть торопится, он разбрызгивает воду, краску, жизнь, век торопится, век истекает. Он спешит сообщить нечто важное, происшедшее с ним.

Но что это? Или это изъяс бумаги? Нет, это явно не клякса.

В центре неба повисло темное отлетающее тоскливое пятно. Оно замедлило взгляд. Оно глядит на озеро, на белый столб, на нас с вами. Торопитесь! Оно сейчас улетит.

Рука Мура безотчетно сама запечатлела, что с ним произошло, в самый момент твоего отлета. Это твой единственный портрет.

Я вешаю этот рисунок на стену переделкинской комнатки, где ты провела столько дней. Он расположился рядом с солнечным эскизом павловского павильона плавательного театра, где в трех белых дырах плещутся вода, солнце, смех.

Сумерничаю с Муром.

Полдничаю с Павловым.

— **О**тлично слышно... 08? Это ты, Скульптор? Салют! Что?! На худсовете утвердили наш проект?! Повтори... Не может быть! Ура! А оппонент Омлетов? Не явился?.. Как — провалился? Шел по проспекту и провалился в какую-то дыру? Там же не было дыр! Ну, наверное, ремонтировали. Ну пусть не роет другому яму — сам попал...

Одновременно в трубке завопили голоса и Мура, и Павлова, и Капы, и твой. Все орали, поздравляли. Одновременно слышалось уханье и храп.

Ну почему я вдруг обернулся?

Я узнаю этот взгляд из тысячи. Из угла, набычась, радостно глядела моя черная дыра. Вернулась!

Ну почему я не успел тогда сразу же захлопнуть форточку?

Она метнулась к окну. Она задержалась на мгновение в форточке. Помеддила. Покачалась. И тоскливо обернулась.

Больше я ее никогда не видел.

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

★

ЮНОШЕСКИЙ РОМАН МОЕГО СТАРОГО ДРУГА САШИ ПЧЕЛКИНА, РАССКАЗАННЫЙ ИМ САМИМ*

На пять или восемь верст в окружности между развалинами Сморгони, деревней Бялы, железнодорожной станцией Залесье и деревянным мостом через синюю реку Вилию, на который немецкие аэропланы постоянно сбрасывали бомбы, и всегда версты на две мимо, лежала лесистая местность, казавшаяся такой мирной, даже безлюдной, а на самом деле набитая войсками всех видов оружия, особенно артиллерией.

Бродя в свободное время по окрестностям, я то и дело наткался на хорошо замаскированные батареи разных систем и калибров. На одну версту фронта я насчитал сто пять, как принято говорить, стволов: несколько батарей полевых трехдюймовок, гаубичные дивизионы, тяжелые орудия и даже две железнодорожные платформы с чудовищными виккерсовскими дальнобойными пушками: их наблюдатели находились в корзинах привозных аэростатов и постоянно висели высоко в небе. Я уж не говорю о морских двухдюймовках системы Гочкиса, размещенных в пехотных окопах.

Вся эта могучая убойная сила была нацелена на одну сравнительно небольшую высоту, занятую немцами.

Я сначала не понимал, на кой черт тратить столько усилий против такой сравнительно пустяковой цели. Но как-то, побывав на станции Залесье в вагоне-лавке Союза городов, я купил столичные газеты и увидел в них множество цензурных плешей и целых длинных статей, замазанных черной цензурной так называемой икрой, действительно похожей на паюсную. Кроме того, там были помещены указы о смещении старых и назначении новых сановников. Все это заставляло думать, что в тылу далеко не все благополучно, что Российскую империю трясет.

Прочитав же телеграммы из-за границы, а также сводки верховного главнокомандующего, и шагая по железнодорожному полотну Минск—Вильно в свою батарею, впервые понял я истинные масштабы войны, которую до сих пор не воспринимал как мировую. Я понял, что наступает критический момент и мы спасаем своих союзников—французов и англичан, отвлекая немецкие дивизии с западного фронта на себя. Мощная демонстрация на нашем небольшом участке фронта, о котором будущие историки, может быть, даже и не упомянут как об одной из героических страниц русской славы и верности союзникам, стала для меня особенно дорогой, и мне не хотелось переходить на какой-то другой фронт.

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 10 с. г.

Но ведь я сам вместе со всеми батарейцами проклинал утомительную позиционную войну, сидение на одном месте, надоевшее до последней степени, неизвестно когда этот кошмар кончится.

И вот он кончился. По-видимому, для нас кончилась позиционная война и наконец-то начнется война веселая, полевая, с быстрыми передвижениями, как и подобает войне наступательной, победоносной.

Я уже забыл на некоторое время распятие среди развалин костела и тягостное ощущение, что сам антихрист вселился в меня.

Я желал перемен в своей судьбе. А стоило мне только чего-нибудь пожелать, как оно исполнялось. В этом было что-то злое.

«Г. Рени, Бессарабской губернии, 11 августа 916 года. Сейчас я в Рени. Дунай—серая, как бы пыльная, широкая, некрасивая река. Арбуз стоит три-четыре копейки. Привет всем Вашим. Дорогая Миньона, продолжаю прерванное. Прежде чем попасть на берег Дуная, нам еще пришлось порядочно помотаться. Оставив наши насиженные места под Сморгонью, мы прошли пешим порядком верст пятьдесят по лесистым местам и болотистым дорогам и остановились в убогой, серой деревеньке: бревенчатые избы с почерневшими соломенными крышами. Может быть, эти избы еще помнят Наполеона и войну двенадцатого года.

Рябины с гроздьями огненно-воспаленных ягод. На огородах репа и грядки белых, лиловых, розовых маков. В небе сизые тучки. Север! Возле деревни, за ручьем, посередине ярко-зеленой зыбкой топи, пружинящей под сапогами, аэропланная позиция, которую мы должны охранять. Там находится надежно замаскированный отряд военных летательных аппаратов типа «Илья Муромец», конструкции молодого политехника Сикорского.

Вы, наверно, об этом уже читали в газетах.

Признаться, я не без волнения узнал, что мы будем охранять прославленные аэропланы «Илья Муромец», это ведь наша национальная гордость. Наше единственное свое собственное, неповторимое изобретение в области воздухоплавания, или, точнее, авиации. До сих пор нигде, кроме России, нет такого устойчивого, громадного, грузоподъемного аппарата тяжелее воздуха. Куда с ним тягаться неуклюжему немецкому дирижаблю «Граф Цеппелин»!

Наши трехдюймовки установлены на новых деревянных усовершенствованных станках, позволяющих без труда поднимать орудийные стволы почти вертикально, в зенит, почему появилось новое слово «зенитная артиллерия», наши трехдюймовочки стали зенитками.

Разбиты палатки для прислуги, остается ждать немецкого налета. Однако погода хмурая. Значит, немец не прилетит?

Ужасно хочется хотя бы одним глазком посмотреть на легендарного «Илью Муромца», которого мы назначены охранять. Однако до сих пор мы его еще не видели. Только иногда из-за леса, где расположены защитного цвета большие палатки авиационного отряда, доносится грозный громоподобный гул могучих аэропланов моторов.

Иногда густое пение невидимых пропеллеров становится до того явственным и близким, что все мы невольно задираем головы, надеясь увидеть в тучах легендарный самолет. Напрасно. Это всего лишь слуховой обман. Моторы работают не в небе, а пока лишь на земле. Их пробуют.

Наши офицеры уже успели побывать в гостях у авиаторов и видели диковинные аэропланы-гиганты. Говорят, нечто изумительное. Огромные, но в то же время легкие, отлично сконструированные.

Я ждал с нетерпением, когда и мне посчастливится увидеть их своими глазами.

Наконец дождался.

Раннее утро. Только что взошедшее солнце бросает свои красные косые лучи на мою палатку. Палатка внутри наполнена розовато-желтым светом утреннего солнца. Я выхожу из палатки и вижу ярко-зеленую трясину, кустики можжевельника и на стеблях луговых трав и цветов капельки росы — остатки предутреннего тумана. Эти капельки в лучах солнца ярко горят всеми цветами радуги — янтарными, рубиновыми, изумрудными, фиолетовыми.

Отчего я проснулся в такую рань? Спросонья мне кажется, что где-то совсем недалеко идет бой. Его гул катится по лесам. Но ведь мы далеко от передовых позиций, верст за пятьдесят. Выстрелов не может быть слышно. Может быть, просто шалят нервы? Прислушиваюсь. Гул, похожий на звуки боя, короткими упругими волнами ходит в воздухе, раздаваясь где-то вверху, в небе, и отдается многократным эхом по окрестным лесам.

Задираю голову.

В небе слышатся шум и гром мощных авиационных моторов. Вижу: прямо надо мной, в самом зените крестообразно распластаный летательный аппарат. Это «Илья Муромец» или, может быть, «Русский витязь». Какой огромный! Как спокойно и быстро плывет в небе. Он летит очень высоко. Так высоко, что его каюта, о которой мы слышали от офицеров, видна еле-еле.

Аэроплан, похожий на в десять раз увеличенный «фарман», описывает красивый, плавный круг и уходит куда-то далеко за зубчатую кромку леса, синеего на горизонте. Уменьшается. Постепенно теряет форму распластанного креста распятия. Теперь видны обе его плоскости как две слабые полоски. Шум моторов слабеет. Солнце поднимается выше. Две плоскости аэроплана сливаются в одну, превращаются в точку. Он уже очень далеко, верст за семнадцать, а все-таки еще виден простым глазом.

На батарее оживление. Все смотрят в небо. Выпукло поблескивают офицерские бинокли.

Говорят, что «Муромец» ушел далеко во вражеский тыл, захватив с собой порядочный запас бомб.

Через три часа знакомый гул моторов. Но на этот раз несколько жидковатый. В полуденной синеве отчетливо силуэтит знакомый воздушный корабль, возвращающийся с боевого задания. К вечеру солдатский телеграф сообщает, что «Муромец» совершил налет на немецкие тылы, взорвал склад снарядов, сделал важные наблюдения, сфотографировал узловую станцию и подвергся ураганному обстрелу неприятельской зенитной артиллерии, подбившей два его мотора, так что он с трудом дотащился домой на остальных двух моторах, оставляя за собой шлейф дыма.

На следующее утро получаю разрешение и отправляюсь в авиационный отряд посмотреть муромцев. Отряд расквартирован в чьем-то старинном родовом имении. Огромный столетний парк, такой густой и темный, что сквозь листву небо просвечивает слабой голубой сеткой. Пахнет сыростью, мхом, древесной старой корой. Поражают крупные бабочки. Через ручей перекинута затейливая мостик, сделанные из березовых сучьев. Круглые беседки с белыми колонками. Пруд с почти черной, тяжелой, неподвижной водой, покрытой водяными лилиями — неньюфарами. В барском доме помещаются наши авиаторы, которых с легкой руки футуристов уже называют новым словом (неологизмом!) — летчики. Там и сям на дорожках мелькают их синие костюмы.

Палатки с аэропланами находятся позади парка, в поле. Палаток всего две. Они очень велики, просторны и укреплены сложной

системой веревок и кольев. В сущности, это даже не палатки, а целые полотняные ангары.

Я и сопровождающий меня моторист отряда входим в первую палатку-ангар. Здесь ровный, желтоватый, как бы полотняный свет и чувствуется много неподвижного воздуха.

...столетний парк и красивые бабочки, сидящие на пнях, напомнили мне парк Хаджибеевского лимана. Незабвенный парк...

Посредине палатки стоит громадный, раза в четыре больше обыкновенного «фармана», многоместный и четырехмоторный, по виду легкий, несмотря на свой многопудовый вес, биплан. На его крыльях во время полета может свободно ходить механик и в случае надобности, так сказать, на лету починить мотор или даже два мотора, а всего их четыре, но не вращающиеся вместе с пропеллером, как традиционные «гном-роны», а стационарные, неподвижные.

Кабина похожа на небольшой железнодорожный вагон, может быть, даже вагон конки с квадратными окошками.

Вы, наверное, видели в «Ниве» или каком-нибудь другом журнале фотографию государя императора в походной форме на борту «Ильи Муромца»: держась одной рукой за поручень, он стоит на фюзеляже и своими лучистыми глазами смотрит с улыбкой прямо в объектив фотографического аппарата — вот, дескать, какой у нас богатый боевой аэроплан.

Вместе с мотористом, который дает мне объяснения, я обхожу вокруг аппарат, удивляясь толстым резиновым шинам его колес. Он представляется мне чем-то вроде скелета доисторического животного, выставленного напоказ в некоем полотняном походном музее.

Всего не опишешь, но впечатление большое. Особенно поражает, как я уже говорил, легкость всей конструкции, хотя вес аэроплана более ста пудов.

Потом мы переходим в другую палатку, и я осматриваю другой аэроплан того же типа, тот самый, который на днях выдержал ураганный огонь немецкой зенитной артиллерии.

Я смотрю на его поцарапанные осколками, местами залатанные плоскости и живо представляю себе, как вокруг него в небе рвалась неприятельская шрапнель, в то время как из-под его нижней плоскости отрывались подвешенные там грушевидные бомбы и со свистом и воем падали на немецкие тылы, поднимая целые облака черного дыма, в середине которых мигали красные молнии.

За взрыв неприятельского артиллерийского склада, беспристрастно зафиксированный пластинкой фотографического аппарата, специально установленного на «Илье Муромце», командир корабля представлен к белому кресту.

Наша зенитная батарея почти все время бездействует, так как немцы почему-то в нашем районе не летают. Поэтому возле батареи в палатках помещаются только дежурные орудийные номера на случай тревоги, а остальные живут в деревне недалеко от позиции.

Я и два моих товарища-вольноопределяющихся занимаем отдельную квартиру. Большая бревенчатая комната, где мы занимаемся уставами, читаем и пишем письма, всегда чисто вымыта и выметена, стекла в окнах протерты. Хозяева наши — три белорусские красавицы с льняными косами. Всех их родственников мужского пола забрали на войну. Они остались одни. Им скучно, и мы в некотором роде развлечения для них.

По вечерам при свете керосиновой лампочки происходит нечто вроде посиделок, или на нашем с Вами языке легкий флирт (о, совсем невинный, уверяю Вас!) с примесью милого сельского кокетства.

Бога ради, не подумайте худого. Вы же прекрасно знаете... Впрочем, о своих чувствах молчу... молчу...

...но вот в один прекрасный день призвал меня к себе командир батареи, куда меня недавно перевели для дальнейшего прохождения службы, и сказал приблизительно следующее:

— Так как вы имеете право на получение офицерского чина, то я должен сказать, что нашить на вас офицерские погоны нетрудно. Но их надо заслужить. Вас недаром перевели в мою батарею. В прежней батарее вы слишком сблизились с нижними чинами. Отчасти это хорошо, так как вы научились тянуть солдатскую лямку. Но теперь вы должны готовиться стать офицером, и дальнейшее сближение с нижними чинами не только нежелательно, но даже вредно для службы. Вы уже имеете одну нашивку. Вы заслужили звание бомбардира... (Представьте, я даже забыл Вам написать, что недавно меня произвели в бомбардиры. Так что Вы теперь со мной не шутите!..) Теперь перед вами стоит задача получить звание младшего фейерверкера как важную ступень к офицерскому чину. Для этого от вас требуется...— И так далее и тому подобное...

За четверть часа командирского внушения, которое я выслушал по стойке «смирно», ноги мои превратились в деревяшки, а живот до сих пор так и остался втянутым, хотя с тех пор прошло уже месяца полтора.

Короче говоря, на другой день утром я посмотрел в окошко и увидел перед нашей халупой разведчика, который держал в поводу оседланную лошадь. Он постучал деликатно в окно и позвал меня:

— Господин вольноопределяющийся, пожалуйста на верховую езду.

В сердце у меня стало пусто и холодно, желудок опустился. Я вышел из халупы. За домом, за огородом, в чистом поле стоял в картинной позе молодецкий прапорщик, взводный офицер моей новой батареи Матюшенко, по виду ужасный тонняга, держа в одной руке стек, а в другой веревочную корду. Он поздоровался со мной на несколько небрежный гвардейский манер, на что я, естественно, вытянулся и гаркнул на всю окрестность:

— Зрав... желай... вашброды!

Недалеко от него стояла лошадь.

— Подойдите-ка поближе, вольноопределяющийся, э... э... как вас? Пчелкин!

Я подошел поближе.

— Перед вами стоит животное под названием лошадь,— сказал он, показывая стеком на лошадь.— Повторите.

— Лошадь, ваше благородие,— сказал я бодро.

— Хорошо. Наука о лошади называется гиппологией. Повторите. Я повторил.

— Прекрасно. Вы делаете успехи. Теперь займемся наукой о лошади, то есть гиппологией. Итак. Э... лошадь, которую вы видите перед собой, разделяется на три части: перед, туловище и зад, называемый в обществе порядочных людей круп,— сказал профессорским голосом прапорщик Матюшенко и для большей наглядности обвел стеком все три части лошади.— Повторите.

— Перед, туловище и зад, имеющий также название круп,— сказал я.

— Прекрасно! — сказал прапорщик.— Перед лошади состоит из головы, туловище из туловища, а зад, который, как вы уже знаете, в приличном обществе принято называть круп, оканчивается так называемым хвостом.

Он подошел к лошади и приподнял рукой в замшевой перчатке густой лошадиный хвост, откуда вылетело несколько крупных летних мух.

— Повторите.

— Голова, туловище и круп, оканчивающийся так называемым хвостом,— отчеканил я.

Прапорщик строго нахмурился, но не сумел сдержать мальчишеской улыбки и принял предложенную мною игру.

— Прекрасно, вольноопределяющийся, очень хорошо. Вы делаете успехи в науке, которая называется гиппология. Так как же называется наука о лошади? Повторите.

— Гиппология, ваше благородие.

— Блестяще! Пойдем дальше. Туловище лошади снабжено четырьмя ногами, снабженными на конце так называемыми копытами. Повторите и покажите передние ноги и задние.— И т. д.

Забавляясь таким образом, я под руководством прапорщика изучил в общих чертах науку гиппологию, после чего начались практические занятия верховой езды. Это уже было хуже. Обливаясь потом, я вскарабкался на спину проклятого животного, и тогда началась настоящая драма. Я уже, правда, и раньше ездил верхом и даже считал, что езжу недурно. Но, оказывается, я ездил не по правилам, и моя дилетантская езда оказалась детским лепетом по сравнению с тем, что меня ожидало теперь под мудрым руководством прапорщика Матюшенко.

Теперь, когда я уже беру барьеры, знаю толк в лошадях и твердо усвоил, что то, чем бегают лошади, называется ногами — передними и задними,— мне все это кажется забавной комедией, именуемой уроками верховой езды.

Но тогда!

О господи! Довольно толстая рыжая кобыла по кличке Жито, бегая по кругу на корде, трясется подо мной и норовит каждую минуту сбросить меня на землю. Еле удерживаюсь в седле, которое уже достаточно сильно набило и натерло мой, так сказать, круп. А прапорщик Матюшенко ходит посередине круга и покрикивает своим шикарным гвардейским тенором:

— Черт знает что! Вы сидите на лошади, как собака на заборе! Доверните носки! Не хватайте лошадь за брюхо, вы ее этим раздражаете! Держитесь «шлюзами»! Не держитесь за луку! Это неприлично. Не хватайтесь руками за холку! Лучше упасть с лошади, чем хвататься за холку!

Я трясся, как мешок с овсом, и думал: тебе хорошо, черт полосатый, кричать, а мне-то каково! Доверните носки. А если они не доворачиваются? Сам попробуй довернуть носки, если это тебе так нравится!..

...В общем, через неделю я вполне понял, как страдал Ваш воздыхатель Жора Мельников, принужденный в прошлом году в период своих знаменитых уроков верховой езды изящно сидеть у Вас в гостиной и поддерживать великосветский разговор о погоде, о лошадях, о женщинах, в то время как его, если так можно выразиться, часть тела южнее спины горела как на сковородке, натертая и набитая седлом.

О, как я ему должен был бы сочувствовать!

...Каюсь: я уже успел в нашем приаэропланном селе слегка влюбиться. Что ж: северные девушки не хуже наших южных. Представьте себе, какая идиллия ходить вдвоем в лес по грибы, есть чернику, пачкающую губы как бы школьными лиловыми чернилами, любоваться закатом и коротать летние бледнозвездные ночи, сидя на старом бревне перед халупой, и петь дуэтом песни вроде «Позарастали стежки-дорожки, где проходили миленькой ножки». И все это — клянусь Вам! — вполне невинно.

Ну ладно. Довольно. Только что объявили поход. А куда — неизвестно...»

Чтение этого длинного письма утомляет меня, я решаю дочитать его завтра и ложусь спать, приняв, как всегда, легкое снотворное. Но почему-то на этот раз недочитанное письмо не то чтобы волнует меня, но вызывает чувство, похожее на горечь разлуки с дорогим прежним, пережитым, и предчувствием чего-то нового, неизвестного. Я как бы навсегда прощаюсь с теми местами, где провел первые семь месяцев своей службы, вспоминая подробности этого времени, выпавшие из памяти.

Мне вспомнилось:

...Начало апреля. Снега растаяли. Прошло несколько весенних дождей. По дорогам и низинам непролазная грязь. Ночью хвойные леса шумят вокруг, как море.

Батарея стоит слева от шоссе, которое находится под обстрелом: у многих берез обрублены снарядами верхушки и надломлены стволы. Вдоль шоссе — солдатские могилы с уже посеребрившими деревянными крестами. Березы склоняют над ними сети своих ветвей, с которых падают дождевые капли. Как слезы. Ветер кропит ими могильные холмики.

Ночью, если днем была перестрелка, с пехотной линии мимо батареи несут, везут или ведут раненых. Они тяжело стонут, а то и просто кричат грудными надорванными голосами.

В ясную погоду с нашей батареей отчетливо виден сморгонский костел, уцелевший от немецких снарядов. Но это только так кажется, что он уцелел. Он весь в трещинах и пробоинах, еле держится.

Я навсегда прощался с хрупким видением костела, с разросшейся вокруг него персидской сиренью, с разбитой кропильницей и деревянным распятием, поверженным среди строительного мусора.

Деревянное красное сердце на желтой грудной клетке богочеловека.

Справа синее река Вилия и желтеет новенький бревенчатый мост через нее, построенный саперами.

Батарея расположена на открытом месте, а потому замаскирована небольшими елочками, срубленными в бору. Поэтому издали батарея похожа не то на молодой лесок, не то на питомник.

На этой позиции, помнится, мы стояли больше месяца, и солдаты обзавелись кое-каким комфортом. Возле землянок устроили сосновые дощатые столики, скамьи, вбитые в землю, на столиках начертили шашечные клетки и по целым дням сражались в дамки. Многие так наострились, что, пожалуй, достойны называться чемпионами шашечной игры. Впрочем, общеизвестно, что лучшие в мире игроки в шашки — русские солдаты.

В дамки играют люди солидные, сверхсрочники, а молодые, с действительной службы, все свободное время посвящают игре в городки, или, как здесь говорят, в скракли: выбивают издали тяжелыми березовыми палками сочные сосновые чурочки, разлетающиеся во все стороны со звуком, действительно схожим со словом «скракли».

Батарея ведет огонь часто, но понемногу, разгоняет своей шрапнелью небольшие партии неприятеля, производящего земляные работы.

В два часа пополудни стрельбы почти никогда не бывало.

— Герман пьет каву (то есть кофе).

После двух часов, выпив каву, герман идет на земляные работы, и

наша батарея, уведомленная об этом по телефону с наблюдательного пункта, начинает разгонять германа.

Батарейцы хорошо усвоили это боевое расписание и пользуются случаем — греют на костре в чайниках воду и попивают чаек, чаще всего «вприглядку».

— Герман каву, а мы чай Высотского.

Но один раз не угадали: только что насышали в кипяток скуповатую заварку, как из телефонного окопчика выскочил дежурный:

— Батарея, к бою!

— Тыфу, черт, не дают спокойно чайку попить.

Побросали кружки, ломти черного хлеба, и через миг орудийные номера стояли уже на своих местах у орудий.

— По цели номер сорок пять. Угломер пятнадцать — тринадцать. Уровень тридцать — ноль. Пушки сто сорок. Гранатой. Первый взвод — огонь! Первое, второе!

И пошло и пошло!..

После отбоя высказывается соображение, что немец хитрый, черт: разделяется на две партии. Одна партия копает, другая пьет каву. Потом одна каву пьет, другая копает. А мы стреляй! Пока отстреляемся — глядишь, и чай захолонул. Обратно надо греть. Этак и дров не напасешься.

...Против германа растет глухое неудовольствие...

А вокруг дивный солнечный день, в небе два-три белоснежных круглых облачка, с исподу голубоватые, плоско синееет река Вилия, желтеет новый наплавной мост, синееют леса, источая бальзамический запах хвои.

Благодать!

Прощай, белорусско-литовское Полесье. Жаль с тобой расставаться, да ничего не поделаешь. Такая наша солдатская служба.

Если день ясен, летают аэропланы. Уже с утра откуда-то сверху льется сонный журчащий звук мотора. Летит герман. Из землянок наверх выползают сонные батарейцы и поднимают помятые лица к небу. Долго не могут найти в яркой глубине белую точку. Водят пальцами в разные стороны, щурятся, пока кто-нибудь случайно не наткнется на «таубе», вокруг которого апрельское небо уже покрыто белой ослой наших шрапнельных разрывов. Беленькие оспинки пухнут, превращаются в небольшие трескучие тучки. Скоро все небо становится рябым.

Но, в общем, на земле тихо. Тишину нарушают жаворонки, вороны, ручейки... Весна...

О, как горько и вместе с тем как сладостно она напоминает поход за фиалками и Ганзю!

Никогда больше я не увижу ни этой, ни той весны. Будет еще много весен... но эти неповторимы, как первая любовь.

...Перед закатом я пошел к реке. Небо по-прежнему устойчиво безоблачное. Солнце лучистое, как будто сквозь слезы; с берез сыплются крупные капли. Идут весенние соки. Солдаты пробуравили стволы берез, приладили деревянные желобки и собирают березовый сок в свои манерки и бачки.

Я вдруг ощущаю на губах вкус березового сока: чуть сладковатый, душистый, прохладный.

Помню, шел я мимо соседней батареи, опустив голову и глядя в землю. На душе у меня было тихо, горько и как-то очень хорошо... как в детстве...

Ночью я стоял у орудия дневальным. Небо полно звезд. Месяц на закате похож на раскаленный уголек, подернутый голубоватым

пеплом тучки. Изредка слышатся отдаленные редкие ружейные выстрелы: па-та-ра! па-та-ра!

Странно, что все звездное небо как бы находится в незаметном вращательном движении. Еле уловимо глазом плывут знакомые с детства созвездия. Одна только маленькая, почти незаметная Полярная звезда неподвижна, как и моя любовь. Но не к той, которой я пишу, а к другой. В ту, которой я пишу, я влюблен. А ту, другую, я люблю. Влюблен и люблю. Две вещи совершенно разные, хотя и похожие.

Несовместимости

Теперь мне это ясно. А тогда я мучился.

Теперь в не совсем прямоугольном, мягко очерченном светящемся пространстве появляется женская фигура в алых развевающихся одеждах, приближается, и ее грубый, но прекрасный профиль заполняет экран. У нее волнистые волосы и открытый рот полубога.

Богиня с лицом архангела. Она поет.

«Нет, не тебя так пылко я люблю. Не для меня красоты твоей блистанье. Люблю в тебе я прошлое страданье и молодость, и молодость погибшую мою».

Теперь ее глаза смотрят на меня в упор. Божественный женский голос с мужскими модуляциями, сливаясь с божественной струнной музыкой, есть воплощение моей души, полной восторга и отчаяния.

«...и молодость, и молодость погибшую мою»...

Я вытираю высохшей старческой кистью руки, покрытой гречкой, мокрые щеки, вспоминая свою погибшую молодость, белорусские или литовские леса, по которым двигалась наша артиллерийская бригада,— а куда? Никто не знал... Даже солдатский телеграф.

Чувствовалось, что война принимает новый оборот...

Открывался румынский фронт.

Скрипя по мокрой песчаной дороге, батарея, в которую я был переведен из своей прежней батареи уже в звании бомбардира, с одной лычкой на погонах и с надеждой на звание младшего фейерверкера, то есть на вторую лычку,— батарея шагом выехала из смолистой тьмы леса и стала подниматься на бугор.

Впереди на серой лошади, опустив поводья, ехал еще мало мне знакомый командир батареи. Его сутуловатая высокая фигура молодого штабс-офицера мерно покачивалась в такт лошадиному шагу, и казалось, что он бормочет себе под нос что-то спросонья. За командиром следовали трубач и два конных разведчика.

Чубатые разведчики держались молодцевато, и у всех у них фуражки были сбиты набекрень.

За разведчиками плелась двуколка, нагруженная катушками телефонного провода, а за двуколкой брэнчали и подрагивали на выбоинах дороги пушки с передками и зарядные ящики, сдвоенные между собою так называемой стрелой.

На лафетах трехдюймовок, обвешанных вещевыми мешками, ранцами, скатанными шинелями, котомками, чайниками и прочей дребеденью, сидя спали орудийные номера, хотя это и запрещалось уставом: они должны были идти рядом со своим орудием.

По сторонам зарядных ящиков и пушек, влекомых по тяжелому песку конной тягой с верховыми ездовыми, на крепких сытых лошадях сонно покачивались орудийные фейерверкеры.

Остальная прислуга, те, кто не сумел словчиться сесть на передок или зарядный ящик, шла пешком, тяжело роя сапогами сы-

рой после ночного дождя песок, то и дело засыпая на ходу и спотыкаясь.

За ночь прошли тридцать верст, и солдаты изнемогали от усталости. Светало. Небо из черного, ночного стало водянисто-серым, и уже можно было различать лица солдат и масти лошадей. Где-то недалеко совсем по-домашнему кукарекнул петух, то ли предсказывая скорый восход солнца, то ли накликая дождь.

Я вспоминаю, как во время этого мучительного перехода без остановок мне удалось пристроиться на лафете и просидеть некоторое время с еще мало мне знакомым наводчиком Подкладкиным.

Мы проговорили напролет всю ночь, не спали и к рассвету ужасно надоели друг другу. Разговор шел о крестьянских делах, о которых я не имел никакого понятия и только читал кое-что в книгах и газетах, в то время уже изуродованных цензурой. Мы совершенно не понимали друг друга, волновались, сердились, перебивали друг друга.

— Слушайте, Подкладкин,— говорил я, раздраженно сдвигая на затылок фуражку и вытирая лицо ладонью,— дело совсем не в том, что аграрный вопрос в России...

— Господин вольноопределяющийся...

— Пойдите! Не перебивайте! Дайте докончить.. Дело, повторяю, совсем не в том, что биржа...

— Нет, теперь вы стойте с вашей биржей.. Не перебивайте. Дайте мне. А потом говорите себе сколько вам угодно. Вы, конечно, как образованный, с аттестатом первого разряда, а мы, конечно, как люди темные, можно сказать, даже совсем без образования.. Вот вы все говорите — аграрная, аграрная или биржа, биржа...

И Подкладкин начал сбивчиво и торопливо в десятый раз доказывать нечто совсем мне непонятное.

Я понимал, что Подкладкин совсем не умеет выражать ясно и понятно свои мысли, и это меня мучило, раздражало. Но еще больше раздражал меня его какой-то необъяснимо оскорбительный тон, как будто бы я был виноват во всех народных бедствиях, волновавших Подкладкина. А самое главное, что слово «говорить» он произносил с ударением на втором «о», то есть «говóрить», что воспринималось мною чуть ли не как издевательская насмешка.

Я чувствовал, что, говоря о земле, Подкладкин недоговаривает чего-то самого главного: то ли не умеет выразить свои мысли, то ли не доверяет мне как человеку чужому.

А я привык, что в моей бывшей батарее солдаты считали меня вполне своим и не стеснялись выражать в моем присутствии самые крамольные мысли, даже, например, такие, что пора всю эту волюнку с войной кончать и начать делить помещичью землю.

К орудию подъехал фейерверкер Черпак. Он сидел на грузной большой кобыле, и все на нем казалось тяжелым, большим: и шапка, и большой револьвер-наган в большой, старой, до блеска протертой кожаной кобуре, и сапоги, и шпоры.

— О чем у вас разговор, Александр Сергеевич? — спросил он меня.

— Да вот все спорим о земельном вопросе в России. Посудите сами: Подкладкин утверждает...

— Ничего я вам не утверждал,— угрюмо промолвил Подкладкин.

Черпак махнул рукой и обратился ко мне:

— Угостите папироской.

— Пожалуйста, пожалуйста.— Я достал кожаный портсигар, который завел совсем недавно, и протянул фейерверкеру.

Черпак тяжело наклонился с седла, вытянул папироску, вырубил кресалом из кремня искру и стал закуривать от дымящегося трута, поставив ладони ковшиком. На миг огонек папиросы бросил

красное пятно на грубое, но красивое лицо Черпака, и предутренный ветер отнес в сторону сизый дымок.

— Легкий, турецкий,— с удовольствием произнес Черпак тоном знатока,— «Дюбек лимонные», фабрики Асмолова. Аромат!

Еще минуты две для приличия Черпак ехал рядом, а потом тронул лошадь шпорами и свернул в сторону.

— Эй, Черпак! — крикнул я ему вдогонку.

— Чего изволите? — спросил Черпак, возвращаясь. Он уже как бы чувствовал во мне будущего офицера.

— Скоро бивак? А то больше сил нет.

— Деревушка вон там, за бугром,— ответил Черпак, показывая плеткой вперед.— Не помню названия. Чи Гаскевичи, чи Сухневичи, чи Заскевичи. Одним словом, как говорится, на «чи»... Чи не пойдете вы...— Черпак добродушно произнес нецензурное выражение, засмеялся, оскалил белые зубы.

— Слушайте, Черпак, а нам с вольноопределяющимся Петровым можно будет искать себе квартиру отдельно?

— Отчего же нет? Раз командир батареи разрешил, значит, можно. На то вы и вольнопёры, будущие офицера...

В этих словах мне послышался как бы некий упрек, некое недовольство, даже как бы скрытая угроза.

Вообще эта ночь, сумбурный спор с Подкладкиным как бы снова приоткрыли для меня нечто скрытое, то, что делалось в стране, в тылу, далеко от линии фронта.

Я соскочил с железного лафета и, припадая на отсиженную ногу, пошел по глубокому песку косогора, обогнал передок, ездовых, зарядный ящик, скрипящий своей стрелой, и подошел к головному орудию, на лафете которого дремал другой вольноопределяющийся, Петров, недавно прибывший в бригаду, малый веснушчатый, худой и безбровый.

— Как дела, Петров? — спросил я покровительственно и протянул своему коллеге, еще не нюхавшему пороху, портсигар.

— Курите. «Дюбек лимонные». Асмолова.

Петров поднял нестриженую голову и улыбнулся спросонья мне, своему старшему товарищу, детской, несколько провинциально-застенчивой улыбкой.

— Вот что, Петров, сейчас будет бивак. Мы с вами поселимся отдельно, вместе, в квартире по моему вкусу. Я уже говорил с начальством. Разрешено. Вы хорошо выпались на лафете? Мягкие части не отсидели?

— Выспался лучше не надо! — бодро ответил новенький.

— Небось снились саратовские барышни?

— Не без этого.

— О, да вы, оказывается, донжуан! А я, представьте себе, всю ночь разговаривал с наводчиком Подкладкиным насчет аграрного вопроса в России.

— Какой там аграрный вопрос, когда у мужика все равно ни черта нету земли,— пробормотал Петров.— Голодает народ.

— Но позвольте, ведь Государственная дума...— начал я, выпуская табачный дым из ноздрей и представляя себе карикатуру, виденную недавно в «Огоньке»: купол Таврического дворца в Петрограде и над ним зловещая стая черных ворон...

— Е...ли они Государственную думу,— неожиданно, но с прежней детской улыбкой сказал Петров как нечто давно уже всем известное.— А вы знаете,— прибавил он как бы в виде извинения,— кажется, опять собирается дождь.— И посмотрел на хмурое небо.

Он слез с лафета, и мы пошли рядом в ногу по краю дороги, вдоль полосы мокрой розовой гречихи, от которой перед дождем особенно сильно пахло медом.

— И пахнет медом от гречихи,— мечтательно процитировал я.
 — И коростель скрипит во ржи,— дополнил Петров.
 Мы оба засмеялись...

...А в это время где-то очень далеко, за тридевять земель, в тридесATOM царстве прошлой жизни, жили-были и, может быть, еще не проснулись, лежа на горячих подушках, две девушки, не знакомые друг с другом: одна яркая, прелестная, как бы внезапно появившаяся из куста сирени, а другая неопиcуемо никакая, неяркая, незаметная, как та звезда, которую всегда так трудно найти в небе, полном знакомых созвездий.

...погружаемся в эшелон на станции со странным названием Столбцы, возле Барановичей.

Пушки втаскиваем на железнодорожные платформы по доскам, а лошади, звонко стуча подковами, идут по настилу в товарные вагоны со знаменитой надписью «Сорок человек — восемь лошадей».

И точно: в числе сорока человек нижних чинов я попадаю в вышеупомянутый товарный вагон-теплушку и устраиваюсь на нарах, покрытых соломой, от которой пахнет лошаадьми.

Четверо нар. Двое налево, двое направо, одни над другими, на каждом по десять человек, итого — сорок. Точно. Все правильно.

Длинное путешествие по железной дороге, а куда — неизвестно. По названиям станций ничего не поймешь. Военная тайна! Но, видимо, где-то срочно нужны наши трехдюймовки.

Эшелон гонят без остановок.

Солдатский телеграф сообщает, что генерал Брусилов прорвал австрийский фронт и нас гонят к нему на подкрепление.

Это приятно. Надоело топтаться на одном месте — ни взад, ни вперед. Хочется наступления, подвигов, взятия городов, боевых наград!

А пока что наша теплушка, отчаянно мотаясь и гремя на стыках, стремглав катится вперед, и в широко раздвинутых ее дверях мимо нас проносятся леса, полустанки, головаcтые водокачки, озера, изредка таинственные решетчатые «тригонометрические знаки», реки, над которыми мы пробегаем по железным мостам, наполняющим воздух музыкально-броневым грохотом.

Посредине вагона в проходе традиционная печурка с коленчатой трубой, выведенной в боковую форточку. Ну уж тут, натурально, появляется традиционный орудийный чайник, вмещающий едва ли не ведро кипяточка, мелко, по-хозяйски, расчетливо наколотый рафинад, походные ржаные сухари, скупая артельная заварка чаю.

Летний железнодорожный сквозняк вытягивает из теплушки сизый дымок махорки «Тройка»...

И начинается мирное солдатское теплушечное житие: кто-то рокочущим густым басом негромко начинает любимую солдатскую песню о Ермаке, покорителе Сибири:

«Ревела буря, дождь шумел, во мраке молнии блистали, и непре-рыв-но гром гремел, и вихри в дебрях бушева-а-ли...»

Сорок разнообразных солдатских басов, альтов и даже дискантов подхватывают знакомую, родную песню, и в несущейся невесть куда теплушке солдатский хор грозно и мрачно звучит, как орган, на котором неведомый органист играет Баха, но не просто Баха, а какого-то еще более могучего русского Баха, может быть даже самого Ермака, сидящего с глубокой думой на берегу гремящей сибирской реки — Иртыша, что ли?

Не знаю, какое тайное значение солдаты придавали древней романтической картине: гроза, буря, молнии и сидящий на диком берегу Ермак. За кого они его принимали: за охранителя границ великого Русского царства или за самого Пугачева?

Но меня беспокоили солдатские лица, в общем-то свои, вдруг ставшие грозными, как бы отражая гром и молнии приближающейся народной бури.

Народная баллада к грядущей революции.

Что-то нынче солдатами не пелись сентиментальные песни про «стежки-дорожки, где проходили миленькой ножки», или «пожалей ты меня, дорогая, освети мою темную жизнь». Нет. Нынче что-то другое владело их душами. Их душами владело «славное море, священный Байкал» — слова, которые я сначала понимал превратно или совсем не понимал. Что за «корабль — омулевая бочка»? Что за баргузин, который должен пошевеливать какой-то вал? Что за вал? Что за баргузин? Баргузин представлялся мне громадной фигурой какого-то легендарного сибирского богатыря вроде Ермака, державшего в могучих руках деревянный вал, чудовищное весло величиной с сосновый струганный ствол, опущенный в воду священного Байкала.

Но все это оказалось лишь плодом моего незрелого воображения. На самом деле баргузин — это название ветра, вал — это волна, которую пошевеливает этот джетер баргузин. Вот и все. Но магия этих странных сказочных слов осталась, и в общем солдатском хоре я с удовольствием подтягиваю своим немзыкальным голосом чудным звукам народной песни.

Но ведь это не простая песня. Это баллада. Она воспевает мужество беглого каторжника. А откуда он бежит? Он бежит с царской каторги. Очень возможно, что он попал на царскую каторгу как революционер, которому сочувствует народ: «Хлебом кормили крестьянки меня, парни снабжали махоркой». В этом суть всей песни. А забайкальский пейзаж говорит о ссыльных декабристах.

«...ох, дорогая Миньона, совсем не прост наш солдатик, защитник веры, царя и отечества. Я начинаю задумываться над судьбою России.

Впрочем, забудьте и вычеркните. Это не для цензуры. А письмо опять постараюсь отправить не полевой почтой, а с оказией, чтобы не вышло неприятностей.

Но как Ваше здоровье? Берегите его. У Вас слабые легкие. Не простужайтесь.

Итак, наш воинский эшелон несется в неизмеримо громадных просторах России, а куда — неизвестно.

«Конь несет меня лихой, куда — не знаю».

Наконец мы оказываемся в Буковине, и солдатский телеграф разносит весть о том, что нас бросают в брусиловский прорыв.

Рано утром разгружаемся на станции Черновицы. Сама станция и дома вокруг нее разбиты снарядами. Пыльно. Солнечно. Зелено. Слева на горизонте в легком, как бы голубом тумане голубые горы. Это уже не то Румыния, не то Австрия. Гористо и красиво уже какой-то чужой, не русской красотой.

Вот оно куда занесло нашу артиллерийскую бригаду, оторванную от своей пехоты. Впереди завоеванная Буковина.

Вперед, на помощь героям брусиловцам!

Пыльная дорога. Мужчины в белых холщовых штанах, в жилетах поверх длинных вышитых рубах, в шляпах, из-под которых падают на плечи длинные, нестриженные волосы. Женщины в ярко вытканых платьях. Пыль на дорогах особенно белая, мелкая, как мука. Она садится на лицо, на руки, пудрит обмундирование, делая всех седыми, а черные артиллерийские шаровары превращает в серебристо-бархатные. В пыльных садах чертова уйма спелых лиловых слив, покрытых бирюзовым налетом, груш, яблок, грецких оре-

хов в темно-зеленой мясистой кожуре. Ешь — не хочу! Но скоро надоело, объелись, пардон, до поноса.

Город Черновицы. Потом вдребезги разбитая Коломыя. Развалины, поросшие бурьяном, остатки стен особнячков с аляповатыми фресками амуров, нимф...

Тяжелые переходы. Ночью привалы в палатках, при свете какой-то нерусской луны. Поход форсированным маршем. Потом уже Галиция. Тот же зной, то же солнце, те же отяжелевшие от пыли фруктовые сады, подсолнечники и высокие розовые, белые, алые, кремовые мальвы, на кольях плетней — глечики.

Огромные партии пленных австрийцев в серо-пыльных мундирах, похожих скорее на какие-то больничные халаты.

Ночью за горизонтом беглый блеск артиллерийской стрельбы. Ее звуки все ближе и ближе... И вдруг — стоп! Назад! Куда же? Опять неизвестность. Солдатский телеграф молчит. Нами всеми руководит чья-то таинственная железная воля.

...И вот мы опять грузимся на платформы и в теплушки — сорок человек и восемь лошадей.

Замелькали поля Галиции, отроги голубых Карпат, пыльная фруктовая Буковина. Под нами сверкнул стальной быстрый Днестр. Бессарабия. И вдруг знакомая с детства станция Жмеринка, крупный узел Юго-Западной железной дороги. Здесь уже все знакомое, степное, родное. Новороссия. До нашего города совсем недалеко. Неужели туда на переформирование?! И сразу мне представляется куст персидской сирени, белая скамья над обрывом, морской простор.

По поводу ожидаемого переформирования в тылу в нашей теплушке пир горой. Откуда ни возьмись появилось ведро бессарабского белого вина, не вполне честным путем раздобытого разведчиками в Жмеринке, и мы на радостях основательно выпили, закусывая сливами и грушами. С непривычки я опьянел, плел всякую чепуху про любовь и целовался с орудийным фейерверкером, у которого оказались колючие жесткие усы.

Я всех любил, и меня все любили и предсказывали, что скоро я получу звание младшего фейерверкера, а там и рукой подать до золотых погон.

В таком возбужденном состоянии я заступил на дежурство при двух орудиях моего взвода, ехавших на открытой платформе.

Поезд тронулся. Степной ветер быстро выдул из меня легкий хмель слабого бессарабского вина, и я сидел на лафете с обнаженным бебутом в руке, наслаждаясь стремительным движением нашего эшелона, с каждой секундой приближавшего меня к Вам.

Мимо пробегали телеграфные столбы, и я считал в уме расстояние между ними секундами: раз-два-три-четыре-пять. Обычный пассажирский поезд пробегал между двумя столбами за семь секунд. Теперь же от столба до столба было четыре секунды. Наш эшелон гнали со скоростью курьерского поезда. Не останавливаясь мы проскочили крупную узловую станцию Барзула. И вот уже — станция Раздельная. Чуть ли не сорок верст до моря, до Вас. Можете себе представить мое волнение! Еще каких-нибудь полчаса — и ко мне вернется прошлое...

Но не тут-то было. Близок локоть, да не укусишь. Видно, прошлое уже никогда не возвращается.

На станции Раздельная короткая остановка, после чего наш эшелон переходит по стрелкам на другую сторону и поворачивает на запад. Куда? Кто-то пускает слух, что бригада наша направляется в Тирасполь и станет там лагерем в ожидании новых событий: со дня на день доселе нейтральная Румыния должна вступить в войну против Германии и, таким образом, сделаться нашим союзником.

При слове «Тирасполь» в душе у меня все переворачивается. Ведь Тирасполь — это Ваш город. Там стояла 15-я артиллерийская бригада, которая после начала войны выделила из себя нашу 64-ю. А до войны вы все, барышни Заряницкие, каждое лето проводили в лагере у своего отца под Тирасполем. В Вашем представлении Тирасполь всегда казался чем-то вроде земного рая: природа, воздух, парное молоко, романы с артиллерийскими офицерами. Вы и Тирасполь в моем воображении неразрывны. И вот теперь чья-то неведомая воля мчит меня именно в Ваш Тирасполь. Чудеса!

Ночь. Звезды. Маленькая фиолетовая луна. Туча искр из паровой трубы. Поле, откуда доносится запах конопли, иммортелей, полыни, чабреца. Теплый ветер бежит по звездам.

Станция Тирасполь!

Поезд стоит тридцать минут. Я дежурю на открытой платформе, прислонясь к орудийному колесу, весь под обаянием тех прошлых тираспольских ночей, которые я никогда не переживал, но прелесть которых всем своим существом чувствую по Вашим рассказам.

Но что это? Три звонка. Свисток. Стук буферов. Под моими ногами платформа дергается. Я хватаюсь за орудийный щит. Поехали дальше! Мне грустно. Я люблю Тирасполь, а он уплывает куда-то назад, вдаль, в степную ночь...

...И вот мы уже на берегу Дуная, в городе Рени...

...как у нас поется в бригаде: «Я на камешке сажу, на реку Дунай гляжу», а об Одессе и не мечтай! Ваш А. П.»

Вспоминается мне пыльный, знойный придунайский городишко Рени в Бессарабской губернии. В мирное, довоенное время этот городок жил сонной жизнью уездного захолустья. Два ресторана. Бар-зар, где продаются местные кавуны, дыни да помидоры. Собор с синим полинявшим куполом. Кондитерская «Реномэ», парикмахерская «Реномэ», фотография «Реномэ». И бюро похоронных процессов тоже «Реномэ». И все это принадлежит одному хозяину-греку.

Теперь не то.

Город, говорят старожилы, не узнать. Он весь теперь какой-то военный, как бы защитного цвета хаки. Куда ни посмотришь — всюду военные. Пехотинцы. Артиллеристы. Авиаторы. Моряки. Саперы. Военные врачи. Сестры милосердия. По деревянным тротуарам позванивают шпоры. То и дело, обдавая облаками мелкой, белой, как мука, бессарабской пыли местных так называемых кисейных девиц, прокатывают парные неуклюжие фазтоны, унося в неведомую даль ослепительно белые, словно отлитые из гипса, накрахмаленные кители и черные нафабранные усы морских офицеров Дунайской флотилии.

По окраинам расположены непрерывно прибывающие и прибывающие войска всех родов оружия. Вот на пыльном, поросшем бурьяном и будяками пустыре красуется совсем новенькая четырехорудийная, видно, еще не побывавшая в деле гаубичная батарея. Вот только что не египетские пирамиды, сложенные из блоков прессованного сена. Палатки. На плетнях развешаны солдатские портянки, бязевые рубахи, кальсоны. Проветриваются шаровары и раскинутые рукава гимнастерки. Дымят походные кухни, кипяильники на колесах.

Вспоминается, как проходил я мимо бивака сербских добровольцев, лихих молодцов в незнакомых странных головных уборах, которые теперь распространены повсеместно и называются пилотки, а тогда вызывавшие удивление.

Возле канавы, густо поросшей дерезой, унизанной бледно-лиловыми продолговатыми ягодками, между вербами протянута коновязь и топчутся лошади, отбиваясь хвостами от мух и слепней. Ли-

ца у братушек-сербов смуглые, глаза, как угли, и как-то по-западному, даже по-американски, по-ковбойски сжатые энергичные рты.

Вот на плацу бивак наших казаков, лихих донцов с чубами изпод фуражек. Вот пулеметная команда.

Все чего-то ждут.

Солдатский телеграф сообщает, что не сегодня-завтра нейтральная Румыния объявит Германии войну и тогда сразу же мы переберемся за Дунай, в Добруджу и вместе с румынами ударим по врагу.

Но тянулись дни, а румыны все еще чего-то выжидали.

Войска изнывают от жары, пыли, безделья, нетерпенья.

Но что из себя представляет это скопление всех родов оружия — неясно. Кто говорит, что это новый фронт, кто считает это отдельной особой армией, кто — экспедиционным корпусом. Однако единого командования еще нет, отсюда какой-то всеобщий беспорядок.

Всем распоряжается, как говорят солдаты — всем заворачивает, некий контр-адмирал Дунайской речной флотилии, военный комендант города Веселкин, фигура отчасти комическая, отчасти зловещая. Он тучен, курнос, бородат, полупьян, неряшлив, и если бы не его летний белый сюртук из чертовой кожи с контр-адмиральским черным орлом на погонах и не кортик, то его можно было бы принять за чеховского околоточного. Солдатский телеграф уверяет, что адмирал Веселкин — незаконный сын императора Александра III. Вполне возможно. Он похож на него как две капли воды, только немного пониже ростом.

У Веселкина навязчивая идея: всюду наводить порядок. Он воюет на базаре с торговками, бьет морды солдатам, не ставшим ему во фронт, сажает на гауптвахту фланирующих по бульвару прапорщиков, штрафует извозчиков, непристойными словами ругает барышню.

Увидав издали белый сюртук, прохожие шарахаются в стороны, прячутся по домам, торговки в развевающихся юбках убегают с базара, таща свои лотки и корзины, из которых сыплются в пыль огурцы и помидоры, солдаты прыгают через плетни и прячутся в дерезе, извозчики изо всех сил хлещут своих лошадей и несутся вскачь — дрожки вихляются и заезжают на деревянные тротуары. Адмирал Веселкин грозит им кулаками и оглашает воздух самой что ни на есть непечатной бранью.

О каком же тут порядке может идти речь? Сплошной хаос! И это все буквально накануне открытия нового фронта военных действий.

Даже сейчас, когда жизнь моя уже прошла, память с поразительной отчетливостью воскрешает все, что я испытывал тогда на берегу Дуная, и прежде всего внезапную, нестерпимо острую тоску по родному дому, по городу, по тому неповторимому миру юности, от которого я так глупо бежал.

Боже мой, что я наделал!

Я испытывал почти ощутимую близость родного новороссийского августа, пламенную густоту неба, грубый запах разросшегося за лето бурьяна, осыпавшего ботинки желтым порошком своего не красивого, но могущественного цветения, трепет пухлых мотыльков-бразжников, кружащихся в палисадниках над яркими, как бы целлулоидными разноцветными циниями, огненными каннами, и каменную скамью над обрывом.

Я готов был бежать домой и стать дезертиром.

Искушение было так велико, что однажды я отправился на железнодорожную станцию, перешел через рельсы на запасной путь, где стоял пустой состав пассажирского поезда Рени — Одесса, взобрался по высоким ступеням и открыл незапертую тяжелую дверь пустого вагона «микст» — наполовину желтого, наполовину синего. Я вошел в уборную первого класса и запер за собой дверь на задвижку. Здесь было прохладно, очень тихо и пахло душистой дезинфекцией хорошо вымытого фаянсового унитаза и умывальника с куском туалетного брокаровского мыла и льняным полотенцем с монограммой железной дороги — «ЮЗЖД».

Я увидел себя в зеркале и удивился. Я давно уже не видел себя в зеркале. Загорелое незнакомое лицо, уже не детское, возмужавшее, но все еще не вполне солдатское. Стриженная голова. Пыльные жесткие волосы. Выгоревшая фуражка с солдатской кокардой. Две защитного цвета пуговички на помятом вороте летней гимнастерки с покоробившимися погонами вольноопределяющегося, укорашенными скрещенными пушечками и бомбардирской лычкой. Узкие глаза, как у покойной мамы. Щеки со следами недавнего бритья. Безвольные потрескавшиеся губы и общее выражение преступного отчаяния.

Кто я? Трус? Дезертир? Ах, все равно, лишь бы поскорее любой ценой вернуться в тот мир, который я так легкомысленно отверг. И тут же я почувствовал, что к прошлому нет возврата. Вернее, того прошлого уже вообще нет. Оно невозвратно. И я сам этого захотел! Я сам его уничтожил.

В ртутном блеске зеркала, исцарапанного алмазными вензелями, я увидел окаянные черты антихриста, павшего ангела, наказанного тем, что все его желания исполнились.

Теперь мое преступное желание бежать от войны могло исполниться, стоило только не отпирать задвижку до тех пор, пока поезд не подадут к перрону и потом он не тронется, увозя меня обратно, в утраченный мир любви и юности.

А воинская присяга?

Ведь это я сам без принуждения положил два пальца на серебряный оклад Евангелия, и присягнул умереть за веру, царя и отечество, и целовал поданный мне наперстный крест бригадного священника, обжегший на морозе мои детские губы. Теперь я стану клятвоступником, меня предадут военно-полевому суду, сорвут погоны, и я буду копать яму шанцевым инструментом — лопатой, — уже стоя в яме по пояс, в то время как два солдатика из комендантского взвода, один с винтовкой наизготовку, а другой скручивающий из газеты сигарку, будут стоять надо мной, терпеливо дожидаясь, когда я наконец кончу копать.

Я очнулся и, торопливо оглядываясь по сторонам, открыл задвижку, выбрался из уборной и спрыгнул из тамбура на железнодорожное полотно, усыпанное ржавой щебенкой с кусочками кремня и сгоревшего угля.

На этот раз мое желание как будто бы не исполнилось. И слава тебе, господи! Я перекрестился, как бы желая изгнать из себя дьявола.

Но я ошибся. Желание мое все-таки исполнилось самым неожиданным образом. Как только я добрался до бивака своей батареи, меня потребовали к командиру, который с несколько насмешливой улыбкой приказал мне отправиться в бригадную канцелярию получить суточные, приварочные, командировочные, увольнительные документы на пять суток и железнодорожные литеры. Оказывается,

по приказанию из штаба бригады меня командировали в Одессу на пять суток, считая время проезда по железной дороге.

— Повезете с собой бригадную почту, а на обратном пути захватите у генеральши Заряницкой два пуда муки для офицерской столовой. А то вы здесь болтаетесь без всякого дела. Обратного вернетесь как раз к началу военных действий.

Таким образом, я, все еще не веря своему счастью, поехал в том самом пассажирском поезде, но только в вагоне третьего класса, в любезный мне город, смутно догадываясь, что эту поездку устроила мне Миньона. Так оно и оказалось. Но только вряд ли здесь была любовь, а скорее дружеское участие.

— Скажите мне спасибо,— были ее первые слова, когда я, гремя шпорами, которые купил, едва сошел с поезда, в галантерейной лавочке на углу Канатной и Пироговской, против Куликова поля, появился у Заряницких, переступив порог бледно-зеленых дверей с начищенной медной дощечкой.

Я не сразу узнал Миньону в вышедшей мне навстречу низкорослой девушке в косынке с красным крестом, в сером платье сестры милосердия. Только бледно-сиреневые глаза и кончик бронзового короткого локона, высунувшийся из-под косынки, напомнили мне ту Миньону, которую я видел в последний раз на первый день пахи, после бессонной ночи с той модисточкой, мимолетную связь с которой я и вовсе не считал изменой, потому что это находилось в той теневой стороне моей жизни, которая никакого отношения не имела к жизни, так сказать, подлинной, настоящей.

Эти две жизни как-то не принято было смешивать. Они соотносились друг с другом, как бодрствование и состояние глубокого сна со сновидениями, не всегда даже потом запоминающимися.

В полдень я стоял перед Миньоной в состоянии бодрствования. Я был я. Она была она в своем пасхальном платье. Сквозь полуоткрытую дверь коридора в солнечном луче виднелась часть пасхального стола с куличами, гиацинтами и винными бокалами зеленого стекла. Слышался говор офицеров-визитеров. Синел папиросный дым. Миньона и я, слегка помедлив, похристосовались и покраснели — я сильно, она слегка.

Теперь на том же самом месте, как тогда, она подала мне руку, я неловко ее поцеловал, почувствовав слабый йодистый госпитальный запах. Из столовой доносился стук швейных машинок. Там дамы-патронессы — офицерские жены — шили солдатское белье и щипали корпию.

Все было не так, как я себе представлял. Миньона показалась мне старше, чем была в действительности. Я пошел провожать ее в лазарет, где она дежурила. Город явился мне праздничным, хотя как бы и не вполне знакомым: густая августовская зелень бульваров и парков, знойное небо, яркое море с белоснежным маяком и множество военных, среди которых попадались итальянские и французские офицеры и англичане во френчах с ленточками орден. Попадалось много автомобилей и экипажей. Видимо, город процветал. Война щедрой рукой разбрасывала стотысячные ассигнования, земские союзы и ведомство императрицы Марии не скупилась на сотенные бумажки, так называемые катеньки, для раненых офицеров, разъезжавших со своими желтыми костюмами на извозчиках в сопровождении госпитальных сестриц или дам-патронесс в больших шляпах. В магазинах шла бойкая торговля. В табачных лавках продавались жестяные коробки с английским трубочным медовым табаком — кэпотеном. Мальчишки-газетчики бегали по улицам, возвещая скорое вступление в войну Румынии.

Миньона взяла меня под руку с левой стороны, так как пра-

вой рукой я все время отдавал честь проходящим и проезжающим офицерам.

В парке ярко краснели августовские цветы.

— Вы молодец, что так много мне писали,— сказала она, прощаясь со мной возле госпиталя.— К сожалению, сегодня я дежурю, а завтра...

Она слегка прижалась к моему плечу, и я уловил в ее глазах знакомую, немного насмешливую улыбку.

— Что завтра?— спросил я.

— Завтра я буду свободна целый день...

Попрощавшись с Миньоной, я пошел по знакомым, но почти никого не застал дома. Иные еще не возвратились после летних каникул. Иные уже куда-то уехали. Многие из моих товарищей поступили в школы прапорщиков. Вольдемар стал так называемым земгусаром, то есть полувоенным чиновником Союза городов, и носил узкие погончики и странную кокарду, даже, кажется, с красным эмалевым крестиком. Он куда-то торопился и был заметно смущен своим видом, говорившим мне, что его сестра Калерия гостит на Куяльницком лимане у Ганзи и они вернутся не раньше конца августа.

Произнеся имя Ганзи, он многозначительно и отчасти горестно поднял свои короткие густые брови, и голос его зазвенел знакомым надтреснутым фальцетом обидчивого самолюбивого ревнивца, из чего я заключил, что из его романа с Ганзей ничего не вышло и он получил отставку.

— А вы, Саша, я вижу, настоящий герой-фронтовик. Но где же ваш Георгий?— Он засмеялся своим блеющим смешком и погладил усыки, придававшие ему вид провинциального красавца.

Упоминание Ганзи меня обожгло. Но я сделал вид, что это мне безразлично. Я даже нашел в себе силы спросить как бы вскользь:

— А она еще не вышла замуж?

Мой вопрос, в свою очередь, настолько обжег Вольдемара, что он не нашел в себе мужества ответить как-нибудь остроумно и лишь процедил сквозь зубы:

— Насколько мне известно, нет.

Вспоминая все это, я с грустью понял, что моя исключительная память, которой я некогда славился, почти ничего не сохранила о моем коротком пребывании в тылу.

Кроме того, что на некоторых городских пустырях проходили пехотные учения юнкеров или солдат запасных батальонов, одно только и осталось в памяти ярко и отчетливо— это то, что, как я узнал от Вольдемара, Ганзя проводила летние месяцы на Куяльницком лимане, вероятно, на той самой даче, куда некогда я проводил ее по степи, поросшей иммортелями и полынью, и потом мы сидели на террасе, и мама Ганзи принесла нам на блюде нечто, показавшееся мне в сумерках, при еще очень слабом свете восходящей луны, оранжевыми ломтиками голландского сыра, а на самом деле это были скибочки нарезанной дыни, сразу же напомнившей теплый воздух своим персидским, несколько спиртуозным ароматом.

Лицо Ганзи трудно было рассмотреть в сумерках, хотя полынь на горе уже слегка серебрилась от лунного света. Впрочем, я никогда не мог рассмотреть ее лица, да и сейчас не берусь его описать. Единственное могу сказать— что бог, создавая Ганзю, не забыл положить в нее немного корицы...

...Потом принесли лампу, вокруг которой летали мотыльки...

Тогда я не пробыл дома даже пяти дней. Румыния вступила в войну. Мне следовало спешить в действующую армию.

Вечер накануне отъезда я провел с Миньоной. Она сняла форму

сестры милосердия, надела свое обычное летнее платье английского стиля, с большим атласным бантом на шее и превратилась в прежнюю Миньону.

На голове кружевная накидка, на плечах оренбургский платок. Ее знобило. Может быть, у нее и впрямь начинался туберкулез? Она продолжала играть роль друга и покровительницы, хотя была моложе меня. На правах любимой дочки командира бригады она строго расспрашивала меня о продвижении по службе и удивлялась, что я до сих пор не произведен в младшие фейерверкеры, а все еще хожу в бомбардирах, которым, кстати сказать, не положено носить шпоры, а я их ношу. Впрочем, о шпорах она упомянула с лукавой улыбкой. Эта улыбка как-то сблизила нас, чему содействовала густая темнота августовской ночи в разросшемся саду дачи Вальтуха.

Задевая темные кусты давно уже отцветшей сирени, в недрах которой кое-где таинственно тлеи зеленые камушки светлячков, мы вышли к знакомой скамейке над обрывом.

Черное небо, осыпанное скоплениями крупных и мелких звезд, отражалось в как бы отсутствующем море, откуда доносились размеренные всхлипывания волн.

Вокруг стояла настороженная военная тишина, и голубой луч прожектора скользил по звездам и вдруг пропадал, с тем чтобы снова возникнуть и пройти стеклянно-фосфорической дугой по небосводу от горизонта до горизонта.

Маяк ввиду военных действий на Черном море был погашен.

Я искал глазами среди скопления августовских созвездий Полярную звезду. Для того, чтобы ее обнаружить, следовало провести между двух крайних звезд ковша Большой Медведицы воображаемую прямую и продолжить ее почти до самого зенита, где находилась Полярная звезда, маленькая, ничем не замечательная, еле заметная, поражающая воображение своей вечной неподвижностью, недоступностью.

— О чем вы думаете? — спросила Миньона.

Я положил руку на спинку скамьи и не без осторожности сделал попытку обнять Миньону за плечи.

— Миньона, — сказал я, — кажется, я вас люблю.

— Только, пожалуйста, не врете, — сказала она и отвела мою руку своей опасно горячей ручкой.

Это мое «кажется» было, конечно, заимствовано из романа «Средь шумного бала».

Я стал преувеличенно сильно кашлять, как бы давая понять, что опять эти проклятые газы, этот фосген...

Отчасти это было правдой. Я все еще продолжал время от времени покашливать.

— Ах, бедный мальчик, — сказала Миньона не без иронии.

И опять наши отношения не выяснились. А письма из действующей армии продолжались.

«...вся пристань запружена повозками, обозами, артиллерией, лошадьми, блоками прессованного сена, рогожными тюками. Погрузка идет полным ходом. Визжат лебедки, скрипят сходни, слышатся крики грузчиков, фыркание лошадей. Баржи выкрашены в защитный цвет. Почти все баржи румынские или греческие. Фоном для этой картины служит прекрасный Дунай с пыльной, серебристо-кудрявой зеленью на противоположном, уже румынском, берегу.

Как-то я написал Вам, что Дунай — скучная река. Не верьте. Это, наверное, тогда у меня было скверное настроение. Дунай прекрасен! Полуденное солнце бьет почти отвесно в стальную, широко дви-

жущуюся воду, и оттуда прямо в глаза летит поток ослепительных лучей и искр.

Не помню, писал ли я Вам об адмирале Веселкине, коменданте местного гарнизона. Если не писал, то тем лучше. Слава богу, прибыл наконец командир корпуса генерал-лейтенант Гернгросс, и я был свидетелем, как Веселкин сдавал ему командование всеми войсками, доселе находившимися в его подчинении.

Я в это время только что приехал и еще находился на перроне вместе со всеми Вашими посылками, связками писем и мешком хорошей пшеничной муки мелкого помола, посланной Вашей мамочкой для Вашего папочки, что делало меня похожим на вьючного мула.

По перрону бегал, наводя порядок, адмирал Веселкин. В это время подошел экстренный поезд, остановился, и к синему пультмановскому вагону подкатили красную ковровую дорожку. В тамбуре вагона стоял худой, строгий генерал в легкой походной форме, с орденами на груди и на шее, в лайковых перчатках и походной фуражке с полями, приподнятыми на прусский манер. Одну руку генерал заложил за широкий пояс отличной коричневой кожи, а другой рукой слегка опирался на золотой эфес своей шашки с георгиевским темляком. Сделав небольшую паузу, генерал упруго соскочил на перрон, где его уже ожидал вытянувшийся в струнку адмирал Веселкин, выкатив глупые романовские глаза в красных жидках. Слегка пошатываясь, он подошел к генералу Гернгроссу, приложил руку к козырьку и отрапортовал о сдаче командования новоприбывшему.

Генерал Гернгросс корректно, но очень коротко и не без брезгливости пожал лапу Веселкина в белой нитяной перчатке и сказал: «А теперь, ваше превосходительство, можете быть свободны», сел в автомобиль и отбыл в свой штаб.

И в городе, слава тебе господи, воцарился порядок, а разрозненные воинские части почувствовали себя единым целым, то есть отдельным особым армейским корпусом.

У коменданта пристани мы — я и несколько отставших артиллеристов нашей бригады — наводим справки и визируем свои командировочные удостоверения. Наша бригада два дня назад переправилась в Румынию. Мы ее догоняем, и нам предстоит путешествие вверх по Дунаю на барже, которая должна отвалить от пристани часов в пять еще вполне солнечного вечера. На баржу уже погружен наш артиллерийский парк и обоз второго разряда. До отплытия время тянется скучно и сонно. Утомляет портовый шум и гам.

Наконец все готово. Два десятка барж битком набиты телятами, лошадьми, прессованным сеном, солдатами. Мы устраиваемся в большой головной барже, отлично приспособленной для перевозки войсковых частей. Здесь и чистая кухня с котлами для борща, каши и кипятка, и поместительные трюмы с койками для людей и на соевьсть выскобленными обеденными столами, на одном из которых я и пишу не без удобства это письмо.

Видно, что со стороны подготовки к войне (в смысле средств передвижения) Румыния больше чем постаралась.

Маленький буксирный пароходик «Рени» пытит возле нашей баржи, и видно, как на его пузатом борту суетятся матросы и флегматично покуривает трубку-носогрейку смуглый коренастый капитан, по внешнему виду итальянец или грек.

Баржи соединяются по четыре в ряд впереди и по три сзади. В таком порядке буксирный пароходик должен потянуть их за собой вверх по течению. Как-то не верится, что он в состоянии это сделать: не хватит силенок!

Но вот все готово. Убирают трапы. На баржи с пристани прыгают последние матросы. Визжат паровые лебедки, накручивая якор-

ные цепи. С передних барж передают на буксир стальные тросы, и «Рени», методично бурля винтом, натягивает их, как струны. Течение медленно поворачивает баржи боком. Набережная отделяется и уходит назад. Кипит вода. Баржа идет без единого толчка, без малейшего намека на движение. С буксира что-то кричат в рупор.

Дунай сейчас удивительно красив. Он потерял свой обычный серый цвет и полностью отразил в себе закатное небо, стал голубовато-розовым и удивительно гладким, без единой морщинки. В таких случаях принято писать, что река как зеркало, в котором отразились живописные берега.

Городок Рени уходит, все уходит назад, вот он уже потонул в садах. Лишь у пристани белеет и блестит в лучах заходящего солнца ожерельем иллюминаторов флагманский корабль адмирала Велселкина, бывшего начальника местного гарнизона.

И как странно на этом живописном фоне, на этой, так сказать, палитре беспорядочно смешанных закатных красок видеть защитного цвета баржи и солдат в защитном, фронтовом.

Вот уже Рени совсем скрылся из глаз, растворился в отражении закатного зарева, стал всего лишь воспоминанием»...

Вот именно, думаю я, перечитывая эти стертые карандашные строки: скрылся из глаз, потонул, стал невозвратимым прошлым. Ах, как легко и бездумно менял я в юности свою жизнь, превратившуюся в воспоминание.

Ну какой черт понес меня на войну? О, если бы я тогда знал, что однажды покинутое уже больше никогда не возвратится, а если и возвратится, то уже совсем другим.

...Отец постарел, вставил себе зубы, и они как-то зловеще изменили его родное лицо. Квартира не прибрана. Раньше мне никогда не приходило в голову, на какие средства мы живем. Отец с утра до вечера ездил по урокам. Сначала ездил на трамкарете, на конке, потом на электрическом трамвае, изредка позволял себе роскошь нанять извозчика за двугривенный. А много ли он зарабатывал? Как говорится, едва сводил концы с концами. Выручали жильцы, которыми сдавали лишние комнаты. Но они платили неаккуратно. Один даже оказался запойным пьяницей. Квартира напоминала постоянный двор. У младшего братишки, гимназиста, была своя жизнь — друзья, футбол, шалаанда в «Отраде». В сущности, всего и осталось что увеличенный фотографический овальный портрет покойной мамы в черной раме, да красная лампадка, озаряющая венчальный образ спасителя с пальмовой веткой, похожей на сложенный пластинчатый китайский веер, и бутылочка святой воды за образом, как-то напоминающая навсегда ушедшую жизнь.

Нищая юности!

Я любил отца, но никогда о нем не думал, из действующей армии ему писем почти не писал, разве только для того, чтобы попросить что-нибудь прислать: табаку, сахару, что-нибудь вкусненькое, копченой колбасы, сыру, ванильных сухарей, денег, глицеринового мыла. Мне как-то даже в голову не приходило, что все это достается с таким трудом.

Как заботливо отец собственноручно зашивал в холстину эти посылки, аккуратно переводил мне пятерки и даже десятки, которые с таким трудом ему доставались!

А прекрасные хромовые офицерские сапоги, бывшие в то время на мне? Я получил их в посылке, пришедшей по полевой почте, на биваке возле Черновиц. Сапоги, сшитые на заказ, стоили никак не меньше двадцати рублей. В сущности, я мог бы свободно обойтись казенными, солдатскими. Но мне хотелось шикнуть, и я послал отцу мерку.

Сапоги были действительно отличные, правда, тесноватые, но разносят! Они придавали мне нечто офицерское, особенно со шпорами.

Все это вдруг показалось мне ужасным. Я разыгрывал воина-фронтовика, защитника отечества, не забывая на каждом письме ставить слова «Действующая армия» и описывать артиллерийские дуэли, газовые атаки, походы, живописные лишения боевой солдатской жизни, а в это время мой отец, одинокий старик, вдовец, каждую ночь в нижней рубашке и подштанниках стоял на коленях перед образом, освещенным огоньком красной лампадки, и, кладя седую плешивую голову на потертый коврик, истово осеняя себя крестным знаменем, плакал и молил всемогущего господа бога пощадить меня, его сына, отвести от меня руку смерти. Не было минуты, чтобы он с ужасом не представлял себе моей гибели, его мальчика, так похожего лицом на мою маму, на его покойную жену.

Вечный страх за сына изнурял его, лишал сна; за несколько последних месяцев он еще более постарел, с трудом нося под мышкой кипы голубых ученических тетрадок, накрест перевязанных шпагатом.

Только сейчас, на барже, несущей меня невесть куда по Дунаю, я вдруг почувствовал стыд и такую душевную боль, что едва не застонал.

Моя душевная боль почему-то была связана также с неразделенной любовью, из-за которой, собственно, я и ушел на войну.

«...мимо нас,— продолжал я строчить письмо Миньоне,— быстро проходит судно под цветным румынским флагом. На палубе виднеются синеватые мундиры румынских солдат. Наши солдаты бросаются к бортам, машут фуражками, платками, и громкое русское «ура» льется по гладкой поверхности европейской реки, достигает румынского судна и возвращается оттуда с ответным воинским приветствием на румынском языке.

Двое суток плывем мы по Дунаю. Однообразные берега, поросшие серебристо-пыльной кудрявой зеленью, как будто вытканной на гобелене. Кое-где на прибрежных лугах пасутся стада буйволов, которые очень удивляют своим дьявольским видом наших солдатиков.

За все это двухдневное путешествие мы ни разу не останавливались, не причаливали к берегу, и все-таки связь с внешним миром поддерживается: кое-где, когда мы проплываем мимо придунайских городков или сел, к нашим баржам цепляются лодки, нагруженные арбузами. Завязывается оживленная торговля при помощи ведер, привязанных к длинным веревкам. С лодок в ведра грузят арбузы. Такие плавучие лавочки — наше единственное развлечение. От лодочников-румын мы узнаем военные новости. Стараюсь быть понятыми, спрашиваем на якобы румынском языке: «Романешты... разбой... как там дела?» — что должно пониматься примерно так: как дела на румынском фронте?

«Разбой» по-румынски значит война. А «бон» значит хорошо.

— О, бон! Бон! Трансильвания бон! — кричат нам снизу лодочники-румыны.

Стало быть, дела идут хорошо, наступаем в Трансильвании.

А что оно такое, эта самая Трансильвания, вряд ли кто-нибудь из наших солдатиков знает.

Вообще мало кто понимает, зачем воюют, с кем воюют, для чего и кому это надо.

Изредка мимо нас вниз по течению пробегают сербские пароходики. Мы приветствуем их громкими криками. Сербы — это понятно. Братушки. Братья-славяне».

...Ночью мне не спалось. В тысячный раз мучил вопрос, что

же такое у меня произошло или даже и сейчас продолжает происходить с Ганзей Траян?

Как все это началось, было ясно. Началось с фиалок. Ну а потом? Потом в свое время наступила осень, желтые листья, ранние сумерки и все та же тесная компания, состоящая из гимназисток, гимназистов и даже одного студента-первокурсника. Компания эта — «наша компания» — кочевала во второй половине дня после уроков по опустевшим приморским дачам с заколоченными ставнями, с мусором на открытых террасах, по обрывам. Мы стояли тесной кучкой по колено в бурьяне, очарованные картиной черноморского шторма.

Норд-ост, срывающий шляпки и фуражки, подбивающий под колени полы серых гимназических, уже зимних шинелей, треплющий подола зеленых гимназических юбок, несущий в лицо вихри пыли и морские брызги, колючки репейника, пушинки чертополоха.

Прибрежные скалы наполняли воздух бронзовым звоном прибоя.

Маленькая Ганзя Траян казалась совсем незаметной среди этой тесной компании, где каждый и каждая на свой лад переживали красоту шторма: кто с восторгом только что обнаруженной страсти, кто с отчаянием ревности, кто предчувствуя приближение первой любви, кто подозревая измену, кто предвкушая свидание. Студент-первокурсник, раскинув руки с новенькими крахмальными манжетами, — поэт, — со слезами на глазах кричал против ветра: «Какой простор! Какой простор!» — вспоминая таинственную картину Репина: офицер и курсистка, взявшись за руки, идут прямо в открытое бушующее серо-зеленое море и уже были по колено в прибое — она размахивая муфтой, — что воспринималось как намек на некое освободительное движение.

Кто-то кому-то жал розовые озябшие ручки.

А одна хорошенькая пятиклассница-вакханка с пылающим от ветра личиком кричала, хохоча:

— Мой идеал — кружиться в вихре вальса!

Конечно, Вольдемар не отходил от Ганзи, как телохранитель, готовый убить каждого, кто покусится до нее дотронуться. Калерия щипала и выкручивала мне руку, а у самой от сора, принесенного бурей, покраснели глаза и слезинки текли по крыльям носа.

Быстро темнело, и казалось, что эту темноту несли с собой бурые облака, низко мчавшиеся над взмыленным морем.

Всем своим видом я изображал презрение к красоте шторма, в то время как сердце у меня ныло от отчаяния, и только одна Ганзя, отворачиваясь и морщась от ветра, как бы находилась по ту сторону человеческих страстей, или, во всяком случае, так мне казалось.

Чем же это в конце концов разрешилось? Что было потом? А ничего. Компания разошлась по домам, и только...

«Наконец баржи прибыли к месту назначения, в город Черновода. Типичный захолустный городишко восточного типа. Беленький. Пара минаретов. Это уже за граница. Румыния. Здесь через Дунай протянулся длинный ажурный железнодорожный мост вполне европейского вида.

Утро немного туманное, перламутровое, на фоне молочно-голубой реки и лилового неба тяжело и черно рисуются наши канонерки, идущие одна за другой куда-то вверх по Дунаю. Зловещие призраки войны и смерти. Нехорошие предчувствия.

Пристани запружены народом и войсками. Пока разгружаются баржи, прибывшие еще до нас, мы обречены на томительное ожида-

ние высадки. С берега доносятся воинственные звуки военного оркестра: румыны приветствуют наши прибывшие войска.

Но вот я уже на берегу вместе со своей поклажей и мешком муки, будь он трижды...

Шумные улицы. Пахнет кофе, бараниной и еще чем-то пряным. Пестрят одеяния молдаван, красные фески, яркие ткани торговков. Продаются с лотков восточные сладости. Все кофейни заполнены румынскими солдатами и офицерами. На нас, русских, они смотрят с любопытством. Задают какие-то вопросы. Но так как ни мы по-румынски, ни они по-русски ни черта не понимаем, то можно только догадываться, о чем идет речь, по отдельным словам: «Галиция», «Трансильвания», «бона», «карашо», «бум-бум», «Германия — бах!» и т. д.

Ну, все ясно!

Мы им отвечаем такими же воинственными междометиями и отрывистыми географическими названиями:

— Карпаты. Буковина. Бах-бах!

Вход в кофейни румынским нижним чином не запрещен, и можно наблюдать группы наших и румынских солдат, сидящих за маленькими чашечками черного турецкого кофе, к которому подается стакан свежей воды и блюдечко с ягодкой вишневого варенья. Союзники обмениваются между собой мнениями по поводу военных событий при помощи жестов, восклицаний, многозначительных подмигиваний.

Столик, за которым я пишу Вам это послание, стоит на площади перед кофейней. Площадь усеяна сеном, соломой, конским навозом. Над входом в кофейню водружен румынский флаг. На маленьком блюдечке одна-единственная вишенка и стакан холодной воды — «апа фреска», — в которой отражается утреннее солнце.

Сейчас пойду искать вокзал, откуда поеду уже поездом на запад, на позиции. Что-то у меня дурные предчувствия. Ах, если бы Вы знали, как тягостно приближаться к роковой черте передовой линии... Не забывайте же меня. Скоро напишу. А мешок с мукой тащу с собой повсюду, не беспокойтесь, доставлю по назначению. Пускай Ваш батюшка побалуется русскими блинами и пышками. Ваш А. П.

А за некоторый мой неловкий поступок на даче Вальтуха великодушно простите. Больше не буду. А».

Следующее письмо:

«29 августа 916 г. Румынский фронт. Южная Добруджа. Город Меджидие, куда довел меня из Черновод пассажирский поезд, медленный, как черепаха. Однако вагоны на европейский лад: из каждого купе дверь прямо наружу, на перрон. Вагон по-ихнему называется каруцца, что вполне соответствует скрипу, издаваемому им во время движения.

В каруцце, куда я попал вместе с мешком муки, едут вполне мирные румынские обыватели в соломенных и фетровых шляпах и в парусиновых туфлях.

Мое появление в вагоне вызвало нечто вроде сенсации. Еще бы: живой русский воин в полной походной форме, даже со шпорами. Немного, конечно, портит впечатление мешок муки. Но, может быть, румыны подумали, что в мешке динамит. А вообще они приняли меня за офицера и оказывали все виды самого изысканного внимания: угощали початками вареной кукурузы, называемой у них папушой, свежей брынзой, помидорами и даже отличным виноградом.

Ну, конечно, разговор о войне. На каком языке? Вообразите, что мне пригодился французский, по которому я в гимназии не выле-

зал из двоек. Но кое-что в памяти застряло. Так что незаконченное среднее образование пригодилось.

Мирные румынские пассажиры весьма воинственно настроены и готовы совместно с доблестной русской армией поколотить не только немцев, но главным образом своих соседей — болгар и венгров, с которыми у них, оказывается, какие-то застарелые территориальные счёты.

Почти у всех пассажиров в руках газета «Адеверуль», где помещается большое количество военных сводок и патриотических корреспонденций. Среди пассажиров обращает на себя внимание одна довольно смазливенькая русинка из Черновод в голубом кружевном платье, с голубой вуалью на голове, полузакрывающей белобрывое личико с голубыми же глазками. Она с нескрываемым обожанием смотрит на меня, на мою выгоревшую гимнастерку, на мои шпоры, на пушечки на моих боевых погонах с бомбардирской лычкой, все время на странном полурусском языке благословляет меня на ратные подвиги и непрерывно крестит меня своей худенькой ручкой, как бы желая сохранить мою жизнь.

Но, пожалуйста, не подумайте чего-нибудь... Это чисто патриотические порывы таинственной славянской души хорошенькой и очень молоденькой белобрывенькой русинки.

Но так или иначе, румынская каруцца наконец с божьей помощью дотащила меня до Меджидие. Это маленький южнобурджский городок совершенно турецкого типа: базар, шашлык, небольшие белые мечети с низенькими минаретами.

В одной из мечетей я обнаружил ящики с имуществом нашей бригадной канцелярии, над распаковкой которых трудились знакомые мне писаря. Оказалось, что все батареи уже ушли вперед, и мне указали маршрут, по которому я должен их догонять. С облегчением оставив в канцелярии изрядно надоевшие посылки и особенно тягостный мешок с мукой, я пустился в путь, пристроившись к какому-то обозу с патронами. В обозе уже работал солдатский телеграф, сообщая, что наш экспедиционный корпус, называемый теперь румынским фронтом, придвинулся вплотную к болгарской границе, а кое-где даже и перешел ее, так что с наших наблюдательных пунктов в стереотрубу кто-то из наблюдателей видел болгарский город Базарджик. Но это сомнительно. До Базарджика" еще очень далеко: обычные преувеличения разведчиков-наблюдателей. А пока что, сидя на обозной повозке, я приближался к своей батарее, расположенной где-то в степной балке.

Вокруг ни одного деревца. Ровная сухая степь, милая моему сердцу. Вдруг послышался зловеющий треск авиационных моторов. Обозные лошади, задрав оглобли, шарахнулись в сторону. Над нами пронеслась эскадрилья немецких самолетов с черными крестами на крыльях. Самолеты пронеслись так низко, что можно было рассмотреть фигурки авиаторов в кожаных шлемах и очках, что делало их похожими на каких-то опасных насекомых. Я спрыгнул с повозки, бросился в степь и лег на жнивье, закрыв голову руками, как будто это могло меня спасти. Все обозные сделали то же самое. Однако немецкие самолеты пронеслись мимо и скрылись за горизонтом, не заметив нас. Как говорится, на этот раз я опять отделался легким испугом.

Может быть, меня охранило крестное знамение, сделанное маленькой ручкой белобрывой русинки?

Однако когда я прибыл на место назначения, выяснилось, что утром эскадрилья немецких аэропланов сделала налет на наше расположение, обстреляв из пулеметов несколько батарей резерва, и сбросила до сорока бомб. Только благодаря счастливой случайности

лошади в это время были на водоопое за восемь верст, а то всех бы их покалечило. Впрочем, налет не причинил нам никакого вреда.

Наши авиаторы, конечно, поспешили отдать неприятелю визит вежливости и в обед вернулись обратно, принеся известие, что в ближайших тыловых деревнях противника замечено накопление крупных сил. Немедленно же пехотой была произведена разведка, установившая смену неприятельских полков и прибытие приблизительно двух свежих дивизий — турецкой и немецкой. Серьезного наступления противника не ждем, но все-таки приняли меры предосторожности: подтянули резервы, выставили заставы, а наша артиллерия выслала на наблюдательные пункты, кроме обычных наблюдателей-солдат, также и офицеров.

Меня с места в карьер назначили телефонистом, и я спешно заканчиваю письмо, так как приходится взваливать на спину телефонные катушки и тянуть провод на наблюдательный пункт, так что пока до свидания. Не забывайте. Ваш А. П.

PS. Надеюсь, Вы не сердитесь на меня за неразумный поступок на даче Вальтуха. Я заметил, что у Вас очень горячие руки. Не больны ли Вы? Берегите себя. Ведь у Вас слабые легкие. А.»

«29 августа 916 г. Южная Добруджа. Дорогая Миньона, кажется, я Вам уже писал, что здесь города восточного типа. Пыль, жара, запах кофе и жареной баранины. Ни один черт по-русски не говорит. Ужас! Жалованье нам выдают румынскими бумажными лями. В данный момент мы стоим на позиции возле самой болгарской границы. Население — болгары, которые иногда постреливают в нас из-за угла.

Солдатский телеграф сообщает, что надо быть осторожным, так как некоторые колодцы отравлены. Уже были случаи. Почти все население бежало. Но в одной брошенной деревне я видел старуху всю в черном, страшную, похожую на сушеную грушу. Она смотрела с ненавистью нам вслед и посылала проклятья на своем непонятном языке. Такая старуха может и колодец отравить.

Вокруг от горизонта до горизонта голая степь и больше ничего. Что-то в этом есть древнее, может быть, даже скифское, сарматское. Здесь некогда воевал с турками мой прадед и освобождал братьев-славян мой дедушка. И вот теперь я бреду в пыльных сапогах под палящим августовским солнцем, со страхом озираясь по сторонам.

Наша артиллерийская бригада, оставившая свою пехоту под Сморгонью, теперь придана сербским бригадам.

Сербы дерутся, как львы! Сербские душки офицеры в своих красных бархатных шапочках, которые так пленяли одесских барышень, оказались на поле боя настоящими храбрецами, оправдали доверие прекрасного пола: пленных не берут, раненых добивают на месте. Прелестные ребята!

Пишу, примостившись на каком-то ящике. Были эффектные бои и стычки с болгарской кавалерией. Подробности скоро, а сейчас не до писем. Ваш Пчелкин».

Это было, кажется, последнее более или менее регулярное письмо. Армия все время находилась в движении. Полевая почта работала плохо. Письма и посылки часто пропадали, не находя адресата.

Теперь, вспоминая об этом времени, я с трудом восстанавливаю последовательность событий, менявшихся с поразительной быстротой, так же, как менялось мое душевное состояние. Из мальчишки, юноши я медленно превращался в молодого человека.

Под Сморгонью я прослужил почти полгода. Нельзя сказать, чтобы боевые действия там были менее опасны, чем теперь, в Добрудже. Но под Сморгонью велась война окопная, позиционная, и боевые действия имели (если так позволительно сказать) более упорядочен-

ный характер, так что образовался некий быт, привязанный к одному определенному месту: лесному массиву возле разбитого снарядами небольшого белорусского города.

Воинские части укрывались в хвойных густых лесах, солдаты жили в надежных блиндажах и глубоких землянках, покрытых в три, а то и в четыре наката толстыми сосновыми бревнами, почтовая связь с тылом действовала довольно быстро, надежно. А красота северной природы, знакомая мне только по картинкам, рассказам отца и по «Временам года» Чайковского, так сильно поразила мою душу, и без того потрясенную первой мальчишеской любовью, что я долго не мог очнуться.

Однако очнулся, привык, и мне уже стала в тягость позиционная война.

«...и как бы ни любил я вас, привыкнув, разлюблю тотчас»...

Я даже привык к тому, к чему, казалось бы, невозможно привыкнуть: к постоянному страху смерти. Чувство самосохранения приучило меня мгновенно разбираться во всех звуках прифронтовой полосы, которые безошибочно определялись как безопасные и опасные. Я научился совершенно точно угадывать отдаленный, еще очень слабый звук неприятельского орудийного выстрела и потом улавливать приближающийся свист немецкого снаряда, заранее и безошибочно определяя перелет, недолет или точное попадание, что давало возможность своевременно броситься в блиндаж или, равнодушно посмеиваясь, следить за невидимой траекторией перелета, сверлящей воздух над головой, заканчивающейся тупым ударом в землю и безопасным взрывом, протянувшим издали во все стороны звенящие струны осколков — тоже безопасных, если вовремя лечь на землю.

Своевременно приходили письма и посылки. Своевременно по расписанию приезжала на позицию походная кухня с обедом и ужином. Своевременно укладывались спать на земляные нары, покрытые пахучим ельником, в глубоком блиндаже под тремя накатами, и почти каждую ночь меня будили странные сухие, скрежещущие звуки! Это во сне скрежетал зубами немец-колонист Веварт, которого мучили глисты, и этот звук был похож на то, будто кто-то ходил в сапогах по скрипучему морозному снегу.

Не хватало воздуха.

Спящие солдаты громко бредили во сне. Распространялся тяжелый запах, тогда кто-нибудь просыпался и сердито бормотал:

— А ну кто тут пускает шептуна?

А вокруг была все та же ставшая уже привычной несказанно прекрасная русская природа, и неподвижно виднелся на горизонте полуразрушенный костел, среди развалин которого валялось деревянное распятие.

Позиционная жизнь надоела мне, так же как некогда, совсем недавно, еще в мирное время, жарким, пыльным июльским днем надоела мне длинная улица с угрюмой гранитной мостовой и тягостно блестящими трамвайными рельсами, где на неотразимо скучном полуденном солнце в бесконечных витринах выгорала галантерея, одуревший от тоски, от неразделенной любви, от переэкзаменовок, я проклинал мирное время и желал войны.

Мое желание исполнилось как по волшебству. А теперь мне наскучила позиционная война, благонамеренная переписка с генеральской дочкой, фронтовые будни, и я пожелал какой-то другой войны, более романтической, войны полевой, с быстрыми передвижениями, внезапными атаками и контратаками, фланговыми охвата-

ми, окружениями, взятиями городов, с биваками под открытым небом и всем тем, что казалось таким прекрасным.

Судьба, которая почему-то никогда не отказывала мне в исполнении самых глупых, самых безрассудных желаний, и на этот раз пошла мне навстречу, подарила мне самую что ни на есть полевую войну.

Меня зовут Александр Сергеевич Пчелкин. Я старик. Даже старик глубокий. Сравнительно недавно, лет пятьдесят назад, я прочел у одного известного писателя следующее любопытное место:

«Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый из живущих на земле».

Если так, то почему бы мне не говорить о себе? Вот я и говорю, рассказываю кое-что из своей молодости, перечитываю старые письма, кусочки дневника.

«3 сентября 916 года. Южная Добруджа. Действующая армия. Дорогая Миньона! Можете меня поздравить. Только что мне присвоено звание младшего фейерверкера, то есть нашита на погоны вторая лычка, неуклюжий бегун заменен шашкой — впрочем, не менее неуклюжей, — пшоры я уже ношу на законном основании, как имеющий право на верховую лошадь из конского состава, которую мне также присвоили приказом Пятой батареи, где я числюсь уже не в качестве орудийного номера, а телефонистом-наблюдателем, о чем я всегда так мечтал.

Теперь мне до прапорщика один шаг.

Пишу Вам наскоро в турецкой деревушке, покинутой жителями, где остановился на отдых наш взвод телефонистов и конных разведчиков.

Подобные турецкие деревушки, кое-где еще сохранившиеся в Добрудже, — всего лишь жалкие остатки некогда блистательной Порты, в течение многих лет, а может быть, даже веков властвовавшей здесь над сербскими, болгарскими и румынскими землями, владевшей почти всем Черным морем.

Вокруг плоская равнина, местами совсем дикая, а местами возделанная под пашни, огороды и фруктовые сады. Хлеб давно уже убран, и у нас под ногами колючее жнивье, успевшее зарости ежевикой — спелой, черной, удивительно вкусной, сладкой.

Особенно отличаются наши лихие конные разведчики, способные в одну минуту изловить брошенного хозяевами большого белоснежного гуся с оранжевым клювом.

Как он ни старался убежать, как ни размахивал своими могучими сизыми крыльями, как ни гоготал отчаянно на всю степь, можно сказать, на весь румынский фронт, как ни отбивался, как ни щипался и шипел, многоопытные разведчики быстро его скрутили, отрубили ему шашкой голову, грубо ощипали, разрубили на куски, сунули в ведро, посолили крупной серой солью и сварили на костре вместе с остатками перьев и красными перепончатыми лапами.

Мне тоже достался квадратный кусок с толстой пупыристой кожей. Хотя мясо оказалось не вполне доваренным, жестким, я смолотил его с громадным удовольствием, сидя на колком пшеничном жнивье у тлеющего костра и заеда гусятину ежевикой.

Должен сознаться, что я тоже немного помародерствовал — пошел шарить по жалким турецким мазанкам с плоскими крышами и в одной из них в плетеном, мазанном глиной чулане нашел персиковую пастилу, полупрозрачную, темно-зеленую, скатанную в длинный рулон, как линолеум. При виде этого восточного лакомства у меня потекли слюнки. Я оторвал кусочек и осторожно лизнул. Вкуснота

неописуемая! Однако, помня об отравленных колодцах, воздержался от дальнейшего.

Впрочем, не думаю, чтобы персиковая вяленая на солнце пастила была отравлена и нарочно оставлена для нас. Ведь гусь-то не был отравлен!

Теперь мне до слез жалко, что я не поел восточного лакомства.

Никого из Ваших еще не видел. Армия находится в постоянном движении. Воинские части перемешались. Полный бедлам.

Письмо это пошло Вам, как только найду полевую почту. А пока прощайте, пора двигаться дальше. Подтягиваю подпругу и сажусь в седло. То есть сейчас сяду. Возможно, уже к вечеру придется тянуть телефонный провод на самую что ни на есть передовую, в пехотную цепь, а это довольно щекотливое занятие, особенно если по тебе в это время стреляют. Ваш мародер А. П.»

Предчувствие не обмануло меня. То, что я написал для красного словца, желая покрасоваться, обернулось истинной правдой. На следующее же утро я был назначен в наряд на дежурство в седьмую роту поддерживать связь пехоты с артиллерией.

Дежурство в седьмой роте пользовалось дурной славой. В течение предыдущих двух суток на наблюдательном пункте в седьмой роте был убит один наблюдатель и ранены пулями два телефониста. Все трое — артиллеристы.

Получив приказание идти на дежурство в седьмую роту, я походил, но сделал вид, что даже рад такому серьезному боевому заданию, и лихо козырнул мало мне знакомому подпоручику, начальнику команды телефонистов-наблюдателей.

После того как меня произвели в младшие фейерверкеры, меня посылали в самые опасные места, проверяли мои боевые качества: гожусь ли я в офицеры?

Со мною в роковую седьмую роту отправились наблюдатель и еще один телефонист с запасной катушкой черного кабеля за спиной и эриксоновским телефонным аппаратом в кожаном футляре. Дежурство начиналось с наступлением вечерней темноты.

Пройдя впотьмах версты полторы по неубранному кукурузному полю, задевая сухие стебли и шуршащие листья, сказавши вполголоса пароль пехотному часовому, появившемуся во тьме, мы все трое спрыгнули в траншею и пошли гуськом по глубокому ходу сообщения к артиллерийскому наблюдательному пункту, где, сидя, как в могиле, нас с нетерпением ждали наблюдатель и два телефониста, которых мы пришли сменить.

— Как дела?

— Как сажа бела.

— Спокойно?

— Пока что.

— А что?

— Разведка доносит, что у них смена полков. Пришли две новые дивизии: одна немецкая, другая турецкая.

— Вот это номер! А турки как — в своих фесках?

— В фесках, да только не в красных, а в защитного цвета.

— Смотри ты: турки, турки, а тоже понимают.

— Вместо «ура» у них полагается кричать «алла».

— Идут в атаку на «алла»?

— Пока молчат.

Весь этот разговор шел шепотом.

Мне вспомнились две консервные банки с тушеной говядиной на троих и паек хлеба, но не русского житного, а белого пшеничного румынского — несвежего, залежавшегося на складе, с бирюзовой плесенью в разломе, но все же довольно вкусного.

Кипяточком мы разжились у пехотинцев, а заварка и сахар были свои.

Обычное предчувствие неминуемой смерти именно сегодня должно было томить меня.

Сидя на земле, я придвинул к себе телефонный аппарат и несколько раз проверил связь. Я позуммерил и поговорил с телефонистом, дежурившим на батарее. Звук телефонного зуммера напоминал утиное криканье. Кроме голоса дежурного телефониста, в кожаной телефонной трубке слышалось множество незнакомых и даже иногда не вполне понятных микроскопических голосов, принесенных по телефонной сети из разных, даже самых отдаленных участков фронта, как бы представляя тончайший звуковой чертеж театра военных действий. Иногда прослушивались писклявые позывные немецких телефонов и немецкая речь, как будто бы набранная мельчайшим звуковым готическим шрифтом. Значит, где-то случайно русские провода пересеклись с немецкими.

Прислушиваясь к ним, можно было составить некоторое представление о зловещем передвижении и накоплении войск Макензена, готовящихся к внезапному наступлению по всему фронту.

Ночь была звездная, и я по привычке искал в небе затерявшуюся в мировом пространстве неяркую Полярную звезду, даже, собственно, не звезду, а звездочку.

У неприятеля было тихо, и это еще более усиливало тревогу.

Ротный командир не спал, готовый ко всяким случайностям. Видно, его тоже томила тревога, тайное предчувствие смерти. Плохо различаемый в потемках, он ходил взад-вперед по узкому глубокому окопу, на дне которого в полном боевом снаряжении, с винтовками в руках спали солдаты его роты, положив под головы вещевые мешки и сами похожие на эти вещевые мешки.

Позади на фоне звездного неба маячили фигуры часовых, торчали их винтовки с примкнутыми штыками. Видно, их тоже томила предчувствие верной смерти.

Я вздремнул, но в полночь меня разбудил осторожный шум. Сменялись секреты. Пришедшие из разведки солдаты донесли, что неприятель работает над возведением проволочных заграждений: вбивает колья и ставит рогатки.

Действительно в ночной тишине слышался отдаленный стук деревянных молотков.

Это немного успокоило: перед наступлением никто не стал бы ставить заграждения. Очевидно, Макензен готовился к обороне. Или, во всяком случае, выжидал нашего наступления. А может быть, это была всего лишь военная хитрость — усыпить наше внимание?

Под утро, угревшись под шинелью с расстегнутым хлястиком как под одеялом, я заснул, и мне в первый раз в жизни приснилась Ганзя. Я ее не видел. Она лишь как бы незримо присутствовала — бесплотная, неуловимая, может быть, даже не существующая.

В этом сне не было событий. Было только одно чувство печали и неизбежной смерти. Я часто видел этот сон без событий, но только без присутствия Ганзи. Такой сон всегда предвещал начало прилива старой любви.

Я проснулся на рассвете. Меня разбудила неприятельская граната, резанувшая воздух над траншеей и разорвавшаяся далеко позади, сделав перелет.

Наблюдатель уже стоял у бруствера, прильнув к своей двурогой стереотрубке, и вглядывался в голубоватый предутренний сентябрьский туман. Слышалось учащенное утиное криканье эриксоновского телефона, вселявшее тревогу. В небе над всей изломанной линией наших окопов белели дымки неприятельской шрапнели. Звуки ее раз-

рывов сливались с беспорядочным ружейным треском, становящимся с каждым мигом все гуще, компактнее, тревожнее.

Против боевого участка шестой роты, расположенной рядом с нами, несколько неприятельских мортирных и гаубичных батарей открыли ураганный навесной огонь, и яма, в которой, съездившись, сидел я со своим телефонным аппаратом, тряслась, осыпаясь и трескаясь. Один или два тяжелых снаряда разорвались совсем близко. На голову и за шиворот посыпалась земля.

Ясно: немцы нас обманули и сейчас пойдут в атаку. Закрякал мой «эриксон». С батареи приказ: не отнимать телефонную трубку от уха и каждые пять минут проверять линию.

Из своей норы выполз ротный командир; показавшийся мне ночью неуклюжим и пожилым, на самом деле при утреннем свете это был молоденький поручик в зеленых наплечных ремнях, со свистком в чехольчике на груди.

— Рота, в ружье! — закричал он петушиным мальчишеским голосом. — Сейчас, ребята, пойдём вперед! Будем передовой заставой!

Из тумана появился солдат и, перевалившись через бруствер, упал на дно траншеи. Это был связной из секрета.

— Ну что там? — строго спросил его поручик.

— Пока ничего, ваше высокоблагородие. Видать, герман подготавливает атаку, а пока сидит у себя в окопах, не вылезает.

Артиллерийский огонь усилился.

Соседнюю роту вывели в ход сообщения, потому что находиться в окопах не стало никакой возможности.

Наступила тишина. Зловещая пауза.

Туман рассеялся. Наблюдатель уже стал кое-что видеть более отчетливо. Он обернулся ко мне и сказал:

— Передайте на батарею, что правее цели номер три показались неприятельские цепи.

Очевидно, эти цепи были замечены и с других наблюдательных пунктов, потому что до того времени наша безмолвная артиллерия вдруг открыла по всей линии беглый огонь.

Немцы яростно отвечали.

Каждый миг в узкую щель нашего окопа мог влететь шальной снаряд и разорваться, превратив меня в клочья, в ничто. Никогда еще не испытывал я такого животного, безумного ужаса, как в то утро после нежного, безысходно-грустного любовного сна, так грубо прерванного.

Помню, что вместе со страхом смерти я испытывал необъяснимое чувство своей личной вины за все то, что совершается не только непосредственно вокруг меня, но также и во всем мире, охваченном пожаром всеобщей войны, всеобщего истребления людьми друг друга, хотя ни один из миллионов этих людей не хочет войны. Даже наверное злая воля управляла человечеством. Кто был виновником? Неужели это был я сам?

Вместе с тем я испытывал жалость к себе, к своей погибшей молодости.

Но все это таилось в глубине моей души, а внешне я полулежал на дне траншеи, одной рукой обняв кожаный футляр телефонного аппарата, а другой изо всех сил прижав к уху слуховую трубку, и подавал каким-то несвойственным мне механическим голосом команды, которые сообщал мне наблюдатель:

— По цели номер восемь! Прицел сто двадцать, трубка сто пятнадцать, шрапнелью, два патрона беглых!

Все остальное вспоминалось теперь как бред: выползающие из своих земляных нор пехотинцы с вещевыми мешками за спиной, с саперными короткими лопатами, с котелками, прицепленными к поясам, отягощенным патронными сумками и противогАЗами, в кас-

ках, которые недавно появились в русской армии, с винтовками с примкнутыми штыками в черных, как картошка, руках.

Многие крестились.

Надо было вылезать из окопа на открытое со всех сторон пространство, где со звуком хлыста свистели пули.

Первым выбрался на бруствер взводный, крепкий унтер-офицер. Он тяжело перевалился через бруствер и, пригибаясь к земле, побежал вперед, становясь в тумане полупрозрачным. Следом за ним, посаженный сзади солдатами, перевалился через бруствер ротный командир, обчистил от земли колени, побежал вперед и тоже стал полупрозрачным. За ним вылезли из окопа несколько взводных, отделенных и фельдфебель, а там начали неохотно переваливаться через бруствер и таять в легком тумане рядовые солдаты — некоторые бородатые, а большинство с почти детскими испуганными лицами, последнего набора — и становились полупрозрачными.

Окоп злоеще опустел.

...со вкрадчивым свистом летели шальные пули; иные из них ударялись о бруствер и отскакивали рикошетом, крутясь вдоль траншеи.

Пороховой дым настолько сгустился, что стало трудно дышать. Наблюдатель едва держался на ногах от усталости, нервов, напряжения и страха, который изо всех сил скрывал.

Я передал ему телефонную трубку, а сам прильнул к окулярам стереотрубы. Мы поменялись ролями. Наблюдатель стал телефонистом, а я, телефонист, стал наблюдателем.

Поднялась страшная винтовочная и пулеметная трескотня, сквозь которую издали долетало слитное «ура» или что-то в этом роде, которое можно передать только звуками:

— А-а-а-а-а-а!..

Кроме меня с товарищами-артиллеристами да еще двух пехотных телефонистов, в глубине окопа не было уже ни души.

Изо всех сил, до боли в глазах напрягая зрение, пытался я сквозь завесу черного мелнинового дыма разрывов разглядеть в стереотрубу обстановку боя. Легкий ветерок помогал мне, относя в сторону траурную вуаль дыма. Я видел всюду — впереди, справа, слева — незаметно откуда-то взявшиеся цепи неприятельской пехоты. Стараясь перекричать грохот боя, я диктовал сидящему у моих ног телефонисту установки все время сокращавшейся дистанции. Разрывы наших снарядов вырывали из наступающих цепей неприятеля десятки человек, но цепи почему-то почти не редели.

Наша рота, ушедшая вперед, окопалась и задерживала беглым огнем почти батальон наступающих немцев.

Даже сейчас — через столько лет! — я вижу осеннее сжатое поле, во всех подробностях приближенное ко мне цейсовской оптикой стереотрубы: жнивье, усеянное живыми и убитыми, ползущими и неподвижно распластанными солдатами, и среди них черные гейзеры взрывающихся снарядов.

Каким-то чудом армия генерала Макензена была в тот раз остановлена, а мое предчувствие неизбежной смерти не оправдалось. Я не только не был убит, но даже не получил ни одной царапины...

«10 октября 1916 г. Румфронт. Дорогая Миньона! Только сейчас дошло до меня Ваше письмо, а когда мое письмо дойдет до Вас — один бог знает.

Румынская кампания, представлявшаяся всем нам чуть ли не увеселительной прогулкой, обернулась тяжелейшими боями. Здесь воевать очень трудно. Не то что под Сморгонью, хотя там тоже было

не мед. Но там я чувствовал себя дома, в России. А здесь Добруджа, какая-то странная заграница. Совершенно плоское открытое место, на горизонте голубоватые Балканы. Лесов совсем нет. Нечем укреплять блиндажи, негде укрываться от вражеской воздушной разведки, от немецких авиационных бомб, нечем маскировать орудия, разве что сухими стеблями кукурузы.

В этих местах, между Дунаем и Черным морем, воевали некогда Каменский, Кутузов.

Мы все время в движении. Исколесили всю Добруджу. Обносились, обросли бородами, изголодались. Обозы отстают. Кухни блуждают среди сухой кукурузы, не находя своих частей. Кроме того, пошли дожди.

Сейчас я лежу в палатке, по которой сыплет нудный, затяжной дождь. Полотно палатки желтого цвета, поэтому кажется, что оно освещено солнцем. А на самом деле темный, унылый, дождливый день, низкие тучи грязного цвета, всюду лужи, покрытые концентрическими кругами и белыми пузырями дождя, похожими на рыбы глаза.

Боюсь, что бумага, на которой я пишу это письмо, промокнет и Вы ничего не разберете. Временами ворчит гром поздней осенней грозы: такое впечатление, что по низким тучам проезжает какой-то небесный обоз. Издали доносятся звуки артиллерийской канонады. Два звука — грозы и орудий — сливаются, происходит дуэль «двух жульнических батарей — одной земной, другой небесной».

Вы спросите, почему жульнических батарей? Не знаю. Мне так кажется. Вообще война — это сплошное жульничество перед человечеством. Простите!

Хотелось бы описать Вам по возможности как можно подробнее нашу обстановку. То наступаем, то отступаем... Несем потери... Теряем территорию... Вот, собственно, все, что я могу ответить на Ваш вопрос, как у нас идут дела. Дела как сажа бела. Не думаю, чтобы Вы что-нибудь поняли, если б даже я и попытался как можно подробнее описать обстановку, тем более что я сам ничего не понимаю. Что-то мне сильно не нравится этот румынский фронт. Впрочем, может быть, мои сомнения происходят исключительно из-за паршивой погоды. Дождь барабанит по палатке. Откуда-то снизу подтекает вода. Писать трудно, тем более что мои товарищи телефонисты-наблюдатели рядом со мной с громкими криками дуются в картишки, в железку. Смеркается быстро. Настроение — хоть повесься! Постараюсь это письмо послать с оказией, чтобы оно не попало в лапы военной цензуры. Кстати: что слышно в тылу? Солдаты, приезжающие из отпусков, распускают самые невероятные слухи. Такое впечатление, что все рушится, и войну мы проигрываем, и называют события... Целую руку. Ваш А. П.».

Я лежал в палатке на сырой соломе, все время вытирая с лица дождевые капли, падающие сверху. Рядом играли в железку. Уже настолько стемнело, что игроки зажгли огарок стеариновой свечи, прилепив ее ко дну пустой консервной банки.

Багровая пламя огарка, полузадушенное махорочным дымом, еще более сгущало сумерки, и на душе у меня было темно. Прилив давно уже начался, и только письмо Миньоне на некоторое время отвлекло меня от привычных мыслей о той, другой.

Но что это за привычные мысли?

Много раз в течение своей чрезмерно затянувшейся жизни я пытался понять, как же это все случилось, и никак не мог понять. Что же между нами было? Самое странное, что между нами ничего не было.

Я ее любил. Она меня нет. Приходилось мне одному любить за двоих.

Когда мы с ней встретились, она еще вообще никого не любила. А ее почему-то любили все: подруги, знакомые гимназисты, даже один студент. В сущности, она была еще совсем девочка. Ей едва минуло пятнадцать. Она была еще бутон. Но тем не менее в ней, вероятно, уже угадывалась будущая обольстительная женщина. Она была более женственна, чем все ее подруги, хотя внешне выглядела моложе всех, даже меньше ростом. На первый взгляд она казалась совсем незаметной.

Однако, сама того не желая (а может быть, желая), она уже свела с ума двадцатилетнего Вольдемара. Вслед за Вольдемаром она свела с ума и меня.

Может быть, слишком сильно сказано: свела с ума. Во всяком случае, она как-то незаметно овладела моим воображением, всеми моими мыслями и чувствами. Так же как и она, я еще был подросток, не созревший для любви, громадное чувство, вызванное ею, было мне не по возрасту, как бывает одежда не по размеру. Я не испытывал к ней физического влечения. Мне даже не могла прийти в голову мысль взять ее за руку, не говоря уж о желании обнять или поцеловать. Я не мог дать себе отчета в том, что же, собственно, мне от нее нужно. Мне было достаточно одного сознания, что она существует на свете, что она рядом, что я могу ее видеть, что мы принадлежим к одной молодежной компании и что я постоянно встречаюсь с ней в разных знакомых домах, на вечеринках, на прогулках.

О моей тайной любви, конечно, догадывались все. Надо мной даже стали посмеиваться, как посмеивались над Вольдемаром. Мы оба, я и Вольдемар, были безнадежно влюблены в нее.

Кстати сказать, Ганзя было ее детское прозвище, которое так и осталось за ней на всю жизнь.

А она?

Предпочитала ли она кого-нибудь из нас? Неизвестно. Вернее всего, она ни к кому из нас не испытывала никаких любовных чувств. Ничего, кроме компанейского дружелюбия; даже, может быть, товарищеской симпатии. Скорее всего ей нравился некий студент из нашей компании, красавец и симпатяга с алым ротиком, лучистыми глазами, шелковистыми усиками, всегда щегольски одетый в форменный студенческий мундир (не в тужурку!) с твердым высоким синим воротником, подпирившим бархатные щечки, и подбитой ватой грудью, на которой блестели два ряда студенческих орленых золотых дутых пуговиц.

Вольдемар открыто к нему ревновал, вызывая всеобщее веселье. Я же не выражал своей ревности, втайне раздиравшей мою душу при виде, как ласково смотрят друг на друга Ганзя и студент.

Но мы с Вольдемаром сделались невольными сообщниками в ненависти к счастливому студенту. Мы осуждали его каждый на свой лад. Я критиковал его за легкомыслие и отсутствие глубоких знаний (сам будучи полным невеждой), а Вольдемар прямо говорил с ядовитой иронией, что у него алые губки, похожие на куриную жопу.

Да ведь был еще какой-то футболист, инсайд-правый.

В палатке, трепетавшей от проливного дождя, при лазурно-багровом пламени огарка я перебирал в памяти все, что касалось моей любви.

...Однажды во время игры в фанты ее лицо оказалось так близко, что общего его выражения я уже не мог разобрать. Видел только движущиеся коричневые брови и как бы отдельно от них карие глаза

и растянутые в улыбке губы. Глаза выражали внимание, губы шевелились, лоб смеялся, брови хмурились, но в одно общее они не складывались. Может быть, это отсутствие общего и вселяло в меня чувство горечи. Для меня у нее нет общего.

Я возвращался к истокам своей любви, когда каким-то непонятным, таинственным образом вдруг почувствовал, что моя судьба теперь как-то связана с ее судьбой, хотя это была всего лишь игра воображения.

После похода за фиалками до конца учебного года мне так и не пришлось видеться с ней, а там начались экзамены, летние каникулы, то да се, и я перестал о ней думать, хотя во мне все время теплилось сознание, что на свете существует она, и с этим уже ничего нельзя поделать.

У меня в гимназии был верный друг Боря. Характеры у нас были совершенно разные, что, как водится, еще надежнее скрепляло нашу дружбу.

Я, как мне помнится, был нервный, крикливый, жил воображением, а Боря был рассудительный, несловоохотливый, сдержанный, склонный к недоверию, немного ироничный. Он тоже, как мы все в этом возрасте, жил воображением, но в его характере преобладало нечто, постоянно сдерживающее воображение.

Так или иначе, но мы считались самыми близкими друзьями и на большой перемене сидели внизу, в раздевалке, под шинелями, на длинном ящике с отделениями, в которых хранились галоши на свекольно-красной суконной подкладке с медными буквами инициалов.

Там я особенно охотно откровенничал.

— Понимаешь, Боря,— говорил я, жуя бублик, купленный в гимназическом буфете за две копейки,— я влюбился.

— В кого? — спросил Боря с ироническим выражением белобрысого лица и улыбнулся, показав свой передний криво выросший, крупный зуб, что делало его лицо особенно характерным.

— Ты ее не знаешь,— сказал я.— Я сам с ней только три дня назад познакомился.

— И уже влюбился? — спросил Боря строго.

— Да,— вздохнул я.— Так случилось. Ее зовут Ганзя Траян, из гимназии Бален де Балю.

— Не знаю,— сказал Боря и еще ироничнее улыбнулся.— Ну и что же? Так сразу с места в карьер?

— Ты себе не представляешь, что со мной сделалось!

— Почему же я себе не представляю? Отлично представляю: ты влюбляешься в каждую юбку.

— Ах, Боря, нет. Это совсем не то! Такого со мной еще никогда не бывало. Даже дома заметили. Я о ней все время думаю.

— В то время как тебе не мешало бы подумать об уроках. А то смотри — выкинут за неуспеваемость. Ты и так висишь на волоске.

Я поморщился.

— Ах, боже мой, совсем не о том речь... Понимаешь, у меня вдруг при одной мысли о ней к сердцу приливает такая, знаешь ли, как бы тебе объяснить — горячая, что ли, волна, что, честное благородное, трудно делается дышать.

— Ну и врешь, что трудно дышать,— зашептал Боря, по своей привычке хладнокровно отделяя правду от выдумки.

Боря отчасти играл роль Базарова и уже готов был сказать мне великолепные слова: «Аркадий, не говори красиво», но сдержался из уважения к моему чувству любви.

Он только делал вид, что все эти мои любовные истории ему совсем не любопытны и просто смешны. На самом же деле разговоры о любви ужасно его волновали.

— Все это, брат, ты выдумываешь,— сказал Боря.

— Вот ей-богу, святой истинный крест, я не выдумываю,— почти со слезами на глазах сказал я и перекрестился.— Прямо-таки трудно вздохнуть.

Мы немного помолчали.

Я положил локти на колени, уперся подбородком в вывернутые ладони и, глядя исподлобья на чугунную печку, в слюдяном окошке которой горели золотые слитки раскаленного кокса, обогривая раздевалку, вздохнул:

— Это, кажется, Боря, я в первый раз в жизни так втрескался.

Боря дернул костлявым плечом и прищурился, как следователь, допрашивающий преступника:

— А, собственно, за что ты так сильно в нее влюбился? Что она — лучше других?

— Ах, в том-то и вся штука, что я не знаю, за что я ее полюбил. Просто так. В этом-то все дело.

— Не понимаю,— сказал Боря, и между нами начался один из тех волнующих и бестолковых разговоров, какие обычно происходят между близкими друзьями, которые чувствуют и думают по-разному, но терпеливо стараются понять один другого, потому что любят друг друга, несмотря на свою несхожесть.

Я с жаром доказывал, что когда любят по-настоящему, как я полюбил Ганзю, то эта любовь всегда бывает беспричинной, и если человек любит, то не за что-нибудь — ну там за красоту, или за ум, или за богатство, или за фарфоровые щетки и жемчужные зубки, или за серебристый смех и маленькие ножки,— а любят просто так, потому что это судьба.

— Ты понимаешь — она моя судьба!

Я слушал самого себя и любовался самим собой, своими такими чистыми и возвышенными взглядами на любовь.

Однако, утверждая, что настоящая, большая любовь всегда бывает без причин, я сам себе не очень-то верил, потому что трудно, даже невозможно верить чему-нибудь, происходящему без причины. Без причины ничего не бывает. Однако же...

А Боря, для которого любовь была вещью совсем непонятной и туманной, вернее сказать, за отсутствием любовной практики и вследствие прирожденной застенчивости штукой отвлеченной, старался говорить о ней как о вещи простой, ясной и обыденной, лишенной волшебства.

Мы не понимали друг друга, но каждая новая мысль, высказанная в раздевалке под шинелями, все больше и больше разъясняла и определяла для нас понятие любви.

Ох уж эти разговоры гимназистов о любви!

— Если ты утверждаешь,— говорил Боря прокурорским тоном,— что любовь возникает сама собой, без причины, то это надо проанализировать. опиши мне самым подробным образом свое знакомство с ней с самого начала до того момента, когда ты пришел к выводу, что влюблен. Таким образом нам наверняка удастся обнаружить причину.

Я самым добросовестным образом поведал другу все подробности своего знакомства с Ганзей, поход за фиалками и т. д.

Мы оба, как два ученых-исследователя, сидя под вешалкой, где пахло побывавшими под дождем гимназическими шинелями, старались обнаружить причину моей внезапной любви, но у нас ничего не получалось.

...на румынском фронте, в палатке, потемневшей от дождя, я продолжал сам с собой исследовать причины своей любви к Ганзе. Этих причин могло быть две: красота и ум. Но она, несомненно, была не-

красива. А ума ее я не знал. Значит, не в этих очевидных причинах было дело. Так в чем же?

Ах, чего бы я ни дал, чтобы снова стать пятиклассником и очутиться вместе со своим другом Борей под шинелями и видеть перед собой печку, похожую на маленький сизо-чугунный замок, в слюдяном окошке которой пылал раскаленный кокс, создавая впечатление, что в замке какой-то праздник, торжество, бал, может быть, даже свадьба!

Нет, для любви не надо ни красоты, ни ума, и возникает она сама по себе, без причин.

Волшебство самовозгорания!

Да, но все-таки...

Ведь к Миньоне у меня тоже была любовь. Но она имела причины. Миньона была хороша собой, не слишком, но все-таки... Она была нарядна, неглупа, начитанна, дочь генерала, у нее были сиреневые глаза, бронзовые волосы в крупных завитках. Она была склонна к флирту, который называла на английский манер флёрт. У меня с Миньоной все было более или менее ясно. Она мне физически нравилась. И ей я нравился до известной степени: все-таки лишний поклонник. Я без труда, легко и бездумно ухаживал за нею. Она принимала мои ухаживания как должное. Мы без затруднения болтали друг с другом. Я считался одним из ее счастливых поклонников. Она явно отличала меня. Все-таки я пописывал любовные стишки, а это всегда нравится.

Оба мы — Миньона и я — были слишком юны и незрелы для серьезного чувства. Но в будущем... Чем черт не шутит. Я мог стать офицером, и тогда...

Но это были лишь детские мечты.

С Ганзей все обстояло совсем по-другому.

Она была моложе Миньоны, но я познакомился с ней годом раньше, когда она только что вышла из отрочества. Она была первая. Первая и единственная: с первого взгляда и на всю жизнь. Я так глубоко улюбил ее, что мне даже и в голову не могло прийти ухаживать за ней или еще хуже — флиртовать, добиваться взаимности. При ней я немел. Вероятно, она сначала даже не заметила моего чувства.

Нравился ли я ей? Неизвестно. Мог же я понравиться ее подруге Калерии, которая даже была в меня влюблена. Так почему бы... Но нет. Неизвестно. Вообще ничего не было известно.

Правда, с моей стороны однажды была предпринята попытка выяснить отношения. Боря надумил меня добиться свидания. В представлении Бори свидание являлось непрямым элементом любовного романа, счастливого или несчастного — не имело значения. Я схватился за эту идею. Да, конечно, свидание! Свидание необходимо. Свидание сблизит нас и создаст между нами определенные отношения, возможно, даже любовные.

В сущности, свидание было совершенно не нужно. Я и так виделся с ней почти каждый день то на вечеринке, то у нее дома, то просто на улице по дороге в гимназию, то у Калерии.

Самое слово «свидание» обладало магическим свойством любовного сближения.

...Дождь продолжал сыпать по палатке, вода натекала откуда-то снизу, и солома промокла, свеча догорала, задушенная махорочным дымом, солдаты с шумом дулись в железку, кидая карты по разостланному брезенту, раскаты грома соперничали со звуками отдаленной канонады, а я в сотый раз прохручивал в воображении это единственное наше свидание, на которое я возлагал большие надежды, впрочем не оправдавшиеся, так как все равно ничего не определилось.

Устроить свидание по всем правилам оказалось делом весьма не простым, хлопотливым. Сложность его заключалась в том, что уже сам по себе факт свидания предполагал наличие взаимной любви. А так как взаимной любви — увы! — не было, то мне приходилось как-то перед самим собой выкручиваться, усыпляя совесть хитросплетениями вроде того, что еще доподлинно неизвестно, любит она или не любит, а может быть, и любит, только я этого не знаю. Но даже если не любит, то свидание в конце концов может быть вовсе и не любовное, а попросту дружеское, даже, если угодно, деловое. Может быть, у меня к ней есть дело, касающееся только ее и меня — и никого больше.

Но какое же дело? Об этом надо подумать. Вопрос трудный. Надо придумать дело, не имеющее характера любовного и в то же время отчасти все-таки как бы вроде и любовное.

Легко сказать!

Так родилось нечто шитое белыми нитками: я вызываю ее на свидание для того, чтобы решить деликатный вопрос относительно чувств ревнивого Вольдемара. Поскольку общеизвестно, что Вольдемар влюблен до безумия в Ганзю, у меня якобы явилось подозрение, что Вольдемар ревнует Ганзю ко мне, хотя эта ревность совершенно необоснованна. Однако я решил поступить благородно и больше не встречаться с Ганзей ни на вечеринках, ни на прогулках, ни у нее дома, нигде, для того чтобы не давать Вольдемару повода для ревности и страданий. Назначил же я свидание для того, чтобы откровенно объяснить и узнать мнение Ганзи на этот счет.

Я, шестнадцатилетний хитрец, ставил ловушку. Она принуждена будет сказать да или нет, то есть косвенно признаться, что любит или не любит Вольдемара. Если любит, то как бы это ни было мне тяжело, но все-таки легче, чем неизвестность: мое сердце, несомненно, будет разбито, но, по крайней мере, я предстану перед Ганзей как благородный человек, жертвующий своим счастьем для друга. И я дам слово никогда больше не встречаться с Ганзей.

Можно ли принести большую жертву во имя подлинной вечной любви?

...сумбур царил тогда в моей голове!

А если она скажет, что вовсе не любит Вольдемара и отвергнет мою жертву, то, значит, она вовсе не собирается отказываться от встреч со мной ради ревнивого Вольдемара, которого, очень возможно, вовсе и не любит. Тогда я с чистой совестью смогу наконец произнести заветные слова: «Я вас люблю».

А нет — так нет! Буду любить Калерию.

В сущности, все дело заключалось в самом факте свидания независимо от его содержания.

Она придет ко мне на свидание. Мы будем наедине. Нас свяжет некая тайна. О большем счастье я и не думал. Остальное уже дело техники.

Техника свиданий была в совершенстве разработана несколькими поколениями влюбленных гимназистов и гимназисток: он посылает ей записку с просьбой о встрече; она назначает ему свидание; они встречаются наедине.

Все это напоминало дуэль со всеми ее формальностями. Даже предусматривался секундант, то есть тот, кто будет передавать записки.

В этом заключалась известная трудность: кто передаст ей мою записку? Не так-то легко решался этот вопрос. Самой подходящей для этой цели, конечно, являлась ближайшая подруга Ганзи, упомянутая уже Калерия. Но, во-первых, она была сестрой Вольдемара, а во-вто-

рых, сама была влюблена в меня, так что навязывать ей роль передаточной инстанции казалось невозможным, слишком жестоким. Однако я решился даже на эту жестокость.

— Ты, Пчелкин, просто негодай,— сказала мне Калерия со слезами на прелестных глазах, но все-таки взяла записку и спрятала ее под нагрудником гимназического фартука.

В ней боролась любовь ко мне и любовь к подруге. Победила любовь к подруге: передача ей любовной записки считалась среди гимназисток делом священным.

Вернувшись после уроков домой, Калерия, как и следовало ожидать, увидела меня. Я шатался возле ворот.

— Ну как? — спросил я.

Поджав губы, Калерия вынула из-за нагрудника фартука и протянула мне ответ — розовую секретку в клеточку.

— Но имей в виду, Пчелкин,— сказала Калерия, глотая слезы,— я для тебя пожертвовала всем, и теперь ты для меня навсегда ноль!

В своем гневе она была прекрасна, однако нос портил все дело.

Мне было все равно. Я весь находился во власти любовного жара. Получить от девушки не что-нибудь, а именно секретку считалось уже как бы доказательством наличия романа.

Я держал в руках секретку, на которой лиловыми школьными чернилами было написано мое имя. Я открыл секретку, то есть оторвал окружающий ее заклеенный купон, и на клетчатом листке прочел следующие незабвенные слова, тщательно выведенные аккуратным почерком добросовестной школьницы-отличницы, однако уже имеющим характерные особенности почти взрослого почерка:

«Приходите сегодня в четыре часа на боковую аллею Александровского парка. Ганзя».

Я торжествовал. Полученная секретка возвышала меня в собственных глазах, превращая из безнадежно влюбленного гимназиста-второгодника в счастливого любовника. Теперь пускай все узнают, что она назначила мне свидание в Александровском парке. И пускай красавец студент с маленьким ротиком не задается! И пускай Вольдемар поет своим фальцетом, глядя на нее умоляющими глазами: «Я вновь пред тобою стою очарован...»

Теперь я уже не буду стоять перед Ганзей как бессловесное животное, а зримо, открыто и бесстрашно скажу ей в боковой аллее Александровского парка: «Я вас люблю» — или даже еще лучше: «Кажется, я вас люблю». Как украсило это магическое «кажется» банальное объяснение в любви!

«Ганзя, кажется, я вас люблю», или даже лучше немного переставить слова: «Я люблю вас, кажется, Ганзя». В таком сочетании еще больше любовной музыки.

В течение двух часов, оставшихся до свидания, я мысленно переиграл все возможные и даже невозможные варианты свидания. Я потерял голову от счастья. В то же время секретка Ганзи вызвала во мне неясные подозрения. Уж слишком содержание записки казалось сухим, деловым. Особенно настораживало упоминание о боковой аллее. Можно подумать, что Ганзя уже не первый раз назначает свидания именно в этой боковой аллее. Возможно, что для нее боковая аллея являлась привычным местом любовных свиданий и встреча со мной вовсе не была исключением. А я так наивно воображал, что это первое ее свидание.

Первое свидание. Первая любовь. Первая аллея. Все должно быть первым. А иначе какой же смысл в свидании?

Но все эти сомнения рассеялись, в то время как я шагал по Французскому бульвару в направлении к Александровскому парку, боясь опоздать, а еще более опасаясь явиться слишком рано.

На колокольне Михайловского монастыря пробило четыре, когда я, перейдя пустырь с деревянными остатками велосипедного трека, так называемого циклодрома, вступил в боковую аллею Александровского парка, в глубине которого между черных стволов обнаженных деревьев просматривалась Александровская колонна, сооруженная в память пребывания в городе царя-освободителя, собственноручно посадившего здесь дубок, который уже превратился в большое ветвистое дерево. А дальше — море.

На всю жизнь в моей памяти осталась боковая аллея. С годами память ослабела, но вид боковой аллеи держался крепко, разве только исчезали детали, которые, впрочем, только засоряли пейзаж ненужными мелочами.

Хорошая память — фотография. Плохая — живопись.

В конце своей жизни я видел боковую аллею как рисунок углем.

В палатке на румынском фронте моя память была еще безукоризненно свежа, и я видел боковую аллею со всеми подробностями только что спиленных черных веток, еще не убранных с дорожки, покрытой влажным морским гравием, хрустевшим под ногами, как рассыпанная карамель.

Я видел лестницу, прислоненную к стволу дерева, и городского садовника в зеленой форменной фуражке, который спиливал ножовкой ненужную ветку. Опилки сыпались из-под пилы, и свежесрезанный торец ярко желтел.

Теперь я уже не помню, в какое время года обрезают в парке деревья — ранней весной или поздней осенью. Но я помню, что тогда обрезали деревья. Значит, свидание было или ранней весной, или поздней осенью, когда листья уже облетели. Во всяком случае, во всю длинную перспективу боковой аллеи чернели стволы голых деревьев — австралийской разновидности робинии, но только с длинными острыми шипами и перекрученными ремешками стручков с выпуклостями созревших внутри семян. Все-таки, значит, была поздняя осень, октябрь или даже ноябрь, но погода стояла теплая, и я шел налегке, без шинели. От волнения я даже немного вспотел и расстегнул верхний крючок куртки, так что из-под суконного воротника виднелась на моей худой, еще почти детской шее цепочка нательного киевского крестика с ладанкой от скарлатины.

Короткий день клонился к вечеру, но было еще светло и воздух печально пахнул опавшей листвой. Безлюдье и тишина обширного парка с полоской моря показались мне оглушающими. Меня терзало сомнение — придет она или не придет? Если она придет, то это будет слишком большим счастьем. Пусть она даже опоздает, я готов ждать ее до темноты, когда зажгут газовые фонари.

Я несмело посмотрел вдоль аллеи и не поверил своим глазам: маленькая знакомая фигурка шла издали мне навстречу. Она была тоже без пальто, в гимназической форме, в будничном черном переднике, без шляпы, с открытой головкой и волосами, убранными в виде коронки, но с челочкой на лбу, что по гимназическим правилам запрещалось. Значит, она уже успела сбегать домой, оставить там книгоноску и шляпу, наскоро пообедать, перечесть, наклонить и напустить челку на лоб, но не переделась — и без опоздания явилась на место встречи.

Она неторопливо приближалась, но мне все еще не верилось, что все это происходит не во сне, а наяву. Но нет, только наяву у девочки могли быть запчканы чернилом пальчики и в углу прелестного, несколько растянутого рта виднеться засохшая заеда — след недавно съеденного арбуза. Она не улыбалась, но и не хмурилась. Выражение ее лица было будничным, как и весь ее вид.

Она не высказала ни малейшего удивления по поводу этого неожиданного свидания, как будто бы так оно и должно было быть. Она подошла ко мне, и мы молчаливо пошли по аллее — я смущенный, а она как ни в чем не бывало.

Вот наконец я с нею наедине!

Теперь бы мне и произнести приготовленную фразу: «Кажется, я вас люблю, Ганзя». Но вместо этого я начал с весьма многозначительным видом молотить вздор, еще накануне казавшийся мне весьма тонким и хитрым, насчет ревнивого Вольдемара, для спокойствия которого я готов пожертвовать собой и перестать ходить в гости к Ганзе, а также вообще перестать с ней встречаться, и хотел бы знать ее мнение по этому поводу.

Хитрец, я думал, что действую наверняка.

Выслушав мою горячую чепуху, она дернула худеньким, еще почти совсем детским плечиком и сказала:

— Вот еще! С какой стати? Я вовсе не хочу из-за кого бы то ни было терять знакомых.

На этом свидание так и закончилось ничем.

Я проводил ее домой, по дороге мы болтали о том о сем, об учителях, о знакомых, и все осталось по-старому, кроме некоторого моего удовлетворения тем, что как бы то ни было, а свидание состоялось, на всю жизнь оставив в моей памяти неизгладимый след.

...Затяжной дождь продолжал шуметь по палатке. Ворчал гром. Издали доносились орудийные выстрелы. Солдаты, лежа на мокрой соломе, дулись в железку.

Я продолжал думать о Ганзе. На этот раз прилив любви был так силен и продолжителен, что ни о чем другом я уже не мог думать.

В памяти беспорядочно возникали картины того счастливого времени, которое я не успел оценить.

...отрывки из моего юношеского романа, написанного еще не устоявшимся полудетским почерком:

«— Разве вы не зайдете к нам? — спрашивает она.— Напьетесь чаю.

Она пошла вперед, повернула направо в парадный ход и стала быстро, не оборачиваясь, подниматься по лестнице, легко перебирая рукой по перилам. Я шел за ней, печально опустив голову.

Подобно тому как все человеческие лица делятся по своему характеру на женственные и мужественные, сказать вернее, на отцовские и материнские, так и все квартиры в моих глазах делились как бы на женские и мужские.

Женские квартиры, которых меньшинство, отличались уютностью, большим количеством материй, подушек, мягкой мебели, приглушенным светом ламп, старообразными абажурами и каким-то особым будуарным запахом.

Мужские квартиры, которых большинство, всегда чистые, просторные, светлые, сильно освещенные лампами, с прочными удобными столами, твердыми стульями и сизым запахом табачной золы, тающейся в перламутровых недрах тропических раковин, заменяющих пепельницы. К этому запаху примешивается запах натертого мастикой паркета и твердой полированной мебели.

Квартира ее родителей имела явно выраженный тип квартиры мужской. В ней было все определено, просто, от голубого фонаря, висящего на жиденьких цепях в прихожей, до больших, но плохо написанных мясляными красками картин в духе Айвазовского и Шишкина. Картины в довольно толстых золоченых рамках висели в холодной гостиной и не доставляли глазу никакой радости.

Когда мы вместе с Ганзей явились, в столовой уже пили чай. За столом сидела вся семья, кроме отца, который только что встал из-за стола и шел, поскрипывая ботинками, за папиросами, собираясь ехать в клуб. В зеркале мелькнула его стриженная под бобрлик голова. Кроме матери и брата, застенчивого тринадцатилетнего гимназиста Васи, за столом сидели еще бабушка в черной кружевной наколке на серебряной голове и глухая девушка в красной турецкой феске.

Всякий раз, входя в эту столовую, я испытывал чувство неловкости от сознания, что я никогда не буду здесь своим, а лишь случайным гостем. Мои губы сами собой складывались в неестественную улыбку — не то ироническую, что вот, мол, я сел не в свои сани, не то униженную, как у просителя.

— Ну, как вам гулялось? — приветливо спросила нас Ганзина мама, в то время как мы, Ганзя и я, еще жмурясь на яркую лампу после темноватой передней, входили в столовую. — Садитесь. Я вам сейчас налью чаю. Садитесь и ешьте. Вот колбаса, вот яичница, вот вареники. Пожалуйста, без стеснения. Ганзя, что же ты? Поухаживай за своим кавалером.

— Давайте свою тарелку, — сказала Ганзя, — мама хочет, чтобы я за вами ухаживала, только я плохая хозяйка.

— Ты думаешь, — сказала мама, — что это очень хорошо и современно? Ты женщина. А женщина должна быть хорошей хозяйкой. А то тебя никто замуж не возьмет, когда вырастешь.

У Ганзиной матери были выпуклые женственные веки и небольшой изящный нос. Она была красива, но как-то простонародна. Можно было предположить, что впоследствии Ганзя будет похожа на нее. В ее карих — не то румынских, не то молдаванских — глазах весело отражался белый абажур висячей столовой лампы.

— Ну ты, мама, тоже сказанешь! — пожав плечиками, огрызнулась Ганзя и как бы в доказательство, что она не умеет и не желает быть хорошей хозяйкой, небрежно наложила на мою тарелку гору колбасы и вывалила всю яичницу-глазунью.

— Теперь вы должны все это съесть, так вам и надо. А я за хорошую хозяйку не нанималась.

Ганзя сердито сморщила свое незначительное и незапоминающееся личико и вдруг улыбнулась, в один миг став хорошенькой, даже красивой, похожей на свою мать.

Пока я ел и пил чай, она вышла из-за стола и вернулась, уже переодевшись по-домашнему — в красной блузочке с открытым воротником.

Потом мы сидели у нее в комнатке, которая была единственным женским уголком в этой неуютной квартире, носящей отпечаток хозяина-картежника, проводившего ночи в клубе.

Еще совсем недавно у Ганзи не было своей комнаты. Она спала с мамой и казалась совсем маленькой девочкой. Но недавно ей дали отдельную комнату, так называемую для прислуги. Совсем маленькую, возле кухни, в которой помещались только ее никелированная узкая кровать, совсем маленький декадентский письменный столик, за которым она готовила уроки, и еще тахта, покрытая ковром.

Удивительно, как быстро эта комнатка для прислуги стала такой особенной, как быстро она как бы переняла привлекательность своей хозяйки, как бы воплотила всю ее женственность. Здесь уже как-то особенно, еще не по-дамски, но уже по-девичьи пахло духами «Персидская сирень» и еще чем-то нежным, похожим на запах детских волос.

Кроме тетрадок и учебников, аккуратно обернутых в синюю бумагу, на столике стояло семь традиционных фарфоровых слоников мал мала меньше, а на стене висела самодельная гипсовая тарелочка с цветной картинкой, изображающей хорошенькую курно-

сенькую англичанку, прислонившуюся кудрявой головкой к морде породистой лошади с чуткими ноздрями».

На всю жизнь запомнил я молочно-белый абажур настольной керосиновой лампы, сквозь который пламя горелки просвечивало красной коронкой.

До сих пор даже здесь, на фронте, меня преследовали подробности того вечера, когда я впервые сидел в Ганзиной комнате на тахте, а она, не обращая на меня внимания, готовила уроки, переписывая в маленькую специальную тетрадку для слов французские глаголы.

В присутствии Ганзи я всегда немел.

Может быть, в этой комнате она целовалась с Вольдемаром, или со студентом с маленьким ротиком и ватной грудью, или с тем футболистом инсайд-правым...

Еще никогда я так сильно не любил ее.

Теперь во всем этом страшном мире, наполненном дыханием смерти, для меня существовала только она одна: нечто смутное, без определенных линий, размытых временем. Женственно выпуклые веки еще почти детских карих глаз, серая будничная юбка. Маленькие руки и маленькие ноги. Красная шелковая рубашечка с круглым вырезом, открывающим смугловатую шею с родинкой. Все, кроме лица, представлялось определенно, но лицо было неуловимо. Вместо лица плыло облачко: нечто общее, без частных, смутно отражающее ее взгляд, усмешку. Неразличимое, но такое близкое, даже как бы родственное, отвечающее самым сокровенным движениям моей души.

...в тот смутный, дождливый день меня внезапно назначили орудейным фейерверкером в батарею, где я до сих пор исполнял должность телефониста-наблюдателя.

Батарея стояла на совершенно ровном, гладком, со всех сторон открытом месте, кое-как замаскированном сухими стеблями кукурузы. На позицию стали глубокой ночью, а когда рассвело, то в холодном, дождливом тумане мы увидели потоптанное кукурузное поле и мокрую землю, исковерканную недавним сражением. Откуда-то сбоку потягивало трупным запахом. Это разлагалось чудовищно раздутое тело румынского солдата в каске и синей шинели, лопнувшей по швам. Мы только что собрались предать это мертвое тело земле, чтобы оно не воняло, как был получен приказ «батарея, к бою!».

Тотчас после этого из-за плоского, дождливого, плохо видимого горизонта послышался знакомый звук орудийного выстрела, и над нашей батареей пролетел неприятельский снаряд, сделавший порядочный недолет. Батарея ответила двумя патронами беглых, и началась артиллерийская дуэль с невидимым противником, продолжавшаяся до самых ранних октябрьских сумерек.

«18 октября 916 г. Действующая армия. Румынский фронт. Дорогая Миньона! Сегодня произошло ужасное. Наша батарея, расположенная на открытом месте и не имеющая надежных блиндажей, кроме ровиков для орудийной прислуги, весь день вела артиллерийскую дуэль. Что такое артиллерийская дуэль на открытой позиции, Вы, конечно, представляете себе. Объяснять не буду. От неприятельского огня мы прятались в довольно глубокий ровик, наскоро вырытый рядом с зарядным ящиком.

Наши наблюдатели нащупали немецкую батарею, а немцы нащупали нас, и через каждые две-три минуты мы обменивались выстрелами. День был на редкость паршивый, холодный, сырой, туманный, дождливый, и вследствие плохой видимости артиллерийский

огонь с обеих сторон был неточный: то сильный перелет, то недолет, то вообще куда-то в сторону. Тем не менее каждую минуту можно было ожидать прямого попадания, и я из предосторожности приказал всем номерам своего орудия, которым командовал, кроме наводчика, укрыться в окопчике.

Сделав очередной выстрел, наводчик тоже прыгал в окопчик, и мы все, прижавшись к земляным стенкам, с тревогой ожидали ответ неприятельской батареи, моля господ бога, чтоб немецкий снаряд пронесло мимо и чтобы он не угодил в наш окопчик.

Недавно в нашу батарею пришло пополнение, и ко мне в орудие попал совсем еще молоденький — последнего призыва, — семнадцатилетний деревенский паренек из-под станции Бобринская по фамилии Терез. Как у всех новобранцев, у него была голова, подстриженная под машинку весьма неряшливо, вследствие чего его нежные, почти совсем детские уши казались особенно заметны. На нем была не по росту большая шинель, еще не разношенные сапоги, и в руках он держал деревенскую торбу со шматком домашнего свиного сала, завернутого в хустку, а также мешочек с пайковым сахаром, который он уже успел получить вместе с восьмушкой махорки и полбуханкой житника.

Мы все были опытные, обстрелянные батарейцы, а он считался у нас еще серым, то есть молодым необстрелянным новичком, а потому на нем еще, как говорится, ездили — наваливали на него самую черную солдатскую работу. Это делалось, конечно, не со зла, а так полагалось по традиции воспитывать новобранца. А вообще к нему относились хорошо и дружелюбно, вроде как к младшему брату или сыну. Он даже нравился нам своей милой деревенской домашностью, еще не испорченной солдатчиной.

Его украинская фамилия Терез давала орудийным острякам повод покаламбурить: Терез, той раз, цей раз и т. д.

Я принял по отношению к нему начальственно-покровительственный тон. До сих пор я был среди солдат самый младший по возрасту, а теперь появился еще более молодой — семнадцатилетний.

Кстати, замечу в скобках, оказывается, на войну уже стали забирать почти мальчиков. Тревожный симптом! По-видимому, война идет к концу.

Этот самый Терез был ласковым, услужливым и очень старательным мальчиком, так что в батарее его полюбили, понимая, что со временем из него выработается справный орудиец. На первых порах его поставили при трехдюймовке, которой я командовал в качестве орудийного фейерверкера, номером третьим, так называемым подающим. Он должен был в бою подавать патроны.

Да... Так на чем я остановился?

Я остановился на том, что наша батарея вела длительную, мучительно нудную артиллерийскую дуэль и неприятельские снаряды с методическими паузами рвались вокруг нас, так что мы были принуждены почти все время сидеть в окопчике, и на огонь противника отвечал, в сущности, один только наводчик, который сам наводил, сам заряжал, сам производил выстрел и сейчас же после выстрела прыгал в окопчик, или, как он назывался, ровик, где мы сидели, как сельди в бочке, и все время дрожали от страха, ожидая, что какой-нибудь шальной немецкий снаряд прямым попаданием влетит к нам — и тогда от нас останется только кровавая каша.

Вы себе представляете, как это ужасно — сидеть в ямке, дрожать и каждую минуту ждать смерти?

Терез вел себя вполне мужественно, хотя его девичьи губы стали сизыми, а тонкая, нежная шея, видневшаяся из-под грубого ворота солдатской шинели, совсем побелела.

Играя роль доброго командира, я похлопал его по плечу и сказал общеизвестное: «Не журишь, казак, атаманом будешь», хотя у самого от страха тряслись поджилки.

Мрачный день медленно, но уже заметно клонился к вечеру, но артиллерийская дуэль продолжалась, выматывая нервы. Вдруг после одного нашего очередного выстрела в окопчик вскочил бомбардир-наводчик и сказал, вытирая мокрый от дождя лоб рукавом шинели:

— Шабаш! Все патроны кончились.

— А в зарядном ящике?

— Пусто.

В первый момент у нас, по правде сказать, даже отлегло от сердца: отбой! Но тут же закричал телефон и голос батарейного командира приказал выслать нескольких солдат за свежим боезапасом, который подвезли из резерва в небольшую лоштинку шагов за сто позади батареи. Разгрузить повозку с патронами требовалось как можно быстрее, чтобы неприятельские снаряды не успели побить лошадей.

Лица у моих батарейцев посерели. Бежать сто шагов туда да сто шагов обратно с двумя тяжелыми лотками на плечах, по открытому полю, под огнем неприятельской артиллерии — дело серьезное. Но ничего не поделаешь. Боевой приказ есть боевой приказ. Мне как орудиюному фейерверкеру следовало организовать доставку патронов и нарядить орудийцев, которые должны по очереди бегать за снарядами.

Я решил показать пример своим подчиненным, первым выскочить из окопчика и принести два лотка, хотя по долгу службы я не должен был этого делать и отлучаться от орудия.

Но мне хотелось показать свою храбрость.

Почему-то в последнюю минуту я раздумал. Не могу объяснить, что со мной случилось. Какой-то злой или добрый дух шепнул мне: остановись! подумай! — острое чувство самосохранения пронзило меня и подсказало, как надо действовать.

— А ну, друзья, кто первый пойдет за снарядами? — сказал я, подражая голосу фельдфебеля Ткаченко, и тут же, не дожидаясь ответа, прибавил: — Пойдет самый молодой, необстрелянный. А ну-ка, Терез, покажи свою храбрость!

Терез сидел совсем по-мальчишески на корточках, прислонясь к сырой стенке окопчика. Он вскочил, засуетился и, став передо мной по стойке «смирно», насколько это позволяла теснота ровика, сказал:

— Слушаюсь, господин орудийный фейерверкер!

Вся его фигурка выражала готовность, но в глазах мелькнуло что-то пронзительно-жалобное. По мокрым земляным ступенькам он выскочил из окопчика, и в тот же миг оглушающий удар разорвавшегося немецкого снаряда потряс почву, и не успели мы как можно теснее прижаться к земле, как сверху головою вниз на нас свалился Терез, покрытый складками разорванной шинели.

Но это уже был не Терез. Это был его труп. Его ноги в сапогах зацепились вверху за край земляных ступеней, так что все тело приобрело наклонное положение, голова оказалась на земле у наших ног, а из маленькой треугольной дырочки над правым глазом текла густая струйка крови, образуя на земляном полу все более и более разрастающуюся лужу.

Половина разбитого орудийного колеса повисла над нами про-

бив крышу, сложенную из стеблей кукурузы, по листьям которых шуршал затяжной дождик. Наши глаза были прикованы к обращенному вверх лицу убитого Тереза, постепенно менявшему цвет. Сначала знакомое лицо Тереза еще имело обычный цвет живого человека, даже с нежной розоватостью щек и вокруг закрытых глаз с золотистыми ресницами. Постепенно эта розоватость исчезала, заменялась желтоватостью, а желтоватость стала заливаться синевой, особенно заметной в скульптуре затвердевших ушных раковин.

А вокруг стояла всемирная тишина внезапно прекратившейся артиллерийской дуэли.

Молчала наша батарея. Молчала батарея противника. Молчало наше искалеченное орудие. Только с вкрадчивым шорохом сеялся дождик, как бы незаметно сливаясь с надвигающимися сумерками. Отчего наступило это сводящее с ума молчание? Вероятно, из-за темноты, так или иначе, но бой прекратился, как бы сделав свое черное дело, убив Тереза и тем самым исчерпав себя.

Мы неподвижно стояли тесно друг к другу в окопчике и под угнетающий шелест затяжного дождя не могли оторвать глаз от лица необыкновенно молодого и красивого, как у скульптуры греческого юноши, с которого медленно сходила синева, заменяясь уже ровной, мраморной или, лучше сказать, гипсовой белизной подлинной, глубокой смерти, и маленькие, чудесно изящные кисти рук вывалились из-под лохмотьев шинели, а оскудевающая струйка густой, уже почти черной крови все текла и текла по белому лбу, и под головой наекла лужа, в которую мы боялись нечаянно ступить сапогом. Одна мысль терзала меня — что на месте мертвого Тереза мог лежать мертвый я, и этого не могло вместить мое воображение.

Потом все было до ужаса обыденно.

Мы бережно, хотя и с каким-то страхом выбрались из окопчика, вытащили оттуда тело Тереза и положили его возле лафета нашей искалеченной пушки, припавшей, как инвалид, на ось разбитого колеса, со своим щитом, изрешеченным осколками. Снаряд попал прямо в зарядный ящик, в котором, к счастью, уже не оставалось патронов, а то бы мы все полетели на воздух.

К зарядному ящику был привязан мой чемодан, от которого остались только ключья, а все то, что находилось в нем, в том числе фотографический аппарат «Кодак», катушки с отснятой пленкой, Ваши письма, тетрадка моих стихов и записок, не говоря уж о белье и непечатой коробке соленых бисквитов «Капитэн», присланных папой, — все это было сожжено прямым попаданием, превращено в черный пепел, развеяно, рассыпано по мокрому кукурузному полю и затянута тяжелым, вонючим, черным мелинитовым дымом разорвавшегося снаряда...

Что же было дальше? Дальше все было так обыденно, что стыдно писать. В наступивших сумерках из обоза приехала повозка, куда положили уже заметно похолодевшее, отвердевшее, прямое тело Тереза, покрыли его ободранной, обгоревшей шинелью и увезли в тыл хоронить. Имущество же, находившееся в вещевом мешке на дне окопчика, отправили вместе с телом, с тем чтобы переправить на станцию Бобринская его матери, кроме восьмушки пайкового табака, оставленного орудийной прислуге на курево, и торбочки с пайковым рафинадом, который орудийцы присудили оставить мне как ближайшему по возрасту товарищу убитого. Все знали мою страсть к сладкому.

Вот и все.

Пишу это письмо в румынской хате с опрятно вымазанным глиняным полом, устланным шерстяной ковровой дорожкой, в селе,

куда отправили нашу батарею на отдых и для замены разбитого орудия и зарядного ящика.

Погода внезапно резко переменялась. Дождь прошел. Небо расчистилось. Невероятно яркая осенняя луна, маленькая, почти синяя, стояла высоко в небе, и тень от хаты, от ее камышовой крыши, от плетеной клуни, где хранились кукурузные початки, сильно, угловато чернела, как нарисованная углем на голубой земле, а в воздухе уже слышался крепкий октябрьский холодок, так напоминающий о моей погибшей юности, когда я еще не был падшим ангелом.

Простите, не в силах больше писать. Со мною происходит что-то ужасное. Не презирайте меня. А. П.».

Теперь я вновь — в который раз! — переживал чувство презрения к себе и неискупимой вины перед молоденьким, милым, услужливым солдатиком Терезом, убитым вместо меня треугольным осколком, пробившим в его голове дырочку, из которой — вижу это как сейчас! — вытекала сначала алая, а потом почти черная струйка густой крови, впитываясь в сырую землю окопчика.

После того как тело убитого положили на солому в обозную повозку и увезли хоронить, кто-то из орудийной прислуги принес шанцевый инструмент, то есть хорошую крепкую армейскую лопату с ясеневым черенком, выкопал из земли окопчика сгусток запекшейся крови и вынес его на лопате как бы нечто вроде крупной темно-красной печени.

Теперь уже с трудом складывается картина того далекого прошлого. По-моему, я уже высказал мысль, что хорошая молодая память — фотография, а старая, разрушающаяся — живопись, даже, может быть, кубизм. Впечатления давно минувших лет вытесняют друг друга, создавая странную картину, обширное, даже необъятное живописное полотно, полное движения, в котором трудно разобратся.

Письма, которые некогда мне отдала Миньона незадолго до своей преждевременной смерти от скоротечной чахотки, были аккуратно сложены и даже перенумерованы ее рукой, но среди них одно письмо, последнее, оказалось в пачке раньше чем следовало. Когда оно попало мне в руки, я удивился его слишком поздней дате:

«6 ноября 916 г. Румынский фронт. Действующая армия. Миньона! Это письмо доставит Вам с оказией один наш батарец, едущий в тыл по командировке. Пожалуйста, отнесите к нему с полной серьезностью. Я обращаюсь к Вам с просьбой, имеющей для меня огромное значение. Если хотите, это вопрос жизни и смерти. Прошу Вас в самом срочном порядке походатайствовать перед своим отцом, чтобы меня направили в пехотное военное училище для зачисления там меня юнкером. Прием заканчивается 1 декабря, и нужно не опоздать. Не спрашивайте о причинах. Я понимаю, что таким образом я лишюсь возможности стать артиллерийским офицером и сделаю пехотным прапорщиком. Но это мое твердое решение. Если Вы мне действительно друг, то Вы это сделаете для меня. Время не ждет! Ваш Александр Пчелкин».

Миньона исполнила мою просьбу: я был отправлен в наш город и в декабре стал уже юнкером военного училища, будущим пехотным прапорщиком, навсегда распрощившись с надеждой стать привилегированным артиллерийским офицером. Это, конечно, было для меня унижительно.

Что же тогда со мной произошло? В чем причина?

Причин было несколько, и трудно сказать, какая из них казалась

мне тогда главной. Во-первых, конечно, ужас и отвращение, внушенные мне почти годичным пребыванием в действующей армии. Любым способом, хоть на четыре месяца, попасть в тыл, лишь бы на время избежать смерти. Во-вторых, любовь к Ганзе, которая в последние дни измучила мою душу. Вместе с моим возмужанием почти детская любовь превратилась в страсть. Мне уже казалась жизнь невыносимой без нее. А ведь до сих пор я даже ни разу не взял ее за руку и никогда не произнес волшебных слов «я вас люблю». Я вел себя как робкий мальчишка, теперь же я смело посмотрю ей в глаза и, чего бы это мне ни стоило, добьюсь ее взаимности. Во всяком случае, я опять ее увижу. И в-третьих, в чем мне стыдно сознаться, у меня был низменный расчет избежать смерти: по всем признакам война скоро должна была кончиться позорным поражением русской армии. На румынском фронте мы терпели поражение за поражением. На западном фронте мы потеряли Варшаву. Наступление Брусилова захлебнулось. Не сегодня-завтра сдадим Ригу. В тылу — хаос. Министерская чехарда. Голод. Начинается разруха. Забастовка на Путиловском заводе, снабжающем армию артиллерией. Пахнет революцией. Массовое дезертирство. Таким образом я рассчитывал, что в течение четырех месяцев моего юнкерства и месяца пребывания в запасном пехотном полку война кончится и я буду спасен.

Однако мои расчеты не оправдались. Несмотря на падение самодержавия, война еще не закончилась и пехотных прапорщиков продолжали посылать на убой. Что же касается Ганзи, то в наших отношениях ничего не изменилось, хоть она уже была в полном расцвете своей молодости и красоты, курсистка, невеста, а я, хотя и пехотный офицер-прапорщик Керенского, как тогда говорилось, между нами стояла, как и в юности, странная, прозрачная стена моей молчаливой робости и ее милого равнодушия. Меня отправили все на тот же румынский фронт, где мое бедро пробил маленький треугольный осколок, так похожий на тот, который некогда убил Тереза. Таким образом, я еще дешево отделался. Октябрьская революция застала меня в госпитале. Пришли немцы. Ганзя вышла замуж за того самого богатого футболиста инсайд-правого, который уже стал кавалерийским корнетом, потом, конечно, они бежали от революции за границу, так же как и отец Миньоны, бросив семью на произвол судьбы, уехал с белыми.

Помню еще короткий и грустный роман с Миньонкой, ее горячие руки, кошачьи глаза в осажденном, лишенном света городе, при звуках ночной винтовочной стрельбы, и быстрое охлаждение Миньоны, когда она вдруг меня разлюбила, и я всю ночь просидел на берегу моря на шаланде, перевернутой дном кверху, и «ныло от тоски все существо мое, тоска была подобна черной глыбе, и если бы вы поняли ее, то разлюбить меня, я знаю, не смогли бы».

Ну и так далее, все как в тумане слабеющей памяти, а я продолжал видеть себя среди пространства Добруджи, где обстановка с каждым днем ухудшалась.

...Начали весело, с наступления, дошли почти до Базарджика, как уверяли фантазеры разведчики, потом остановились, а теперь отступали по всему фронту, едва не попав к Макензену в мешок.

Кое-где это уже было похоже на бегство.

Новая батарея, в которой я продолжал проходить все виды солдатской службы, все артиллерийские специальности, моталась с позиции на позицию, не имея возможности где-нибудь прочно закрепиться.

...Прекрасно утрюбованные белые шоссеиные дороги и убран-

ные поля, поросшие ежевикой. Холмы, покрытые душистой богородичной травкой и дикой лавандой, такой же синей, как полоска моря, иногда показывающегося на горизонте. Волнистые дали, волшебно приближенные окулярами козлино-рогатой стереотрубы почти вплотную к самым моим глазам, когда я вел с наблюдательного пункта стрельбу по разъездам неприятельского авангарда.

Вести стрельбу значило передавать с наблюдательного пункта по телефону на батарею прицельные данные по обнаруженному противнику.

Тогда я обладал прекрасным молодым зрением (не то что теперь!). Из меня постепенно вырабатывался недурной наблюдатель, умевший толково вести стрельбу не только по неподвижным, занумерованным целям, но и по движущимся. Я научился стрелять с опережением, что считалось высшей степенью искусства артиллерийского наблюдателя.

Я заметил в узком дефиле между двумя пологими холмами дорогу, по которой, вероятно, только что проехала какая-то военная кавалерийская часть неприятеля, так как дорога еще продолжала пылиться. По всей вероятности, это был разъезд венгерских гусар. Я прикинул на глазок дальность, приказал телефонисту, сидевшему у моих ног в окопчике, передать на батарею данные высоты и угломера и попросить сделать пристрелку.

Первый же снаряд (граната) разорвался очень удачно, в том самом месте, где дорога поворачивала за холм. Я передал номер цели и стал ждать. Не могло же быть, чтобы неприятель больше не появился на дороге, минуя то место, которое уже было обозначено мною, передано на батарею и записано в книжке орудийного фейерверкера как цель номер один.

Через недолгое время дорога запылилась, и я увидел в трубу, как из дефиле выехали три кавалериста и остановились, видимо осматривая местность. В стереотрубу ясно просматривались приближенные к моим глазам голубоватые шинели, масти лошадей и даже блестящие стекла бинокля в руках одного всадника.

— По цели номер один прицел сто десять, трубка сто пять, шрапнелью, два патрона беглых! — крикнул я телефонисту, повторившему мою команду в трубку.

Батарея уже давно была готова к бою, так как почти в ту же минуту далеко позади раздалось несколько тюкающих выстрелов наших трехдюймовок и над моей головой прошуршали снаряды. Вероятно, неприятельский разъезд тоже услышал их приближение, так как я увидел в трубу, как они рванулись в стороны, но было уже поздно. Я увидел, как невысоко над ними в тусклом небе разорвалась посланная мною шрапнель, и лошади шархнулись, подымая облака пыли, а один всадник свалился с седла и остался неподвижно лежать на земле, в то время как остальные скрылись из поля моего зрения за холмом.

В первый миг я пришел в восторг от столь удачного залпа.

Я готов был, не отрывая глаз от окуляров стереотрубы, захлопать в ладоши, но вдруг меня пронзила ужасная мысль, что небольшая и не очень ясно просматривающаяся сквозь дорожную пыль человеческая фигурка с раскинутыми руками, которая неподвижно лежала на земле, есть не что иное, как венгерский гусар, еще миг назад живой, а теперь уже убитый шрапнелью, вызванной мной, наводчиком Пчелкиным.

Я был его убийцей, так же как был косвенно убийцей Тереза и, может быть, еще нескольких живых людей — немцев, австрийцев, мадьяр, — смерти которых я не видел и о которой не думал, так как считалось, что убийство на войне не есть убийство.

Однако совесть сказала мне в тот миг, что убийство есть убийство.

Это привело меня в смятение, которое, однако, скоро прошло, так как явилась хотя и лживая, но спасительная мысль: ведь и меня могли убить и сотни раз убивали, но только неудачно.

Однако тяжелый осадок остался в душе на всю жизнь.

Батарея продолжала кочевать в просторах Добруджи, под давлением Макензена неуклонно приближаясь к Дунаю, к тому месту, где река делает крутой поворот на юг, к Черному морю.

Однажды, оторвавшись от главных сил, туманным утром после бесцельного блуждания по незнакомым местам батарея наша оказалась на вершине холма в полной неизвестности, откуда можно ожидать неприятеля.

Командир батареи, старый подполковник, которому, если бы не война, давно уже следовало выйти в отставку, высокий, сутулый, с унылым длинным носом, опущенным книзу, кусая мокрые усы, прошелся взад-вперед перед своей наскоро разбитой палаткой, посматривая вокруг в бинокль, а затем приказал, чтобы на всякий случай два взвода установили свои орудия по компасу на северо-восток, а один взвод на юго-запад, из чего явствовало, что неприятель может появиться со всех сторон, то есть что наша батарея попала в мешок, в окружение.

Конные разведчики, высланные уяснить обстановку, вернулись ни с чем, если не считать двух ведер зеленой водки, которой они поживились на каком-то румынском ликеро-водочном заводе, разграбленном отступающей матушкой пехотой.

По оценке батарейных знатоков, в каждом ведре было не менее четырех кварт. Это был полуфабрикат, из которого делали ликер.

Одно ведро поставили посередине нашей палатки, и к нам потянулись с котелками и самодельными кружками представители оружейных расчетов.

До той поры я еще никогда не пил водки. Порядочно охмелевший немолодой, почтенный разведчик, старший фейерверкер и георгиевский кавалер двух степеней, сел на солому рядом со мной и, ласково заглядывая мне в лицо осоловевшими, как бы маринованными глазами, протянул полную кружку. Несмотря на все свое еще совсем детское отвращение к водке, я не посмел отказаться, желая показать себя молодцом перед старшим фейерверкером.

Я взял кружку, приблизил ее к губам и поморщился.

— Господин вольноопределяющийся, прошу вас по-товарищески, не отворачивайтесь. Выпейте вместе с нами. По-солдатски. А то, что она вонючая, румынская, то вы заешьте ее цибулей, и цибуля отобьет весь ее противный запах.

Старший фейерверкер вынул из кармана большую луковицу, разрезал ее пополам складным карманным ножом, отер о свои шаровары и половинку подал мне на своей грубой ладони с черными линиями жизни.

— Мерси,— сказал я, приложился губами к кружке и в несколько судорожных глотков, морщась от отвращения, выпил крепкую жидкость, имеющую вкус и запах полоскания под названием «Одол», которым в детстве меня заставляли полоскать горло, и заел половиной луковицы, распавшейся на моих зубах на несколько едких на вкус хрустящих колец, похожих на цыганские серьги. Жгучие слезы выступили у меня на глазах.

— Бувайте здоровы и не кашляйте,— сказал старший фейерверкер, показавший мне до ужаса похожим на покойного Стародубца.— И когда добьетесь до золотых погон, то не забывайте, как мы с вами вышивали румынскую ханжу и закусывали цибулей. Хотя на-

вряд ли, потому что по всему видать — война кончится. Видите, что делается? Разве это фронт? Это бардак!

Я очень сильно опьянел и все дальнейшее воспринимал в страшном беспорядке, как бы сквозь поток струящейся воды: орудия, повернутые в разные стороны, и командира батареи, на которого полез на карачках в дымину пьяный, озверевший, неизвестно откуда взявшийся обозный ездовой Елкин без пояса, в расстегнутой гимнастерке, в грязных шароварах, ругавшийся по матери и кричавший:

— Куда же ты нас завел, так твою мать, а еще подполковник!

Два пьяных батарейца пытались его оттащить, а он, встав на ноги, лез с кулаками в лицо командиру батареи и продолжал выкрикивать что-то насчет измены и восьмисот десятин земли в Таврической губернии, которой владел подполковник.

— Кровопийца! Помещик! Грабитель!.. Подожди, мы еще до вас до всех доберемся, всех вас пожжем! — И так далее.

Несмотря на то, что был сильно пьян, я все-таки понимал, что сейчас должно произойти нечто ужасное: нижний чин нанес своему командиру, офицеру, подполковнику, и, что особенно ужасно, в боевой обстановке, на глазах у всей батареи, оскорбление и даже пытался схватить его за погон, но был оттащен товарищами. По всем законам не только военного, но и мирного времени оскорбленный офицер должен был зарубить шашкой или на месте расстрелять из револьвера нижнего чина — оскорбителя. В этом не могло быть сомнения.

Я отрезвел от ужаса и закрыл лицо руками.

Но выстрела не последовало. Старый подполковник верно оценил обстановку. Если бы он выстрелил в своего оскорбителя, то неизвестно, чем бы это кончилось. Вокруг бушевала вольница вышедших из повиновения пьяных солдат. Они были способны растерзать своего командира и перебить офицеров, попрятавшихся в свои палатки.

Старый опытный офицер предпочел сделать вид, будто ничего не произошло. Он с равнодушной улыбкой на побледневшем лице прошел вдоль орудий, осмотрел в бинокль горизонт и скрылся в своей командирской палатке, в то время как перепившиеся батарейцы продолжали шуметь, спивать украинские песни, а кое-кто выражал вольные мысли насчет мерзавца военного министра генерала Сухомлинова, полковника Мясоедова, царицы-немки, продающей вместе с Гришкой Распутиным Россию немецкому кайзеру Вильгельму, а главное, насчет необходимости в самое ближайшее время забрать помещичью землю и честно, по совести поделить ее между крестьянами и замирился с германом, пока еще не перебили друг друга, потому что немецкие солдаты — такие же простые солдаты, крестьяне, как и мы сами.

Правда, эти опасные мысли даже и во хмелю выражались не столь громогласно, а в виде зловещей воркотни и были внушены двумя батарейцами, которые недавно отвозили в Питер на Путиловский завод для ремонта и замены на новые орудийные стволы, отслужившие свой срок.

Из Питера все время были зловещие слухи о назревающей революции.

Один вольноопределяющийся, вернувшись из петроградского госпиталя, где он залечивал осколочное ранение, привез стишок, ходивший по городу, что

«в терновом венце революции грядет шестнадцатый год...» — это воспринималось как пророчество.

Пьяный бунт погас сам собой и не имел последствий, потому что батарея в это время стояла отдельно, неизвестно где и не имела никакой связи с другими воинскими частями распадающегося фронта. Впрочем, неимоверными усилиями командования отступление приняло более организованный характер. Фронт соединился, и скоро, отдав неприятелю часть Добруджи, наши войска закрепились между городами Меджидие и Констанцей, заняв оборонительную линию по хребту так называемого Траянова вала, где пехота и окопалась.

Траянов вал. Ганзя Траян. Ее имя преследовало меня всюду.

Наши батареи расположились за Траяновым валом, недалеко от передовых пехотных линий.

Макензен двигал свои войска с юго-запада, уже занял Констанцу и теперь всеми своими силами устремился на Траянов вал.

С артиллерийского наблюдательного пункта рядом с пехотными окопами я видел даже простым глазом город Констанцу, синие лиманы, белые домики с черепичными крышами, а за ними полосу Черного моря.

В этих краях когда-то бродил опальный поэт Овидий Назон, и я выучил в гимназии по-латыни несколько стихов из Овидиевых «Метаморфоз», даже перевел их на русский язык:

«Век золотой на земле воцарился сначала. Не было в нем ни судей, ни законов суровых. Смертные люди без них соблюдали во всем благородство, были верны и честны, не боясь наказаний суровых».

О золотом веке пел поэт-изгнанник, наступая старыми, разношенными сандалиями на сизую полынь, растущую по склонам Траянова вала. Но почему в моем воображении рядом с ним шла девочка-подросток, маленькая гордая римлянка-изгнанница? Может быть, она была его дочерью? Но тогда почему же она носила имя Траяна? Она была Ганзя Траян, о которой я не забывал ни на минуту и которая всегда скромно светилась в зените на недостижимой высоте, как еле заметная Полярная звезда — вечная и единственная.

Судьба привела меня наконец к Траянову валу, где я решил умереть, как скиф, отвергнутый римлянкой.

Умереть было просто. Смерть стояла рядом: я исполнял должность второго телефониста при офицере-наблюдателе. Первый телефонист сидел на дне окопчика рядом с телефонным аппаратом и держал связь с батареей. Моя же обязанность заключалась в ответственности за целостность телефонного шнура, проложенного прямо по земле от наблюдательного пункта до батареи, всего около версты.

Войска противника могли появиться с минуты на минуту.

Я видел складки пустынной степной местности, поросшей сухими душистыми травами. Можно было подумать, что степь безлюдна. Но полковые разведчики и боевые охранения донесли, что немецкий корпус, развернутый по всему фронту, приближается к Траянову валу. Вдоль нашей отходящей пехотной цепи на горизонте стали медленно вырастать из земли как бы черные ветвистые деревья.

В первую минуту могло показаться, что это мираж. Но когда оттуда долетели звуки рвущихся тяжелых снарядов, то стало ясно, что это немецкая артиллерия бьет по нашей отступающей пехоте,

скатывающейся с пологих холмов в длинные складки пересеченной местности. Потом показались неприятельские цепи. Наша батарея открыла огонь, но дистанция оказалась слишком велика и снаряды не долетали.

Тем временем немецкие тяжелые батареи замолчали. Было ясно, что они меняют позиции поближе к нам. Они пользовались складками местности, чтобы передвижение их было скрыто. Однако иногда немецкие серые гаубицы, зарядные ящики с их упряжками ненадолго появлялись и затем исчезали, поспешно скатываясь в балки.

Скоро отступающие цепи нашей пехоты докатились до Траянова вала и быстро окопались на его гребне.

Наступило томительное безмолвие, не обещавшее ничего хорошего.

Потом немецкая артиллерия, как видно уже ставшая на новые позиции, снова открыла огонь по всему фронту, а немецкая пехота полезла на Траянов вал, на наши окопы.

Собственно, окопов не было, а были всего лишь маленькие ямки, наскоро открытые стрелками — каждым для себя.

И начался бой, продолжавшийся, как мне показалось, несколько дней и ночей. Я находился в полубредовом состоянии, уверенный в своей неизбежной гибели. Эта уверенность не только меня не пугала, а напротив — я ее жаждал как избавления, как уничтожения вместе с собой всего того, что терзало мою душу: треугольная дырочка во лбу мертвого Тереза, умирающий Стародубец, вереница телег с почерневшими трупами отравленных газами солдат под Сморгонью, сгусток крови, смешанной с глиной, на лопате, серая фигурка венгерского гусара с раскинутыми руками посреди пыльной дороги, мучительно приближенная к моим глазам, прильнувшему к окулярам стереотрубы, глупые, назойливые письма Миньоне, неразделенная любовь к Ганзе, вся ничтожность и пошлость моей никому не нужной жизни, опустошенность души, в которую вселился демон всемирного разрушения...

День и ночь слились в одно ожидание смерти.

Десятки раз приходилось мне по долгу службы вылезать из окопчика и ползти вдоль телефонного шнура, для того чтобы найти место, где он перебит осколком или шальной пулей, и соединить оборванные концы.

Пули и осколки срезали вокруг меня головки диких степных растений. Меня закидывало кучами сырой земли, выброшенной снарядами, иногда разрывавшимися рядом. Крупный град шрапнели поднимал вокруг фонтанчики пыли. Но я был точно заколдован. Душа моя жаждала смерти, но тело, повинувшись инстинкту самосохранения, при каждом свисте снаряда изо всех сил прижималось к земле, к ее душистым травам.

В одной руке я держал складной ножик, в другой кружок траурно-черной изоляционной ленты. Я полз по-пластунски, обдирая локти. Обнаружив повреждение, я соединял концы перебитого провода: зачищал их ножиком, связывал друг с другом и обматывал липкой изоляционной лентой. Я весь с ног до головы был испачкан землей, лицо мое было поцарапано колючими растениями, тело ежеминутно содрогалось от животного ужаса, с которым я не мог справиться. Но воинский долг требовал от меня жизни и подвига: я отвечал за надежность телефонной связи между наблюдательным пунктом и батареей.

Я совершал свой так называемый подвиг механически, даже не понимая, что это называется подвигом. Соединив перебитый про-

вод, я, как автомат, полз по-пластунски назад, автоматически сваливался в окопчик, автоматически докладывал офицеру-наблюдателю, что связь восстановлена, автоматически ел борщ с кашей, принесенные связным с батареи, и, неясно понимая, в какое время суток все это происходит, опять выползал наружу, чтобы связать снова перебитый провод.

Когда я в последний раз полз вдоль провода, ища повреждение, то вдруг увидел до глубины души поразившую меня картину бегства пехоты: по обратному склону Траянова вала, бросив свои окопчики, один за другим сползают солдаты. В лощине — раненые, убитые, покалеченные лошади, санитары, носилки. Пехотный прапорщик с искаженным лицом, размахивая револьвером, пытается остановить бегущую пехоту, но солдаты, как бы не замечая его и не слыша страшных его ругательств, бежали в лощину, спасаясь от неприятельского огня, а прапорщик, оглушенный свистом и разрывами снарядов, кричал надорванным, осипшим голосом:

— Подлецы! Сволочи! Что вы делаете? Назад! Или я перестреляю вас, как собак!

Наган-самовзвод дрожал в его руке, но прапорщик не решался стрелять в бегущих, это было бы слишком страшно, да и небезопасно: бегущие держали в руках винтовки и уже были случаи, когда в бою неугодный офицер получал в голову пулю, пущенную своими же солдатами как бы случайно.

Я соединил концы перебитого провода и бросился назад в свой окопчик, где офицер-наблюдатель торопливо складывал штатив стереотрубы. Только что по телефону пришел приказ сматывать провод и возвращаться на батарею, которая уже снималась с позиции.

Лошадь офицера-наблюдателя стояла в лощине. Он вскочил на нее, держа поперек седла штатив со стереотрубой, успел крикнуть:

— Телефонист, на батарею!

И в ту же минуту с разможенной головой свалился с лошади в дикую лаванду.

Я и мой напарник, нагруженные катушками смотанного провода и телефонным аппаратом в кожаном чехле, побежали на батарею. Все пространство вокруг было усеяно бегущими и падающими солдатами.

Задыхаясь, мы вырвались из этого хаоса и увидели свою батарею с орудиями, уже надетыми на передки. Мы прибавили ходу, но так и не успели добежать до батареи. Шестерка испуганных лошадей уже увозила последнее орудие, до которого, казалось, рукой подать. За орудием, подпрыгивая на неровностях почвы, мотались зарядные ящики, со всех сторон облепленные спасающимися батарейцами. Я из последних сил старался догнать уходящую на рысях батарею, крича, чтобы нас не бросали. Но ездовые не слышали наших криков, и батарея скрылась в сумерках осеннего вечера.

Мы продолжали бежать за скрывшейся батареей. Вокруг было удивительно безлюдно. Помню, что мимо нас в темноте проехал кавалерийский разъезд. Он, конечно, мог бы нас подобрать, но у него не было свободных лошадей. Хоть бы одна свободная лошадь на двоих! Но увы! Один из кавалеристов приостановился и успел нам крикнуть:

— Идите в деревню Байрам Десусс!

И разъезд как бы растворился во тьме, только у кого-то из кавалеристов мигнул электрический фонарик.

Мы остались вдвоем, одни, нагруженные двумя тяжелыми катушками с телефонным проводом и телефонным эриксоновским аппаратом, тоже не легким.

Была ночь. Пустыня. Угрожающее безлюдье между двумя армиями — отступающей и наступающей. В этом странном пространстве, где даже не слышалось привычной степной музыки, как бы хрустального хора сверчков, а была только немая музыка звездного неба, шли с юго-запада на северо-восток, ориентируясь по Большой Медведице и Полярной звезде, мы, два отставших солдата разбитой армии.

В памяти моей сохранились лишь кое-какие подробности, хотя общая картина тоже сохранилась и даже имеет название: «Одиннадцать дней между нашими арьергардами и немецкими авангардами».

Многое кажется мне теперь необъяснимым, хотя в действительности существовало вполне реально. Каким образом все-таки мы с Кацем оказались в безлюдной степи всеми брошенные и куда девались наши войска? То, что мы не успели добежать до батареи, понятно: сначала по долгу службы мы должны были намотать на катушки несколько верст телефонного шнура и потом тащить их на себе, перекинув брезентовые лямки железных катушек через плечо, да вдобавок тащить телефонный аппарат, а бросить всю эту тяжесть к чертовой матери не позволяла совесть, а главным образом воинский долг, предписывающий беречь казенное имущество как зеницу ока и отвечать за его потерю по законам военного времени. Пока мы с этим возились, батарея снялась с позиции, и мы ее уже не догнали, не добежав каких-нибудь двадцати шагов.

Но куда же девалась отступающая пехота со всеми своими ранеными, санитарными повозками, патронными двуколками, обозами и уцелевшими офицерскими лошадьми?

До сих пор не могу понять, куда они девались, бесследно, бесшумно растворившись в ночной темноте? Вернее всего, пехота отступила или, вернее, бежала врассыпную по какому-то другому направлению, оставив своих убитых и раненых среди диких степных трав и растений: римских свечей, медуницы, шалфея, лаванды, богородичной травки, серебристой при звездном свете полыни.

А немцы закрепились на новых позициях, приводили себя в порядок, с тем чтобы на другой день продолжать и развивать свое наступление.

Возможно, даже наверное так это именно и было.

Таким образом, мы, нагруженные казенным имуществом, были в безлюдном, но опасном пространстве приостановившихся военных действий.

Что же наиболее ясно сохранилось в моей памяти? Во-первых, конечно, мой напарник — телефонист по фамилии Кац, которого раньше я знал мало, так как меня все время переводили из батареи в батарею, чтобы я, будущий офицер, не успевал особенно сближаться с нижними чинами.

Кац оказался косым на один глаз, не слишком молодым полунинтеллигентом из Витебска, до глубины души уязвленным тем, что он не имел права проходить военную службу вольноопределяющимся, а был простым нижним чином, к которому все кому не лень, не говоря уж о начальстве, обращались на ты, как говорится, тыкали. Будучи от природы обидчивым и гордым, он именно из гордости не показывал виду, что оскорблен своим положением в батарее. Его забрали в армию в первые же дни войны, так что он

пережил знаменитое отступление из Восточной Пруссии, Прейсиш-Эйлау, Августовский лес, но ничего не выслужил, кроме одной бомбардирской лычки, в то время как я, служивший по сравнению с ним, старым солдатом, как говорится, без году неделю, уже имел две нашивки и скоро буду произведен по протекции в офицеры.

Внутренне он все время кипел, но старался не подавать виду.

По отношению ко мне он принял тон старшего боевого товарища, хотя по званию был младше меня на одну лычку.

Я был единственным человеком, с которым Кац мог позволить себе обращаться как интеллигент с интеллигентом, называя меня «коллега». Обычно коллегами называли себя вольноопределяющиеся и молодые офицеры из студентов. Это штатское обращение между собой как бы выделяло их из среды кадровых военных в особую касту фронтовой интеллигенции.

Хотя и без особого удовольствия, но я принял это обращение и сам называл его коллегой. Коллега Кац. Хотя какой он был мне коллега, этот болезненно самолюбивый мнительный художник, окончивший какую-то школу живописи. Он успел уже показать мне альбом своих карандашных рисунков, щегольски растушеванных, как и полагалось провинциальному графику.

Впрочем, некоторые рисунки мне даже нравились, особенно виды захолустных улочек витебских окраин, покосившиеся бревенчатые домики с тесовыми крышами, где ютилась еврейская беднота, дощатые заборы, косые столбы керосиновых фонарей, широкие немощеные улицы с лужами, в которых лежат тощие местечковые свиньи. Во всем этом чувствовалось нечто отчасти гоголевское.

В остальном Кац был, что называется, справный солдат, если не считать его манеры ходить в расстегнутой шинели с хлястиком, висящим на одной пуговице, и как-то неодобрительно смотреть вбок своим косым глазом с небольшим бельмом, которое не спасло его от набора в армию.

Мы догоняли отступающую, а если говорить правду, бегущую нашу армию: днем где-нибудь прятались, опасаясь попасть в плен, а ночью шли по дороге в сторону Дуная, ориентируясь по звездам.

Сколько помнится, мы все время ссорились и мирились, как два каторжника, прикованные друг к другу.

Куда же нам было деваться друг от друга? Нас связывал страх попасть в руки разъездов. Солдатский телеграф давно уже передавал, что русским пленным отрезают носы и уши. Хотя это и казалось глупой выдумкой, как и отравленные колодцы, но все-таки... Кто его знает! А вдруг правда?

...Мы ссорились по пустякам, главным образом из-за того, кто должен тащить на себе большую часть казенного имущества, состоящего из двух катушек и одного телефонного аппарата. Тащить на себе эту тяжесть было мучительно. Стараясь хоть как-нибудь уравнять между собой проклятый груз, мы пытались разделить три неделимые тяжести на двоих. Ничего не получалось. То один из нас тащил на себе две катушки, в то время как другой тащил телефонный аппарат, лямки которого натирали плечо, то один тащил одну катушку плюс телефонный аппарат, в то время как другой тащил на горбу другую катушку.

Мы изнемогали от усталости и начинали ненавидеть друг друга. Кроме того, нас мучил голод. Неприкосновенный запас мы съели в первые же сутки и теперь питались чем бог послал: початками

кукурузы, валявшимися на дороге, сырой капустой с заброшенных огородов, а иногда, если повезло, тыквами, созревающими на камышовых крышах пустых, разграбленных деревенских хат.

Тыквы были очень красивы: громадные, голубые, оранжевые, багровые, рубчатые.

Мы нарезали их ломтями и пекли в золе наскоро разложенного костра из кукурузных стеблей, благо у Каца оказался коробок спичек.

Мы шли и шли по плоской земле Добруджи, опустошенной войной.

После первых осенних дождей погода установилась сухая, ясная, теплая, а днем даже жаркая. Настоящая золотая осень. Ночью с черным небом, полным мириад звезд.

В те часы, когда мы переставали ссориться, мы поверяли друг другу свои самые сокровенные мысли, чего бы, конечно, не сделали при других обстоятельствах. Но теперь мы были как бы двумя матросами, потерпевшими кораблекрушение и выброшенными на необитаемый остров.

Я дожимал его рассказами о муках неразделенной любви, а он терзал меня рассказами про какого-то витебского художника, его друга, который выставил свои полотна в Париже и прославился на всю Европу, а он, Кац, как дурак остался и теперь должен подставлять себя под немецкие пули и снаряды, и терпеть грубости от невежды фельдфебеля, и бить вшей, и не иметь возможности заниматься станковой живописью и так далее, что было мне совершенно неинтересно, потому что тогда я еще не знал, что такое станковая живопись и кто такой этот витебский художник-счастливчик, прославившийся в Париже на всю Европу. Наверное, такой же мазилка, как и Кац с его кривыми дощатыми витебскими домиками, бородатыми козами, плохо нарисованными безголовыми петухами и летающими рыбами: Кац показывал мне свою заветную тетрадь, которую таскал с собой в вещевом мешке, никогда с ним не расставаясь, даже в бою...

...Небритый подбородок, впалые щеки, поросшие волосами цвета медной проволоки, косящий глаз с бельмом, иронически искривленные губы... Все это производило на меня неприятное, чтобы не сказать отталкивающее, впечатление, но приходилось мириться.

Однажды меня поразила такая картина: на середине дороги стоял обыкновенный венский стул, ужасающе одинокий и совершенно непонятный среди безлюдной равнины, по которой мы наугад пробирались к Дунаю.

Зрелище одинокого стула сначала потрясло. Но когда через две или три версты я увидел так же одиноко стоящую среди пустынной дороги обыкновенную ножную швейную машинку «Зингер», то я понял, что и стул и машинка — это следы бегства местного населения. Об этом же свидетельствовали следы множества колес и лошадиных подков. По этим следам мы и двинулись дальше, обходя брошенные деревни из опасения наткнуться на неприятельский разезд.

Однажды голод заставил нас завернуть в одну из таких деревень, где, судя по некоторым признакам, недавно останавливалась какая-то отступающая часть.

Мы обнаружили свежие следы костра, сломанную деревянную ложку, портянки, повешенные на плетень и забытые в спешке, а главное, несколько огрызков ржаного хлеба. Мы по-братски поделили между собой засохшие корки и уже собирались их съесть,

как вдруг услышали хрюканье, доносившееся из сарайчика, возле которого мы присели.

Свинья!

Живая свинья, ее, видимо, не успели увезти с собой хозяева.

Мы приоткрыли маленькую дверцу сарайчика и увидели в лучах утреннего солнца на соломе громадную тушу чисто вымытой, хорошо ухоженной, жирной и почти розовой свиньи в несколько пудов весом. У нас слюнки потекли! Сколько отличного свиного сала!

Но как поступить со свиньей?

Мы переглянулись.

— Ну? — спросил я.

— Не знаю, — ответил Кац.

— Она слишком большая. Я даже не знаю, как это делается.

— А если ножом?

Мы сели верхом на свинью, навалились на ее тушу и стали делать неумелые попытки зарезать ее своими складными ножиками, предназначенными для зачистки перебитого провода.

...Мы не знали, как убивают свиней. Мы не имели понятия об анатомии этого животного: куда надо колоть, где у свиньи сердце? Слой сала оказался таким толстым, а шкура такой непробиваемой, что складными ножиками ничего нельзя было сделать. Ножики только царапали кожу, покрытую жесткой щетиной, не причиняя животному ни малейшей боли, может быть, всего лишь слегка щекотали.

Свинья сварливо хрюкала, пытаясь сбросить с себя навалившихся солдат.

Измучившись и не добившись никакого результата, мы с Кацем выбрались на свежий воздух из вонючего закутка, на жаркое полуденное солнце, в лучах которого все вокруг блестело желтым соломенным и кукурузным блеском, ослеплявшим глаза.

— Что будем делать?

— Надо ее просто застрелить.

Наган был только у меня. Я вынул его из кобуры и дал Кацу как более опытному солдату. Кац открыл дверцу свиного закутка, прицелился кривым глазом и выстрелил в белеющую во мраке тушу. Свинья дернулась и взвизгнула, но была живехонька. Видимо, пуля либо застряла в салае, либо скользнула по толстой коже, оставив лишь рубец.

Свинья захрюкала и сделала попытку выбраться из своего закутка и убежать.

— Держи ее! — крикнул я.

— Сами держите! — огрызнулся Кац, отдавая мне наган. — Эту жирную сволочь даже пуля не берет.

— Что же будем делать?

— Не знаю.

— А я знаю! — закричал я, чувствуя, что в меня опять вселился дух разрушения и убийства. — Надо ей выстрелить в ухо!

Пока Кац сидел верхом на свинье, стараясь, чтобы она не дрыгалась, я как бы в состоянии лунатизма отвернул тяжелое волосатое свиное ухо на розовой подкладке и обнаружил ушное отверстие, темную дырочку, ведущую в тайные глубины и закоулки еще живого организма свиньи, вдруг внимательно посмотревшей на меня снизу вверх маленьким глазком с бесцветно-белыми ресничками альбиноса.

Я взвел курок, сунул ствол нагана в таинственное отверстие свиного уха, отвернулся и нажал гашетку, с ног до головы вздрогнув от выстрела.

Из живой свинья вдруг превратилась в мертвую, и это превращение так поразило нас, меня и Каца, что мы вышли из свиного закутка на яркое солнце, с трудом привыкая к мысли, что совершилось убийство.

Теперь следовало вырезать из свиньи кусок мяса или сала. Мы стали кромсать свиную тушу своими складными ножиками, но до мяса так и не добрались. Даже шкуру с трудом пропорол. Вырезали толстый брусок сала, а до мяса оказалось еще очень далеко. Мы сварили сало в ведре с водой, поставленном на костер из кукурузных стеблей. Хотя нам ужасно хотелось поскорее съесть сало, но все же мы подождали, пока оно как следует сварится в мутном кипятке, и только после этого вынули горячий шматок из ведра.

Вареное сало сделалось почти прозрачным, чуть розоватым и даже на вид таким желанным, что мы набросились на него с жадностью. Сало оказалось необыкновенно, сказочно нежным и вкусным, но у нас не имелось соли, а без соли оно было слишком пресным. Противно пресным.

Мы обшарили хату и не нашли соли. Мы бы, как говорится, отдали полцарства за щепотку соли. Увы! Пришлось есть теплое пресное сало, заедая его сухими корками ржаного хлеба.

...еще через день или два воздух немного посвежел, потянуло пресной речной сыростью, и среди волнистой равнины мы увидели степной колодец, похожий на мельничный жернов, положенный в степную траву к ногам старого, высохшего от зноя пастуха с черным лицом и высоким библейским посохом в руке. Пастух вместе со своим небольшим стадом овец на фоне выжженной степи напоминал библейскую гравюру Густава Дорэ. Не хватало лишь Ревекки, едущей на верблюде.

На этом наше совместное одиннадцатидневное блуждание завершилось, так как мы увидели вдалеке хвост отступающей и уже переходящей через Дунай армии и повозки беженцев, напоминающие цыганский табор.

Тут мы с облегчением расстались друг с другом, так как меня вместе с двумя катушками телефонного шнура посадил рядом с собой на козлы походной кухни знакомый еще по первой батарее повар, а Кац с телефонным аппаратом через плечо пристал к группе телефонистов.

Переехав Дунай по зыбкому понтонному мосту, заливаемому серой осенней водой, я очутился на другом берегу, в румынском городе Браилове, где, как я узнал, недавно разместился штаб нашей бригады. И вот уже я, худой и грязный, входил в кабинет особняка, занятого генерал-майором Заря-Заряницким, с еще никогда не виденным мною шикарным — в стиле модерн — письменным столом, покрытым стеклянной доской, отражавшей не военный, а городской телефонный аппарат и бронзовый письменный прибор из числа тех, какие, вероятно, бывают на столах министров или преуспевающих адвокатов.

Так как генерал был маленького роста, то его круглая, коротко стриженная серебряная головка совсем ненамного возвышалась над зеркальным пространством письменного стола.

Еле держась на ногах от усталости, недоедания и душевного потрясения пережитым, все то, что я видел теперь вокруг себя, представлялось мне как бы во сне, особенно лицо генерала, похожее на лицо Миньоны, только более грубое, а за генеральскими погонями — венецианское окно, обрамляющее уже когда-то виденный мною пейзаж: серебристые ветлы, разросшиеся по берегу Дуная, струи ко-

того лишь кое-где просвечивали сквозь их серебристо-зеленые купы, похожие на цветную капусту и делающие всю эту призрачную картину как бы вытканной на старом французском гобелене.

Знакомый бригадный адъютант подхватил меня под локти и отвел по лестничке куда-то наверх, может быть даже на чердак, где имелась дежурная комната с раскладной офицерской койкой-многоножкой, куда я и свалился, пораженный сном внезапным, как смерть.

Кажется, мне все-таки что-то снилось, чего я потом никак не мог вспомнить, хотя и знал, что это было сновидение о притаившемся на чердаке убийце, и вместе с тем что-то грустно-любовное, связанное с незримым присутствием Ганзи, еще более недостижимой, чем всегда, и все же обнадеживающе улыбающейся улыбкой Миньоны.

Меня разбудил денщик, принесший в судках офицерский обед: суп с перловой крупой, две плоские котлеты с макаронами и на сладкое сваренный на крахмале клюквенный кисель, такой густой, что его порция представляла из себя лиловатый кубик, положенный на тарелку.

Я съел все это в одну минуту без остатка, после чего денщик дал мне умыться и сказал, что его превосходительство ждет меня у себя в кабинете.

— Там, у их превосходительства, целый военно-полевой суд чи шо! — добавил денщик, сочувственно посмотрев на меня.

«Неужели меня будут судить за утрату казенного имущества в боевой обстановке и бегство с фронта? — холодея, подумал я. — Но ведь я оставил надоевшие мне проклятые телефонные катушки на козлах походной кухни, а кучер обещал доставить их в батарею. Не пропали же они. Найдутся. А вдруг не найдутся?»

Я вошел в кабинет командира бригады и стал по стойке «смирно», чувствуя себя обреченным...

«Румынский фронт. Действующая армия, 916 год, 30 октября. Дорогая Миньона! Пишу Вам это письмо в человеческих условиях, в канцелярии дивизиона, куда я наконец после многих приключений во время отступления нашей армии добрался из города Браилова, где я виделся с Вашим папой в реквизированном шикарном особняке. Ваш папа принял меня весьма любезно, накормил офицерским обедом и вообще обошелся со мной, я бы даже позволил себе выразиться, породственному — не примите это за попытку с моей стороны втереться в Вашу семью.

Вы себе не можете представить, что я пережил за последнее время. Если нам еще суждено когда-нибудь свидеться, то я все расскажу Вам. А сейчас написать обо всем нет ни сил, ни времени.

Вы, наверное, уже читали в газетах о нашем отступлении из Южной Добруджи. Мы оставили Констанцу и закрепились на Траяновом валу, где продержались всего каких-то двое-трое суток.

Недавно в Браилове в кабинете Вашего папы целый ареопаг бригадного и даже корпусного начальства допрашивал меня как единственного, последнего свидетеля обо всех подробностях позорного бегства нашей пехоты с позиций Траянова вала.

Я доложил всю правду, и меня с миром отпустили, поблагодарив за службу. А я-то думал, что меня будут судить.

Теперь мне надо добраться до своей батареи, которая, оказывается, за Дунаем не отошла, а стоит на позиции где-то возле развалин древнего античного города Истрии.

На прощание Ваш папа дал мне займы синенькую бумажку, с тем чтобы я сходил в баню, побрился, постригся и вообще привел себя в христианский вид, благо Браилов хоть и румынский город, но вполне европейский.

Когда я уже откланялся, Ваш папа вернул меня и строго сказал: — Но имейте в виду, что я дал вам эту пятерку взаймы, и вы не забудьте ее вернуть. Денежки счет любят.

— Слушаюсь, ваше превосходительство,— сказал я и отправился, но, конечно, не в баню, а прямо в кондитерскую, расписанную внутри по стенам масляными красками разными пейзажами, жанрами, натюрмортами и мифологическими существами, как то русалками, наядами, нимфами и прочими полуобнаженными фигурами, некоторые даже чешуйчатые и с хвостами. Тут я так наелся пирожных и надулся шоколада, выпив его четыре чашки, что, пошатываясь, выбрался из города и перешел по плашкоутному мосту обратно в Добруджу.

Но Вы не верьте моему шутовскому тону. Мне не только что не весело, мне — ужасно! В душе у меня мрак. Пожалейте меня, если можете. Я чувствую себя убийцей, которому нет прощения. Ваш А. П.»

...По дороге в свою батарею я спал в чистенькой румынской хате, занятой под бригадную канцелярию. Я спал прямо на хорошо вымазанном глиняном полу, укрывшись шинелью и подсунув под голову рукава этой же самой шинели, спал так крепко, что не слышал, как утром пришли писаря и начали свои занятия. Меня даже не разбудил стук «ундервуда», на котором печатался приказ по бригаде о том, что телефонному младшему фейерверкеру Пчелкину и бомбардиру Кацу объявляется благодарность командования за мужество, проявленное в бою при обороне Траянова вала.

Кроме этой благодарности, отдельно, на другом «ундервуде» печаталось посылаемое в штаб корпуса представление младшего фейерверкера, вольноопределяющегося первого разряда Пчелкина Александра Сергеевича к награждению знаком военного ордена четвертой степени и бомбардира Каца Исаака Яковлевича медалью четвертой степени того же военного ордена, а это значило, что меня представляют к солдатскому Георгию четвертой степени, а Каца к Георгиевской медали.

Кто-то открыл входную дверь, и прямоугольник жгучего солнечного света южной осени упал на мое лицо, и я проснулся, еще не вполне понимая, где я нахожусь. Близко от своей головы я увидел дубовые ножки канцелярского стола, под которым, оказывается, я спал. Я увидел хорошо начищенные сапоги писаря, услышал стук «ундервудов» и только тогда сообразил, что нахожусь в бригадной полевой канцелярии.

— А вин себе спит и не чует, шо ему дают Георгиевский крест,— произнес надо мной голос одного из писарей.

Затем тот же голос стал диктовать так называемое описание подвига, входившее составной частью в форму представления к Георгиевскому кресту.

«...за то, что,— выстукивал «ундервуд»,— в течение двух суток, находясь в расположении пехотных окопов, осуществлял телефонную связь наблюдательного пункта с батареей, причем неоднократно под ураганным пулеметным, ружейным и артиллерийским огнем противника выходил из окопа на открытое место и соединял перебитый телефонный провод, чем обеспечивал бесперебойную связь с батареей, ведущей огонь по наступающим цепям противника» — и т. д.

Сначала я даже не понял, что все это имеет какое-то отношение ко мне, но вдруг сознание мое прояснилось: да, это именно я под ураганным огнем, с землей, попавшей за шиворот и набившейся в рот, соединял концы перебитого провода. Да, только благодаря мне батарея могла без перерыва вести огонь, да, это я сохранил казенное имущество, не только не думая о Георгиевском кресте и о славе, а, напротив,

всей своей измученной душой желая избавления от ужасов того, в чем я волей или неволей участвовал...

Теперь же в один миг все это было забыто и одно только волшебное чувство воинской славы владело мною.

Я поднялся с пола, вылез из-под стола, подобрал шинель и почувствовал себя совсем другим человеком — героем и молодцом, которого теперь очень скоро произведут в прапорщики, выдадут подъемные и обмундировочные деньги, рублей, пожалуй, полтораста, и я сразу стану стройным, щеголеватым артиллерийским офицером с солдатским Георгиевским крестиком на груди, причем я не буду носить защитного цвета полевую фуражку, а непременно надену артиллерийскую фуражку мирного времени с черным бархатным околышем.

Разыскивая свою батарею, я шел по исковерканным войной дорогам Южной Добруджи и мурлыкал про себя известную артиллерийскую песенку с такими куплетами:

«Артиллеристом я рожден, в семье бригадной я родился, огнем шрапнельным окрещен и черным бархатом повился»...

И еще:

«Не по-гражданскому — в карете, не по-пехотному — пешком, к венцу поеду на лафете с моей любимой вдвоем».

Чем ближе я подходил к батарее, тем явственнее слышались звуки ни на минуту не затухающего боя. Среди гула артиллерийской канонады я улавливал какие-то новые, грозные ноты.

Вероятно, как я теперь понимаю, это были звуки тех самых новейших немецких снарядов, окрещенных крякалками, о прибытии которых на фронт уже давно извещал солдатский телеграф.

Крякалки являлись тяжелыми снарядами двойного действия — как шрапнель и как граната. Сначала в воздухе разрывалась шрапнель, а потом на земле разрывалась граната, поражая осколками тех, кого не задела шрапнельные пули. Снаряды эти были начинены какой-то совершенно новой взрывчаткой страшной убойной силы.

Наша батарея вела отчаянный огонь. На нее наступала немецкая пехота, и уже ее цепи приблизились настолько, что батарея отбивалась прямой наводкой на картечь.

Я сразу попал в этот ад.

До сих пор мне еще никогда не приходилось быть на батарее, атакованной с фронта неприятельской пехотой, приблизившейся на расстояние картечного выстрела.

Положение было отчаянное.

Груды стреляных гильз валялись под ногами. Наводчики уже не пользовались оптическими приборами, а, открыв затвор, целились по неприятельским цепям прямо на глаз, заглядывая в оружейный ствол как в подзорную трубу, и стреляли по видимой цели, не снимая с головок снарядов оловянных колпачков, так как головки уже заранее были поставлены на букву «К», то есть на картечь.

Немецкие пули как бы ударами хлыстов рассекали воздух, пролетая между нашими орудиями, со звоном ударяясь в стальные щиты и отскакивая рикошетом вдоль батарейной линейки. Несколько убитых батарейцев лежали в самых немислимых позах возле лафетов и зарядных ящиков. Один повис на оружейном колесе.

Поручик Вишинский, которого я до сих пор знал как тихого, скромного, чрезвычайно вежливого офицера, славившегося на всю бригаду своим детским личиком и маленьким росточком, без фуражки, с головой, кое-как перевязанной окровавленным бинтом, размахивая обнаженной шашкой с анненским темляком клюквенного цвета, весь покрытый кровью и пылью, в разорванной шинели, как одержимый бегал вдоль орудий, крича:

— Три патрона беглых! Картечью!

Заметив, что во втором орудии ранен наводчик, я, никому не докладываясь и ни у кого не спрашивая — да и кого там было спрашивать, кому докладывать, к кому являться? — заступил за наводчика, распахнул черно-вороненый затвор с алюминиевой рукояткой на пружине, заглянул в ствол, увидел в маленьком ярком кружке часть шоссе-сейной дороги и бегущих немецких солдат с винтовками наперевес.

Вспоминая этот день, я так и не мог восстановить в памяти всю картину в целом.

...помню только, как с яростью загонял в казенную часть трехдюймовки унитарные патроны, покрытые слоем орудийного сала, клацал затвором, дергал за короткую цепочку, обшитую кожей, после чего снопы огня один за другим вылетали из дула и снаряды тут же рвались с воем, хлеща картечью по щепям немцев, полезших на нашу батарею в своих черепаховидных касках.

Но как все теперь переменялось в моей душе!

В бою за Траянов вал я искал смерти как искупления перед человечеством. Теперь же я испытывал такой жгучий страх, мною владела такая отчаянная жажда жизни, что если и не бежал сломя голову с батареи, то лишь потому, что позади было открытое пространство, где меня могла догнать любая вражеская пуля, любой осколок, прострочить меня поперек туловища любая пулеметная очередь, косившая вокруг сухой бурьян и желатиновые цветы бессмертника, а прижавшись к орудийному стальному щиту, было все-таки меньше шансов погибнуть от осколка или пули.

...помните, меня особенно ужасали разрывы крякалок: сначала в небе как бы из ничего возникало плотное облачко зловеще-черного цвета, из которого косо выкручивался как бы еще более черный и зловещий винт, раздавался крякающий разрыв шрапнели, и следом за ним из земли вырастал второй винтообразный клок мелинитового взрыва, и рваные осколки гранаты протягивались во все стороны со струнным звуком разбитой на куски арфы...

Плохо помню, чем этот кашмар кончился. Последнее, что осталось в памяти, это поручик Вишинский, стреляющий из своего офицерского нагана-самовзвода в ту сторону, откуда вдруг выползли немецкие каски и тесаки, а потом на батарею подоспели передки, подцепили орудия, и я успел вскочить на ствол увозимой пушки, чувствуя сквозь шинель и шаровары жжение раскаленного железа.

Армия отступила и заняла новые позиции. Наша батарея оказалась в резерве.

...я лежал в палатке разведчиков и не мог заснуть: мучили черные мысли. Ночь была ужасно холодная, темная, ветреная, дождливая. Полотно палатки трещало и надувалось.

Тот единственный человеческий страх, даже ужас, который я обычно испытывал в бою, тотчас же проходил, как только опасность исчезала. Оставалась лишь слабая тень страха, смутное воспоминание о прошедшем ужасе, странная уверенность, что больше ничего подобного уже никогда не повторится.

Теперь же, хотя я находился в резерве, то есть в безопасности, страх не только не проходил, но даже еще больше усилился.

Это был не столько страх физического уничтожения, страх телесной смерти, а и страх смерти души.

Я вдруг увидел себя, всю свою жизнь как бы издалека во всех подробностях и ужаснулся.

Я выбрался из палатки как был в одной короткой рубашке на голом теле, босой, весь покрытый гусиной кожей от пронзительного холода наступающего ноября.

Моя белая фигура, выбежавшая из палатки, не удивила часового: стало быть, кому-то из землячков посреди ночи захотелось до ветру.

Ступая босыми ногами по мокрой холодной земле, я пошел к воде лимана, плоско светившегося среди непроглядной тьмы.

Когда-то, в незапамятные времена, здесь был не то греческий, не то римский город Истрия, ушедший в землю, и до войны здесь производились раскопки. Кое-где белели выкопанные куски мраморных колонн. Может быть, издали меня можно было принять за движущуюся беломраморную статую.

Ветер трепал мою рубашку и резал тело, помертвевшее от холода. Озноб бил меня. Зубы стучали. Я дошел до кромки лимана и вступил в мелкую воду, доставшую мне до колен. Я остановился и повернулся грудью к северу, откуда дул ледяной ветер. Я развязал на горле тесемки бязевой рубахи, чтобы еще шире открыть шею и верхнюю часть груди, где болтался крестильный крестик. Я задрал рубаху до подмышек, желая еще надежнее оголить тело, и без того уже горевшее от ножевых ударов дождя и норд-оста.

Я стоял спиной к лиману, который, я это знал, где-то очень далеко сливался с морем, тем самым упоительным Черным морем, заливом Средиземного, как уверял энциклопедический словарь, морем моего детства, морем Люстдорфа и Ланжерона, морем любви, так глупо, если не сказать преступно, проданного мною за чечевичную похлебку воображаемой воинской славы, Георгиевского креста, черного бархата офицерской артиллерийской фуражки и Миньоны — хорошенькой девушки с несколько грубоватыми чертами отцовского лица, с которой я предполагал не по-гражданскому — в карете, не по-пехотному — пешком, к венцу поехать на лафете зеленой трехдюймовки с масляным компрессором, оптическим прицельным прибором-панорамой и щитом, избитым пулями и осколками.

Теря сознание от сжимавшего мое тело холода, испытывая удушье от северного ветра, бившего в нарочно разинутый рот и проникавшего в бронхи, еще не оправившиеся от фосгена, с упрямым злорадством неподвижно стоял я по колено в едкой рапной воде, прижимая подбородком вздернутую рубаху.

Что это было?

Покушение на самоубийство? Меньше всего я желал смерти. Наоборот. Это была отчаянная, наивно-детская попытка избежать смерти. Никогда еще жажда жизни, любви и счастья так безумно не владела моей душой. Это был род мгновенного умопомешательства и хитрости сумасшедшего, составившего невероятный план спасения: двустороннее воспаление легких, госпиталь, эвакуация в тыл, начало чехотки, освобождение от военной службы по чистой, а там — скорый и неизбежный конец войны и возвращение в тот прелестный, казалось бы, навсегда утраченный мир юности, который я так безрассудно променял на войну.

Миньона была войной. Ганзя — юностью, любовью, жизнью.

Из антихриста и убийцы я хотел опять превратиться в того гимназиста, который некогда на лестнице смотрел на тяжелые золотисто-каштановые косы, раскрутившиеся и упавшие волной из-под меховой шапочки, источающей еле слышный запах диких фиалок.

Содрогаясь всем телом, с трудом дыша, продолжал я упрямо стоять на одном месте по колено в воде и видеть во тьме ночи призрак уже оголенного дерева, согнутого в одну сторону вихрем.

В том утраченном мире, куда меня несло вместе с мотающимися ветками призрачного дерева, на обоях висели гипсовые тарелочки с лошадиными мордами и головками хороших английских изделий самой Ганзи.

Ее любили все. Она еще никого.

Призрак дерева метался на ветру. Издалека доносились раскаты артиллерийской стрельбы. За горизонтом ходили зеркальные отражения боя.

Раздирающий кашель потрясал меня. Я чувствовал, что голова моя горит.

Прилив любви принес мне как бы остатки кораблекрушения.

...Серая будничная юбка. Маленькие, но уже не детские кисти рук с заполированными ноготками. Красная шелковая рубашечка с вырезанным воротом, открывавшим шею с родинкой. Но вместо лица как бы тающее облачко, что-то общее. Без частных. Недоступное для глаза, но такое родственное моей душе. Я никогда — ни тогда, ни потом — не мог представить себе ее лицо. Оно всегда было неуловимо...

Я повернулся спиной к ветру, для того чтобы еще надежнее прохватило легкие. Почти в бессознательном состоянии я дотащился до палатки и упал на солому, втиснувшись между двумя спящими разведчиками, и положил голову на свернутые в узел гимнастерку, шаровары и сапоги. У меня едва достало сил натянуть на свое дрожащее и пылающее тело шинель и тут же заснуть мертвым сном, и я проснулся совершенно здоровым и свежим, как огурчик.

Меня тряс за плечо взводный фейерверкер:

— Господин вольноопределяющийся, подъем! Батарея уходит на позиции.

Утреннее солнце, такое красное, такое воспаленное, какое бывает только холодной поздней осенью, бодро озаряло окрестности, пережившие ужасную ночь.

На фронте, куда уходила наша батарея, зловеще гремело.

1980—1981 гг. Переделкино.

ПУБЛИЦИСТИКА

АЛЕКСАНДР ВОЛЬФ



АРАГОНИТОВЫЙ ТУМАН

Балаково — город судьбы удивительной. Удивительной даже для нас, привыкших к великим и стремительным преобразованиям в нашей стране. Двадцать лет назад это был захолустный степной городок с населением в 36 тысяч человек. У первых строителей, приехавших сюда из-под Куйбышева, где они возвели величайшую по тому времени гидроэлектростанцию, не остывших еще от яростного кипенья и грохота гигантской стройки, этот маленький городок с его тишиной, пустынными немощеными улицами, водопроводными колонками на углах, с молчаливыми деревянными домиками (у каждого уютный палисадничек и ставни, окрашенные в голубое) казался каким-то давно забытым миром.

Гидроэлектростанцию, которую начинали здесь строить, седьмую на Волге, назвали не Балаковской, а Саратовской, хотя до Саратова отсюда не рукой подать... Но Саратов знают, а кому известно Балаково?

Построили тут, у этого некогда тихого городка, уникальную ГЭС, ставшую жемчужиной Волжского каскада. Строилась она в отличие от других на поточной линии, на строительной площадке оставалось лишь смонтировать. Станция поднималась на глазах ярус за ярусом. Условия труда строителей (в цехе, где формовались блоки, цвели розы), методы, стиль управления — все здесь было новым. Сроки строительства сократились в два-три раза, а рабочих при этом потребовалось на несколько тысяч меньше. Во главе стройки стояли люди дерзкой инженерной мысли.

Новое всегда рождается в борьбе. А в Балакове эта борьба достигла такого накала и принимала столь крутой оборот, что, случалось (было такое время!), и самые горячие поборники эксперимента сомневались: хватит ли сил сломить сопротивление противников нового метода, опрокинуть устоявшееся десятилетиями? Об этой острой борьбе, о том, как осуществлялся смелый эксперимент, я рассказал в документальной повести «Высокое напряжение», когда ГЭС еще строилась.

Работая над повестью, жил на стройке месяцами. С людьми, ставшими близкими сердцу, не порывал связи и после пуска станции. А жизнь в Балакове все эти годы шла напряженная: одна всесоюзная ударная стройка за другой. Вырос крупнейший в Европе комбинат химического волокна. Построен комбинат минеральных удобрений, один из самых мощных в стране. Поднялись заводы производственного объединения Балаковорезинотехника, выпускающие детали, без которых невозможна сборка «Жигулей», «Москвичей», «КамАЗов»... И еще одна славная победа Саратовгэсстроя: в рекордно короткий срок построен Саратовский оросительный канал протяженностью 127 километров.

ГЭС дала начало и могучим заводам, и орошению засушливого Заволжья, и новому городу. Балаково теперь насчитывает 150 тысяч жителей. По-настоящему современный и красивый город, через который проходит судоходный канал. «Наша Венеция» — называют жители свой город.

Но биография нового Балакова только начинается. Развернулось строительство атомной электростанции. В отличие от гидроэлектростанции ее назвали не Саратовской, а Балаковской. Теперь Балаково знают!

Новая стройка в Балакове — новый эксперимент. XXVI съезд партии определил пуск первого энергоблока в нынешней пятилетке. А строительство атомной станции началось лишь в 1980 году. Значит, решить эту задачу предстоит менее чем за четыре года. В мире сейчас насчитывается 200 атомных станций, но ни одна из них не знала столь высоких темпов строительства. Однако балаковцы решили пойти дальше, выступили со встречной инициативой — пустить в 1984 году не один, а два энергоблока. Мощность их равна мощности двух таких гидроэлектростанций, как Саратовская ГЭС!

Взялись за решение этой гигантской задачи те же, кто строил гидроэлектростанцию и новый город, те, о ком мне уже приходилось писать.

Возникло желание вернуться в Балаково — ведь рождалась стройка качественно другая, несравнимо сложнее всего, что приходилось здесь сооружать. Другие методы, другая техника, другой уровень управления. А люди? В чем изменились, какими стали за эти годы люди, которые строили ГЭС, а теперь возводят атомную? Возводят в сроки, которых мир еще не знал...

Не скрою, больше всех интересовал меня начальник Саратовгэсстроя Александр Иванович Максаков. Я писал о нем в повести «Высокое напряжение». Когда строилась ГЭС, он был прорабом, начальником участка. Запомнилась первая встреча с ним. Произошла она на строительной площадке, в котловане, и вот при каких обстоятельствах.

Начальнику строительства Иванцову доложили, что на участке Максакова обнаружен брак, обнаружен в самом опасном месте: на стыке блоков, в глубине монолита оказались каверны. Иванцов, отличавшийся крутостью характера, жестко спросил:

— Чья работа? Бригадир кто?

— Шемелов, — доложил Максаков.

— Снять!

— Шемелов тут ни при чем, товарищ Иванцов, — спокойно ответил Максаков. — Если считаете необходимым наказать, снимайте меня, начальника участка!

Иванцов гневно вскинул голову:

— Берете ответственность на себя, Максаков? Что же, ответите, ответите!.. А теперь идите, показывайте, что у вас там на второй секции...

Начальник стройки и Максаков ушли, и только тут я увидел бригадира Шемелова. Он сидел неподалеку, держась рукой за стойку крана. В его глазах стояли слезы, подрагивали морщинистые губы...

Я знал этого уже далеко не молодого человека, возглавившего комсомольско-молодежную бригаду. Работал он с ребятами с какой-то необыкновенной, отцовской заботливостью, учил их не только мастерству, но и уму-разуму. Многим помог наладить жизнь. Своих детей у Шемелова не было...

Увидев слезы в глазах бригадира, я подошел к нему, постарался успокоить.

— Погорячился Иванцов, бывает. Ведь ничего особенного не случилось...

Шемелов долго не мог успокоиться, когда наконец совладал с собой, проговорил со вздохом:

— Ничего не случилось... Где вам понять! Если бы знали мою жизнь, мою судьбу, что для меня эта стройка... Жизнь у меня такая, дорогой товарищ, что если в книге написать — не поверят. Не может такого быть, скажут, чтобы на долю одного человека столько лиха пришлось...

В годы войны израненный, обожженный, контуженный Шемелов попал в плен, в лагерь смерти Хаммельбург. Чудом вырвался, бежал. Не по своей воле оказался после войны далеко от дома, на Севере. Оттуда и прибыл в Балаково, попал под начало Максакова.

— Счастье мое, — говорил рабочий, — что встретился с этим человеком. Понял он, что у меня на душе, как нуждаюсь в доверии, в товарищеской поддержке. Помог он мне вернуть веру в людей. Бригадиром поставил... Семьдесят человек в моей бригаде, и все молодежь. Полюбил я ребят, работу. Вторую жизнь мне эта стройка дала... Мы с Максаковым на шлюзах работали. Ребята мои двумя-тремя профессиями овладели. В газетах о нас писали, по радио... Красное знамя завоевали! Но тут Максакова в котлован перевели, начальником участка на сборный. Дела там шли тогда плохо. В скором времени приходит ко мне Максаков с таким предложением: «Мы знакомы не первый день. Знаешь, что крутить я не умею. Трудно у меня на участке. Прямо до отчаяния...

Брак, простой. А отсюда и заработки у рабочих вдвое меньше, чем на шлюзах... Понимаю, уходить со шлюзов тебе резона нет. Работа отлажена, бригада в славе. А на сборном придется новую специальность осваивать — монтажника. И все-таки пришел спросить тебя, Василий Прокопьевич: пойдешь на сборный?» Пошли мы на участок Максакова. Всей бригадой. Теперь-то самое трудное позади. Теперь уж дело пошло... А этот брак? Недогадал Максаков зря вину на себя принял. Почему так поступил? Знает, что для меня эта работа, бригада. Вся жизнь в ней... Человек он. Человек!

Вскоре Александр Иванович Максаков, тогда молодой инженер, стал начальником девятого управления Саратовгэсстроя, самого главного и ответственного — его участки монтировали двухсоттонные железобетонные блоки.

В тридцать три года Максаков — начальник Саратовгэсстроя, возглавил двадцатитысячный коллектив строителей. Путь от рядового мастера до начальника огромной стройки он прошел за девять лет.

Читая в газетах о смелых экспериментах строителей Балаковской атомной, я был уверен, что главный инициатор, душа этих экспериментов — начальник стройки. Хотелось показать руководителя нового стиля, или, как принято говорить, современной формации...

Еще по пути в Балаково услышал я о статье «Максаков против Стряпчева», напечатанной в одной из центральных ведомственных газет. В автобусе только и разговоров о ней. Сидевшие впереди меня двое (один в годах, седой, второй — молодой парень в щегольской кожаной куртке и ондатровой шапке) спорили чуть ли не до драки. Парень тряс здоровенным кулаком перед лицом пожилого:

— Навалились на Стряпчева... Я бы твоего Максакова так тряхнул! Такого мужика гробить... Кто город построил, кто?

В Балакове, с кем бы ни встретился, разговор о той же статье, хотя со времени опубликования ее прошли месяцы. Но страсти не только не утихли, а продолжали разгораться.

Что же это за статья, так взбудоражившая город?

Как пишет ее автор, журналистская судьба свела его года два назад с историей замечательного камня — арагонита, залежи которого были открыты в таком неожиданном месте, как саратовские степи под Балаковым. Открыл его начальник управления Жилстрой Саратовгэсстроя, заслуженный строитель РСФСР Н. А. Стряпчев. Камень редкой красоты успешно применили при отделке зданий. Из арагонита стали создавать и произведения искусства: вазы, сервизы, мозаичные портреты и многое другое. Начальник Жилстроя Стряпчев организовал в скромной мастерской лабораторию и школу асов-отделочников, воспитал прекрасных мастеров. О первооткрывателе уникального месторождения арагонита слава пошла по всей стране. И вот тут-то против начальника Жилстроя Стряпчева, своего подчиненного, ополчился начальник Саратовгэсстроя Максаков. В борьбе против него, как пишет автор статьи, он применил нечестные, недостойные методы: не только закрыл мастерскую, где из арагонита создавались произведения искусства, не только приказал убрать мраморный заводик, где обрабатывался арагонит (помешал, видите ли, стройке атомной станции, оказался на дороге), но и стал собирать всевозможные слухи: о жене, зяте, дочери... Даже и в том обвинял: Стряпчев получал-де в местном институте деньги за лекции, которых не читал...

В чем же причина столь нетерпимого отношения начальника Саратовгэсстроя Максакова к начальнику Жилстроя Стряпчеву? Автор статьи объясняет: «Максаков ведет столь огромное и важное для страны дело, как сооружение атомной станции. Но люди приезжают в Балаково и первым делом спрашивают об арагоните — помнят о красивом камне по газетным статьям, фильмам...». До того дошел Максаков в зависти к своему подчиненному, что подготовил приказ о его увольнении!

Выводы из фактов: «Вот перед вами два человека. Два руководителя. И две разные жизненные позиции. Стряпчев. Всей своей биографией он доказал привычную нашей жизни истину: отдай всего себя делу, трудись честно — и слава тебя найдет... И другой руководитель, Максаков. Ему сорок. Карьера его только начинается... И жаль, что немалая часть его поистине неумейной энергии уходит на раскапывание сплетен и компрометирование хорошего человека». В конце статьи вопрос: «Можно ли примирить Максакова и Стряпчева? Но, впрочем, нужно ли мирить? Похоже, что молодой руководитель нуждается в строгом и справедливом уроке на будущее».

Что же произошло с Максаковым? Не выдержал испытание властью? Недаром же говорят: хочешь узнать человека — дай ему власть... Может быть, «забронзовел», став начальником огромной стройки, оторвался от коллектива?

Но почему Максаков ополчился именно против Стряпчева, заслуженного строителя, вместе с которым работает двадцать лет? Только ли в арагоните дело? Позавидовал славе, которую принес Стряпчеву арагонит?.. Но что такое этот арагонит по сравнению с тем, что Стряпчев сделал для города! Он же возглавил Жилстрой в самом начале стройки, поднимал первые дома. Приехал сюда, как и многие, построив Куйбышевский гидроузел. Помнится, мы встречались со Стряпчевым еще там.

Статья вызвала смятение. Скажу больше — обиду. И все-таки я не мог представить себе Максакова таким, каким он показан в газетной статье.

...Собрался партком Саратовгэсстроя. Просторный кабинет секретаря кажется тесным: кроме членов парткома в полном составе партийная комиссия и комиссия, расследовавшая материалы в связи со статьей в газете, вызвавшей поток писем в редакцию, в партийные органы, вплоть до ЦК КПСС.

Комиссия готовится доложить результаты проверки материалов, выводы. Время начинать заседание, но нет Стряпчева. Секретарь парткома связывается с ним по телефону.

— У нас профсоюзная конференция, — объясняет начальник Жилстроя.

— Но вы же знаете, что сегодня партком. Вас известили своевременно. Партком ждет!

Ждут терпеливо час, полтора, два... Лица сумрачные, уставшие. Собрались после трудового дня, а на строительной площадке он легким не бывает. Да и настроение...

Партком — цвет стройки, ее ветераны. Имена многих, кто тут собрался, знает не только Саратовская область, но и вся страна.

У окна с газетой в руках Николай Петрович Деркач. Задумался, ушел в себя. С Деркачом мы знакомы не один десяток лет, встретились еще на строительстве Куйбышевской ГЭС. Удивительное дело: за эти годы (а прожита целая жизнь!) Деркач почти не изменился. Ни морщины, ни седины. Спокойное доброе лицо и в глазах все тот же тихий ясный свет. Словно и не был все эти годы в яростной работе, на самых главных, самых решающих участках стройки. О делах, поднятых его бригадой, можно судить по наградам бригадира: два ордена Ленина, орден Октябрьской революции, Герой Социалистического Труда. Деркач избирался делегатом партийного съезда.

Рядом с Деркачом другой знатный рабочий стройки, Павел Алексеевич Власов. В одно время, в 1959 году, они стали бригадирами. Крепко дружат, хотя характерами разные. Деркач молчалив, сдержан, а Власов человек веселый, с добрым озорством в глазах. И работает он весело, будто играючи. Запомнилось, как он таранил своим мощным бульдозером перемычку, когда перекрывали Волгу, затопляли котлован Саратовской ГЭС. Вода вот-вот ударит, а он машину вперед, смело разламывает преграду, сдерживающую Волгу... В управлении Саратовгэсстроя подсчитали, что только за два года строительства Саратовского оросительного канала Власов поднял, переместил 125 тысяч кубометров земли. Какие же горы он своротил за двадцать пять лет работы на бульдозере! Двумя орденами Ленина отмечен труд члена парткома стройки Павла Алексеевича Власова. В бригаде ребята зовут его тятяней. Не раз замечал: идут с работы тесной гурьбой, песню поют, впереди — довольный, улыбающийся тятяня.

А сегодня и он хмур. В глазах жесткость.

Узнаю еще двух знатных бригадиров — Бокова и Карташова. Михаил Евдокимович Карташов, бригадир Жилстроя, что-то озабоченно, взволнованно объясняет Бокову. Тот молча слушает, руки упираются в сиденье стула, весь он напряжен, сосредоточен. Сухожавое лицо Карташова обожжено солнцем, ветрами так, что стало коричневым, а Боков бледен. Я знал Николая Ивановича Бокова другим. Сказалась хирургическая операция, которую он только что перенес.

Взволнованность Карташова мне понятна. Михаил Евдокимович из Жилстроя, почти четверть века работает со Стряпчевым, под его руководством возводил город. Я не оговорился, именно возводил. Бригада каменщиков, возглавляемая Карташовым, построила в Балакове 10 школ и каждый пятый жилой дом. Теперь она стала бригадой

монтажников. Девятиэтажные здания, которые готовит домостроительный комбинат, все до одного монтирует бригада Карташова.

Интересно, что доказывает Карташов Бокову? Что он скажет на парткоме? Ведь все его успехи связаны со Стряпчевым...

Максаков сидит за столом, примыкающим к столу секретаря парткома, листает какие-то бумаги, лежащие в раскрытой папке. В глазах нервный блеск, а над переносицей глубокие складки. Наверное, встретившись где-нибудь на улице, я бы не узнал его. Запомнился он мне по-спортивному крепким, стройным, в каждом движении энергия молодости. Теперь же за столом сидел грузный седой человек с нездоровой желтизной на лице.

Перевожу взгляд на Деркача. Николаю Петровичу пятьдесят три, он старше Максакова на десять лет, а выглядит много моложе...

— И долго мы еще будем ждать товарища Стряпчева? — громко, с накалом в голосе спрашивает секретаря парткома Ярцева член партийной комиссии Литвинчев. — Профсоюзная конференция закончилась...

Ярцев смотрит на часы и, минуту подумав, снимает трубку.

— Николай Лаврентьевич? Партком вас ждет... Плохо себя чувствуете, устали?.. — Ярцев, напряженно покачивая головой, оглядывает членов парткома. — Так, ясно... Хорошо, Николай Лаврентьевич, перенесем заседание парткома на завтра.

— Это возмутительно! — вскакивает член парткома Кистенев. — Стряпчев не считается с парткомом, а мы...

— А он и с горькомом не шибко-то считается, Владимир Иванович, — со злой усмешкой бросает Власов. — Разве только с первым...

— А почему? — Кистенев резко поворачивается к Власову. — Почему происходит такое, Павел Алексеевич? Когда читаешь вот эти материалы... — Кистенев стремительно подходит к столу секретаря парткома, берет объемистую тугую папку с бумагами. — Стыдно становится за нашу позицию!

Член парткома Кистенев, начальник автоуправления, возглавил комиссию по проверке материалов, поступивших в партком в связи со статьей «Максаков против Стряпчева». Владимир Иванович вырос на стройке, пришел сюда сразу после окончания института. В самый разворот строительства в Балакове стал начальником управления механизации, потом возглавил коллектив строителей, соорудивших оросительный канал. Все это было мне известно, и все-таки подумалось: не вызван ли этот гнев, этот взрыв личной неприязни к Стряпчеву? Ведь Кистенев и Максаков — друзья. Даже и сыновья их дружат...

На следующий день начальник Жилстроя Стряпчев на заседание парткома не пришел. Выехал в Саратов а затем в Москву...

Максаков подписал приказ об увольнении Стряпчева и поставил вопрос о привлечении бывшего начальника Жилстроя к ответственности за растратывание государственных средств, злоупотребление служебным положением. Но приказ начальника Саратовгэсстроя нашли незаконным, предложили его отменить. Надо ли говорить, что страсти вокруг конфликта Максаков — Стряпчев разгорелись еще больше...

В управлении Саратовгэсстроя, в парткоме раздавались междугородные звонки: «Что там у вас происходит? Положите конец возне вокруг Стряпчева!»

В Балакове стало известно, что Николаю Лаврентьевичу подбирают новую должность, но теперь уже в другом городе...

Статья в газете оставалась без ответа. Партком так и не заслушал выводы комиссии, проверявшей многочисленные письма и жалобы.

Коммунисты, все строители ждали: чем же закончится эта история? Многие склонялись к тому, что верх возьмет Стряпчев: «Поддержка у него крепкая, потому и тянет партком...» Как бывает в таких случаях, нашлись люди, которые знали «из авторитетных кругов»: «Максакова по состоянию здоровья переводят на работу в Москву, в министерство. Вот вам и решение конфликта!..»

В парткоме, разумеется, знали об этих разговорах, о неместном мнении, которое складывалось о его позиции. Не могли не знать.

Что же думают члены парткома — ветераны стройки, что у них сейчас в душе? Решил побеседовать с ними. Так вот и возникли эти интервью-раздумья о причинах,

породивших конфликт, о нравственных проблемах, стоящих за ним и так взволновавших весь коллектив.

В. И. Кистенев:

— Когда в парткоме решили назначить меня председателем комиссии по проверке фактов, изложенных в статье «Максаков против Стряпчева», а заодно и писем в связи с этой статьей, я хотел отказаться. Почему? Люблю Максакова. Нет у меня друга ближе и дороже его. Смогу ли быть до конца объективным? Понимаете?..

Не вчера все это началось, не с этой статьи. Но поговорим об арагоните, с которого сыр-бор загорелся, если верить статье. Все так: минерал красивый, изделия из него — ахнешь! Видели по телевидению, в кинофильмах эти вазы, сервизы, шахматы? Чемпиону мира шахматы и столик из арагонита подарили... Да и интерьеры впечатляют. Действительно искусство! Но рядом с созданным — один Стряпчев. Он первооткрыватель арагонита, он создатель этого великолепия. Однако тут требуются некоторые поправки.

О том, что на нашем Березовском карьере имеется ценный, редкой красоты минерал, установил еще бывший начальник центральной лаборатории стройки Кравченко. Арагонитом он его не назвал. Камень ценный, но не уникальный... Заметил этот минерал и начальник карьера Медведев. Вот, кстати, письмо ветеранов стройки в партком. Послушайте, что пишут: «Настоящим автором, который впервые обратил внимание на возможность художественной обработки так называемого арагонита, был Медведев Н. И., который и ныне руководит Березовским карьером, где добывается этот камень. Старая история: одни открывают, другие оформляют...» Вот так! Кравченко нет в живых, а Медведев махнул рукой: пошел камень в дело, и ладно...

Ну а Стряпчев тут показал свой талант, развернулся. Книжку «Саратовский арагонит» он вам подарил? Пятитысячным тиражом издали под фирмой Жилстроа. А специальную рекламу, в Москве отпечатанную, видели? Одна бумага чего стоит... И везде на первом плане, крупным шрифтом: первооткрыватель арагонита — заслуженный строитель РСФСР Николай Лаврентьевич Стряпчев.

На кого-то действовали подарки, но без этого, но главное — талант Стряпчева использовать людей, их руками создавать себе славу. У одного слишком много доброты, другому недоставало принципиальности, воли, чтобы поставить человека на место, третий не устоял перед лестью, оказанным ему щедрым приемом. Почитайте отзывы!

Читаю. Все то же. Взахлеб о Стряпчеве: он открыл залежи, он создает уникальные вещи, декорирует здания. В книжке те же безудержные дифирамбы и только одно имя названо — Стряпчев. А издана книжка Жилстроем, на деньги Жилстроа, который возглавляет товарищ Стряпчев...

Оставим в стороне чувство скромности, — продолжает Кистенев. — Другой вопрос напрашивается: на что были направлены энергия, организаторский талант Николая Лаврентьевича?

Видел ли эту стряпчевскую саморекламу Максаков? Разумеется. Улыбался слабости начальника Жилстроа... Но скоро стало не до улыбок. Изделия арагонитовой мастерской пошли в Москву ящиками. Подарки людям, нужным Стряпчеву. Подсчитали: изготовление сувениров уже обошлось стройке в сто тысяч рублей. По самым скромным подсчетам. Никто и рубля не платил за ценные изделия... Когда доложили об этом Максакову, он приказал закрыть мастерскую, а мастеров вернуть на участки, где они числились.

Есть такая поговорка: прав тот, у кого больше прав... Устарело! У начальника Саратовгэсстроа куда больше прав, чем у его подчиненного — начальника Жилстроа. А вот получилось так, как хотел Стряпчев... Вмешалось министерство. Максакову приказали открыть мастерскую. И шли, шли сувениры в дорогах, с атласом коробках: арагонитовый туман застилал глаза... Но не всем. Как выяснилось, не было открытия, не было минерала «ценнее янтаря», не было... Впрочем, обратимся к заключению комиссии ученых-геологов. Слушайте: «Проведенными геологоразведочными работами однозначно доказано отсутствие месторождений арагонита в Саратовской области. Широко разрекламированный под названием саратовский арагонит декоративный камень является типичным кальцитом, который достаточно широко распространен в природе, в том числе вскрыт на многих действующих карьерах Поволжья... Положительные заключе-

ния и выводы отражают **высокую художественную и эстетическую** ценность изделий и интерьеров из кальцита, что следует отнести целиком и полностью к искусству мастеров камнерезного дела и в меньшей степени к свойствам сырья. Безудержная и широковещательная реклама саратовского арагонита привела к тому, что относительно истинной ценности Березовского месторождения кальцита были введены в заблуждение **самые высокие директивные органы страны...**

Вот так-то! Что же касается кальцита — это красивый минерал, его стоит использовать в строительстве, но не об этом сейчас речь. Когда предприимчивый Стряпчев пустил кальцит, именуемый им арагонитом, на отделку дач в Подмосковье, на Черном море (одна дача на Кавказе обошлась Саратовгэсстрою в десятки тысяч рублей), терпение Максакова лопнуло. Ведь материалы наши, мастера наши. И все это делалось без ведома начальника строительства!

Видели в Гагре шестнадцатизэтажный пансионат Министерства энергетики? Согласен, прекрасная работа. Дворец. Возводил его Саратовгэсстрой. А руководил работами Стряпчев. Вот данные бухгалтерии: в течение одного года Стряпчев находился в командировке в Гагре сто тридцать четыре дня, из которых восемьдесят безвыездно. В то же время в командировке в Гагре находилась его жена, мастер участка озеленения Жилстроя. По личному распоряжению Стряпчева. Вот так! В коттедже, построенном для наших специалистов, проживали не только многочисленные родственники Стряпчева, но и нужные ему люди. За счет стройки. Служебная «Волга» в распоряжении гостей... Но о таких «мелочах» потом.

В Гагру из Балакова шел материал и не только для строительства пансионата. За пятилетку убытки по Жилстрою составили более трех миллионов рублей. Вот тут-то Максаков, образно говоря, и стукнул кулаком по столу. Хватит! Но Стряпчев, уверенный в своей безнаказанности, нагнул. Работников ревизионной службы Саратовгэсстроя и близко к мраморному заводу не подпускал: «Нечего вам делать на моем заводе, не мешайте!» Столь же решительно пресекал любое вмешательство ревизоров в строительство пансионата в Гагре. А как относился к требованиям технической инспекции? За два года техническая инспекция направила Стряпчеву пятнадцать писем, в которых указывалось на низкое качество строительных и монтажных работ в Жилстрое, грубые отступления от технических норм. Стряпчев не только не принял никаких мер, но даже не соизволил ответить на письма технической инспекции.

Как оценить, к примеру, такой факт: личный приусадебный участок Стряпчева в течение десяти лет обрабатывали рабочие Жилстроя? Или ремонт квартиры дочери в Саратове шел за счет Жилстроя, с использованием дорогостоящих материалов. Или такая «мелочь»: работнику незаконно в больших размерах выписываются премии, а деньги идут Стряпчеву. Гостей принимать нужно... А памятники? Сколько их вывезли из мраморного завода без всяких документов. Куда? На Кавказ... Отделочные плиты отправлялись и в Подмосковье, тоже без документов.

Я не знаю, — продолжал Кистенев, — чем закончится вся эта история. Стряпчев уверен, что ему помогут уйти от ответственности. В противном случае вел бы себя по-другому. В первый раз не явился на партком, во второй раз заявил прямо: «Я не считаю партком компетентным рассматривать вопрос о моем поведении». Ума не приложу, что сделалось с человеком, когда завелась в нем червоточина, разъевшая все ценное в нем. Ведь было время, когда к нему относились с уважением. Энергичный руководитель, талантливый, людей умел зажать... Почему произошел этот слом, перерождение? В чем причина? Ведь не вдруг, не в один месяц и не в год стал человеком другим. Почему, почему?.. Есть тут над чем задуматься!

Вы с членом комиссии Деркачом еще не беседовали? Обязательно поговорите с ним! Он многое разглядел за конфликтом Максаков — Стряпчев. Умница! Вот о ком надо писать. Не потому только, что Николай Деркач лучший бригадир стройки, Герой Социалистического Труда... Мы с ним рядом двадцать лет. Уже больше двадцати... Неистово работает. Я не оговорился — неистово. Надо видеть этого тихого, застенчивого человека в работе!

Вы хотите писать, как я понял, об этой арагонитовой истории? А стоит ли? Рядом такие люди, такая работа... Помните «Трагедийную ночь» Безыменского? У нас было покруче... Газеты, радио, телевидение сообщали о рекорде, который установили наши строители при сооружении фундаментальной **плиты реактивного отделения** — плашки,

как мы ее окрестили. В эту плашку уложено шесть тысяч кубометров бетона. Бетонирование шло непрерывно по всему фронту. На Запорожской атомной станции плашку бетонировали частями, выполнили работу за полтора месяца. И это считалось неплохим достижением. Наши строители возвели фундаментальную плиту за сто двадцать часов. В зимнее время! Не боюсь громкого слова — это была трудовая эпопея. Особенно та последняя ночь... Сильная оттепель, с лужами — и сразу мороз. Дороги льдом схватились. Настоящий каток... Это утром. А вечером дождь... Движение в городе встало, троллейбусы, автомашины — все остановилось. Пешеходы едва пробрались... В жизни не видел такого коварного гололеда. А нам оставалось еще уложить в плашку тысячу кубометров бетона. И гнать его мы должны были безостановочно, чтобы не схватился в блоке, иначе вся работа насмарку. Как нам удалось протаскать машины с бетоном? И сейчас, как вспомню ту ночь, пот прошибает... Водители буквально протаскивали «КамаЗы» машину за машиной, а шли они непрерывной колонной. Двадцать километров по льду, покрытому водой. От бетонного завода до атомной двадцать километров. Все работало на линии, все автоуправление, включая начальника и главного инженера... Случалось, плечами держали машину, чтобы не сползла с шоссе... Кто особо отличился? Трудно кого-то выделить... Но все-таки бригадира «КамаЗов» назову — Александра Колмогорова. Я забыл сказать, что еще сильный туман стоял. Комсомолец Колмогоров первым вышел в рейс. За ним Виктор Коровников, Владимир Костин... Пошли водители и такой класс, такое мастерство показали!

Обидно, что рядом с этим трудовым подвигом рождаются и арагонитовые истории. Сколько времени пришлось заниматься ею нашей комиссии, парткому...

Н. П. Деркач:

— Когда мы Куйбышевскую ГЭС закончили, начальство, товарищи меня убеждали: закрепляйся в Жигулях. Работы тут на сто лет хватит, вон какие заводы ставить начинаем... И жена сильно уговаривала, прямо до слез. Знаете ведь, какая у нас, гидростроителей, жизни: каждый раз на голое место приходим. Все самим построить надо: и жилье, и дороги, и столовые. А пока все это построишь, нахлебаешься соленого.

Трудно мне было Жигули оставлять. Полюбились. Горы, сосновый лес — красотища. А город какой построили! Я когда жене сказал, что надо в дорогу собираться, она так и ахнула: «Да ты в своем уме? Такую квартиру бросать... Только обжились, устроились по-человечески — и сызнова на голое место! Раньше хоть одни маялись, а теперь ребятишки...»

Прибыли мы в Балаково первым десантом, на самолете, двадцать семь человек. Во главе с инженером Литвинчевым Федором Александровичем. Ему поручено было организовать промышленную базу. Стройка разворачивается, а промышленной базы нет. Железобетонные конструкции сваривали на кирпичном заводе, представляете? Вспоминаю, как начинали тут, в Балакове, большую благодарность к Литвинчеву испытывать. Учил ребят не только мастерству, но и как надо жить. Своим примером коммуниста. Стройка требовала конструкции, а мы не поспевали, захлебывались. Всех больше, понятно, Литвинчеву доставалось. А ведь он весь израненный. Понимали мы его самоотверженность. А еще больше за то ценили, что в таких вот условиях, в такой горячке, невротичке он душевность к людям не терял...

Стройка проверяет человека на прочность, каждая стройка. Это верно. Но проверяет она тебя не только трудностями. Случается обратное. Как это понимать? Бывало же с людьми такое: в бою, в огне устоял, а в обычной жизни, в благополучии потерял себя. Согласны? Взять нашу работу... Вчера, когда строили ГЭС, мы монтировали конструкции. И сегодня, на атомной, тоже монтируем конструкции. А работа совсем не та! Видели, как работают сварщики-аргонщики? Каждый шов должен быть стопроцентной надежности. Проверку рентгеном выдержать. А как же иначе? Или точность монтажа. Наша бригада монтирует блок — ячейки реактора. Чемоданами мы их называем. Вес чемоданчика — пять — семь тонн, это до заполнения бетоном... А при установке в проектное положение зазор между ними не должен превышать... одного миллиметра. Одного миллиметра! А ведь это вам не сталь, а железобетонные конструкции, многотонные... Давно ли считалось, что обеспечить такой минимальный допуск можно только при изготовлении узлов из металла, да и то на особых станках!

Вот так мы тут работаем. Сложно? А вот как члену комиссии разбираться мне пришлось в деле еще посложнее. Ведь речь идет не о споре двух руководителей. Что

спор! У нас такие сшибки случаются, что искры летят... Не мнения тут столкнулись, не характеры, а два понимания жизни. Потому и заговорил я о нашей жизни, работе. Без этого ничего не понять...

Я Стряпчева знаю, дай бог памяти, лет тридцать. Мы вместе Куйбышевскую строили. С Максаковым в Балакове встретились. Молодым инженером он к нам пришел, прямо из института. Никого не удивило, что он так быстро поднялся, стал начальником стройки. И не по той причине, что у Максакова сильный характер, организаторские способности, талант инженера. Разве тот же Стряпчев лишен таланта? Организатор — дай бог! Оба борются за успех дела. Согласны? Разве мало сделал Жилстрой под руководством Стряпчева? Город поднял, да какой город!

Но сначала о Максакове... Никогда не забуду, как он рассказывал рабочим об атомной станции, которую мы начинали строить, какой она будет, что даст стране и как будем поднимать ее... Он же сдержанный, жестковатый — знаете его характер, — а тут весь засветился. Как он сказал тогда? «Этой атомной мы с вами новый век открываем...» Понятное дело, были вопросы к Максакову: а как с безопасностью людей, как с природой? Максаков ждал эти вопросы. Тут же все расчеты нам выложил, раскрыл особенности проекта нашей станции, что обеспечивает полную безопасность.

Все делается, как было определено. Жестко! Отличное шоссе город — атомная, верно? Проектировщики определили его ширину в семь с половиной метров. Максаков заставил пересмотреть проект, построили его шириной четырнадцать метров. И правильно! Сегодня вон какой поток машин, а что завтра будет? В завтрашний день глядеть надо... И троллейбус уже пускаем! А какие бытовки на площадке! Столовая — лучшая в городе...

Сейчас, оглядываясь назад, диву даешься, как мы одолели все. То тут остановка, то там из-за отсутствия технической документации. А на самой станции, на реакторном какая картина? Только за один квартал нам недодали полторы тысячи тонн металлопроката. И полетел к чертовой матери весь график. Простой, простой... Сильный сбой из-за металла у нас получился. Что делать? Известно — навестывать надо. Но как? С этим вопросом Максаков пришел к нам, бригадирам. Всех бригадиров стройки собрал. Обрисовал обстановку и говорит: «Сегодня подписали двадцать телеграмм, сверхсрочных. Просим помощи. Но, как говорится, на бога надейся, а сам не плошай. Давайте думать, искать внутренние резервы». Разговор был основательный. Не обошлось и без спора. Дельного предложили много. Успевая записывать! Когда совещание закончилось, Максаков нас попросил: «В бригадах обязательно поговорите, товарищи, наверняка еще подскажут. Обстановку объясните». Максаков заставил нас думать. Но главное в другом — ответственность свою мы сильно почувствовали. Спрос ведь не с проектировщиков и не с тех, кто с металлом зарезал, а с нас. Нам станцию в срок сдавать, как съезд партии определил...

Рассказал я своим ребятам о разговоре с начальником строительства, какие есть соображения. Посоветовались мы, покрутили мозгами и вот к какому пришли решению: надо сделать бригаду комплексной и по-настоящему мощной, соединиться с монтажниками Павлова и Скрынника. Начальник участка усомнился: «Больше сорока человек в бригаде... Не много ли?» Давай вместе рассчитывать. Понятное дело, Павлова и Скрынника позвали. Бригадир Скрынник и Павлов согласились сразу. Престиж — дело десятое. И стала у нас одна крепкая монтажная бригада. Фронт сразу расширился: одновременно пошел монтаж блок-ячеек, плит перекрытия, армоблоков... И тут другому толчок: решили привязать к себе бригады комбината промышленных предприятий, управления автомобильного транспорта, завода. Подписали они гарантию на своевременную поставку железобетонных и металлических конструкций... Весь процесс в один узел завязали, ясно? Их работа по нашей оценивается, как мы монтируем. Лучше дело пошло! Куда как лучше... Максаков пришел к нам на реакторный, поглядел, как работаем, и лицом повеселел. Пришел хмурый, озабоченный, да и болезнь его гнетет. Беда! А тут повеселел. Радость в глазах.

Мы говорили о счастье... Интересно человек устроен. С особым удовольствием он вспоминает самое трудное, что довелось ему преодолеть. Заметили? Я по себе могу судить... Года два назад поехали мы всей семьей в Жигулевск. Старшая дочь, Надежда, там родилась. Младшая тут, в Балакове, но и ей хотелось там побывать. Рассказывал им о той стройке... Между прочим, обе мои дочери профессию строителя выбрали. Еще в дороге я сильно волновался. А как глянул на ГЭС... Ком в горле встал,

машину не могу вести. Девчонки ко мне с вопросами, а я слова сказать не могу. Гляжу на плотину, на станцию, а перед глазами другое. Другое... Вспомнилось, как Волга провала перемышку, как на моих глазах вода хлынула в котлован здания ГЭС... А в котловане люди, техника! Каких усилий стоило закрыть проран... Сутки бой шел. Другого слова тут не придумаешь — бой! А еще зима пятьдесят четвертого вспомнилась, как варили арматуру на высоте, над Волгой. Мороз стоял жуткий, до костей прожигал... Конечно же, и тот вечер вспомнился, когда первые турбины заработали, как город засверкал огнями. Столько лет прошло, четверть века, а слеза прошибла, как глянул на ГЭС... Разве передашь словами, что было в сердце в ту минуту? Нет выше счастья для человека, чем глядеть на такую вот станцию и знать, что в ней твоя работа, твои руки. Потому и Максакова хорошо понимаю. Не ради славы, почета, должности работает. Счастье в другом видит. В том-то и вопрос!

Мы Литвинчева вспоминали, какой он человек. Многим я ему обязан... Да разве только я? В Балакове Литвинчев самое трудное поднимал — промышленную базу. Бетонный завод создал, арматурный, полигон по производству сборного железобетона, и технологическая линия по изготовлению двухсоттонных блоков была на его плечах... Вынес самое трудное, наладил базу, а потом пришел к начальнику строительства Иванцову и сказал: «Николай Максимович, я почувствовал, что не в состоянии работать с прежней энергией и отдачей. А сейчас самый разворот стройки... Освободите от должности директора завода. Предлагаю назначить инженера Чалыка. Молод, но человек способный и энергичный». Иванцов его не понял: «Вам ведь до пенсии еще далеко, Федор Александрович...» «Раны, контузия дают себя знать», — ответил Литвинчев. — Не могу работать в полную силу. А переключившись на других характер не позволит». Иванцов любил и ценил Литвинчева. Предложил должность в управлении, заместителем главного инженера. Оклад солидный, а работа совсем не та, что на заводе, где две с половиной тысячи рабочих... Что еще надо? Но Литвинчев отказался. Наотрез. На заводе остался, конструктором-технологом. Чтобы помогать молодому директору. Пошел подчиненным к своему вчерашнему подчиненному. Изюм всех сил помогал Чалыку.

Почему я вернулся к Литвинчеву? Вы знаете Стряпчава не первый год, так? Вот и скажите: мог бы Николай Лаврентьевич поступить так, как Литвинчев, — добровольно отказаться от должности директора? Да ни в жизни! В том-то и вопрос... О всех этих арагонитовых делах говорить не хочу. Мне суть Стряпчава без этого ясна. Только один случай расскажу — и он весь тут как на ладони...

Строили мы насосную станцию на оросительном канале. Стряпчев отдал ее всем на диво. Такое помпезное сооружение, куда там! И приказал в оранжевый цвет покрасить, чтобы издалека в глаза кидалось. Я его спрашиваю: «К чему это «архитектура», Николай Лаврентьевич? Ведь степь кругом... Разве что сусликам любоваться? Так последние суслики от оранжевого цвета разбегутся. Глаза режет». Стряпчев вскипел. Ух! «Ничего в эстетике не понимаешь, так помалкивай! Будут меня электросварщики учить»... Закончили работу, приезжает первый секретарь обкома партии. Николай Лаврентьевич, известное дело, рядом. Плотненко... Секретарь обкома и спрашивает его: «Кто это додумался станцию в такой цвет покрасить? Дикость!» Стряпчев глазом не моргнул. Отвечает солидно: «Это грунтовка, Алексей Иванович. Разумеется, цвет станции должен гармонировать с каналом, окружающей природой. Голубой подойдет? Лучше белый? Да, да, именно так!» Рядом стояли мы, рабочие, инженеры. При нас, на наших глазах... Ведь понимал, что думали мы о нем в эту минуту, по лицам видел. Но Стряпчеву наплевать. Только бы начальству угодить.

Вот они, два человека. Одно дело делают, одним делом живут. А психология... Их пробовали мирить. Сам министр, говорят, пытался помирить. Но разве можно примирить непримиримое? Тут же дело не в личных отношениях, какой-то неприязни. Две психологии, две жизненные позиции столкнулись. Вот в чем вопрос!

М. Е. Карташов:

— Как вы знаете, я в Жилстрое работаю. Начинал каменщиком, а теперь возглавляю монтажную бригаду. Высотные дома монтируем. Домостроительный комбинат, можно сказать, на одну нашу бригаду работает. Поспеваем. Шестьдесят человек в бригаде. В работе оглянуться некогда, не замечаешь перемен. Но идешь иной раз по городу, особенно вечером, когда он в огнях, и вдруг удивисься: да неужто все это мы построили? когда успели? вроде только вчера первые дома стали... Жизнь моя тут, судьба. Никогда не уеду из Балакова!

Двадцать пять лет наш Жилстрой возглавляет Стряпчев. Наш Жилстрой всегда был в почете. Николай Лаврентьевич — член городского комитета партии, депутат, заслуженный строитель РСФСР. Всегда в президиуме... Мне лично не просто осудить Стряпчева. Честно скажу, не сразу решился... Говорят, что Николай Лаврентьевич меня в неблагодарности обвиняет. Сделал, мол, из Карташова бригадира монтажников, к ордену Трудового Красного Знамени представил, машину ему в первую очередь, квартиру в самом лучшем доме, а он вот как ко мне... Конечно, если лично о себе говорить, так обижаться на Стряпчева причины нет. Когда в парткоме поставили вопрос об ответственности Стряпчева, я говорил товарищам: надо разобраться спокойно, справедливо. Фактов против него много, но нельзя отбрасывать и то, что он сделал. Это у нас бывает: если осуждают за что-то плохое, так только одно плохое и помнят...

Есть у меня книжка о нашем Балакове. Вот она. О нашей станции тут хорошо написано. Почитаем... «При отделке ГЭС широко внедрялись новые отделочные материалы, доломит из Березовского карьера. За красоту и прочность его стали называть балаковским мрамором...» Между прочим, это заслуга Николая Лаврентьевича, он постарался. И арагонит тут хорошо использовал... Читаем дальше: «Отделочники применяли многочисленные варианты облицовки поверхностей мраморными и доломитовыми плитами. Под руководством Николая Лаврентьевича Стряпчева — мастера своего дела — отработывались новые виды штукатурки: под песчаник, под гранит». Со вкусом подбирались цвета бетона и мраморных плиток, в раствор добавлялись специальные смолы, применялись малярные составы на основе полимеров...» Опять замечу: это секреты Николая Лаврентьевича, это он нашел... Так, дальше: «Величественно, нарядно выглядит станция, в какой бы точке вы ни находились. С лучшими дворцами культуры сравнивают отделку машинного зала. Во всю длину зала — почти на километр — четкий строй колонн, облицованных мрамором. Теплый цвет этого мрамора на фоне стен, отделанных под песчаник, придает залу неповторимую красоту. Столь же мастерски вписаны в общий интерьер тщательно отшлифованные мозаичные полы, километровые витражи окон, снежно-белый потолок...» А дальше еще про зоны отдыха. Мрамором газоны обнесены, в которых самые различные растения юга. Пальмы... Прямо сказка, а? Верно, некоторые считают, что на электростанции такая роскошь ни к чему, особенно в машинном зале. Идешь по машинному залу полкилометра, а ни одного человека не встретишь. Всю станцию обслуживает смена в десять человек. Для кого же, спрашивают добрые люди, эти зоны отдыха, километровые витражи, мозаичные полы и прочее? Гостям показать? Дорогое, однако, удовольствие. Много жилых домов на те деньги, что в мрамор ушли, можно было построить... Но что отделана станция здорово — факт! Производство... А как отделаны филиал Политехнического института, дворцы культуры, магазины!

Вот я и говорю товарищам в парткоме: что перевесит, вот эта работа Стряпчева, или незаконные расходы на арагонитовые изделия, в чем его обвиняют, или та же дача в Гагре? Тут мне вопросы: «Откуда взял, что отделка станции — заслуга Стряпчева? Больше тридцати бригад на отделке работало! Если кто проявил настоящее искусство, так это инженер Павел Иванович Потапов, он руководил отделочными работами. А почему Шарова, Панова не называешь? Их бригады маляров высший класс дали...» А потом давай перечислять институты, которые работали над оформлением ГЭС, называть фамилии известных архитекторов... «Стряпчев, Стряпчев, почему кругом один Стряпчев?» Заставили меня задуматься. Привыкли ведь: Стряпчев красоту создает, Стряпчев... В газетах, по телевидению — он. Особенно когда этот арагонит зашумел... На стройке домов мы Николая Лаврентьевича и не видели.

Смотрели фильм, где изделия из арагонита показывали? А передачу по телевидению? Прямо удивлялся я этим вазам, сервизам, которые в нашей мастерской делаются из минерала, найденного рядом. Вот, думалось, каков наш начальник Жилстроя, какую красоту способен создать! Только ведь с Николаем Лаврентьевичем это связывалось. Одного его показывали. И еще дочь... Вроде это она помогла отцу открыть арагонит...

Скажите, вам такие имена известны: Баженов Павел Иванович, Сало Михаил Григорьевич? Неизвестны. И мне они не были известны, вот только с этими арагонитовыми делами обнаружались... А это они, Баженов и Сало, их руки создавали те изделия, которыми мы восторгались, которые дорогим гостям вручались, в Москву отвозились... Нигде Стряпчев не сказал об этих мастерах, воистину русских умельцах, никому о них ни слова. Да он их под замком держал. Нет, я серьезно... Никого в мастер-

скую не пускали! Еще художник там работал, талантливый парень, но я фамилию его не знаю... Оказывается, мозаичные портреты — его работа. А я-то думал, что это Николай Лаврентьевич... Об одном портрете, который в Москву отправили, он сказал: два года я над ним работал...

Была у нас мастером Валентина Григорьева. Потом ее прорабом назначили... Честная, прямая, к людям с душой. Хорошо при ней работалось, дружно. Избрали Григорьеву секретарем парткома Жилстроя. Сам Стряпчев и предложил ее кандидатуру. Думаю, он так считал: молодая, в его подчинении привыкла находиться и дальше под его команду пойдет... А получилась-то иначе. Не сразу они столкнулись, нет. Поначалу Григорьева сильно поддерживала Николай Лаврентьевича. Первая стычка у них при мне случилась. Маляры заканчивали отделку, ежели память не изменяет, магазин они отделявали, и тут сам приехал. Сразу наскоком: переделать стены, тут срубить, тут срубить, колер не тот! Бригадир с досады плюнул, девчата инструмент побросали. Григорьева говорит Стряпчеву: «Николай Лаврентьевич, бригада уже дважды переделывала стены. По вашим указаниям. Теперь в третий раз переделывать? А колер давали вы». Стряпчева прямо обожгло. Побагровел. «Пять раз заставлю переделать, если найду нужным... Не вы отвечаете, а я! Я красоту создаю!» Ей бы смолчать, все ж таки рабочие рядом, а Григорьева резанула: «Я или мы, Николай Лаврентьевич? Красоту создают они, мастера. Ваше «я» без них — ноль!» Так вот резанула: ноль... Молодость! И пошли с того раза стычки. Да все острее. Чем кончилось? Освободили Григорьеву... Тогда я считал такое решение правильным, хотя и было жалко Григорьеву. В то время, так я считаю, не было нужды снимать Стряпчева. А вот поправить его следовало. И крепко. Плохую услугу тогда ему оказали.

Что еще заставило меня задуматься? О подарках, конечно, знал, слышал. Думал, что для дела требуется. Сделаешь приятное человеку — в деле поможет. Мою позицию другое определило. Отношение Стряпчева к людям. Я говорил о мастерах, которые создавали изделия из арагонита... А как с Павлом Ивановичем Потаповым Стряпчев поступил? Потапов руководил управлением отделочных работ. Вот кто в действительности красоту создавал... Божьей милостью мастер, художник! Не один он работал, с коллективом, но душа в этой красоте его... Есть такие люди — светятся. Свет от них идет... Кто я? Каменщик, монтажник. А слушаешь, бывало, разговор Потапова с отделочниками, каким он здание видит, какую красоту они могут создать, и начинаешь отделочникам завидовать. Он всю душу в работу вкладывает, все свое искусство, а о нем — ни слова. Не ради славы, повторяю, трудился Потапов. Но ведь человек — живая душа. Разве не обидно ему? Вот и ушел Павел Иванович. Стукнуло шестьдесят — и сразу ушел. С болью, с тоскою в сердце...

Когда мне предложили подписать письмо в защиту Стряпчева, я о Потапове вспомнил. И о тех мастерах... Но остановило меня не только это. Тут одна нехорошая деталь открылась... Как только газета со статьей пришла, Стряпчев собрал начальников управлений и участков Жилстроя и дал указание организовать подписи в его поддержку. Полностью одобряем статью, возмущены поведением Максакова и так далее. Но собрал он не всех руководителей, а в ком был уверен. И строго предупредил: об этом «совещании» в парткоме не должны знать! Пришли ко мне с готовым письмом, говорят: «Ты, Михаил Евдокимович, бригадир известный, ветеран стройки, так что пиши фамилию свою крупнее». Отказался я подписать это письмо. Клевета, говорю, идет на Максакова. Когда начальство уехало, один бригадир мне и говорит: «Зря, Евдокимыч, не подмахнул. Думаешь, если Максаков начальник всей стройки, так его верх будет?» Ничего я не ответил ему. Что с таким толковать о совести...

В конце смены узнаю: Стряпчев к бригадиру Звягинцеву приезжал. Тот тоже отказался подписать письмо против Максакова, так Николай Лаврентьевич объяснения потребовал. Ну, Звягинцев не из трусливых... Да к чему тут храбрость, если ты в полном праве решать, как совесть велит. Скажете, начальник всегда найдет способ прижать... Ну, это вопрос! Если коллектив настоящий, крепкий — не позволит.

Ко мне Николай Лаврентьевич не приехал. На второй или третий день мы с ним встретились во Дворце культуры на совещании. Я с ним здороваюсь, протянул ему руку, а он свою за спину: «Не хочу с тобой разговаривать!» Такие вот они, пироги. Двадцать два года вместе работали, на всех собраниях бригаду Карташова он первой называл, а тут разом отрубил: не хочу с тобой разговаривать! Руку убрал... Можете подумать, что сейчас во мне обида на Стряпчева говорит? Да нет, какая обида... Жалко мне его. До горечи...

Но я на вопрос не ответил... Почему раньше не выступил, не возмутился? Выходит, если бы не эта статья в газете, так и теперь молчал... Статья была только толчком. Понимаете, климат теперь другой. Сегодня наши люди не примирятся с тем, с чем вчера могли примириться. Разговор идет о линии, которая сегодня нашу жизнь определяет. И завтра будет определять. Возьмите наш энергогородок, который начинаем строить. Что меня особенно радует в нем? Нет стандарта, серости. Настоящие архитектурные ансамбли. Давно когда-то выставку видел: города будущего. Какими их архитекторы в своей фантазии представляют. Так вот будто оттуда и взяли проекты! Площади, скверы будут. Зеленая зона рядом с озером, спортивные комплексы.

Начали строить атомную год назад, а сдали за это время уже сто тысяч квадратных метров жилья. Практически все строители атомной сразу обеспечиваются жильем. И с детскими садами проблемы нет. Какой профилакторий построили! Это же здорово!

Начальник строительства может быть доволен, верно? А он недоволен... Мало построить много домов, надо хорошие дома построить. Вам приходилось в новый дом въезжать? Хоть сразу ремонт начинай. Обои не по душе, линолеум — где его только нашли такого цвета, в ванной бы все переделал... Народ теперь с запросом! Вот Максаков и установил такой порядок. Заканчивается жилой дом. Мы, строители, отдаем восемь квартир. На разный манер. Выбирайте, товарищи жильцы, по своему вкусу, кому какие обои, какой линолеум, какого цвета прихожая, какую мебель на кухню... Не нравится плитка в ванной? Можно заменить, только доплатить придется.

А для молодоженов еще лучше. Молодожены будут получать квартиры меблированные, с самой современной мебелью. Мечта? Да нет. Решил Максаков этот вопрос. Недели полторы назад собрались мы на партком, а тут звонок из Москвы. Максакова вызывают. Госснаб, сообщают, удовлетворил ходатайство Саратовгэсстроя, подписал приказ о снабжении мебелью. Максаков засветился весь. «Пробили все-таки! — говорит. — Лучшую мебель обещают... В дома для молодоженов!» Вот вам и ответ, почему так защищают Максакова. Позицию жизни защищают! Негодуют люди против очковитательства, показухи, чванства, угодничества. Нельзя дальше терпеть это, нельзя! Больше беды от этого...

П. А. В л а с о в:

— Какое мое отношение к конфликту Максаков — Стряпчев? А какое оно может быть, если устал от упреков товарищей по работе. То и дело слышишь: вы, члены парткома, проявляете беззубость, принципиальности у вас нет, столько месяцев не можете обсудить поведение Стряпчева. Так говорят не только коммунисты, но и беспартийные. И хорошо, что требуют. Только вот любителей критиковать у нас хватает. Это не так, то не так! Но вы спросите этого критика: а что ты сделал, чтобы было так, вот ты лично? Он от такого вопроса глаза распахнет: а я при чем, я, что ль, должен решать? Привыкли мы к тому, чтоб за нас другие решали. Есть начальство, пускай оно и думает, отвечает. Откуда такая философия взялась? Думаю, что во многом идет она от самого начальства. Мало, что ль, таких руководителей, которые считают зорным с людьми посоветоваться, считают, что все должны решать самолично? Но это одна сторона. Вторая — спросу с людей мало. В бригаде плохо — бригадир отвечает. На участке плохо — с начальника участка весь спрос. С бригадира, с начальника участка надо спрашивать, не спорю. Ну а как товарищи рядовые труженики? Они не в ответе за дела бригады, участка? Не их головы, руки работали? Если видишь, что бригадир не туда ведет, так ты скажи, вмешайся, поправь! Или видишь, что на участке не так... Вот вам пример.

Строили мы химический комбинат. Далеко он в степь ушел. Гектаров триста пятьдесят взял. Громадина! Наша бригада должна была отрыть по границе канал, который собирает паводковые воды. Я первым повел бульдозер, как и положено бригадиру. Степь впереди — глазом не охватишь. И почти рядом — хлеба. Еще только едва поднялись, а такие ядреные, густо, сильно пошли... Сам я деревенский, в здешних местах вырос. Веду бульдозер, а сам глаз от поля оторвать не могу. Утром как раз дождик прошел, так все поле светом горело. Такой дух в степи, что за сердце берет... Двадцать пять лет на стройке, а в душе-то хлебопашец. Тянет к земле. На всю жизнь это, видеть... Ну, начал работать. Срезал пласт на своем участке — чистый золотой чернозем. Второй пласт взял, третий, на полтора метра метра врезался — чернозем. Горы земли в отвале, а чернозему конца нет... Остановил я машину. Что

же мы делаем, господи! Такую землю в отвал, такое богатство! Пошел к прорабу. Плодородную землю губим, говорю. Больше гектара... Прораб объясняет: работаем согласно проекту, если изменить схему — время потеряем, да и дорожке обойдется... Тут я ему вопрос: а как бы ты поступил, дорогой товарищ, будь эта земля твоей? Прикинь, сколько центнеров хлеба даст такой гектар...

Короче говоря, поддержали меня. Дошло! И вот какое дело мы сообща придумали. Срезаем растительный пласт и расстилаем его по полю тонким слоем, понятно. Десятки тысяч кубов чернозема так переместили. Когда по-хозяйски прикинули, то оказалось, что еще немало земли можно сберечь. Я ведь говорил, что комбинат гектаров триста пятьдесят взял... Стали вести земляные работы с таким расчетом, чтобы лишнего метра не тронуть. Растительный слой кругом срезать и вывезти. Больше миллиона кубов земли в дело пошло. Выработки, овраги засыпали, на поля под посевы переместили. Сотни, тысячи тонн хлеба эта земля даст... Вот как выходит, как оно получается, когда люди к делу с хозяйским подходом, хозяина в себе чувствуют. Ребята в бригаде шутят: наш тятяня примерный, все с примерами. Они меня тятяней зовут. Им начнешь объяснять, а они, чертяки, будто тебя не понимают: на примере, тятяня, покажи... Вот и тут я на примере.

Мы оросительный канал строили. Будто вчера это было, а уже лет восемь прошло... Ездил недавно в те места, не узнал степь. Как все с водой преобразилось! И села совсем другие. Сады фруктовые поднялись... Достался нам тот оросительный канал! Пятьдесят миллионов кубов земли перевернули. Мне особенно двадцать пятый километр запомнился. Грунтовые воды поднялись там на два метра выше дна канала, то есть той отметки, на которую мы должны были выйти. Еще два метра надо взять, а грунт — месиво. Бульдозеры тонут, буксуют, ни с места... День бьемся, второй, ну никак, хоть тресни. В одну упряжку запрягали по две, по три машины, но и такой тягой не могли взять... Приехал Максаков, поглядел на нашу работу и собрал механизаторов. «Давайте посоветуемся... Быть может, прорезать каналы-водонакопители, а собравшуюся воду откачивать?» Я усомнился, едва ли, говорю. будет толк. Но ничего другого придумать не смогли. Прорезали каналы-накопители, давай воду откачивать. Вроде бы дело пошло. Ребята повеселели. Но врезались поглубже — стоп. Тонем в жиже... Из сил выбились. И Максаков с нами. Лицо аж серое... В отчаянии говорит: «Не знаю, что тут можно придумать, не знаю!» Потом поглядел на нас и вдруг улыбнулся: «Но ведь вы все равно сделаете! Я не знаю как, а сделаете!» Прошли мы тот чертов двадцать пятый километр. Прошли! Потом и потруднее проходили... Как? Сейчас не об этом разговор. Я хочу сказать, что для рабочего умное, душевное отношение руководителя! А Максаков умеет и в душу заглянуть, и чувство хозяина вызвать в рабочем человеке.

К слову сказать, наша бригада по единому наряду с пятьдесят девятого года работает, когда еще об этом никакого разговора не было. Мы сразу, как бригаду организовали, договорились: все машинисты бульдозеров получают одинаково независимо от опыта и стажа. Заработанное делить поровну. Начальник участка мне говорит: «Ты большую ошибку допускаешь, Павел Алексеевич. Голая уравниловка у тебя получается. Ты бригадир с таким опытом, а будешь получать одинаково с парнишкой, который вчера сел на бульдозер?» Об этом и сейчас много спорят. Рассуждают так: итоги каждого — по конечному результату труда бригады, а внутри коллектива пусть оценивают и оплачивают работу каждого его товарищи, бригада. КТУ, коэффициент трудового участия... Я лично против. Решительно. Вот взять такой пример. Пришел к нам в бригаду молодой парень Станислав Фролов. С Северного флота только демобилизовался... Поставили на откос — не получается. Откос крутой, а точность планировки требуется высокая. Не получается... Ладно, даю ему работу проще — гони траншею. Пусть парень к рычагам как следует привыкнет, научится машину чувствовать. На откос опытного ставлю, к примеру Ивана Редругина. Откос за смену так вымотает — будь здоров! Тот же Ваня Редругин может сказать: почему я должен выкладываться за Фролова, когда деньги нам поровну? Но Ваня Редругин так не скажет. И никто в бригаде так не скажет. Соображение первое. Сегодня молодой вкалывает меньше меня, но я с годами дам, возраст, как ни крути, свое возьмет, а он станет работать лучше — вот мы и квиты. Соображение второе. Почувствует парень участие товарищей, получит хороший заработок с первых дней — не уйдет из бригады. За девять лет ни один человек не ушел из нашей бригады! Соображение третье. Бригада заинтересована в том, чтобы новичок быстрее машиной овладел, чтобы никто не стоял. У нас, если у кого машина

встала, помощи просить не надо. Увидит машинист, что у товарища поломка,— сразу на помощь... И еще. Пришел парень, к примеру, из армии. Надо человеку на первых порах необходимым обзавестись? Одежду справить, мебель какую... А там, смотришь, невеста нашлась, жениться надо. Разве ребята не согласятся товарищу помочь? А у другого, к примеру, детишек трое и жена заболела. Как о таком не подумать? Это же широту и доброту души рождает! Как такое не понять?

Выше всего ценю в человеке доброту, совесть, честность человека. Как лучше объяснить... К примеру, наша бригада. С душой ребята работают! Радостно глядеть, как работают. Каждый старается взять на себя трудное, поболе сделать. Совесть ему так велит, долг перед товарищами. Он добро чувствует, и в самом добро растет. Не понимаю я некоторых. Отгрохал он на своем дачном участке хоромину в три этажа и гордится. Глядите, мол, люди, как живу, завидуйте! Или квартиру хрусталем набьет, все стены в коврах. Счастливый! Как говорится, суета сует и томление духа. Мишуру за настоящее принимают!

Мещанство — штука злая. Тряпки душу тряпичной делают... Но мещанство, как я себе мыслю, это не только и не столько вещи, а когда человек жизнь вещами, машиной, дачей измеряет... Вот, к примеру, Стряпчев. За что его осуждают, почему к нему такая непримиримость? Кругом один товарищ Стряпчев, никого рядом нету, кроме Максакова, который мешает...

Я не против почета, поймите правильно, не против того, чтобы человеку почет был. Разве я, к примеру, не горжусь тем, что двумя орденами Ленина награжден? Горжусь! И тем горжусь, что коммунисты меня три раза в городской комитет партии избирали... Дорого такое доверие. Радость от почета, если он по заслугам! А вот жить славой, которую другие своим трудом, талантом... Да какую совесть для этого иметь надо! Не понимаю я Стряпчева, хоть убей. Умный вроде человек в возрасте, а только одна забота: чтобы везде о нем, да погромче. Как болезнь какая нашла. Всю энергию на то положил, чтобы с этим арагонитом прославиться. Таких знаменитых людей в Балаково привозил... Суметь надо! Чтобы на его открытие взглянули, чтобы лично подарки из арагонита вручить. И обязательно отзыв у знаменитого человека попросит. Как этот арагонит ложным оказался, так и слава Стряпчева. Одно мельтешение...

Ладно, поставим вопрос иначе. К примеру, твоя слава законная. Заслужил ты ее, гордись. Но дает она тебе право на особое положение, право себя выше других ставить? А Стряпчев решил, что теперь ему в Балакове никто не указ. Какое! С академиками, министрами ручкается, как в народе говорят... От этого и пошло: мне, Стряпчеву, все дозволено! Как теперь его судьба решится?

Но мы не закончили разговор, с которого начали, об этом конфликте. Члены парткома считают так: вопрос должен рассматривать партком. И довольно откладывать! Что мне, члену парткома, коммунистам отвечать? Да и беспартийным. Эта история всех за сердце зацепила, потому как разговор о большом идет. И хорошо, что зацепила! Раньше, может, и сказали бы: наше дело сторона, пусть начальство разбирается, его забота. Теперь не скажут!

Н. И. Б о к о в:

— На тот партком я из больницы пришел. Чувствовал себя худо, врачи лежать велели, но как не придешь, когда решается судьба человека! Стряпчев тогда на партком не пришел. Два часа его ждали, а он не пришел. Было время подумать. Да и в больнице думал я об этой истории... Верно говорят: нет худа без добра. Жизнь наша — круговерть. Работаем взахлеб, дома заботы. Оглянуться некогда, подумать о жизни, что так в ней, что не так... На больничной койке кое-что иначе видеть начинаешь. В чем настоящее...

Статью «Максаков против Стряпчева» в больнице прочитал, перед операцией. Лежал на койке, глядел в окно и думал: что людям надо, из-за чего терзаются, на что силы убивают? Разберемся трезво, что произошло. Максаков запретил Стряпчеву делать эти вазы, сервизы из арагонита. Но что такое эти вазы по сравнению с тем, что в руках Стряпчева? Он же город строит. Город! Сколько этих ваз и сервизов делали в его мастерской? Десять, двадцать в месяц, пускай тридцать... О чем речь! А шума на всю страну! Стряпчев же с этим арагонитом до министра дошел... Такое закрутилось вокруг этого арагонита, будто других дел у нас нет. Комиссию специальную создали, горком занимается, до обкома дошло. Я бы понял Стряпчева, если б Максаков оторвал

его от дела, от домов, которые он строит, мешал осуществить, довести до конца серьезную идею, цель. Здесь уж действительно надо биться... О чем речь! А статья по какому вопросу? Максаков у Стряпчева славу отнимает, славе его позавидовал! Смех один...

Я двадцать лет бригадиром бетонщиков. Каждый свое дело хвалит, но кому не известно, что такое бетон. Ничего без него не построишь. И в домах он, и в ГЭС, и в мостах...

Когда из больницы вышел, с Максаковым встретился. На партком шли... Что было в душе у Максакова — объяснять не надо. Сильно он переживает. Но все-таки спросил о здоровье. Об операции он знал, в больницу звонил, беспокоился. Все-таки двадцать лет вместе работаем... «Без дела,— сказала мне Максаков,— не останешься. Пойдешь на атомную помощником начальника участка. Трудно там сейчас, так ты с бетоном поможешь. И со своей бригадой рядом...» Потом на строительной площадке встретились. Спросил, как с путевкой в санаторий, не надо ли помочь. Не отошел Максаков от людей, как начальником стройки стал.

Так вот о станции. Мы группой ездили на Запорожскую атомную. Они много раньше нас строить начали. Что там мне особо понравилось? Город строителей Энергодар. Название какое — Энергодар... Красиво! Само собой, нас больше станция интересовала. К опыту запорожцев присмотрелись хорошо, многое взяли у них. Но кое-что и не приняли. Мы в Балакове привыкли к сборному железобетону, крупным блокам, потоку. У запорожцев как? Фундаментную плиту под реакторное отделение кусками ставят. Сколько времени, спрашиваем, у вас на плиту уйдет? «Месяца полтора». А если, говорим, бетон гнать непрерывно? В три-четыре раза армопакеты укрупнить?.. Запорожцы народ смелый, вся стройка у них, можно сказать, эксперимент, а тут усомнились: «Не выйдет, не пойдет!»

Еще когда домой, в Балаково, возвращались, так уже прикидывали, считали, как пойдет блок в шесть тысяч кубометров. В плите как раз шесть тысяч кубометров. Мы решили ее одним блоком... Думать-то мы научены. Можно работать по-разному. Сказали тебе, что сделать, отсюда и досюда,— и ты исполняешь. Прораб, начальник участка указывают, а твое дело — вкалывать. Не выношу я этого слова, ненавижу... Вкалывать! Работать человеку тогда интересно, когда он думает, что-то открывает для себя... Максаков правильно об этом сказал: у нас должна быть дружная рабочая целеустремленность! Надо, чтобы ребята с интересом работали, крепче свою причастность к стройке чувствовали, понимали: коллектив решает.

Как эта плита под реакторное отделение рождалась? Не только Максаков, главный инженер Савкин, отделы управления, а все — я это смело говорю,— все тут извилинами поработали... Каждый свою задачу знал в точности. Но еще он знал и то, как весь процесс пойдет, как звенья стыкуются. Отсюда и понимание ответственности... Вот это была работа! По такому фронту бетон пустить зимой без минуты задержки... Все по минутам выверили, весь поток: завод, транспортировка, укладка бетона, непрерывный прогрев... Жарко было, жарко, хоть и зима... Сто двадцать часов потоком бетон шел! Кончится смена, а ребята уходить не хотят. За сто двадцать часов плиту в шесть тысяч кубометров поставили. Вот был праздник!

Потому я и говорю: вся эта сваря, которую Стряпчев затеял,— одна пена. Только видимость, что ради дела против Максакова пошел. Стряпчева не первый год знаю. Считал, что он с сильным характером. Властность за характер принял. Вернее, властолюбие. А с этим арагонитом он и совсем забурел — не подступись. Нет коллектива, только он один.

Не были вы у нас, когда закладывался первый блок атомной? Такая минута была... Максаков торжественно объявляет: «Бригаде Михаила Юхнова, кавалера орденов Ленина и Трудового Красного Знамени, предоставляется право заложить первый блок в основание здания Балаковской атомной станции...» А на блоке аршинными буквами: «Я — первый в строительстве Балаковской АЭС. Как и все, я сильно волновался в ту минуту, но против воли глянул на Николая Деркача. Он рядом стоял. Почему поглядел? Я был уверен, что право ставить блок предоставят ему. Герой Социалистического Труда, три ордена самых высоких. Да и постарше он Юхнова. Первый блок в основание Саратовской ГЭС ставил! Даже в сердце у меня кольнуло: обидели Николая Деркача... А Деркач вцепился глазами в блок — в эту минуту кран уже блок опускал — и сияет весь радостью... Чистой, ясной души человек. Да и что им, Деркачу и Юхнову, славу делить? О чем речь! Одна слава у них — стройка. Конечно, каждая бригада старается

быть первой. А бригады Юхнова и Деркача соревнуются. У них сейчас на первом реакторном сложно Металлопрокат вовремя не поставили, по этой причине сильно за-сбоило. Наверстать трудно, подошли к порогу реактора, а здесь бетонные и монтажные работы вдвое сложнее. На выверку, рихтовку блок-ячеек много времени уходит. Точность такую требуют, будто это не стройплощадка, а лаборатория... Давай ломать голову: что сделать, чтобы ускорить монтаж, за счет чего? Бригада Деркача предлагает: сначала установить блок-ячейку, а потом подгонять на проектную точность. А бригада Юхнова за другое решение выступила: сразу направлять блок-ячейку в яблочко. Установи и быстро прихватывай... Разные пути но прицел один: ускорить монтаж, войти в график. Начальство прикинуло варианты и решило так: пусть каждая бригада работает своим методом. Мудро решило! Представляете, с каким зарядом бригады трудятся? Они же договорились так: тот способ пойдет, который окажется продуктивнее. Деркач мне говорит: «Повезло на соседа. Силен Юхнов! Наверное, его метод возьмем...»

Ф. А. Литвинчев:

— В том, что возникают в коллективе конфликты, я беды не вижу. Весь вопрос в том, что в основе конфликта. Столкновение мнений, особенно когда создается новое, не только неизбежно но — я в этом глубоко убежден — и полезно. Конфликт, который случился теперь, другой категории. Это не борьба двух направлений технической политики, а двух психологий, двух философий жизни, диаметрально противоположных. Не из самолюбия Максакова так резко, непримиримо выступил против Стряпчева. Не самолюбие заставило ветеранов стройки обращаться в партийные органы. Говорю это к тому, что некоторые видят в случившемся конфликте многоборье самолюбий и должностей. Дело ведь не в том, что кто-то покровительствовал Стряпчеву. Наша терпимость! Мы сами позволили ему зайти так далеко в своих поступках, уверовать во вседозволенность, поставить себя над коллективом, партийной организацией. Не было бы этого, прояви мы настоящую принципиальность... Не вчера и не вдруг возник этот конфликт. Вот письмо в партийную комиссию от бывшего секретаря парткома Жилстроя Григорьевой:

«В 1956 году молодым специалистом, после окончания техникума, приехала на строительство Саратовской ГЭС. Шло время, росли объекты Саратовгэсстроя. Вспоминаются первые колышки строительства комбината «Химволокно», где работала под руководством прораба Саши Максакова. Уже в то время мы, мастера, видели, что из Максакова выйдет настоящий руководитель; он отличался трудолюбием, настойчивостью, требовательностью к себе и подчиненным. Могу твердо сказать, что воспитанием трудолюбия, любви к своей профессии строителя и ответственности за доверенное я во многом обязана прорабу Александру Максакову.

В 1960 году я вступила в партию. В 1963 году закончила вечернее отделение Политехнического института и перешла в Жилстрой к Стряпчеву, в отделочное управление. Работала мастером, прорабом, начальником участка.

В 1970 году коммунисты Жилстроя оказали мне доверие, избрав секретарем парткома. Первый год шла вслепую за Стряпчевым, была им заворожена, принимала за чистую монету все, что он говорил и делал.

Но вот был такой случай. Позвонил мне секретарь городского комитета партии и попросил срочно найти Стряпчева. После долгих поисков по телефону нахожу его дома «Ты меня не нашла, я ничего не знаю, у меня нет времени ходить по горкомам». Такое поведение его меня сильно насторожило.

Поступили жалобы, заявления в партком: жена Стряпчева не выходит на работу, а зарплату получает полностью; дочь Галина в должности мастера на работу не выходит, живет в Москве, в отдельном номере гостиницы, а зарплата ей идет полностью, да еще командировочные; дома в саду Стряпчева работают женщины из оранжереи... Когда я поставила перед Стряпчевым эти вопросы, он ответил: клевета, ложь, не настраивайте себя разбором этих мелочей, у нас есть более важные дела.

Но когда поступило заявление от работников мраморного завода на начальника завода Твердохлебова, который потворствовал прогульщикам, о пьянке на заводе, незаконном изготовлении памятников, сувениров, об отправке их без документов за пределы Балакова, партком решил создать комиссию по проверке заявлений рабочих.

Факты подтвердились, и вопрос был вынесен на партком без согласования со Стряпчевым. И вот тут я увидела его истинное лицо. Он запретил мне ставить вопрос на парткоме, запретил бывать на мраморном заводе, разговаривать с рабочими завода.

Но партком все же состоялся. После этого сразу почувствовала перемену во всем. Приближенные Стряпчева стали обходить секретаря парткома. Сам Стряпчев перестал посещать партком, собрания, ссылаясь на занятость. Неоднократно обращалась в партком стройки, в горком — никакого решения».

В письме Григорьевой правда. При проверке комиссия подтвердила все изложенные факты. К сожалению, с запозданием. А вот заявление председателя объединенного стройкома профсоюза Саратовгэстроя Копенкина. Он много лет был секретарем парткома стройки, к нему и обращалась Григорьева... «Как бывшему секретарю парткома мне приходилось заниматься вопросами о неправильных действиях Стряпчева в семьдесят втором — семьдесят шестом годах. Я лично неоднократно выезжал в обком, высказывал мнение парткома стройки». Но меры не принимались.

И Стряпчева заносило все дальше. В прошлом году из четырнадцати заседаний парткома Жилстроя он соизволил посетить только четыре. Настолько уверовал в свою власть, что и ревизоров не стал подпускать к Жилстрою. Нашел нужным отделать кому-то дачу на Кавказе или в Подмосковье — выполняйте! Только одни подарки из арагонита обошлись государству в сто тысяч рублей. Это только то, что установлено...

Но дело в конечном счете не только в деньгах. Какой суммой измерить нравственный урон? Ведь люди же видели все, видели, как шли налево и направо изделия из арагонита, как отправлялись машины с плитами из арагонита в Москву, на Кавказ. Мы по привычке называем этот минерал арагонитом. Теперь разобрались: обычный кальцит. Но сколько же времени потребовалось, чтобы разобраться... Как и с самим Стряпчевым! У людей складывалось мнение о безнаказанности зла. Вот что опасно.

Один из коммунистов комбината промышленных предприятий справедливо поставил перед парткомом вопрос: «Мы исключили из рядов партии коммуниста, который украл у товарища восемьдесят шесть рублей. А Стряпчев в течение стольких лет разбазаривает государственные средства, принес стройке миллионные убытки и не несет партийной ответственности. Разве устав партии не для всех обязателен?»

Письмо Григорьевой объясняет далеко не все. Дело не в том, что ее не поддержали в верхах. А партийная организация Жилстроя? Почему коммунисты Жилстроя позволили расправиться с секретарем парткома, честным, принципиальным, непримиримым к нарушениям норм партийной жизни? Пользуясь безнаказанностью, Стряпчев распускался все больше и больше. Ведь до чего дошел! главному диспетчеру Жилстроя, прибывшему в аэропорт встретить Стряпчева с опозданием на пятнадцать минут, плюнул в лицо. Ветерану войны, ветерану стройки... Человека увезли в больницу, insult. Узнали мы об этом с большим запозданием: человек не стал жаловаться, не захотел, чтобы в городе знали, как был унижен, оскорблен... Но ведь, оказывается, были свидетели, были люди, которые знали, что произошло на аэродроме. Промолчали.

Комиссия, которая проверяла материалы на Стряпчева, занималась главным образом расследованием должностных злоупотреблений, устанавливала материальный ущерб, нанесенный государству. Мы стали слишком снисходительными к тем, кто транжирит, выбрасывает на ветер государственные средства. Это весьма опасно! Но еще опаснее другое: принципы руководства Стряпчева, его отношение к людям, к коллективу.

После опубликования статьи «Максаков против Стряпчева» я поехал в Москву, обратился в Центральный Комитет партии. Мне уже семьдесят пять. Вся моя сознательная жизнь — стройки, если не считать войну. Ушел на фронт добровольцем. Но разве наши стройки не были тем же фронтом? Каждая стройка требовала предельного напряжения духовных и физических сил. Все тут познано — и радость до слез и горечь до слез... Но всегда было одно — большая победа коллектива. И чувство, что это победа и твоя, потому что жил одним дыханием с товарищами, в нерасторжимом товариществе. Как это в песне? Братья по судьбе, по огню, по горячим делам... Вот уже десять лет на пенсии, а делами стройки живу. Не оторвешься, если в ней вся жизнь...

Наверное, нет ничего важнее, чем сохранить в наших людях это чувство впаивности в коллектив, ответственность за общее дело, способность отдать всего себя общему делу, не щадить себя для него... Вижу в этом тот стержень, который связывает прошлое и будущее. Нравственность, идеалы людей — понятия конкретные.

Чем мне дорог Максаков? Самоотдача, властное веление совести! Жесткая принципиальность сочетается в нем с добрым и внимательным отношением к людям. Помню, принимали мы в партию одного рабочего парня. Как член парткомиссии, спрашиваю его: «Ты решил стать коммунистом, а каким ты его видишь? Какими качествами должен отличаться коммунист?» Парень подумал и отвечает: «Для меня пример Максаков. Вот такой честности, справедливости должен быть коммунист, таким человеком...»

В то время Максаков был главным инженером одного из управлений Саратовгэстроя, где работал этот парень. Поинтересовался, почему он назвал именно Максакова. У парня, как он рассказал, не ладилась работа. До этого был каменщиком или плотником, точно не помню, а тут перевели в бригаду монтажников. Или он сам туда попросился. Да, именно так... Работа не ладилась, а в семье еще хуже. Вдобавок здоровье... Знаете, как в жизни бывает: уж если навалится, так навалится! Увидел его Максаков в коридоре конторы с листком в руках. По лицу догадался, в чем дело. «А ну зайди ко мне». Поговорили по душам. Оказывается, бригадир обидел парня, вместо того чтобы помочь, научить — оскорбления, насмешки. Максаков вернул парня в бригаду, а бригадира снял: «Мало дело знать, надо научиться людей уважать!» Подсказал опытным монтажникам, чтобы помогли парню. И не забыл его... Заметил, что парень грамотный, способный, посоветовал поступить в институт на вечернее. Сейчас этот парень уже мастер на атомной...

Меня никто не обвинит в каком-то пристрастном отношении. Максаков мне не начальник и не друг. О том, что я ездил в Москву в ЦК, чтобы защищать его, он и не знает... Я высказал в своем письме в ЦК партии то, что сказали в своих письмах, заявлениях строители. Кое-кого этот поток писем смутил. А я ему радуюсь. Читаю письма, поступающие в парткомиссию, и вижу: добрые нравственные перемены у нас происходят. Свежий ветер!

Вы знакомы с Петром Егоровичем Куцаевым? Мы с ним еще до Балакова вместе работали, шесть лет на Куйбышевской... Он уже там стал знатным электросварщиком, бригадиром. И здесь вот уже четверть века. Герой Социалистического Труда, член горкома партии, депутат городского Совета... Встретимся — есть что вспомнить, чем поделиться. Как-то я спросил его: «Не переживаешь, что Леонид Беспаль, твой ученик, тебя обходит? Откроешь газету: Беспаль, Беспаль... Гремит его бригада!» Петр Егорович усмехнулся. Понял, что завожу его. Но шутки не принял. «В книжке о нашей стройке написано, что Куцаев за свою жизнь наплавил сто пятьдесят километров шва. Читал? Кто подсчитал — не знаю. Я не считал. Может, и больше... А вот сколько мастеров воспитала, выучила наша бригада, это я знаю в точности. Сто мастеров! Это куда как перетянет километров шва, которые я наплавил. Мои годы, как говорят, не на ярмарку, а с ярмарки... Тяжело думать об этом — придет последний твой шов... А ребята, которых делу выучил, будут работать, строить». Ответил вот так, а потом признался: «Леонид Беспаль — моя гордость. Как сыном родным горжусь... Рад тому, что мастерству его научил, хватку свою ему передал. А еще больше тому радуюсь, что Леонид учит своих ребят, как его учили, душу свою в них вкладывает. И он сто мастеров воспитает, настоящий рабочий класс...» Вдумайтесь в то, что сказал Куцаев. Он выразил нравственную сущность строителей, их духовные устремления.

Недавно на партийном собрании один старый коммунист, инженер поставил вопрос: «Мы называем нашу атомную станцию стройкой нового века, предисловием к третьему тысячелетию. Великие дела свершаются. Но надо смотреть, чтобы люди не были мельче своих дел». Слова его заставили задуматься. Вся эта арагонитовая история, как лакмусовая бумага, проявила истинное, показала, из каких людей состоит коллектив Кто оказался на стороне Стряпчева? Те, кто прилачился к нему, кому он покровительствовал за угодничество. Но это же одиночки. Коллектив отверг, отторгнул Стряпчева, как инородное тело. Он не мог быть не отторгнут, так как его нравственные принципы, психология несовместимы с сущностью нашей жизни.

Петр Куцаев сказал верно: в наших учениках — продолжение нас. Остаются наши ученики, а еще наши поступки. Поступки!.. Как теперь будет оценивать свои поступки Николай Лаврентьевич Стряпчев? Оценить свои поступки значит оценить свою жизнь, увидеть, понять, ради чего жил...

В. К. Ярцев:

— На нашу стройку я пришел двадцать лет назад, здесь началась моя трудовая биография. Работал слесарем, а после окончания института прорабом, заместителем

начальника управления Промстрой, который сооружает атомную. Полтора года назад избрали секретарем парткома Саратовгэсстроя. До этого на партийной работе не был — и сразу вот секретарь такого парткома. Пожалуй, и опытному партийному работнику не просто было разобраться в арагонитовой истории, как у нас называют конфликт, возникший между начальником строительства Максаковым и начальником Жилстроя Стряпчевым... Вокруг этого конфликта разгорелись сильные страсти. Пришлось вмешаться вышестоящим партийным органам, министерству. Мнения и оценки не совпали...

В чем я колебался, в чем были сомнения? На пользу ли делу, стройке этот конфликт... Один старший товарищ, опытный партийный работник, мне сказал: «Неужели не видите, что подрывается сплоченность коллектива, моральный климат? Напишите официальный ответ в редакцию — и точка. Стряпчева оставьте в покое. Не этими конфликтами, а делом, стройкой надо заниматься!» Было о чем подумать. Действительно все больше людей втягивались в эту историю, занимались проверкой десятков писем, строчили справки. Любая нервозность делу помеха. Возникла и другая мысль: вся эта история не украшает коллектив ордена Ленина Саратовгэсстроя... Думали мы в парткоме и об этом. Думали! Честь коллектива... Но ведь ради чести коллектива и требовали люди принципиального, объективного разбора. Дело не в том, что Максаков — начальник стройки... Вот письма. Пишут ветераны стройки, рабочие, инженеры, даже те, кто давно на пенсии... Говорят они об одном: потворствуя Стряпчеву и его приближенным, потворствуя беззаконию, мы утрачиваем честь коллектива; не дать бой Стряпчеву, не выступить в защиту Максакова значит отступить от наших нравственных принципов, оправдать негодные методы руководства, насаждавшиеся Стряпчевым... Не столько материалы комиссии, ее выводы, сколько вот эти письма заставили меня твердо понять: заглушить возникший конфликт, спустить на тормозах невозможно, недопустимо. Благодарен членам парткома, что они помогли мне, молодому партийному работнику, не поддаваться нажиму опекунов разложившегося коммуниста.

Этот конфликт для меня хорошая школа и урок. Не только в том смысле, что я на деле узнал, что такое быть принципиальным, проявить принципиальность, как это не просто. Моральный климат... Вот что по-настоящему мне открылось! Усложнились не только стройка, технические проблемы. Усложнились моральные, нравственные проблемы. В людях обострилось восприятие происходящего, обострилось чувство нетерпимости к тому, что мы называем негативными явлениями. Я бы определил это так: возросла душевная зрелость людей.

Кое-кто был недоволен бурной реакцией коллектива. А я теперь вижу: было бы плохо, если бы наши строители равнодушно отнеслись к статье «Максаков против Стряпчева». Верно говорят, что равнодушие хуже ненависти... Строители не могли равнодушно наблюдать за конфликтом, потому что считают себя ответственными за дела стройки.

Я снова об упреке, который был сделан в адрес парткома: занимайтесь стройкой, а не Стряпчевым... Но ведь дело не в Стряпчеве, а в том, что стоит за ним. Тут есть о чем подумать. «Занимайтесь делом, стройкой...» Как это понимать? Произошел сбой в работе — партком обязан вскрыть причины, определить меры, которые помогут решить возникшие проблемы. Если говорить откровенно, тут случается порой и подмена руководителей стройки, тех, кто непосредственно отвечает за те или иные участки. Задачу парткома я вижу не в том, чтобы указывать, как организовать производственный процесс. Для того существует управление — многочисленные отделы и службы. Главная наша забота — создавать и укреплять моральный, нравственный климат, где рождается нетерпимость к небрежному отношению к делу, расточительству, бюрократизму, чванству, где утверждается подлинно творческое отношение к своей работе, чувство острой ответственности за успех общего дела. Без создания такой атмосферы в коллективе разговор о социалистическом соревновании — только разговор. Никакие самые яркие лозунги и плакаты не помогут...

В практику прочно входят совместные обязательства-гарантии. Подчеркиваю — гарантии... Гарантии всех звеньев производственного процесса обеспечить конечный результат — монтаж реакторного отделения. Вот на это, на воспитание ответственности, дисциплины, и направляет партийная организация главные усилия. Без строгой дисциплины и самодисциплины организация производственного процесса, как того требует время, немыслима, невозможна. И — особо подчеркиваю — чувство хозяина...

Недавно областная газета покритиковала нас за отставание инженерной службы, технологии управления. Критика справедливая. Обязанность инженерной службы — предвидеть сложности, которые возникнут впереди, решать проблемы раньше, чем с ними столкнутся монтажники. А у нас инженерной службе приходится догонять монтажников. Повторяю — это плохо. Управление, партком работают над тем, чтобы инженерная подготовка улучшилась. Но тут хочется сказать вот о чем. Бригады сами, когда инженерная служба не поспевает, находят решение. И столько идей подбрасывают инженерам... Вы беседовали с Николаем Деркачом. Он рассказал, как его бригада почти вдвое ускорила возведение второго яруса? Не рассказывал? А о предложении изменить технологический процесс, форсировать монтаж центральной части реакторного отделения? Не рассказывал... Ну, это в характере Деркача, суть его души...

Газеты много писали об экспериментах, осуществленных на Балаковской атомной. Например, армо- и металлоконструкции у нас укрупняются перед монтажом до максимальных размеров. Армирование фундаментной плиты реакторного отделения производится армопакетами длиной тридцать четыре метра. Одна транспортировка таких пакетов явилась большой проблемой. Выигрыш от укрупнения конструкций огромный. Количество сварных соединений уменьшилось в шесть раз, сроки монтажных работ сократились в полтора раза. Но были названы в сообщениях об эксперименте имена его авторов? Максаков, главный инженер Савкин в беседах с корреспондентами, в отчетах не называли своих имен. Сделано, решено коллективом! Да так ведь оно и есть. Вот это и есть самое главное, что отличает строительство атомной, — творчество коллектива. Как же нам надо беречь этот дух свободного творчества, инициативы, беречь тот нравственный климат в котором каждый строитель, инженер и рабочий обретает чувство хозяина! Когда думаешь об этом, становится понятной непримиримость Максакова к Стряпчеву. Он не был бы Максаковым, если б пошел в этом споре на компромисс, как от него добивались... Скажу больше: если бы он так поступил, то многое бы утратил в глазах коллектива, очень многое! Партком считает позицию начальника строительства правильной. И будет добиваться привлечения начальника Жилстроа Стряпчева к партийной ответственности. Отступления от занятой позиции не будет!

Заседание парткома состоялось

Можно было бы привести еще два интервью — с Максаковым и Стряпчевым. Но интервью с Максаковым мало что прибавит к тому, что сказали о его позиции, взглядах члены парткома. Беседуя с начальником ордена Ленина Саратовгэсстроя, видел перед собою того же Александра Ивановича Максакова, которого знал двенадцать — пятнадцать лет назад. Одно изменилось в нем. Стал мудрее, опытнее, строже. И, кажется, душевнее...

И интервью с начальником Жилстроа Стряпчевым тоже лишь подтвердило то, что сказали члены парткома и партийной комиссии. Но я встретил теперь другого Стряпчева. Он свик. Почувствовал отношение коллектива, непримиримость парткома? Нет, смутило, заставило дрогнуть душой другое. Его отказался принять первый секретарь обкома партии. В Москве оказались закрытыми двери кабинетов, куда недавно он входил свободно. И уже не занимают прежние должности те, кто особенно ему покровительствовал.

Он метался по кабинету, изливал обиду на Максакова, на партком, на тех, кто теперь отвернулся от него, а я смотрел на Стряпчева и вспоминал прежнего начальника Жилстроа, каким видел его много лет назад. Когда же он переменялся? Одни говорят, что и раньше была лишь видимость преданности делу, видимость горения. Другие считают, что переменялся Стряпчев с тех пор, как пришла к нему слава, которой, как сказано в газете, позавидовал Максаков... Из бесед с коммунистами, из материалов комиссии парткома, из писем строителей ясно одно: Стряпчев жил славой, она стала целью, смыслом жизни. Уверовав в свою власть, он уверовал в собственную непогрешимость, вседозволенность. Должно быть, и не заметил, как отгородился от людей, как возникло пренебрежение к подчиненным, к коллективу, как дошел до злоупотребления властью. Почему такое могло случиться с руководителем, коммунистом? Члены парткома ответили на этот вопрос: обстановка нетребовательности, терпимости к злу... Бедой, крахом обернулось для Стряпчева покровительство тех, кто помог ему уверо-

вать во вседозволенность и безнаказанность, кто мешал парткому пресечь его недостойные поступки. Надо ли говорить, что все это никак не способствовало улучшению в коллективе нравственного климата, государственной дисциплины, созданию обстановки высокой требовательности. Принципиальная позиция парткома одержала верх. Не могла не одержать.

Сразу же после возвращения из Москвы члена парткомиссии Ф. А. Литвинчева, обращавшегося в ЦК КПСС, в Балаково приехал ответственный работник Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. Требование коммунистов рассмотреть вопрос о неправильном поведении Н. А. Стряпчева на парткоме стройки было поддержано.

На этот раз заседание парткома, которое откладывалось многие месяцы, состоялось. Комиссия доложила результаты проверки материалов, поступивших в партийные органы в связи со статьей «Максаков против Стряпчева».

Партийный комитет постановил исключить бывшего начальника Жилстроя Стряпчева из рядов КПСС. Постановил единогласно.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

М. СИНЕЛЬНИКОВ



РОМАН И ПОЛИТИКА

Над страницами «Победы» Александра Чаковского

Все чаще и на писательских обсуждениях и в литературно-критических публикациях заходит речь о политической теме в искусстве. О том, что необходимо всемерно расширять, активизировать на этом направлении художественные поиски, и о том, что надо внимательно разбираться в уже сделанном, достигнутом.

Интерес к политике — корневое свойство советской многонациональной литературы, без него не мог бы столь полно выразиться ее социальный пафос. В наши дни такой интерес еще больше обостряется. Характер современности и характер современника служат тому вескими побудительными причинами.

В самом деле, бытие советского человека насыщено токами высокого социального напряжения, его сознание формируется под влиянием масштабных понятий. За нами сегодняшними — опыт нескольких революционных, социалистических поколений, героический путь страны, открывшей новую эру всемирной истории. И хотя ощущение это, конечно же, не слишком часто формулируется в обыденной человеческой жизни, оно разлито в самом воздухе ее и непрерывно получает все новые импульсы: средства коммуникации, информации делают нас свидетелями многообразных событий, утверждающих основным своим смыслом правоту марксистско-ленинских идей. В сущности, совершается процесс политизации жизни, и начала такого процесса лежат в той перестройке всех общественных отношений на внутренне присутствующих социализму коллективистских началах, которая, как отметил XXVI съезд КПСС, характерна для периода развитого социализма.

Политизация жизни подразумевает повышение уровня гражданской мобилизованности. Все более направленными, концентрированными становятся усилия обще-

ства по решению крупных проблем социально-хозяйственного развития, преодолению трудностей и недостатков. Отчетливо видны каждому и задачи международной политики, благородная деятельность нашей партии и государства в деле укрепления мира, борьбы против военной опасности. Уплотнились связи, зависимости между явлениями глобального порядка и повседневной человеческой деятельностью. Еще рельефнее обозначились линии исторического противостояния двух социально-политических систем.

Все это не может не волновать литературу, искусство, не может не занимать умы художников, чутких к социальной жизни. Политика входит в книгу, повинувшись зову времени, зову правды.

Политические реалии, естественно, воплощаются очень по-разному, в зависимости от материала, содержательной задачи, авторской индивидуальности. Они могут отлагаться в изобразительной ткани в сложных опосредованных связях — да так оно чаще всего и происходит, так и претворяется обычно тот принципиальный интерес советской литературы к политике, о котором мы упоминали. А наряду с этим всегда существовали и существуют произведения, отмеченные особой идеологической насыщенностью, ставящие политические идеи и свершения в центр художественного исследования.

Если задуматься о родословной, попытаться представить некую линию, цепочку книг, в той или иной мере имевших подобную задачу, то среди них окажутся и крупнейшие явления искусства, подлинные шедевры. Прежде всего, конечно, на память приходит «Жизнь Клима Самгина», могучая горьковская эпопея, запечатлевшая целую полосу общественной, идеологической жизни России. Думаешь и о той удивительной прозорливости, внутренней обо-

снованности, с какой вскрыты политические пружины событий в шолоховских «Тихом Доне» и «Поднятой целине». А эпическая революционная поэзия Маяковского? Известный отзыв А. В. Луначарского о «Хорошо!» («...Октябрьская революция, отлитая в бронзу») — это ведь и есть признание высочайших качеств поэмы как политического произведения. А рядом с ней — «Владимир Ильич Ленин»...

Ленинская тема в советской литературе — здесь и Погодин и Шагинян — вообще представляет собой неотъемлемую часть той линии, о которой идет речь. Так же как и книги, где многомерно, целеустремленно запечатлен образ коммуниста, «человека партии»: назову такие писательские имена, как Фурманов и Николай Островский, Фадеев и Федин, или имена Тихонова, Корнейчука, Вс. Вишневского. Вспоминаются и произведения, затрагивающие зарубежный материал: яркий памфлет Л. Леонова «Бегство мистера Мак-Кинли», его же повесть «Евгения Ивановна» или, скажем, заметно прозвучавшая в свое время драма К. Симонова «Русский вопрос».

Наш экскурс в область традиции краток. Между тем тут мог бы произойти и весьма обстоятельный разговор. Политическая тема как таковая обычно не выделяется в обзорах, статьях, пожалуй, как раз в силу ее «всеобщности», самоочевидности. А было бы наверняка интересно и полезно взглянуть на известные произведения с этой точки зрения, выявить новые особенности, закономерности. Ведь и простые упоминания — разве не свидетельствуют они о творческой силе традиции и о том, что она, традиция, ко многому обязывает сегодняшнюю литературу.

Значение политической темы со всей определенностью подчеркнуто в постановлении ЦК КПСС «О творческих связях литературно-художественных журналов с практикой коммунистического строительства». «Художественное слово, — говорится в постановлении, — всегда было острейшим оружием в борьбе за торжество марксизма-ленинизма, в идеологическом противоборстве двух мировых систем. Партия высоко ценит международную деятельность писателей, их умение вести наступательную полемику с идейным противником, активную роль в борьбе с антикоммунизмом. Большой успех политического романа, публицистического фильма, драмы и поэзии показывает, что это направление в художественном творчестве отвечает духу времени».

Особо отметим это высокое признание **современности политической темы.**

Искусство, которое можно назвать политическим, характеризуется прежде всего своей идейной, идеологической определенностью, точной направленностью социальной мысли. Это тенденциозное искусство, хотя, разумеется, тенденция проявляется по-разному (и открыто, и в объективной логике повествования), искусство, ощущающее свою органическую причастность к судьбам народа, страны, к деятельности Коммунистической партии.

«Я воспитан в традиции политического искусства, непосредственно работающего на пропаганду идей нашей партии», — заявил недавно один из видных мастеров советской культуры, Сергей Юткевич. Думается, в этих словах определена самая суть явления. Обращаясь к политике, художник, писатель служит делу пропаганды коммунистических идей, утверждает советское историческое первородство, благородный гуманистический характер нашего общественного строя. Он служит задачам низвержения монбланов фальсификаций, лжи, клеветы, сооружаемых врагами социализма.

Да, функции политического искусства весьма необходимы, актуальны сегодня. Понятен интерес к произведениям такого рода со стороны самых широких читательских, зрительских кругов.

Среди популярных книг последнего времени — «Победа» Александра Чаковского, произведение, в жанровом обозначении которого сказано: политический роман. «Победа» печаталась на страницах «Знамени» (первая книга в 1978 году, вторая — в 1980, третья — в 1981), выходила отдельными изданиями. О романе немало писалось и по мере публикации, и по ее завершении, критика отмечала своевременность, значительность писательской работы, убедительность художественного претворения сложного документального материала.

В чем особенности романа А. Чаковского — его содержания, его поэтики? Какими путями идет на этот раз писатель, реализуя присущий ему интерес к исторической, политической проблематике, как стремится ответить запросам времени, читательским запросам? Попытаемся поразмышлять обо всем этом.

В «Победе», на тех ее страницах, что относятся к нашему времени, к дням работы совещания по европейской безопасности и сотрудничеству в Хельсинки, есть такой эпизод. Американский корреспондент Брайт делает снимок, на котором запечатлены трое его иностранных коллег — из Советского Союза, Польши и ГДР. «Удач-

ный снимок...— восклицает он.— Русский, поляк и немец сидят рядом, почти в обнимку! Такое фото скажет о многом». И добавляет, обращаясь к одному из троих, Михаилу Воронову: «В Потсдаме подобную фотографию сделать было бы трудно, как думаешь, Майкл-бэби?..»

Воронову и Брайту довелось быть в журналистском корпусе на Потсдамской конференции. Там они и познакомились. И теперь, спустя тридцать лет, встретились в Хельсинки.

Да, должно было пройти время, совершиться немало значительных событий, чтобы такое вот фото воспринималось как символ.

Надо сказать, русский, поляк и немец не позировали перед объективом. Они просто были у телевизора в гостиничном холле: шла передача о прибытии в Хельсинки советской делегации. Расположились так, что рассказывает Воронов, — «действительно справа и слева от меня сидели Вацлав Збарацкий и Вернер Клаус, положив руки на мои плечи,— так им было удобнее сидеть на подлокотниках моего кресла». В первые мгновения американец вызвал раздражение: все внимание троих журналистов отдано телеэкрану, а тут вдруг прямо в глаза бьет ослепительный свет фотовспышки. «Мы не собирались позировать,— сухо сказал Клаус по-английски,— но если такое толкование... что ж, тем лучше». Да, Чарли Брайт хоть и бесцеремонен, но добродушен, доброжелателен, а главное, и впрямь справедлив в своем толковании, в определении того существенного, что отличает европейскую действительность 1975 года от условий года сорок пятого. Недаром «вполне серьезно» отзывается на полусушительную реплику американца Збарацкий: «Тем и дорого Хельсинкское совещание...» И уточняет: «В том числе и этим...»

Историческое значение общеевропейского совещания сегодня очевидно всем, кому дорого дело мира и разрядки. В Хельсинки были определены пути сотрудничества между странами континента, меры доверия в межгосударственных отношениях. А кроме того, в Хельсинки впервые на многосторонней договорной основе признаны политические реальности, возникшие в Европе после второй мировой войны. Впрочем, почему кроме того? Признание этих реальностей, признание исторических прав стран социалистического содружества, их законных государственных интересов и законных государственных границ неотделимо от самого существа совещания, оно явилось главной предпосылкой его успеха.

Сценка в гостиничном холле, безусловно, воплощает в себе эту мысль. Она написана непринужденно — непринужденны позы людей, их разговор. Но нельзя не видеть здесь и намеренной, открытой тенденции. Символическая фотография возникает случайно, однако не случаен, закономерен сам символ.

Собственно, и весь роман «Победа», произведение, в котором политика служит непосредственным полем художественного исследования, задуман писателем как многозначный публицистический символ. Все компоненты книги, начиная с ее названия, активно служат утверждению ответственных историко-политических идей.

Событийный центр романа — Потсдамская конференция, шестнадцать дней переговоров руководителей трех союзных держав антигитлеровской коалиции, сложные перипетии дипломатической борьбы. Со скрупулезной внимательностью, опираясь на многочисленные документальные, мемуарные материалы, воспроизводит писатель реальность, интерес к которой велик и у тех, кто был современником военных и послевоенных событий, и у тех, для кого эти события только история. Победа—слово это, гордое это понятие, конечно, прежде всего отражает атмосферу сорок пятого года: конференция в Потсдаме началась всего лишь через два месяца после окончания войны. Оно также итожит саму конференцию, на которой Запад вынужден был смирить свои империалистические амбиции, подтвердить перед лицом всего мира беспримерное величие тех усилий и тех жертв, что принесены на алтарь общего дела сокрушения фашизма советским народом. И еще один смысл есть в названии произведения. Победа — это то, что пришло к нам, ко всем европейским народам, к человечеству в целом в результате Хельсинкского совещания, созванного благодаря настойчивым, терпеливым усилиям Советского Союза, других стран социалистического содружества. Сближая в действии романа Потсдам и Хельсинки, проводя между ними содержательные и событийные нити, писатель в глубоком соответствии с исторической правдой говорит о последовательности ленинской внешней политики, о том, что она органически воплощает в себе коренные принципы советского общественного строя. Победоносность идей социализма, сил мира, гуманизма, прогресса—вот пафос романа «Победа».

Все эти смысловые грани названия, данного роману,— а одновременно и грани самого содержания — отнюдь не закрыты для читателя, напротив, поданы автором доста-

точно обнажено. Они возникают в разговорах персонажей, в мыслях Воронова, в его журналистских намерениях. Воронов аккредитован на совещании в Хельсинки как спецкорреспондент издания, освещающего вопросы внешней политики, и свою будущую статью он собирается назвать именно так — «Победа». Эта статья «не может, не должна быть повторением пройденного. Редакция ждет от своего обозревателя совсем другого: глубокого осмысления того поистине уникального события, которому... предстоит начаться здесь, в Хельсинки, его места в истории послевоенных международных отношений». Как видим, задачи вороновской статьи сформулированы так, что невольно наводят на мысль и о задачах другой «Победы» — романа, о том осмыслении, выявлении сути и связи вещей, которое предстоит осуществить во всеоружии средств и возможностей романного жанра. Находясь в Хельсинки, вспоминая о Потсдаме, Воронов думает о путях истории, об утверждающемся курсе на мирное сосуществование и разрядку. Так возникает двуединство повествования — Потсдам и Хельсинки, двуединство, оправданное не просто объективно-историческим смыслом, но личной судьбой героя, для которого оба события явились вехами журналистской, а точнее, гражданской судьбы.

Да, очевидна публицистичность подобно-го замысла. Понятно, что публицистические средства используются не только в освещении хода Потсдамской конференции, встреч и переговоров «большой тройки», но и в остальных событиях, а они все даются через Воронова, в его прямом рассказе или его глазами.

Бывает, говоря о публицистике в том или ином романе, повести, критика как-то снижает голос. Подчас возникают даже нотки неловкости, извинительности: дескать, хоть перед нами и публицистические приемы письма, но они не в ущерб художественности. А почему, собственно, публицистика должна быть в ущерб? Разумеется, плохо, если она существует в книге за счет психологического анализа, пластической выразительности, если, наконец, она просто плоха, лишена яркости. Но в принципе-то публицистические краски, средства имеют в художественном произведении все права гражданства наравне с любыми другими красками и средствами. Решает уровень самой публицистики, решает чувство «соразмерности и образности», задача, которую поставил перед собой автор.

Известный, широко признанный роман А. Чаковского «Блокада» интересен поми-

мо всего прочего еще и тем, как претворены в нем художественные возможности публицистики. Обильность документального материала, необходимость его точного исторического истолкования, политическая значимость самой темы — все это продиктовало писателю такую форму сочетания, соединения вымышленного лично-событийного материала с материалом подлинным, в которой незаменимо важна роль прямых авторских высказываний и оценок. Собственно говоря, «Блокада» концентрированно воплотила общую тенденцию прозы о Великой Отечественной войне: многие произведения, тяготеющие к панорамности, эпической широте, в той или иной мере публицистичны, причем публицистика чаще всего входит в них вместе с документом, с опорой на реальное событие.

Степень публицистической насыщенности диктуется особенностями содержания, и в этом смысле новый роман А. Чаковского, конечно же, специфичен, что подчеркнуто уже самим обозначением жанра. «Победа» существенно отличается от «Блокады» — диапазоном действия, принципами художественной организации. Однако в освоении документального материала, в осуществлении своего документального замысла «Победа», конечно, идет от «Блокады», вбирает в себя опыт осуществленного в этом романе анализа множества историко-политических, дипломатических свершений.

Оба произведения Александра Чаковского взошли на одной почве, во многом едина у них и корневая система. Роман о победном лете сорок пятого года, о торжестве разрядки в середине 70-х годов воспринимается как логическое продолжение повествования о беззаветном мужестве советских людей, разгромивших фашизм, отстаивавших свободу и независимость социалистической родины.

«Блокада» — это «попытка художественного осмысления истории», так определял суть романа сам писатель. Справедливо сказать то же и о «Победе», причем история здесь берется и самая что ни на есть новейшая.

Полноправным свидетелем Истории является в романе Михаил Воронов. Он присутствует в зале заседаний Хельсинкского совещания. Потсдамскую конференцию, где переговоры шли в обстановке строгой секретности, Воронову, естественно, не пришлось наблюдать непосредственно. Но один из признаков достоверности этого столь важного в романной структуре персонажа состоит как раз в том, что постоянно ощущаешь его глубокую внутреннюю причаст-

ность к утверждению и защите высоких интересов родины. Дело не в конкретной информированности, она может придти потом, — дело в позиции, вырастающей из собственной гражданской биографии.

Переговоры в Потсдамском дворце Цецилиенхоф для Воронова неотделимы от долгих четырех лет войны. Он сам шел по фронтовым дорогам, видел безмерность человеческих страданий, кровь, пепелища, терял боевых товарищей. Воронов-фронтвик определяет строй мыслей, чувств, надежд Воронова — корреспондента Совинформбюро.

Тридцатилетие спустя, обращаясь в памяти к Потсдаму, думая о своекорыстных позициях западных держав, Воронов с высоты последующего опыта обнаженно формулирует суть вещей: «Чего они хотели от нас тогда? Чтобы мы похоронили своих мертвых, преподнесли союзникам на блюде Берлин и Восточную Европу, а сами ушли? Предав тех, которые никогда не встанут? Забыв, во имя чего погибли... миллионы советских людей, прошитых автоматными и пулеметными очередями, сгоревших в танках, разорванных на куски снарядами и бомбами, уничтоженных в печах Освенцима и Майданека. Уйти, забыв не только о них, но и о поляках, болгарах, чехах, словаках, венграх, югославах, обо всех тех, которые дрались бок о бок с нами в стане Сопrotивления, вместе сражались и вместе погибли»... И не раз еще, находясь в Хельсинки, вспоминает Воронов о судорожных усилиях империалистических политиков «не допустить социализм в Восточную Европу», вспоминает, видя, как авторитетно, веско звучат ныне на европейском совещании голоса социалистических стран.

Воронов был оптимистом во все дни Потсдама, хотя видел, как в западной пропаганде уже давали себя знать признаки того, что позже нарекут «холодной войной». На чем основывался его оптимизм? «Я верил в успех. И, может быть, главным, еще до конца не осознанным основанием для этой веры служила моя глубокая убежденность, что мы не хотим ничего, кроме мира и торжества справедливости».

Счастлив удел Воронова, крепка почва у него под ногами, потому что его личная точка зрения, личные убеждения совпадают с принципиальной линией партии, к которой он принадлежит, государства, гражданином которого он является.

Утверждение такой слитности общего и частного, истории и конкретной человеческой судьбы имеет в политическом романе А. Чаковского особый смысл, не только

содержательный, но и сюжетобразующий. Естественно воспринимаешь возникающую по ходу действия сцену, где романист сводит Воронова со Сталиным, пожелавшим лично выяснить, что это за конфликт разразился в пресс-клубе, где советский журналист смело, но и весьма рискованно выступил против двурушничества английских властей (сохранявших в своей зоне оккупации немецкие воинские формирования). Вся сцена в резиденции Сталина написана убедительно, в точном психологическом ключе. Но, конечно, дело не только в ней. Между главами, рисующими конференцию, и главами, где действует Воронов, существует множество связей, параллелей. Когда Воронов по-своему, в меру своих сил борется за торжество справедливости, за сохранение дружбы и сотрудничества между странами—союзниками в войне, невольно думаешь и о борьбе, что идет за круглым столом конференции. О том же думаешь, видя, как прочно живут в сердцах простых американцев и англичан симпатии к советским людям, читая об антифашистах Германии, о начатой ими трудной работе по возрождению нации... Сама логика художественных связей и сопоставлений подкачивает читателю мысль: отставив на Потсдамской конференции свою политическую линию, Советский Союз отвечал глубочайшим чаяниям людей, познавших, подобно Воронову, цену вражеского нашествия и цену победы, отвечал чаяниям всех людей доброй воли на земле. Эмоциональное воздействие этой мысли точно прочувствовано и передано одним из первых рецензентов «Победы», Евг. Долматовским, писавшим в «Правде»: «Сегодня место читателя — за спинками кресел советской делегации. Строжайше секретные переговоры происходят в нашем присутствии, при нас, вместе с нами, а может быть, — что еще важнее — от нашего имени»... От нашего имени — вот в чем суть.

Несомненно, воссоздание хода Потсдамской конференции представляло для автора романа нелегкую задачу. С одной стороны, необходимо было держаться жестких фактографических рамок, определяемых известными, изданными в наши дни протоколами заседаний, с другой — не впадать в хроникальность, максимально выделить все то, что имеет решающее историческое значение и одновременно служит делу художественной характеристики. А. Чаковский много добился здесь. Но прежде следует сказать об успехе романиста в воссоздании психологической основы потсдамских глав, портретов трех руководителей союз-

ных держав—Сталина, Черчилля, Трумэна.

В первой книге романа есть страницы, рассказывающие о том, как по маршруту Москва—Берлин идет специальный поезд, везущий на конференцию советскую делегацию во главе с И. В. Сталиным. «Далекий от чувствительности, презиравший сентиментальность», стоит Сталин возле широкого зеркального стекла, «с мрачной сосредоточенностью» глядит на мелькающие перед ним картины страшных разрушений, на «изможденных, с темными от недоедания и бессонницы лицами мужчин и женщин в солдатских гимнастерках, в ватниках, не смотря на июльскую жару, в довоенных обносках», на исхудавших, голодных ребятишек, бегущих к поездам, просящих хлеба. «...война как бы сопровождала... неотступно» этот поезд, и раздумья Сталина тяжелы: они о том, как тяжело досталась победа. Лишь когда мимо пронеслись встречные составы, «Сталина охватывало счастливое сознание несмотря ни на что выполненного долга». В этих поездах, шедших с запада на восток, возвращались с войны солдаты. «Стук колес сливался с песнями и звуками гармоник, доносившимися из открытых дверей и окон. Во главе длинных составов шли паровозы с обвитыми зеленью портретами его, Сталина...»

Сталин думает: если бы люди знали, кто едет в этом непохожем на обычные поезде? «О чем спросили бы они его? Как будем жить дальше? Будет ли хлеб? Будут ли дома? Когда?! Ведь он, Сталин, все должен знать, ведь ему все известно наперед, ведь он может ответить на все вопросы...»

На страницах этих многое стянуто в тугой узел. Тут и отзвук серьезной вины, которая лежит на Сталине за просчеты в оценке предвоенной ситуации. Тут и роль Сталина, возглавившего беспрецедентную всенародную борьбу против захватчиков. Тут и ответственность руководителя державы-победительницы за скорейшее восстановление разрушенного и за обеспечение в будущем надежного, прочного мира. И еще, разумеется, хорошо чувствуешь в этих сценах тот ореол исключительности, каким отмечены были тогдашние представления о Сталине.

Читатели «Блокады» помнят, как аналитично, исторически конкретно был там показан Сталин. Обнажая резкие противоречия в характере этого человека, говоря о негативных последствиях культа личности для жизни страны, автор «Блокады» в то же время подчеркивал, художественно обосновывал тот известный факт, что в военные годы положительные качества Сталина

брали верх, проявлялись с необходимой последовательностью.

Эта строгая, четкая аналитическая линия продолжается и в «Победе». Правда, подчас можно заметить и некоторые сбои, относящиеся скорее к тону повествования, не к сути. На тех самых отлично выполненных страницах поездки в Берлин есть эпизод, где Сталин вспоминает о Ревазе Баканидзе, друге юности, от которого в октябре сорок первого года он услышал бесстрашно прямой, горький вопрос: как могло случиться, что немцы оказались под Москвой и Ленинградом? О Баканидзе, о встрече Сталина с ним рассказано было в «Блокаде». Геройски защищая Москву, комиссар Баканидзе погиб... Спору нет, Баканидзе, тот самый разговор с ним, естественно, могут возникать сейчас в памяти Сталина. Но выражено это явно неудачно. «Если бы Баканидзе остался жив! Он взял бы его с собой в этот поезд. Сейчас они стояли бы вместе у окна и глядели бы на встречные поезда, переполненные веселыми, счастливыми людьми. Вместе они постояли бы потом и у рейхстага, глядя на красное полотнище, развевающееся над его куполом...» Трудно поверить в психологическую правду этой «утепляющей» персонаж мысленной тирады. «Далекий от чувствительности, презиравший сентиментальность» — так ведь было сказано двумя страницами ранее. Сказано справедливо, и тому есть немало подтверждений в художественной ткани, художественной логике романа.

Деятельность Сталина на конференции была продолжением его ответственной деятельности военной поры. Многие моменты повествования свидетельствуют, как в обсуждении сложнейших вопросов, в дискуссиях с Трумэном, Черчиллем, Эттли давали себя знать крепость характера советского руководителя, его проницательность, гибкость мышления. Мы видим, как возглавляемая Сталиным делегация, стремясь к достижению договоренности, не чураясь компромиссов, умело и твердо отстаивала принципиальные позиции нашей страны.

Да, за проявлениями характера Сталина (и Черчилля и Трумэна) интересно следить, интересно познать психологическую подоплеку действий исторических лиц, отмечать все, с чем связано воссоздание самой атмосферы заседаний. Вместе с тем чрезвычайно важно, что конференция отнюдь не предстает перед читателем ристалищем, на котором состязаются лидеры. Нигде не забываешь главного: советская делегация, с одной стороны, и делегации западных держав — с другой представляют два мира, две

разные социальные системы, два в корне различных понимания того, в каком направлении движется история.

Когда на полигоне в Аламогордо, штат Нью-Мексико, была впервые испытана американская атомная бомба, Трумэн считал: это событие означает конец России как великой державы, все, что составляло ее престиж «уже отошло в область истории». Таким же, только более претенциозно оформленным, было мнение Черчилля: он «предвидел... реставрацию цивилизации на одной шестой части земного шара». Не раз встречаешь в романе подобные высказывания, основанные на документальных источниках, отвечающие всей логике поведения правящих кругов западных стран в годы, когда США обладали атомной монополией и проводили по отношению к СССР политику атомного шантажа. Показывая, как политическая позиция выражается в личном поведении облеченных властью людей, в особенностях их душевного склада; А. Чаковский остро и саркастично изображает состояние эйфории, в каком находились после Аламогордо Трумэн и Черчилль, жаждавшие уже здесь, на конференции, получить солидные атомные дивиденды. Историю, однако, невозможно повернуть вспять. Американская бомба со всей ее неслыханной разрушительной мощью не могла разрушить воли народов к миру, к послевоенному возрождению. История шла по своим законам, и это ее выражали, с ней находились в ладу те самые русские, советские солдаты, что возвращались сейчас домой, возвращались строить, трудом своим утверждать правоту жизни, идеи, ради которых героически сражались на войне.

Бесплодность противостояния движению истории веско раскрывается на страницах, где речь идет о Черчилле. Он, отмечает романист, «во многом... преуспел, из многих схваток с врагами вышел победителем. Но с самым заклятым и неумолимым своим врагом ему так и не удалось справиться. Этим врагом была История». Аристократ, презиравший народные массы, Черчилль не смог по достоинству воспринять тот факт, что мир меняется, что британское имперское могущество безвозвратно уходит в прошлое. А яркие личные качества, разносторонняя одаренность лидера консерваторов лишь усиливали, драматизировали разрыв между его концепциями и движением жизни «Только один раз... случилось, казалось бы, невероятное»: история вознесла Черчилля «на один из самых высоких своих гребней». Приняв вызов гитлеровской Германии, проявив решительность и муже-

ство, он впервые «начал сражение за правое дело... оказался на пороге подлинного величия». Однако и в этот звездный час политической карьеры продолжались игры Черчилля с Историей: крайний антисоветизм, никогда его не оставлявший, не раз диктовал решения, противоречившие союзническим обязательствам, заведомо идущие в ущерб Советской стране. Об этом, кстати сказать, мы читали еще в «Блокаде». Теперь, на конференции союзных держав, Черчилль озабочен тем, чтобы попытаться «отнять у России плоды ее победы»... «Подобно рыбе, которая, повинувшись зову природы, плывет на нерест против течения, обдирая себе бока, преодолевая острые пороги, глубины и мелководья, Черчилль с отчаянным упорством плыл против хода Истории и вопреки ее законам».

Любопытный эпизод, относящийся к более позднему времени, приводится в книге В. Г. Трухановского «Уинстон Черчилль. Политическая биография» («Мысль», 1977). В конце 1954 года Черчилль поразил англичан, поведав им, что накануне капитуляции Германии приказал фельдмаршалу Монтгомери собирать немецкое оружие — на случай совместного с немцами выступления против СССР. Откровение это было с возмущением встречено английской общественностью. Сам Черчилль в итоге был смущен и доверительно признавался, что совершил «глупую ошибку» — разумеется, не тогда, отдавая свой приказ, а теперь, проявив излишнюю болтливость... Как бы то ни было, двурушничество политики британского премьера оказалось в поле всеобщего обозрения, было засвидетельствовано им самим, и все это лишний раз подтверждало, сколь невысока цена заверений Черчилля о стремлении к конструктивным отношениям с Советским Союзом.

Об этом эпизоде думаешь, читая в романе А. Чаковского о поведении Черчилля в Потсдаме: писатель убедительно показывает его амбициозность, упрямое нежелание сдаться с настроениями в мире, с новыми политическими реальностями.

Желание сверять характеры исторических лиц, созданные в книге, с собственным твоим читательским знанием и есть, вероятно, один из признаков писательской удачи. Психологическая деталь, публицистическая метафора, художественный вымысел, выходящий в единстве с историческим фактом, — всеми этими средствами создается эффект живой достоверности.

Справедливости ради, впрочем, стоит заметить, что в иных внутренних монологах и того же Черчилля и Трумэна (в целом

также обрисованного бесспорно интересно) можно встретить места необязательные, лишь варьирующие упомянутое ранее. В документальных главах вообще бывает немало повторов. Есть и следы торопливости, стилистическая небрежность (особенно в биографических характеристиках Эттли и Бевина).

Между тем материал потсдамских глав требует постоянной, неослабевающей точной художественной организации. Задумаемся: как возникает ощущение драматизма, сопровождающее наше знакомство со сценами заседаний «большой тройки»? Основу, конечно, дает факт, документ, и все же от повествователя, от него одного зависит, чтобы в полной мере чувствовались кульминационные моменты событий. Гибко komponуя, стыкуя эпизоды, автор создает ряд драматических узлов, которые и держат прежде всего внимание читающего.

Один из последовательно прослеженных драматических узлов — польский вопрос. Конечно, интересно читать и о дискуссиях по комплексу проблем, связанных с Германией, с искоренением нацизма, переустройством жизни на демократических началах. Интересно вникать в обсуждение статуса стран — бывших союзников Германии: советская делегация боролась здесь против несправедливого, двойного подхода западных делегаций, признающих лишь угодные им режимы и подвергающих обструкции правительства тех государств, где возобладали народно-демократические силы. Но Польша, без сомнения, была ключевой темой споров, борьба вокруг признания новых польских границ создавала на конференции острейшие ситуации. Уделяя этому особое внимание, автор романа рисует немало напряженных, исполненных динамики картин. Мы ощущаем озабоченность советских представителей; видим членов польской делегации, приглашенных в Потсдам и стоящих перед необходимостью решительного выбора; следим за метаниями Черчилля: почва уходит из-под его ног, рушится замысел вновь создать вокруг СССР «санитарный кордон», цепь недружественных государств.

А рядом иное, но также привлекающее наше внимание. Скажем, последовательно выявляемая тайная неприязнь Трумэна к Черчиллю — неприязнь плебей, не блещущего талантами, к аристократическому бабюню судьбы... Или, скажем, английские выборы, сенсационное поражение консерваторов, уход Черчилля с поста премьер-министра (и с Потсдамской конференции) — сюжетный поворот столь неожиданный,

что и впрямь одна только жизнь могла его придумать. Романист многосторонне обыгрывает эти события, подводит к ним читателя, дает почувствовать и чисто человеческую сторону дела, горькую ошеломленность Черчилля, который, одяко, и на этот раз ничего не понял и ничему не научился...

Продумана во всех деталях, четко выстроена линия, повествующая об истории с атомными испытаниями. Лихорадочное ожидание Трумэном окончательных результатов, нетерпеливое желание поскорее преподнести грозную новость Сталину; восторги Черчилля, активно участвующего в планировании этой акции психологического давления; и сама акция: все, кажется, сретигировано, но ожидаемого эффекта не получилось, актеры ошеломлены формально-вежливым, предельно спокойным поведением Сталина. А затем мы читаем о звонке Сталина Курчатову: «Необходимо всемерно ускорить ход наших работ. Так требуют обстоятельства»...

Эпизод этот известен, в частности, по книге Г. К. Жукова «Воспоминания и размышления». Но знаменательно, как воображение писателя, идя от факта, основываясь на нем, создает психологически объемную картину, сильную своей динамикой, острым ощущением характеров, сквозь которые, снова подчеркну это, просвечивают Время, История.

Отвечая на вопрос о жанрово-изобразительной природе своего произведения, Александр Чаковский заметил в одном интервью: для политического романа, как и всегда в художественной литературе, обязательно образное мышление, именно тут происходит водораздел между романом и, допустим, историческим исследованием, трактующим ту же проблематику. К сказанному можно было бы добавить, что образное мышление в данном случае, данном жанре имеет свои особые формы проявления, определяемые открыто тенденциозным характером повествования, обнажением социально-исторической, классовой сути явлений.

Документальные главы, линии «Победы» при всей значимости в них воображения, домысла следуют в своем движении строгой логике подлинных событий. Что же касается линий не документальных, то хотя они строятся по художественным законам, принятым для любого произведения романного жанра, явственна их подчиненность общему, зиждущемуся на документальности замыслу, их, если угодно, служебность.

Употребляя этот последний термин, отнюдь не придаю ему негативного оттенка.

Правда, в романе есть фигуры и впрямь чисто служебные (например, генерал Карпов или журналист Подольцев). Однако в принципе вымышленные герои «Победы», как бы очевидна ни была предназначенная им функция,— живые люди, которых видишь, в которых веришь.

Взять биографию Воронова: в ней есть все, благодаря чему стягиваются, сопрягаются разные пласты повествования, и нет ничего такого, что являло бы собой некую особую мету. Тем не менее характеризующие Воронова эпизоды, написанные, как правило, точно по слову, по интонации, доносят до нас, читателей, его обаяние, горячую искренность натуры. И в Потсдаме и в Хельсинки Воронов — вовсе не готовый рупор идей, но человек, своим умом, своим опытом добирающийся до сути многих явлений. Вспомним, как безоглядно сражается он с профессиональным провокатором-антисоветчиком Стюартом, как постепенно приходит к нему, двадцатисемилетнему журналисту, понимание сложности, пестроты идеологической жизни послевоенного Запада. А сосредоточенность раздумий Воронова — умудренного международного, настойчивое желание познать причинные связи, исторический смысл событий? Во всем этом есть диалектика мысли, отражающая диалектику характера.

Очень важно для общего звучания романа, что с образом Воронова в него входит, живет в нем лирическая нота. В политическом романе трудно представить себе разработку коллизий сугубо личного, интимного характера (сам А. Чаковский вполне определенно — отрицательно — высказывался на сей счет, и, думается, справедливо), но лирика в широком смысле этого понятия лишь обогащает произведение, его изобразительную палитру. И в главах от первого лица, и вообще в вороновском пласте повествования много правдивых подробностей, деталей, передающих мир чувств героя, впечатления, воспоминания, затронувшие его сердце. Вот война, постепенно, но прочно становившаяся для ополченца, а затем для работника дивизионки Воронова «его новым бытом»: огонь сражений, «ледяные ночи на снегу, райское тепло землянок... «голосования» на раскисших от весенней или осенней грязи фронтовых дорогах, шелест типографской машины... законные фронтовые сто граммов — символ отдыха и возможности хотя бы несколько минут бездумно побыть рядом с товарищами...». Вот Берлин лета сорок пятого, «седые, покрытые щебеночной пылью развалины, руины, по которым, точно зеленые ручейки, ползли змейки цлю-

ща», — все это возникает в памяти Воронова, когда он вновь после долгих лет увидел полузабытого им Брайта, возникает в «неясных очертаниях»: «...из тумана медленно выступали чьи-то полузабытые лица, глядели чьи-то знакомые глаза»... Вот признание, пронизанное острым ностальгическим чувством, глубоко личным и одновременно личным тревогам мира: «Сейчас я, уже пожилой человек, прошедший сквозь годы «холодной войны», видевший, как застывали ее ледяные глыбы и какие огромные усилия потребовались для того, чтобы они начали таять, со снисходительной печалью и с тоской по дням, которым уже нет возврата, подобно гегелевской сове, смотрю на молодого человека, стоящего на залитой солнцем улице Бабельсберга», — на того, молодого Воронова, недоуменно размышляющего об интригах союзников, о явлениях, «которые кажутся ему столь дикими в атмосфере обретенного человечеством счастья мирной жизни».

Помнится, в «Блокаде» автор давал высказаться от первого лица тоже лишь одному персонажу — Вере Королевой. Различны роли, которые несут в структуре своих романов Вера и Воронов. Но есть совпадение в очень важном: в высоте нравственного, гражданского чувства и еще в достоверности рассказа, его лирической достоверности...

Живо воспринимаешь в «Победе» характер Чарли Брайта. А ведь этот персонаж, если уместно так выразиться, задан, намеренно контрастен по отношению к Воронову. Судьба Брайта — это судьба человека, не имеющего твердых нравственных убеждений. Чарли вовсе не плох по натуре, не лишен доброты, чувства товарищества. Но бездумно, безоговорочно принимая постулаты «общества равных возможностей», он слишком часто обрекает себя на духовную ограниченность, глухоту. Случалось и так, что фотоаппарат и перо Брайта отдавались на потребу «холодной войне». Прошло много времени, пока Брайт что-то понял, приблизился к критериям истинной гражданской честности. Этому предшествовал ряд горьких разочарований: распад семьи в годы, когда маккартизм ломал людей, оказывал воздействие и на их личную жизнь; гибель во Вьетнаме единственного сына, которого он, Чарли Брайт, сам отговорил от намерения порвать призывную повестку: боялся за свое место в газете... Как видим, эта биография тоже строится романистом с предельно ясным учетом того, что она должна выразить. Но когда читаешь рассказ Брайта о неизвестных Воронову грядущих

годах его жизни, то соглашаешься с правдой такой биографии. Не просто оттого, что она достаточно типична, знакома, это как раз не являлось бы сильным аргументом, а оттого, что она соответствует нашему представлению о Брайте, возникающему в целом ряде эпизодов времен Потсдама, эпизодов, в которых персонаж отчетливо виден в конкретных проявлениях, в живой пластике, виден и в безудержном гаерстве своем, и в наивности, и в душевной открытости, теплоте. Красноречива, в частности, глава, рассказывающая о помолвке Брайта, на которую приглашен Воронов: общее беззаботное веселье, радужные надежды Чарли и его невесты Джейн и вместе с тем неожиданное ощущение какой-то грусти, безотчетной тревоги... Художественно действенным оказывается это умение романиста тонко воплотить настроение, дать тональность, как бы отзывающуюся в дальнейшей судьбе персонажа.

Немало достоверных штрихов возникает там, где рассказывается об обстановке в поверженной Германии, действуют люди, в суждениях, мнениях которых отражены те или иные общественные взгляды: это и советский военный шофер старшина Гвоздков, и немецкий коммунист Нойман, и другой немец — рабочий Вольф. Тем же ощущением достоверности проникнуто изображение Фияляндии 70-х годов, атмосферы вокруг Хельсинкского совещания. Во всем, что подмечено авторским — вороновским — взором, есть четкость и определенность, которую вполне можно бы назвать и журналистской. Опять же не в ущерб представлениям о художественности, а в силу и профессиональной принадлежности героя, и особых задач произведения. И все же бывают моменты, когда журнализм возникает в своем негативном качестве. Вот, скажем, воспроизводится беседа Воронова с Нойманом, приехавшим в Хельсинки в качестве эксперта делегации ГДР. Собеседники, не видевшиеся тридцать лет, говорят о судьбах Германии, и им, понятное дело, есть что поведать друг другу. А одновременно — и это тоже хорошо понятно — автор должен высказать определенную сумму сведений по данному, весьма важному для содержания романа вопросу, заострить внимание читателя на характере происшедших перемен. Много в беседе построено искусно, психологически оправдано. Но моментами возникает словно бы игра в поддавки. Нойман, например, говорит об истории создания ГДР в выражениях, более пригодных для популярного учебника. Воронов в свою очередь интересуется: «— И что же, реваншисты с

этим (с образованием ГДР.— М. С.) смирились?» Не правда ли, весьма необходимый вопрос в устах международного?..

Чем же в конечном счете объяснить подобные огрехи? Неужто публицистической спецификой? Думаю, как раз обратным: недостаточной последовательностью, внимательностью в художественном осуществлении такой специфики. Многозначность публицистической символики, о которой говорилось в начале статьи, подразумевает точность психологического рисунка, верность воссоздания обстоятельств. Как бы ни были определены, политически, пропагандистски направлены линии действия, внутри их всегда должна присутствовать правда конкретного эпизода, правда интонации, правда характера.

Итак, политический роман... Думаю, никак нельзя считать обоснованным возникающее иной раз в печатных откликах на «Победу» мнение, будто автор ее совершил открытие особого, неведомого дотоло жанра. Против этого, кстати, возражал (в уже упомянутом интервью) и сам А. Чаковский, резонно говоря, что писалось им не что иное, как роман. Действительно, «Победа» строится по законам романного жанра, и хотя определение «политический» говорит весьма и весьма о многом, не надо придавать ему самодовлеющий характер, воспринимать как нечто гипнотизирующее.

Этого не надо делать еще и потому, что «Победа» существует в литературном процессе отнюдь не обособленно, а в русле того явно усилившегося внимания к политической жизни, о котором говорилось в начале нашей статьи. Еще раз вспомним постановление ЦК КПСС — слова о большом успехе произведений политической темы...

Сейчас нет возможности для сколько-нибудь пространного обзора. Но непременно стоит подчеркнуть: поиски идут широким фронтом, имеют многопроблемный, «многовидовой» характер.

Мне уже приходилось отмечать симптоматичность высказывания Ю. Суровцева, назвавшего идеологическим романом «Метели, декабрь» И. Мележа и заметившего, что именно благодаря этому качеству третьего романа «Полесской хроники» вся трилогия поднялась на новую высоту. Действительно, яркий образ большевика-ленинца Ивана Апейки, глубокое, точное по мысли воссоздание обстоятельств классовой борьбы периода коллективизации делают обоснованной такую характеристику... Как идеологическое, политическое произведение на современную тему воспринимается роман Г. Маркова «Грядущему веку», разворачива-

ющий широкие проблемные картины деятельности коммуниста-руководителя. Или взять «Берег» Ю. Бондарева, атмосфера которого во многом определена накалом споров об идейно-нравственных ценностях двух миров. К политическим категориям нередко обращаются персонажи «Закона вечности» Н. Думбадзе, романа «Годы без войны» А. Ананьева, эти категории определяют существенные стороны мироощущения героев новой книги В. Кожевникова «Корни и крона». А «Твоя зоря» О. Гончара, роман, в центре которого обаятельный образ советского дипломата, человека, чьи нравственные качества хорошо соответствуют его профессии, благородному делу, которому он служит? Подобные люди — порождение новой цивилизации, воплотившей в себе великое гуманистическое богатство, — такая мысль вычитывается из книги, впрямую сталкивающей светлые начала советского образа жизни с капиталистической действительностью, раздираемой жестокой внутренней дисгармонией.

Надо сказать, политическая тема нередко выступает в художественной прозе в международном аспекте. Закономерен читательский интерес к циклу Ю. Семенова «Альтернатива», «Дипломатам» и «Кузнецкому мосту» С. Дангулова. А вот недавние интересные произведения. Роман А. Проханова «Дерево в центре Кабула», созданный в результате поездок в революционный Афганистан, рассказывает о социальном пробуждении древнего народа, об интернациональной помощи, оказываемой дружественной стране советскими людьми. Тема повести М. Колесниковой «Гадание на иероглифах» — политические последствия разгрома милитаристской Японии, послевоенные отношения между этой страной, Китаем, США.

Нетрудно предвидеть, что книг международной проблематики будет в нашей литературе прибывать. Подобный процесс уже явно наметился в кинематографе, есть его признаки и в театральном искусстве. Причины этого очевидны: необходимость участия искусства в борьбе за мир, в разоблачении агрессивных устремлений империализма, его идеологических диверсий. «Победа» — вернемся к ней — как раз и отвечает таким задачам, являя собой выверенное, отточенное идеологическое оружие.

Роман А. Чаковского занимает в достаточно широком ряду современных произведений свое место, определяемое и содержанием и особенностями его воплощения. Нет, «Победа» вовсе не представляет собой некий особый жанр. Но опыт создания ее, бесспорно, несет в себе черты оригиналь-

ности (в том числе в известной мере и жанровой). Это опыт смелый: писатель в изобилии берет материал, кажется заведомо сопротивляющийся художественному претворению. И это опыт плодотворный, показывающий, что успех здесь возможен, закономерен.

Конечно, само понятие, само жанровое обозначение — политический роман — другим автором может быть употреблено к произведению с иными (или несколько иными) свойствами. Всякий термин, как известно, условен. Но если иметь в виду то, как оно, это понятие, воплотилось в «Победе», то надо, видимо, сказать следующее. Политический роман предполагает не просто идеологически насыщенную проблематику, но наличие в качестве главного предмета изображения крупных политических событий. Он предполагает самое открытое, самое прямое выражение авторской тенденции, ибо смысл этих событий, их мировое значение невозможно показать без обращения к средствам и приемам художественной публицистики. Он предполагает, следовательно, такую форму романного повествования, в которой публицистично само психологическое и событийное изображение, сама поэтика.

«Литература, позволю себе сказать, — это ведь пусть особая, специфическая, но все же пропагандистская деятельность, пропаганда тех идей, которые писатель считает истинными», — заметил как-то Чаковский. Знаменательные слова... И разве не знаменательна, заметим кстати, переключка их с приводившимися нами в начале статьи словами другого советского художника, также приверженного политическому искусству и также не мыслящего свой творческий труд вне прямых пропагандистских задач?

Новый роман Александра Чаковского прочно занял место в читательском обиходе. А жизнь неустанно свидетельствует значимость, актуальность его проблематики.

Уже в процессе публикации романа начались известные события в Польше, имевшие целью в конечном счете дестабилизировать в этой стране социалистический строй, нарушить признанное хельсинкскими соглашениями равновесие сил в Европе. Читая «Победу», еще и еще раз думаешь о связи между этими событиями и давними интригами империализма вокруг польского вопроса, о неумирающих надеждах силой и коварством добиться того, чего не удалось получить на международных форумах. Более чем справедливо, что потсдамским дискуссиям о Польше, о ее границах уделено так много места в романе: это соответствует

историческому факту и это, как оказалось, получило подтверждение в новейшем течении истории.

А вот пример сравнительно небольшой значимости, но достаточно красноречивый: кризис из-за Фолклендских (Мальвинских) островов, армада, посланная за тысячи миль от Британии, чтобы продемонстрировать имперские притязания правительства тори. Разве не витает над армадой тень Черчилля? И разве в перспективе своей эти притязания не столь же безнадежны, сколь безнадежным было желание Черчилля повернуть пути человечества вспять?

И еще параллель. Президентство Рейгана, тупое, безумное стремление получить решающее ядерное превосходство над другой стороной. Нынешняя администрация США осуществляет, по сути дела, возврат к временам Трумэна, когда был взят курс на отказ от сотрудничества с СССР, на политику с позиции силы. В «Победе» показано, сколь тщетными были трумэновские расчеты. А еще там показана безмерность буржуазного лицемерия, прикрывающего добродетельными одеждами самую черную корысть, самую низкую безнравственность. Первые испытания американской атомной бомбы имели «христианское» кодовое обозначение «Троица». Отдавая приказ о бомбардировке японских городов, Трумэн беспокоился, чтобы перед тем непременно было совершено богослужение... А сегодня мы можем прочитать в газетах, что одному из подводных ядерных чудовищ в Америке собираются дать имя «Тело Христово» (это даже вызвало протест церковных кругов). И что президент Рейган в качестве одной из

глобальных причин неудовольствия советскими людьми всерьез выдвигает то обстоятельство, что «они не верят в загробную жизнь, они не верят в бога, у них нет религии... они не разделяют наших взглядов на нравственность...».

Да, их взгляды на нравственность мы действительно не разделяем, имея к тому решительно все основания.

Люди доброй воли верят, что нравственность по-американски, по-империалистически не возобладает над миром, что политика разрядки и сотрудничества, какие бы препятствия ей ни чинились, будет и дальше пробивать себе дорогу, утверждаясь как единственная альтернатива войне.

..Михаил Воронов, сидя в зале Хельсинкского совещания, слушает речь главы советской делегации Л. И. Брежнева, слова о том, что здесь «нет победителей и побежденных, приобретших и потерявших», что совещание — это победа разума, «выигрыш всех, кому дороги мир и безопасность на нашей планете».

Воронов знает: его страна всегда, при любых обстоятельствах будет делать все, чтобы к человечеству приходили такие победы.

Советский Союз, государства социалистического содружества твердо стоят на страже мира, потому что исходят из высокой гуманистической заботы о судьбах планеты, потому что олицетворяют собой восходящую, прогрессивную силу истории.

Глубоким осознанием этих закономерностей современной эпохи, острым гражданским чувством и продиктован политический роман Александра Чаковского.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Рубашкин. Не только о войне.

ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Грунт. Изучая опыт русских революций.

Литература и искусство

НЕ ТОЛЬКО О ВОЙНЕ

Алесь Адамович. О современной военной прозе. М. «Советский писатель». 1981. 440 стр.

Алесь Адамович. Война и деревня в современной литературе. Минск. «Наука и техника». 1982. 199 стр.

Содержание этих книг выходит за рамки их названий. Тут и суждения о собственной литературной работе, мысли о назначении искусства, о документализме в литературе и пространные экскурсы в другие области сегодняшней прозы.

Казалось бы, сколько уже написано о так называемой деревенской литературе, которую хвалят почти единодушно и с не меньшим единодушием призывают двинуться на новые рубежи, говорить по преимуществу о сегодняшнем дне. И на этом фоне неожиданно звучат слова Адамовича: «А ведь проза эта не столько о прошлом, сколько о будущем — в своем главном чувстве во всяком случае». В том-то и дело, что, говоря о бабах, кормивших страну в дни войны, об умирающей старухе, об острове, навсегда уходящем под воду, писатели-деревенщики раскрывают то, что забыть нельзя: нравственный опыт народа. И дети старухи Анны («Последний срок» В. Распутина) не кажутся читателю такими уж передовыми людьми, невесть как далеко шагнувшими вперед в нравственных своих принципах. «Ну, а «Прощание с Матёрой» — всенародное наше прощание с крестьянской Атлантидой, постепенно скрывающейся (во всем мире, не только у нас) в волнах энтропического века, — разве не сегодняшний и даже не завтрашний это день?»

Все это не только вопросы — утверждения. Потому так поднялась усилиями Белова и Абрамова, Можаяева и Носова, Распутина и Астафьева наша деревенская проза, что она коснулась «самого нерва народной жизни». Да, автор не только о войне пишет, он утверждает, что и военная литература и литература о деревне выросли и вырастают из памяти, что между

ними много общего, хотя повесть или роман, написанные сегодня, не одной лишь памятью живы.

Конечно, в центре первой книги разговор о современной военной прозе. Автор пишет и о немалых ее достижениях, но основной пафос — забота о завтрашнем дне военной литературы (что нового откроет она читателю, не повторит ли сказанное прежде), тревога, возбуждаемая примерами «легкого писания», штампами и «красотами»: «Сам не заметишь, как начнешь пушкаться беллетристические кораблики по человеческой крови». Хорошо, что это сказано не «человеком со стороны», а известным мастером военной прозы, знающим, что такое выстрадать свою книгу. В его словах беспощадная требовательность и к самому себе.

Интересен рассказ Адамовича о своем литературном опыте, о том, как от сюжетных повестей он пришел к строго документальным книгам, предоставил слово жертвам фашистского геноцида в Белоруссии, ленинградским блокадникам. Не думаю, что обращение к документалистике у Адамовича (как и у Симонова) было вызвано только неудовлетворенностью собственными романами и повестями о войне. Литература — средоточие народной памяти. И самые жгучие подробности прошлого обладают собственным красноречием, которое подчас разительней любой фантазии. Без этой памяти, обнимающей полноту факта (а не только без личного опыта), не было бы той военной прозы, которая уже сказала правду о войне. «Блокадная книга» (написана вместе с Д. Граниным) и «Я из огненной деревни...» (с Я. Брылем и В. Колесником) — документы трагической эпохи, документы

предупреждения. Они не заменяют свидетельств художественных, не «соревнуются» с литературой вымысла, но и сами ничем не могут быть заменены. О войне еще напишут, напишут и те, кто через нее не прошел,— писатели молодого поколения. Опираясь в своей работе они будут на документы, на лучшие повести и рассказы участников событий, на память своего народа.

Устанавливая «эстетическое родство» деревенской и военной прозы, критик обращается к военным повестям деревенщиков, особенно к повести Е. Носова «Усвяцкие шлемоносцы». Адамович ищет истоки взаимодействия военной и деревенской прозы. И находит их в народном чувстве, в стремлении «к правде сущей, как бы ни была горька», в поисках той стилистики, что наиболее полно выразила бы эту правду.

Обнаруживая широту подхода к явлениям литературы, автор свободно, естественно касается проблем и имен, казалось бы далеких от батальной темы, да и деревенской тоже. Ч. Айтматов и Ю. Смуул здесь так же не случайны, как и Е. Дубровин со своей повестью «В ожидании козы». Адамович меньше всего думает о «распределении писателей по обоям и спискам». И закономерным оказалось обращение к опыту собратьев по перу — белорусских писателей. (В ряде случаев хотелось бы, чтобы именно разговор о писателях Белоруссии был подробней, например, о В. Козько, об И. Чигринове, ибо всесоюзному читателю эти имена известны меньше, чем представляется критику.)

В первой книге прослеживаются три тематические линии. Анализ конкретных произведений, в том числе принадлежащих перу белорусских прозаиков, рассуждения писателя о работе над своими романами и повестями и, наконец, мысли о критическом ремесле, о работе критика. В суждениях автора о критике видна та же широта взгляда на литературный процесс, которую обнаруживает автор в работах «О войне и о мире», «Литература в поле сравнительного изучения», «Необходимость Толстого» и других. Есть и прямые суждения исследователя о месте критики в современной литературе, о трудностях критической работы. Адамович, например, пишет о той опасности, которая подстерегает критика, склонного так или иначе сблизить современных писателей с великими художниками прошлого. Он резонно замечает: «Какие же это должны быть рассуждения, слова, какой тон, такт, чтобы не выглядеть просто дураком?» Без этого если не страха, то сомнения, даже

некоторой боязни трудно быть критиком. Вспоминаю, как один наш коллега к месту и не к месту в своих выступлениях называл Толстого просто Львом Николаевичем, будто своего знакомого. Кажется, именно к этому ученому мужу обращены слова Адамовича: «...а вдруг глянет читатель-новичок, послушает наш дубовый язык, наши ученые банальности и удивится: а этот как затесался в компанию умных и талантливых?!»

Только Адамович напрасно произнес «мы»: сказанное о литературоведческом дубовом языке к нему не относится. Но упреки нашему критическому цеху основательны. И своевременным предупреждением звучат слова: «...можно предугадать и будущий взгляд — уже на нас самих, когда наши работы, наша честность или бесчестность, наша правота или неправота, грамотность или безграмотность тоже станут историей, объектом... исследований». По мысли Адамовича «критик — это высота вкуса, требовательность, а не комплиментарность. Требовательность... по праву любви...»

Развитием критики, самостоятельной в своих оценках, помогающей писателю «самого себя видеть впереди», то есть в процессе развития, движения, озабочен Алесь Адамович. Таков он и сам как критик.

О книгах его не скажешь «живо написано». Они выстраданы, и потому их живость, образность особого рода. Читаем у Адамовича о писателях, которые в дни войны были малыми детьми, а сумели передать атмосферу, дух того времени: «...произведения их пропитаны народной памятью, набрякли ею, как дуб мореный. За распутинской повестью и «памятью» — сибирская деревня, для которой фронт был где-то там, далеко, «в Европе», но и рядом — в похоронках... В повести Распутина — вся бесконечная, усталая протяженность войны через годы, через миллионы смертей, как это ощущал каждый, но и по-разному. Некоторым, кто способен отделить себя от общей судьбы, было уже не вынести». В этих словах правда — и об авторе повести «Живи и помни», и о трагедии Гуськова. Не оправдание, а объяснение того, что случилось с героем повести. Выразительность анализа у Адамовича — выразительность правды. Она — в продуманном отборе произведений, на которых останавливается автор, в точности характеристик, акцентов.

Справедливо считая симоновские «Разные дни войны», этот военный дневник с последующим авторским комментарием,

одной из лучших книг писателя, Адамович отмечает, что Симонов не подправлял свой дневник, не подгонял его под сегодняшнее понимание событий, дал читателю возможность судить самому. Адамович утверждает, что в «Разных днях...» Симонов показал «не одну только войну, а и все, что на этой войне проявилось, мешая нам воевать». Адамовичу, автору военных повестей и документальных книг о войне, такая прямота внутренне необходима, она дает ему моральное право писать дальше.

По мере чтения первой книги понимаешь, почему автор не замыкается в рамках военной прозы. Тут отразились его собственные поиски. Он видит глубину общего литературного потока, отмечает необходимость новых путей для военной прозы. Перед нами трезвый анализ достигнутого усилиями многих, в том числе и самого Адамовича. Финал книги открытый. «В какое новое качество, состояние перерастет «военная» литература, опираясь на достижения «деревенской», на открытые ею новые источники народных чувств, мыслей, языка,— покажет время...— заключает автор.— «Деревенская» сама вышла из «военной шинели», ну, а сейчас способна вернуть должок, который нашей «военной» литературе совсем не лишней будет...»

Характерная черта Адамовича-критика — концептуальность. Его суждения о документализме, соотношении современной литературы и классики, связи деревенской и военной прозы приводятся уже во многих статьях литературоведов и критиков. Новая книга «Война и деревня в современной литературе» развивает ряд положений, высказанных Адамовичем ранее.

В статье «Уроки Толстого и пути развития белорусской литературы» автор наряду с произведениями белорусов М. Горецкого, И. Мележа, Я. Брыля вспоминает ранние повести Ю. Бондарева, утверждая, в частности, что, идя вширь, современная военная проза «все-таки теряет тот обжигающе точный нравственный «фокус», который был свойствен лучшим произведениям второй половины 50-х и 60-х годов».

В книге «Война и деревня...» автор обращается и к новому материалу, однако здесь есть случаи нежелательного самоцитирования. В ряде случаев свежий материал недостаточно развернут. Это, в частности, относится к характеристике повести В. Кондратьева «Сашка» (жаль, ничего не сказано о «Селижаровском тракте» и рассказах писателя). Справедливо замечание критика о том, что в «Сашке» «характернейшие черты исповедальной военной прозы, новаторски заявившей о себе во второй половине 50-х и в 60-е годы, дополнены и обогащены качествами, утверждаемыми и нынешней «деревенской» прозой». Критик раскрывает это положение: «Мы имеем в виду подчеркнута народную оценку — нравственную, житейскую, языковую — всего, что происходит с людьми, с жизнью, с самим героем».

К сожалению, в данном и некоторых других случаях беглость анализа, отсутствие критического элемента ослабляют авторскую позицию. О том же В. Кондратьеве пора уже говорить более аналитично, видя и ряд слабых сторон «ржевской прозы», а не просто восхищаясь появлением нового таланта. Писатель стремился как бы реставрировать то время. И все же внутреннее состояние героев подчас дается с явной поправкой на сегодняшние наши эмоции.

Новые книги Адамовича не замыкаются в чисто литературном ряду. По мере необходимости автор ссылается на работы ученых — историков, философов. Все эти ссылки органичны, внутренне оправданы.

С критиком споришь, соглашаешься, он подталкивает к собственным выводам о жизни, войне, литературе. Чтение Адамовича — беседа с умным, искренним человеком, в жизни которого война оставила неизгладимый след. Книги эти имеют самостоятельное значение, они дополняют то, что уже сказано автором (или соавтором) «Хатынской повести» и «Блокадной книги», «Карателей» и «Я из огненной деревни...». Эти дополнения существенны.

А. РУБАШКИН

Ленинград.



Политика и наука

ИЗУЧАЯ ОПЫТ РУССКИХ РЕВОЛЮЦИЙ

Борьба за массы в трех революциях в России. Пролетариат и средние городские слои. М. «Мысль». 1981. 303 стр.

Наряду с издавна существовавшими средними слоями города — ремесленниками и мелкими торговцами — с развитием

капитализма выросли и вышли на историческую сцену новые межклассовые группы: интеллигенция, служащие, студенчество.

Стремительно растущие численно, они играют все более заметную роль в общественно-политической жизни, активно влияя на соотношение сил в классовой борьбе. Все победоносные революции, в том числе и социалистические, совершались при участии и поддержке средних городских слоев.

Но история знает примеры и другого рода. Пожалуй, наиболее яркий из них в недавнем прошлом — трагедия Чили, где реакции удалось привлечь средние слои города на свою сторону и при их попустительстве и даже содействии совершить фашистский переворот. Генеральный секретарь КПЧ Луис Корвалан в числе других причин поражения чилийской революции прямо указывал на левацкие ошибки блока Народного единства, недооценившего значение средних слоев. Анализируя просчеты и неудачи чилийской революции, он призвал изучать опыт Октября в России, извлекать из него необходимые уроки применительно к современной обстановке. «Ход борьбы в феврале—октябре 1917 года,— говорил Луис Корвалан,— показывает связь этого демократического этапа с социалистической революцией и возможность их слияния в единый процесс на основе завоевания рабочим классом руководящей роли в широком союзе прогрессивных сил».

Современные буржуазные и ревизионистские «социологи революции», ожесточенно атакуя марксизм, доказывают, что рабочий класс в наши дни уже не тот, каким был когда-то, что произошло некое усреднение классовой структуры и пролетариат интегрировал в эту структуру, обуржуазился, утратив свой революционный потенциал и черты гегемона по отношению к непролетарским слоям общества. Революция же в условиях «трансформации» капиталистического общества объявляется исторически себя изжившей, а средние городские слои — новым классом, интересы которого одинаково чужды буржуазии и пролетариату, носителем социального прогресса. Пролетариату в лучшем случае отводится роль ведомого в «новом историческом блоке», возглавляемом интеллигенцией. Фальсифицируя прошлое для подтверждения своих теоретических построений, буржуазные и ревизионистские социологи говорят о якобы пренебрежительном и даже враждебном отношении большевизма к средним городским слоям, представляют Октябрьскую революцию как заговорщицкую акцию узкозамкнутой группы большевиков, далекой от масс вообще и от интеллигенции в частности.

В этих условиях всестороннее изучение опыта взаимоотношений российского пролетариата с непролетарскими городскими слоями трудящихся приобретает особую актуальность.

Наша историческая наука внимательно изучает этот опыт, однако в целом история борьбы пролетариата и большевистской партии за городские средние слои во всех грех российских революциях не рассматривалась. Рецензируемая книга является одной из первых попыток такого комплексного исследования. Оно позволяет выявить общие закономерности и специфические черты формирования союза пролетариата с различными элементами средних слоев на буржуазно-демократическом и социалистическом этапах революции, проследить особенности большевистской тактики на каждом из этих этапов.

Численность городского населения России в первое десятилетие XX века достигала почти 28 миллионов человек. Средние же слои в его составе насчитывали примерно 12 миллионов, то есть 37 процентов городского и 8 процентов всего населения страны.

Из многочисленных данных, приведенных в книге, видно, что основная масса городских средних слоев находилась в тяжелом материальном положении, была лишена элементарных политических прав, что сближало их интересы с интересами пролетариата. В политическом отношении эта многоликая масса была далеко не однородна. Внутри ее причудливо переплетались множество направлений, начиная от революционных и буржуазно-либеральных и кончая реакционно-монархическими. Передовые представители городской демократии шли в революцию вслед за пролетариатом, под его знаменами. Однако большинство горожан — «середняков», отсталых и политически неразвитых, вступали в нее без ясно осознанных целей, движимые инстинктивным недовольством существующими порядками. Так или иначе, революция всколыхнула и втянула в свою орбиту огромные пласты народа. «...страшное расширение движения,— писал Ленин вскоре после январских дней 1905 года.— Неведомые каналы, неслучные (необозримые) союзники, несчетные товарищи, друзья и сочувствующие». В числе этих «новых сил», включившихся в политическую борьбу, были и средние городские слои.

Одной из главных форм борьбы пролетариата в первой русской революции была стачка. И вот что примечательно: именно тогда она была взята на вооружение и ши-

роко применена непролетарскими слоями трудящихся. Сразу и активнее других к пролетариату примкнули студенты, которыми руководил, как замечал Ленин, «здоровый революционный инстинкт, поддерживаемый их общением с пролетариатом». Так, в постановлении студенческой сходки в Горном институте было записано: «Считать нравственной обязанностью всех товарищей помогать рабочему движению». Слушательницы Высших женских курсов заявляли: «Выражая свою полную солидарность с петербургскими рабочими в их экономических и политических требованиях и глубокое негодование по поводу избития безоружной толпы, мы отказываемся продолжать занятия». Уже к концу февраля 1905 года бастовали студенты 39 высших учебных заведений, в которых обучалось около 40 тысяч человек. В январе—сентябре 1905 года было зафиксировано более 130 забастовок торговых служащих. Но эта категория городских слоев труднее и медленнее втягивалась в стачечное движение, участвуя главным образом в «петиционной кампании» в надежде получить улучшение своего положения «законным» путем. В октябре же 1905 года к Всероссийской политической стачке, застрельщиком и главным действующим лицом которой был пролетариат, присоединилась основная масса студенчества, интеллигенции, служащих, и среди последних даже работники центрального аппарата, доселе пассивные.

В наши дни в капиталистических странах в стачечном движении также активно участвуют средние городские слои. Можно в этой связи напомнить о забастовке бельгийских учителей в 1970 году, прошедшей под лозунгом «Мы рабочие в белых воротничках!», или о майских стачках 1972 года японских учителей и служащих, охвативших более миллиона человек.

Но вернемся к первой русской революции. В ходе ее, борясь за массы, большевики впервые применили тактику «левого блока», суть и смысл которой, по выражению Ленина, состояли в том, чтобы «заставлять» демократическую массу «делать выбор между кадетами и марксистами», вести линию совместных действий рабочих, крестьянской и городской демократии и «против старого режима и против колеблющейся контрреволюционной либеральной буржуазии». Позиция революционного марксизма нашла свое выражение в лапидарной, но удивительно емкой формуле: «Врозь идти, вместе бить!» Она означала совместное выступление против царизма всех «униженных и оскорбленных» при сохранении пролетари-

атом его полной идейной самостоятельности. Едва ли не самым значительным результатом левоблокистских действий масс стали Советы. В подавляющем большинстве случаев депутатами их наряду с рабочими были и представители революционной мелкобуржуазной демократии. В декабрьском вооруженном восстании вместе с рабочими приняли участие и передовые городские средние слои в лице интеллигенции, студентов и части служащих. Вместе с большевиками на баррикадах сражались эсеры и даже часть меньшевиков — противников вооруженного восстания.

Всего двенадцать лет понадобилось российскому пролетариату, чтобы пройти путь от «генеральной репетиции» 1905 года до десяти дней, «которые потрясли мир» в октябре 1917-го.

«Один из главных, научных и практически-политических признаков всякой действительной революции,— писал Ленин,— состоит в необыкновенно быстром, крутом, резком увеличении числа «обывателей», переходящих к активному, самостоятельному, действительному участию в политической жизни, в устройстве государства». Как и 1905 год, февраль 1917-го с необычайной силой продемонстрировал именно этот признак революции. Вслед за пролетариатом и под его руководством в политическую борьбу активно включилась масса «обывателей», как раз и представлявшая средние слои города.

Естественноисторическим результатом вовлечения в революцию миллионов масс был гигантский взлет мелкобуржуазной волны, которая захлестнула даже пролетариат, временно подавила его не только численно, но и идейно, заравнив значительную его часть мелкобуржуазными иллюзорными взглядами на политику. В «революционном угаре» выросло и распространилось доверчиво-бессознательное отношение масс к правительству капиталистов, усердно поддерживаемое партиями эсеров и меньшевиков.

Готовясь к докладу об итогах Апрельской конференции, Ленин записал в плане: «„Победа!“ Отсюда хаос фраз и настроений, „упоений“». И тут же выписал из эсеровской газеты «Земля и воля» стихи И. Ильина «Из весенних настроений»:

Все как дети! День так розов!
Ночи нет! Не будет сна!
Вудто не было морозов,
Вудто век царит весна!

Стихи эти довольно точно отражали прямо-таки детское ликование и «упоение»

революцией, главным носителем которых и были средние городские слои.

Большевики не строили иллюзий насчет того, что все те, кто так дружно поднялся против царизма, так же дружно ополчатся и против власти буржуазии. Раскол на социалистическом этапе революции внутри средних городских слоев, как и раскол внутри крестьянства, был объективно неизбежен. Речь теперь шла о том, чтобы обрести союзников среди беднейшей части городских низов и заручиться нейтралитетом тех, чьи жизненные интересы были близки пролетариату, но сознание далеко не дошло до решимости встать в ряды борцов за новую, теперь уже социалистическую революцию.

Заключительная глава книги посвящена анализу движения средних городских слоев на социалистическом этапе революции, тактики по отношению к ним большевистской партии.

Между буржуазными и мелкобуржуазными партиями, с одной стороны, и большевиками — с другой на протяжении всего февральско-октябрьского периода кипела ожесточенная борьба за средние городские слои.

На первых порах подлинными кумирами обывательской массы стали эсеры. В эту партию лавиной хлынули лица свободных профессий и чиновники, мелкие ремесленники и торговцы, студенты и гимназисты. ореол славы борцов против царизма вокруг эсеров еще не померк. Их лозунги «Война за свободу!», «Ни одной пяди родной земли!», широковещательные заявления о том, что земля должна принадлежать обрабатывающему ее трудовому народу, выглядели необычайно привлекательно в глазах средних городских слоев и отвечали их умунастроению. «Оборонческое поветрие» охватило многих рабочих, солдат, мелкобуржуазное население городов. Когда большевики выступали с разоблачением империалистической политики российской буржуазии, им отвечали, что «они неясно представляют себе положение дела, они забывают о том, что у нас на трибуне тов. Чхеидзе, а в тюрьме Николай Романов, а в Германии, наоборот, — Карл

Либкнехт в тюрьме, а Вильгельм на троне» (из выступления одного из солдатских делегатов на Всероссийском совещании Советов).

Нужны были суровые уроки жизни, чтобы эти искренне заблуждавшиеся люди поняли действительную суть вещей, антинародный смысл политики буржуазии и ее партнеров по правительственной коалиции из эсеро-меньшевистского стана. Поняли и сделали свой исторический выбор.

И он был сделан. Массовая большевизация Советов, провал эсеров и меньшевиков в ходе осенних муниципальных выборов, упадок их влияния в профсоюзах и т. д. позволили Ленину уже в сентябре сделать вывод о глубочайшем повороте в общенациональном настроении. Главным его признаком было, по мнению Ленина, то, что «мелкая буржуазия отвернулась от коалиции, народ отвернулся от нее, тут сомнения невозможны». Но все же тяготение средних городских слоев к пролетариату выросло не столько из их приверженности к социалистическим идеалам (это было делом будущего), сколько на почве полной бесперспективности союза с буржуазией. Надежды, связанные с пролетариатом, выражавшим общенациональные интересы, увеличивали число сторонников революции. В этом состояли своеобразие и особенность поведения большинства мелкобуржуазной городской массы в предоктябрьские и октябрьские дни 1917 года. Успех вооруженного восстания в Петрограде и триумфальное шествие революции по всей стране в значительной мере были обусловлены тем, что вместе с пролетариатом выступила наиболее сознательная часть средних слоев города, а другая, значительная их часть, осталась нейтральной и не подняла оружия против советской власти.

Богатейший опыт трех русских революций не остался лишь воспоминанием о делах давно минувших дней. Он сохраняется и изучается борцами за мир, демократию и социализм во всех странах. Свой вклад в изучение этого опыта вносят и советские исследователи.

А. ГРУНТ,
доктор исторических наук

КОРОТКО О КНИГАХ



БОРИС КОСТЮКОВСКИЙ, СЕМЕН ТАБАЧНИКОВ. И нет счастливее судьбы. Повесть о Я. М. Свердлове. М. Политиздат. 1982. 335 стр.

Свердлов был единственным, кто, замещая Владимира Ильича, работал за его письменным столом в Кремле. Случайность? Удобства ради? Возможно. Но вот то, что именно Свердлов, по двадцать часов в сутки занятый руководством Секретариатом ЦК и председательством во ВЦИК, заменил Ленина на время болезни в Совнаркоме, предопределено личными качествами Якова Михайловича и как следствие характером его взаимоотношений с Владимиром Ильичем.

А запомнившееся современникам свердловское «уже»: «уже сделали, Владимир Ильич», «уже подумано», «уже приняты меры!» Исполнительская четкость? Умение выполнить распоряжение прежде, чем оно отдано? Разумеется. Но прежде всего просто полное совпадение взглядов и позиций с Ильичем. Причем и в большом и в малом. Как до Октября, когда ссыльный Свердлов был географически оторван от круга революционеров, так и потом, во время совместной работы в «руководящих группах» (ленинское выражение). В результате этого единомыслия они практически одинаково оценивали ситуацию, принимали не сговариваясь схожие, для обоих единственно верные решения.

Поразительно, как близки их — Ленина и Свердлова — взаимные характеристики. Широко известны ленинские слова, произнесенные на экстренном заседании ВЦИК в день похорон Свердлова: «Такого человека... нам не заменить никогда... Та работа, которую он делал один... будет теперь под силу нам лишь в том случае, если на каждую из крупных отраслей, которыми единолично ведал тов. Свердлов, вы выдвинете целые группы людей!». Ленин почти наверняка не знал, что незадолго до этого на вопрос: «А что будет с нашей партией, если что-нибудь случится с Ильичем?» — Свердлов ответил: «...Ильича может заменить только коллектив нашей партии, а лиц, ему равных, не найдешь».

С хроникерской точностью восстановлены и описаны минуты, которые Ленин провел с умирающим Свердловым. Мы знаем дословно все, что Ленин говорил в те скорбные дни. Но очень трудно представить, почувствовать, что Ленин тогда пережил.

Из исторического далека даты, стоящие

в скобках после имени в энциклопедической статье, видятся, в общем-то, как некие отвлеченные риски на мерной ленте времени. Но ведь Ленин, сам еще молодой — всего сорок восемь, — простался с человеком, которому не сравнялось и тридцати четырех. С соратником, которого он считал гениальным. С очень близким ему человеком.

Не первая это была смерть, не первая потеря, пережитая Ильичем. Недаром в траурной речи он употребил редкое, но точное слово «мртиролог» — список жертв. Но то были именно жертвы. Пуля, удар черносотенца, жизнь, стертая тюрьмой, каторгой, ссылкой, — планируемый, привычный риск в работе революционера-профессионала. А здесь черт-те что — простуда, грипп. Испанка какая-то. Жуткая нелепость. И невыразимо обидное чувство бессилия...

О Свердлове написано много и все же меньше, чем хотелось бы. Кроме документальных публикаций, есть, например, неоднократно переиздававшаяся книга Е. Городецкого и Ю. Шарапова, воспоминания К. Т. Новгородцевой-Свердловой; сборник воспоминаний «Рассказы о Свердлове» выпустило в этом году издательство «Детская литература».

В этом же году появилась и художественно-документальная повесть Б. Костюковского и С. Табачникова «И нет счастливее судьбы». Она охватывает два периода жизни Свердлова — годы становления его как большевика и то недолгое время, что ему выпало проработать в революционном Питере и в Кремле. Авторы тщательно исследуют пути, которые привели Свердлова в лагерь убежденных ленинцев, логику его действий на высшем государственном посту Советской республики.

Все эти книги о Свердлове, конечно, нужны и интересны читателю. В них можно найти факты жизни Свердлова, в том числе и те, которые упомянуты в данной рецензии. Однако никому из авторов, думается, не удалось пока в полной мере воссоздать образ Свердлова, его богатую событиями, неожиданными поворотами жизнь, смоделировать его внутренний мир средствами художественной литературы. Так, как, скажем, сумела показать нам Ленина-вождя и Ленина-человека Мариэтта Шагинян.

Мне могут возразить, что удачи подобного рода непрограммируемы. Что ж, верно. И все же жаль, что чудо, которым

были и остаются для нас личность и жизнь Якова Михайловича Свердлова, еще не вполне осознано большой литературой.

Б. Багаряцкий.

★

ЛЮДИЛА УВАРОВА. Соседи. М. «Московский рабочий». 1981. 256 стр.

С героями Людмилы Уваровой мы знакомимся в обстановке домашней повседневности. Но и в особом коллективе, обозначенном уже в заглавии романа — «Соседи». В старом доме одного из арбатских переулков живут под одной крышей, толкуются на одной большой кухне четыре семьи. Тесное общение людей разных профессий, возрастов, характеров не только не испортило их отношений, но, наоборот, привело к возникновению душевной близости, стремлению и привычке помогать друг другу. Да и впоследствии, разъехавшись по разным московским районам, они сохраняют дружеские связи.

Взгляд писательницы современен, ее характеристики социально точны. Герои отчетливо прописаны в Москве 70-х годов, поведение их обусловлено их временем, всей нашей действительностью. Вот педантичная и аккуратная в соблюдении квартирного распорядка Эрна Генриховна, всегда готовая прийти на помощь в серьезном деле или уж как минимум попотчевать соседа тарелкой своего фирменного супа с клецками. Мы легко угадываем в героине черты фронтовички-медсестры. И всякий раз так: прослеживая поведение героев изнутри, в быту, писательница позволяет нам представить их себе и в жизни «большой», где они — врач, инженер, преподавательница, журналист, ученик ПТУ, шофер такси.

Сложность жизненных перипетий, нелегкие конфликтные ситуации... И в том, с каким внутренним достоинством решают Надежда, Сева, Семен Петрович свои частные конфликты, видны глубокие корни, уходящие в толщу советских моральных норм, советского образа жизни. Думается, найдется немало читателей Л. Уваровой, которые, прочитав роман, захотят «примерить на себя» жизнь героев, души которых поистине открыты для добра. Даже, казалось бы, обойденная судьбой Рена (у нее после полиомиелита парализованы ноги) всем своим поведением дает понять: веру в лучшее нельзя терять никому!

Но дело, конечно, не в тех или иных счастливых исходах — убеждающе оптимистична сама авторская позиция; добрый и пронзительный взгляд на человека, умеющего разглядеть светлое, нравственно глубокое под оболочкой обыденности.

Читатель, знающий книги, публикации Людмилы Уваровой, неизменно ждет от нее доверительного рассказа о жизни и судьбах людей сегодняшнего дня, прикосновения к их сокровенному духовному миру. Не обманул этих ожиданий и новый роман.

Ксения Бродер.

★

ЦЯНЬ ЧЖУНШУ. Осажденная крепость. Перевод с китайского В. Ф. Сорокина. М. «Художественная литература». 1980. 381 стр.

Роман «Осажденная крепость» переиздан в Китае после тридцатипятилетнего перерыва. Написанный в начале 40-х годов, он воссоздает обстановку тех лет, когда в стране шла тяжелая антияпонская война, разделившая Китай на воюющие области, когда близилась победа народной революции 1949 года.

Но не политические события составляют содержание романа. В центре его — история становления молодого человека из средних слоев китайской интеллигенции. Фан, главный герой, — порождение чиновничье-профессорской среды, воссозданной в романе с убедительной художественной точностью, сразу создавшей известность «Осажденной крепости». Основной конфликт ее — в столкновении разлагающейся системы конфуцианства с поверхностным, карикатурным восприятием идей и ценностей Запада, не приживающихся на китайской почве.

Это все сказалось на судьбе главного героя. Парадоксальность становления его личности в том, что на каждом этапе своей жизни герой терпит крах. Получив возможность учиться в Европе — семья его умершей невесты именно так распорядилась приданым, — он не слишком изнуряет себя учебой. Растратив деньги, по дешевке покупает диплом несуществующего университета. Обман так и не раскрывается, поскольку и для семьи Фана и для общества вообще заграничный диплом не более чем престижный камуфляж.

Но вовсе не из-за отсутствия знаний у Фана не складывается преподавательская карьера. Несостоятельным оказывается и первое чувство героя. Он как-то нелепо, словно вынужденно женится на лицемерной и скандальной особе, и семейная жизнь его быстро превращается в сущий ад. Год с небольшим длится действие романа. Этого оказывается достаточно, чтобы Фан превратился в типичного «лишнего человека». У него довольно ума, чтобы видеть бездуховность и порочность своего окружения. Но сделать он не в силах ничего, да и не стремится к этому. Он плывет по течению, как и породившая его часть китайской интеллигенции, описанная в романе.

Мнимо глубокомысленные разговоры, шеголяние показной культурностью, сплетни, любовные шашни, интриги, грызня за университетские должности — вот чем заполнены дни большинства персонажей. Они стараются держаться подале от грозных событий, происходящих в стране, не задумываются о судьбах родины, о своем гражданском долге и уж тем более не ищут пути в революцию. Они целиком поглощены заботами о собственной безопасности, собственном устройстве. На пути к этой цели некоторые из них не брезгуют спекуляцией и контрабандой

Можно выбросить из головы за ненадобностью обрывки знаний, вывезенных из заморских стран. Но нельзя не отвечать на

вопросы, которые настойчиво ставит перед тобой жизнь. Иначе крушение неминуемо. Это убедительно показано в «Осажденной крепости».

Переиздание романа в сегодняшнем Китае симптоматично. Героев романа история поставила перед выбором. Нынешнюю китайскую интеллигенцию тоже. На своем горьком опыте она убедилась в бесплодности маоизма, «китаизированного марксизма» от Мао.

И тем не менее сам факт выхода книги сегодня свидетельствует об определенном сдвиге в общественной атмосфере Китая, о необходимости поиска духовных ценностей, неразрывных с социальными проблемами.

«Осажденная крепость» — единственное художественное произведение видного китайского ученого-филолога Цянь Чжуншу. В 30-х годах автор учился в Оксфорде, написал диссертацию «Китай в английской литературе XVII—XVIII веков», слушал лекции в Сорбонне. В 1937 году вернулся на родину. Сейчас он занят исследованием китайской классики.

В предисловии к китайскому изданию романа Цянь Чжуншу писал: «В этой книге я хотел изобразить определенный род людей, представляющий определенную часть современного китайского общества». Автор сумел поднять вопросы, которые по иронии истории и сегодня звучат в Китае весьма актуально.

Михаил Степанов.



АЛЕКСАНДР КУШНЕР. Канва. Из шести книг. Л. «Советский писатель». 1981. 207 стр.

Главные оси на координатной сетке этого поэта — оси времени. Одно время внешнее, время дел и событий, время родины и мира. Другое время внутреннее, время становления человека, его душевного просветления:

И думал я, что жизнь и свет —
Одно, что мы с годами
Должны светлеть, а тьма на нет
Должна сходить пред нами.

В «Канве» крупно высвечено то, с чем А. Кушнер пришел в поэзию: напряженно-духовное отношение к повседневности. Самые привычные предметы обихода, события и обстоятельства нашего быта обретают у Кушнера высокое значение, становятся приметами, в которых скрыт глубинный смысл бытия. Как бы ни достигалось это понимание — внезапным озарением, счастливым наитием или же мучительным душевным усилием, — главное, что без этого жить нельзя: «И я усилием привычным вернуть стараюсь красоту домам, и скверам безразличным, и пешеходу на мосту».

Самобытность Кушнера была замечена сразу и всеми, но некоторые критики видели в ней едва ли не ущербность поэта. Кушнер писал о напряженном двуединстве высокого бытия наших дней, а его упрекали во вторичности и литературщине, в узко-

темной бытовщине. А пресловутая камерность Кушнера? Да, он адресует свои стихи близкому человеку. Да, он ведет такой разговор, когда собеседники должны видеть глаза друг друга или хотя бы узнавать знакомый почерк письма. Но при этом Кушнер знает и чувствует, как все мы тесно связаны между собой. Потому в его камерных стихах много простора, света, ощущения кровной близости людей, которое дает нам родина: «А нам с тобой, а нам с тобой вдвоем дышалось вольней, и общему судьбой вся эта даль и ширь казалась...»

По отношению к Кушнеру слова «поэтическое видение мира» следует воспринимать буквально. Он прежде всего видит мир: «Вижу, вижу спозаранку...», «Не спи же, взглядывайся зорче...» и даже «Четко вижу двенадцатый век...», «Сотри, смешай меня с землей, но зренья, зренья мне оставь!».

Косная обыденность слепа. Отвлеченные идеалы иллюзорны. Одухотворенная явь мира открывается поэту сквозь призму просветляющего зренья:

Евангелие от куста жасминового,
Дыша дождем и в сумраке белея,
Среди аллей и звона комариного
Не меньше говорит, чем от Матфея.

Моральный урок поэзии Кушнера состоит в том, что добро, и истина, и красота не заемны. И что каждый несет личную ответственность за их присутствие в жизни, а путь к ним лежит через душевную страстность, открытость людям и миру. Кому-то это может показаться чересчур обязывающим. Что ж, сам поэт к такой ответственности готов:

О чем ночные наши мысли?
Боюсь сказать: о смысле жизни.
Но жизнь, в каком-то главном смысле,
Акт героический вполне.

Ю. Здоровов, Б. Хлебников.



С. В. БЕЛОВ. Братья Гранат. М. «Книга». 1982. 96 стр.

Книжное дело в России... Порой мы ярче, зримее — в конкретных деталях и образах — представляем его во времена Ивана Федорова и Николая Новикова, чем в конце XIX — начале XX века. Так уж случилось, что о Михаиле и Сергее Сабашниковых, Марии Малых и Марии Водозовой, братьях Игнатию и Александре Гранат написано у нас сравнительно немного. Между тем издатели и личности это незаурядные, на их счету не одно принципиальное издательское открытие и новаторское начинание, заслуживающие детального исследования книговедов. Хотя бы потому, что некоторые из издательских идей рубежа столетий продолжают свою жизнь в новом качестве и сегодня, подобно выпуску в наши дни 200 томов задуманной еще в начале века М. Горьким «Библиотеки всемирной литературы».

В новой своей книге С. Белов впервые в нашей книговедческой литературе тща-

тельно анализирует опыт почти пятидесятилетнего увлеченного, изобретательного труда братьев Гранат, их многочисленных сотрудников и авторов, среди которых известные отечественные и зарубежные ученые, писатели, общественные деятели.

Разносторонне талантливые, эрудированные, получившие отличное образование, Александр и особенно Игнатий Гранат действовали не только как энергичные организаторы издательского дела, но и как мудрые и тонкие политики, умеющие учитывать и даже предсказывать тенденции общественного развития.

С. Белов приводит строки из каталога издательства братьев Гранат, посвященные задачам уникального для тех лет издания «История России в XIX веке»: «История, как ее понимают теперь, должна дать читателю представление об эволюции народного хозяйства, общественных классов, политических партий, государственных учреждений. «История России в XIX веке» должна дать, прежде всего, ответ на вопрос: как сложился тот общественный строй, с которым Россия вступила в XIX век и который не сегодня-завтра станет для нас старым порядком».

Мы недаром выделили последние слова. Нужно было обладать немалой прозорливостью и гражданской смелостью, чтобы в 1910 году, после поражения революции 1905 года, в официальном издательском документе дать такую формулировку, рискуя привлечь недоброе внимание царской цензуры. Причем это была не эффектная фраза, а обдуманная позиция, которая в значительной мере определяла издательскую политику братьев Гранат, проявившуюся в выпуске и восьмитомной «Истории

нашего времени (Современная культура и ее проблемы)», и серии книг под общим заглавием «Классовая борьба в XIX столетии».

Сохранилась и программа многотомного подписного издания «История освободительного движения (Происхождение современной России)». Она разработана братьями Гранат вскоре после победы Октябрьской революции. При естественной устарелости ее частных положений в целом эта программа и ныне поражает смелостью, грандиозностью, актуальностью замысла.

Нельзя, конечно, подчеркивает автор, считать братьев Гранат убежденными марксистами, однако вся деятельность издательства была последовательно демократической и, естественно, предопределила их восторженное отношение к Октябрьской революции, к Ленину. Еще в 1915 году в двадцать восьмом томе знаменитого «Энциклопедического словаря Гранат» под псевдонимом В. Ильин была опубликована специально заказанная Владимиру Ильичу Ленину статья «Карл Маркс».

Издательство Гранат было признано советской властью и продолжило свою работу под разными названиями до 1939 года.

Ориентация издателей на серийность, энциклопедичность общественно-политических и научно-популярных изданий, на систематичность показа новейших достижений в различных отраслях знания, особенно в социальных науках, заслуживает дальнейшего изучения. Опыт подготовки подобных серий представляет немалый интерес и сегодня.

Ю. Попков.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

В. И. Ленин. Государство и революция. 160 стр. Цена 20 к.

Э. Баграмов. Национальный вопрос в борьбе идей. 336 стр. Цена 1 р 40 к.

А. Бланк. Старый и новый фашизм Политико-социологический очерк 256 стр. Цена 60 к.

Мы и планета. Цифры и факты. 224 стр. Цена 55 к.

О. Черный. Немецкая трагедия. Повесть о К. Либкнехте («Пламенные революционеры») 445 стр. Цена 1 р. 60 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Воспоминания об А. Твардовском. Сборник. Составитель М. И. Твардовская. Изд. 2-е. 543 стр. Цена 2 р. 80 к.

Г. Горбовский. Черты лица. Стихотворения. 143 стр. Цена 40 к.

Р. Ибрагимбеков. Парк Повести. 287 стр. Цена 1 р. 30 к.

Р. Мишвеладзе. Новеллы Перевод с грузинского. 408 стр. Цена 1 р. 60 к.

Р. Райт-Ковалева. Человек из музея Человеча. Повесть о Борисе Вильде. 336 стр. Цена 1 р. 40 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Т. Вулф. Домой возврата нет. Роман. Перевод с английского. 687 стр. Цена 3 р. 40 к.

Жасминовая песнь. Из тамильской поэзии эпохи Сангама. III — IV вв. Перевод с тамильского. 157 стр. Цена 60 к.

М. Кунцевич. Чужеземка Роман Перевод с польского. 223 стр. Цена 1 р. 30 к.

И. Маген. Избранное. Перевод с чешского. 335 стр. Цена 1 р. 70 к.

Французская романтическая повесть. Перевод с французского. 494 стр. Цена 2 р. 40 к.

ВОЕНИЗДАТ

И. Головченко, А. Мусиенко. Днепровский вал. Роман. Перевод с украинского. 461 стр. Цена 2 р. 50 к.

Г. Грюммер. Скитания. Роман. Перевод с немецкого. 432 стр. Цена 2 р. 50 к.

И. Добози. Без власти. Роман Перевод с венгерского. 304 стр. Цена 2 р. 20 к.

В. Устьянцев. Избранное. 509 стр. Цена 2 р. 20 к.

«СОВРЕМЕННОК»

Л. Аннинский. Михаил Луконин. 142 стр. Цена 40 к.

Е. Евтушенко. Две пары лыж. Новая книга стихов. 92 стр. Цена 50 к.

М. Кочнев. Дело всей России. Исторический роман. 416 стр. Цена 1 р. 80 к.

В. Шуншин. Я пришел дать вам волю. Роман. («Библиотека российского романа») 383 стр. Цена 1 р. 60 к.

«ПРОГРЕСС»

М. Антониевич-Дримколский. Из озера взметнулись молнии. Повесть. Перевод с сербскохорватского. 224 стр. Цена 85 к.

Л. Шаша. Винного цвета море. Романы, повести, рассказы. Перевод с итальянского. 383 стр. Цена 2 р. 40 к.

С. Эрдэнэ, Д. Мягмар. Избранное Перевод с монгольского. 461 стр. Цена 2 р. 70 к.

«НАУКА»

С. Азбелев. Историзм былин и специфика фольклора. 327 стр. Цена 1 р. 60 к.

Ш. Сатпаева. Казахская литература и Восток. Из истории литературных связей. 200 стр. Цена 1 р. 40 к.

Современные аспекты изучения. («Теория литературных стилей») 439 стр. Цена 3 р. 40 к.

Д. Урнов. Литературное произведение в оценке англо-американской «новой критики». 263 стр. Цена 1 р. 70 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Ю. Белостоцкий. Крылом к крылу. Повести. Предисловие Г. Семенихина. Казань. Татарское книжное издательство. 448 стр. Цена 1 р. 60 к.

Э. Габбасов. Зеленый лист на белом снегу. Повести. Алма-Ата. «Жалын». 136 стр. Цена 50 к.

А. Каштанов. Мой дождь. Рассказы и повесть. Минск. «Мастацкая литература». 254 стр. Цена 1 р. 20 к.

Э. Межелайтис. Армянский феномен. Стихи, статьи, заметки. Перевод с литовского. Ереван. «Советакан грох». 116 стр. Цена 35 к.

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, И. Н. Бубнов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора),
Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов (зам. главного редактора),
Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко (ответственный секретарь),
А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Гевекеля

Адрес редакции: 103806 ГСП, Москва К-6, Малый Путинковский пер. д. 1/2 Тел. 200-08-29
Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл., 5

Сдано в набор 26.08.82 г. Подписано к печати 13.10.82 г. А 08927.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл.-печ. л.)
27,82 уч.-изд. л. 8,5 бум. л. Тираж 350 000 экз. Зак. 2956.

Набрано и сматрицировано в ордена Трудового Красного Знамени типографии
«Известий Советов народных депутатов СССР». Москва. Пушкинская пл., 5
Отпечатано в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна».
Киев-47, Врест-Литовский проспект, 94. Зак. С4765.

Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1982, № 11, 1—272